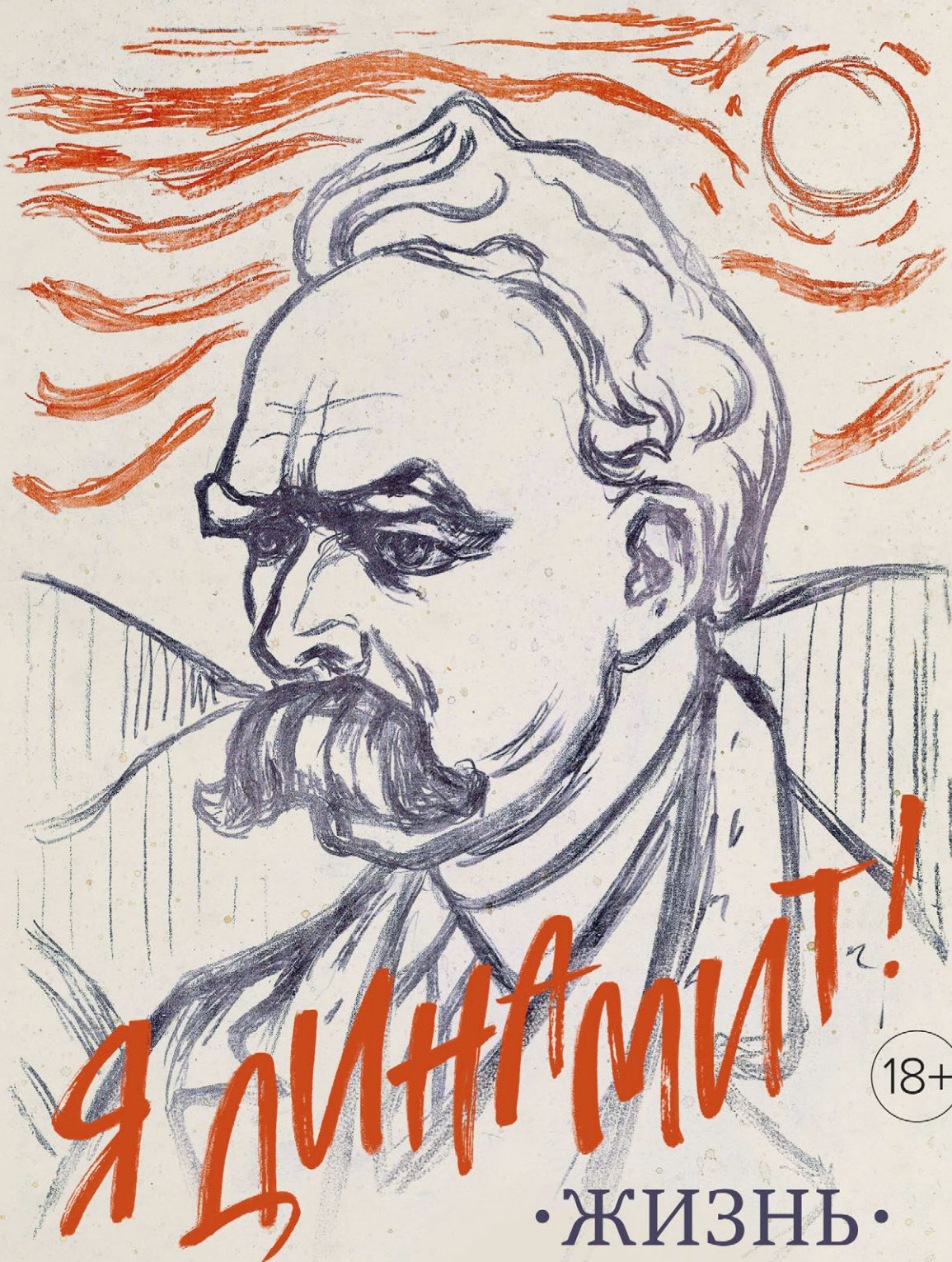


Сью Придо



18+

• ЖИЗНЬ •

ФРИДРИХА НИЦШЕ

Удивительно оригинальный портрет Ницше от прекрасного рассказчика.

*Энтони Бивор, историк, автор бестселлеров
«Сталинград» и «Вторая мировая война»*

Увлекательный, тщательно продуманный трогательный рассказ, полный идей и проникательно подмеченных деталей неординарной жизни. Такой должна быть каждая биография!

*Сара Бейквелл, преподаватель писательского мастерства
в Келлогг-колледже (Оксфорд)*

Перед читателем предстает человек, жаждущий смены принятых представлений об обществе, морали и религии. Детально изучив труды философа и уникальные архивные материалы, автор прослеживает все перипетии жизни Ницше и показывает, что, еще будучи подростком, тот начал развивать способность к оригинальному изложению мыслей... Ницше часто сравнивал свое творчество с танцем, и эта биография отражает бурлящий и подчас необузданный характер его влиятельнейших произведений.

PW

Захватывающее исследование, выполненное одним из лучших биографов Великобритании.

New Criterion

Доступное введение в ницшеанскую философию и великолепная биография, в которой рассматриваются взаимоотношения Ницше с теми немногими, кто был ему действительно близок. Автор стремится понять отношения Ницше с матерью, сестрой, друзьями, издателем, позволяя нам по-новому взглянуть на эту поразительную личность.

New Statesman

Полезное и очень своевременное чтение.

Spectator

Невероятно проницательное, новаторское и подробное исследование жизни Ницше в Германии XIX века. Великолепная биография человека, которому история оказала медвежью услугу.

The Times

Детальная и доступно написанная биография Ницше, одного из самых примечательных мыслителей, когда-либо живших на Земле.

Evening Standard

Великолепное описание невероятного человеческого характера.

Scotsman

От прежних описаний жизни Фридриха Ницше это искусное исследование отличает создаваемое им ощущение близкого знакомства с философом. Автор подступает к подлинному Ницше ближе, чем кто-либо из биографов.

Los Angeles Review of Books

Масштабная и увлекательная биография загадочной личности.

Economist

Сью Придо

ЖИЗНЬ ФРИДРИХА НИЦШЕ



Колibri
МОСКВА

УДК 141 + 929Ницше
ББК 87.3(4Гем)
П75

Sue Prideaux
I AM DYNAMITE!
A Life of Friedrich Nietzsche

Цитата из «Ессе Номо» Фридриха Ницше на суперобложке дана
в переводе Ю.М. Антоновского

Перевод с английского Александра Коробейникова

П75 Придо С.

Жизнь Фридриха Ницше / Сью Придо ; [пер. с англ. А. Г. Коробейникова]. — М. :
КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2020. — 400 с. : ил.

ISBN 978-5-389-12346-5

Фридрих Ницше — одна из самых загадочных фигур в философии; пожалуй, самый непонятый мыслитель в истории, предвидевший проблемы нашего времени и искавший для них решения. Его идеи о сверхчеловеке, смерти Бога, воле к власти и рабской морали поставили под сомнение принятые в XIX–XX вв. общественные нормы и модели политических отношений и оказали значительное влияние на западную культуру. Но что большинство из нас знает о самом Ницше? Каким был философ, которым восхищались Альбер Камю, Айн Рэнд, Мартин Бубер? Ницше писал, что философия сама по себе автобиографична, и в яркой, убедительной, разрушающей мифы биографии, созданной признанным мастером жанра Сью Придо, открывается мир этого блестящего, эксцентричного мыслителя и отягощенного множеством проблем человека. Внимание акцентируется на событиях и людях, которые повлияли на жизнь и творчество великого философа (Рихард и Козима Вагнер, Лу Саломе — роковая женщина, разбившая ему сердце, сестра Элизабет). Благочестивое христианское воспитание, глубокие переживания, связанные с загадочной смертью отца, преподавательская деятельность, одинокое времяпрепровождение высоко в горах и печальное погружение в безумие — рассматривая ключевые этапы биографии Ницше и анализируя его важнейшие произведения, автор ярко воссоздает интеллектуальный и эмоциональный аспекты жизни философа.

УДК 141 + 929Ницше
ББК 87.3(4Гем)

ISBN 978-5-389-12346-5

© Sue Prideaux, 2018
© Коробейников А. Г., перевод на русский язык, 2020
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2020
КоЛибри®

*Посвящается Джорджии, Элис, Мэри, Сэму и Джорджу.
Научитесь всему и останьтесь собой*

Содержание

1. Музыкальный вечер	9
2. Наши немецкие Афины	28
3. Будь, каков есть	43
4. Наксос	62
5. Рождение трагедии	86
6. Ядовитая хижина	108
7. Идеетрясение	120
8. Последний ученик и первый ученик	135
9. Ум свободный и не очень	147
10. Человеческое, слишком человеческое	160
11. Странник и его тень	170
12. Философия и эрос	185
13. Ученица философа	196
14. Мой отец Вагнер умер, мой сын Заратустра родился	211
15. Только там, где есть могилы, возможно воскресение	222
16. Он подстерег меня в засаде!	236
17. Речи в пустоту	247
18. Ламаланд	260
19. Я — динамит!	269
20. Сумерки в Турине	284
21. Пещерный минотавр	306
22. Пустой жилец меблированных комнат	320
 <i>Благодарности</i>	 351
<i>Афоризмы</i>	353
<i>Хронология</i>	367
<i>Примечания</i>	373
<i>Библиография</i>	392
<i>Фотоматериалы</i>	396

1

Музыкальный вечер

Если взвесить все, то я не перенес бы своей юности без вагнеровской музыки. Ибо я был приговорен к немцам. Если хочешь освободиться от невыносимого гнета, нужен гашиш. Ну что ж, мне был нужен Вагнер. Вагнер есть противоядие против всего немецкого...¹

Ессе Ното. Почему я так умен, 6

В письме от 9 ноября 1868 года Эрвину Роде, своему другу и соученику по Лейпцигскому университету, двадцатичетырехлетний Ницше упомянул о своего рода комедии. Он писал:

«Акты моей комедии именуются:

1. Вечер в обществе, или Младший профессор.
2. Изгнанный портной.
3. Рандеву с Х.

В постановке участвует несколько пожилых дам.

Вечером в четверг Ромундт забрал меня в театр, и это доставило мне весьма мало удовольствия. Мы сидели как боги-олимпийцы, выносящие суждение по поводу дешевой однодневки под названием “Граф Эссекс”. Разумеется, я все высказал своему похитителю...

Первое в семестре занятие Классического общества было назначено на следующий вечер, и меня весьма деликатно спросили, проведу ли его я. Мне

¹ Здесь и далее «Ессе Ното» цит. в пер. Ю. М. Антоновского и И. А. Эбаноидзе. — *Здесь и далее, если не указано иное, прим. пер.*

пришлось приналечь на штудии, но вскоре я подготовился и, войдя в кафе Zaspel, имел удовольствие обнаружить серую массу из сорока человек... Я читал лекцию довольно свободно, лишь изредка подглядывая в план на листе бумаги... Полагаю, с академической карьерой все будет хорошо. Дома я обнаружил адресованную мне записку: “Если хочешь познакомиться с Рихардом Вагнером, приходи без четверти четыре в кафе Théâtre. *Виндиш*”.

Эта неожиданность посеяла в голове моей некоторый переполох... я, разумеется, поспешил на поиски нашего славного друга Виндиша, и он сообщил мне дальнейшие известия. Вагнер оказался в Лейпциге — полностью инкогнито. Пресса ничего не знала, а слугам было приказано оставаться немymi как могилы. Сестра Вагнера, жена профессора Брокгауза [1] (интеллигентная дама, с которой мы оба знакомы), представила брату свою хорошую подругу — супругу профессора Ричля. В присутствии госпожи Ричль Вагнер играет *Meisterlied* [песню Вальтера из “Нюрнбергских мейстерзингеров” — оперы Вагнера, премьера которой состоялась всего несколькими месяцами раньше], и эта добрая женщина признается, что песня ей уже хорошо знакома. [Она уже слышала, как ее играет и поет Ницше, хотя ноты песни только-только опубликованы.] Вагнер обрадован и изумлен! Он объявляет о своем горячем желании познакомиться со мной инкогнито; меня нужно пригласить на ужин в воскресенье...

В последующие дни я чувствовал себя каким-то героем романа; ты должен признать, что обстоятельства этого знакомства, если учесть всю недоступность этого эксцентричного человека, кажутся почти сказочными. Посчитав, что приглашенных будет много, я решил нарядиться с иголки, к тому же и портной мой обещал мне новый вечерний костюм как раз на воскресенье. День был ужасный, дождь сменялся снегом. Дрожь пробирала меня при одной мысли о том, что нужно выйти на улицу, так что меня даже порадовало, когда днем ко мне зашел Рошер [2] и стал рассказывать что-то об элеатах [древнегреческая философская школа ок. VI в. до н. э.] и о Боге в философии. Однако стало уже смеркаться, портной не явился, а Рошеру было пора уходить. Я проводил его, попутно зайдя к портному. Там я застал его рабов в усердной работе над моим костюмом; они пообещали доставить его в три четверти часа. Я ушел довольный, заскочил в Kintschy [лейпцигский ресторан, излюбленный студентами] и почитал Kladderadatsch [сатирический иллюстрированный журнал], где, к своему удовольствию, обнаружил известие о том, что Вагнер-де в Швейцарии. Меж тем я знал, что в тот же вечер увижу его здесь и что вчера ему пришло письмо от юного короля [Людвига II Баварского] с надписью на конверте: “Великому немецкому композитору Рихарду Вагнеру”.

Дома никакого портного я не обнаружил. Устроился поудобнее и начал читать диссертацию о Евдокии [3], однако время от времени меня отвлекал шум — громкий, но отдаленный. Наконец до меня дошло, что кто-то стоял у старинной кованой решетки, которая, как и входная дверь, была заперта. Я стал кричать через сад этому человеку, что войти нужно с заднего хода, но из-за дождя он просто ничего не мог разобрать. Весь дом встал с ног на голову, дверь наконец открыли, и ко мне в комнату вошел старичок со свертком. Дело было в половине седьмого — уже пора было одеваться и собираться на выход, ведь я живу довольно далеко. Посыльный приносит мои вещи, я примеряю — они подходят. И тут происходит знаменательное событие: он вручает счет, я вежливо его принимаю, но он хочет, чтобы я оплатил его на месте! Пораженный, я стараюсь объяснить, что с наемным сотрудником иметь дела не буду, а заплачу только самому портному. Тот упорствует. Я хватаю вещи и начинаю их надевать. Он тоже хватает вещи и мешает мне их надевать. Удивительная сцена: я в одной рубашке сражаюсь за то, чтобы надеть новые брюки.

Проявляю благородство, ограничиваясь сдержанными угрозами. Проклинаю портного и его помощника, мечтаю о мести. Тем временем он уходит — и вещи забирает с собой. Конец второго акта. Я сижу на диване в одной рубашке и пытаюсь понять, достаточно ли хорош для Рихарда мой черный сюртук.

Снаружи льет как из ведра. Уже четверть восьмого, а в половине мы должны встретиться в кафе при театре. Я выбегаю в ночь — темную и дождливую. В черном я и сам — зато без фрака.

Мы входим в замечательно уютную гостиную Брокгаузов. Кроме семейства, здесь только Рихард и мы двое. Меня представляют Рихарду, я рассыпаюсь в доказательствах уважения. Он очень подробно расспрашивает меня, как я познакомился с его музыкой, проклинает все постановки своих опер и высмеивает дирижеров, которые довольно неуверенно обращаются к оркестрантам: “Господа, добавьте страсти, ну же, больше страсти, друзья мои!”

До и после ужина Вагнер сыграл все самые значительные фрагменты из “Мейстерзингеров”, имитируя каждый из голосов с большой живостью. Это действительно человек исключительного огня и темперамента, он говорит очень быстро, весьма остроумен и способен развеселить любое общество. Кстати, я долго говорил с ним о Шопенгауэре, и ты поймешь, как я обрадовался той неопишуемой теплоте, с которой он говорил о нем, утверждал, что многим обязан ему, что этот философ один из всех познал сущность музыки».

В то время работы Шопенгауэра были малоизвестны и мало ценились. В университетах вообще не признавали его как философа, однако Ницше с энтузиазмом отнесся к его трудам, когда незадолго до опи-

сываемых событий открыл для себя «Мир как волю и представление». Открыл волей случая — того же случая или, как предпочитал говорить сам Ницше [4], цепи роковых совпадений, словно бы управляемой безошибочной рукой инстинкта, которая привела к встрече с Вагнером в салоне Брокгаузов.

Первое звено в этой цепи было выковано за месяц до встречи, когда Ницше услышал прелюдии к двум последним операм Вагнера — «Тристану и Изольде» и «Нюрнбергским мейстерзингерам». «Все фибры, все нервы моего тела трепетали», — записал он в тот день и тут же принялся разучивать переложения для фортепиано. Потом Оттилия Брокгауз услышала, как он играет, и рассказала об этом своему брату Вагнеру. И вот третье звено — глубокое пристрастие Вагнера к неизвестному философу, трудами которого утешался сам Ницше, когда за три года до этого приехал в Лейпциг несчастным и лишенным корней.

«Я [Ницше] жил тогда в состоянии беспомощной нерешительности, один на один с болезненным опытом и разочарованиями, без надежды и без единого приятного воспоминания...

Однажды я нашел эту книгу в магазине букиниста, взял из-за неизвестного названия и стал листать. Не знаю, что за демон шепнул мне: “Бери ее домой”. Это шло вразрез с моей обычной нерешительностью при покупке книг. Дома я сразу же бросился на диван с новообретенным сокровищем и полностью отдался энергичному и мрачному гению... Я увидел в нем зеркало, в котором в потрясающем увеличении отражались мир, жизнь и моя собственная природа... я увидел в нем болезнь и здоровье, изгнание и убежище, ад и рай» [5].

Но в тот вечер в салоне Брокгаузов не было времени дальше говорить о Шопенгауэре, поскольку разговор Вагнера, по словам Ницше, развивался по спирали: «гений Вагнера в создании облаков, его гоньба, блуждание и рысканье по воздуху, его “всюду” и “нигде”»¹ [6] проявились здесь в полной мере.

Письмо заканчивалось так:

«После [обеда] он [Вагнер] прочел фрагмент автобиографии, над которой сейчас работает, — совершенно замечательную сцену из студенческих лет в Лейпциге, при мысли о которой он даже сейчас не может удержаться от

¹ Здесь и далее «Казус Вагнер» цит. в пер. Н. Н. Полилова.

смеха; он пишет с исключительным мастерством и умом. Наконец, когда мы оба уже собрались уходить, он горячо пожал мне руку и весьма дружески пригласил меня заходить, чтобы помузицировать и поговорить о философии; также он поручил мне ознакомить его сестру и других родственников с его музыкой — поручение, которое я охотно принял на себя. Я напишу немного больше, когда смогу оценить этот вечер с некоторого расстояния и более объективно. Сейчас же прощай, желаю тебе крепкого здоровья. *Ф. Н.*»

Когда Ницше покинул солидный и удобно расположенный угловой особняк профессора Брокгауза, на каждом углу его поджидал холодный пронизывающий ветер и мокрый снег. Он возвращался к себе на Лессингштрассе, 22, где снимал большую пустую комнату у профессора Карла Бидерманна, редактора либеральной газеты *Deutsche Allgemeine Zeitung*. Свое состояние он описывает как непередаваемо возвышенное. Впервые с творчеством Вагнера он познакомился еще в школе. «Если взвесить все, то я не перенес бы своей юности без вагнеровской музыки» [7], — писал он, и власть, которой обладал над ним этот композитор, так и не рассеялась окончательно. Вагнер появляется в произведениях Ницше чаще всех, включая Христа, Сократа и Гёте [8]. Его первая книга была Вагнеру посвящена. Из четырнадцати книг Ницше в двух Вагнер фигурирует уже в заглавии. В последней же своей книге, «Ессе Номо», Ницше писал: «Но и поныне я ищущу, ищущу тщетно во всех искусствах произведения, равного Тристану по его опасной обольстительности...» [9]

С ранних лет Ницше мечтал стать музыкантом, однако, будучи одаренным учеником исключительно академической школы, где слова ценились куда выше музыки, он с неохотой отказался от этой идеи лет в восемнадцать. Во время первой встречи с Вагнером он был еще не философом, а просто студентом старших курсов Лейпцигского университета, изучавшим классическую филологию — мертвые языки и лингвистику.

Ницше был добрым, воспитанным, серьезным, немного скованным молодым человеком плотного телосложения, хотя его нельзя было назвать толстым. На фотографиях кажется, что одежду он взял напрокат: локти и колени на ней расположены не там, где надо, а пиджаки растягиваются у пуговиц. Невысокий, непримечательной внешности, он, однако, обращал на себя внимание удивительными глазами. Один зрачок был немного больше другого. Кто-то говорит, что глаза его были карими, кто-то — что серо-голубыми. Они смотрели на мир с туманной близорукой неуверенностью, но когда его взгляд падал на кого-то, то

пронизывал собеседника и вызывал беспокойство; под таким взглядом невозможно было лгать.

Сегодня мы в основном знаем Ницше по фотографиям, бюстам и портретам в зрелом возрасте, когда рот и большую часть подбородка полностью закрывали огромные усы в форме бараньих рогов, однако фотографии студенческих лет из Лейпцига свидетельствуют, что в годы, когда у юношей возникает растительность на лице, Ницше было особо нечем похвастаться. Можно заметить, что губы его были полными и правильной формы, что впоследствии подтверждала Лу Саломе — одна из немногих женщин, его целовавших; подбородок Ницше был твердым и закругленным. Как интеллектуальные модники предшествующей эпохи подчеркивали романтические устремления выющимися локонами и шелковыми галстуками, так Ницше заявлял о своем постромантическом рационализме, подчеркивая поразительных размеров лоб, вместилище удивительного мозга, и скрывая чувственные губы и решительный подбородок.

Ницше все больше осознавал, что филология перестает ему нравиться. В письме, написанном через одиннадцать дней после встречи с Вагнером, он называет себя и своих коллег «бурлящим выводком филологов» того времени, «которые каждый день проводят как кроты, с их защечными мешками и слепыми глазами, радостно ловят червяков и проявляют безразличие к настоящим проблемам — насущным жизненным проблемам» [10]. Его пессимизм только усугубляло то, что сам он настолько преуспел в презренной кротовой жизни, что ему вскоре предложили кафедру классической филологии в Базельском университете, так что он стал самым молодым профессором в истории. Однако такие почести были еще впереди в тот вечер, когда Вагнер разговаривал с ним как с равным и подчеркнул, что охотно продолжил бы знакомство. Это была исключительная честь.

Композитору, которого называли просто «маэстро», перевалило за пятьдесят. Его слава распространялась по всей Европе. Каждый его шаг описывался в прессе, что и обнаружил в тот вечер Ницше, читая в кафе Kladderadatsch. Когда Вагнер посещал Англию, встречи с ним искали королева Виктория и принц Альберт. В Париже его делами занималась княгиня Полина Меттерних. Король Людвиг Баварский называл Вагнера своим «обожаемым другом-ангелом» и собирался полностью перестроить Мюнхен в соответствии с музыкой Вагнера. Людвиг умер до того, как эта экстравагантная схема была реализована (возможно, его убили, чтобы его дикие строительные проекты не сделали страну банкротом), но

архитектурные планы можно видеть и по сей день: новая улица прорезает центр города, пересекает реку Изар по величавому каменному мосту, имитирующему радужный мост Вотана, ведущий в Вальхаллу в вагнеровском «Кольце нибелунга», и заканчивается у огромного оперного театра, напоминающего разрезанный надвое Колизей с крыльями по обеим сторонам. Музыка Вагнера была для короля Людвига «прекраснейшим, величественным и единственным утешением» — эти чувства можно встретить и у Ницше. Тот с юных лет был очень чувствителен к музыке. Воспоминания о его детстве свидетельствуют, что музыка была для него важнее речи: он был настолько тихим мальчиком, что ему одному отец, пастор Карл Людвиг Ницше [11], разрешал оставаться в кабинете, когда сам работал над проповедями и разбирал дела прихода. Отец и сын проводили время в полном согласии и единодушии, но, как и многие двух- и трехлетние дети, маленький Фридрих был подвержен приступам гнева, начиная порой кричать, размахивать руками и топтать ногами. Тогда его ничто не могло утешить — ни мать, ни игрушки, ни еда, ни напитки. Единственным средством было пианино: отец открывал крышку и начинал играть.

Пастор Ницше принадлежал к музыкальной нации и был необыкновенно искусным исполнителем: послушать его игру съезжались за несколько миль. Он служил лютеранским пастором прихода Рекен к югу от Лейпцига — города, где Иоганн Себастьян Бах в течение 27 лет вплоть до самой смерти являлся музыкальным руководителем всех церквей. Карл Людвиг был известен своим исполнением Баха, а также исключительным талантом к импровизации, который и унаследовал Ницше.

Предками Ницше были обычные саксонцы — мясники и фермеры, которые жили под Наумбургом, где находилась епископская кафедра. Отец Карла Людвига, Фридрих Август Ницше, повысил социальный статус рода, став пастором, а затем еще упрочил положение, женившись на Эрдмуте Краузе, дочери архидьякона. Эрдмуте, весьма симпатизировавшая Наполеону, родила отца Ницше, Карла Людвига, 10 октября 1813 года — за несколько дней до Битвы народов, известной также как Лейпцигская, причем в непосредственной близости от поля боя, на котором Наполеон был разбит. Ницше любил рассказывать об этом. Он считал Наполеона последним великим имморалистом, который стремился к власти, не отягощая себя совестью, — сочетанием сверхчеловека и чудовища. Эта довольно поверхностная связь, по его мнению, стала физиологической и психологической причиной его преклонения перед французским героем. Всю жизнь он мечтал посетить Корсику, но так и не смог реализовать это намерение.

Карлу Людвигу, разумеется, было уготовано вслед за отцом стать служителем церкви. Он поступил в расположенный неподалеку Университет Галле, известный прежде всего теологическим направлением. Здесь он изучал богословие, латинский, греческий и французский языки, греческую и еврейскую историю, классическую филологию и библеистику. Он не был ни выдающимся, ни особенно глупым студентом. Он считался прилежным учеником и выигрывал призы за красноречие. Окончив университет в 21 год, он нашел работу репетитора в большом городе Альтенбурге километрах в пятидесяти к югу от Лейпцига.

Карл Людвиг был консерватором и роялистом. Эти похвальные качества заставили правившего тогда герцога Иосифа Саксен-Альтенбургского обратить на него внимание при выборе наставника для трех своих дочерей — Терезы, Элизабет и Александры. Карлу Людвигу тогда не исполнилось и тридцати, но работу он выполнил великолепно, причем без следа каких-либо романтических увлечений.

После семи лет преподавания он подал заявку на должность пастора прихода Рекен — плодородной, но безлесной равнины в 25 километрах к юго-западу от Лейпцига. В 1842 году он перебрался в дом пастора вместе с овдовевшей матерью Эрдмуте. Дом пастора стоял бок о бок с одной из старейших церквей в Саксонии — древней церковью-крепостью, построенной в первой половине XII века. При Фридрихе Барбароссе ее высокая прямоугольная колокольня служила также дозорной вышкой. С нее просматривалась вся обширная долина, которую некогда защищали рыцари. В ризнице стояло огромное каменное изваяние одного из этих рыцарей. В детстве Ницше очень его пугался: когда солнце освещало глаза статуи, сделанные из рубинов, они начинали мерцать и блестеть.

Когда двадцатисемилетний пастор Карл Людвиг посетил приход Поблес, он увлекся семнадцатилетней дочерью местного священника. Франциске Элер не хватало образования, но она просто и глубоко верила в Бога и не желала себе иной судьбы, кроме как поддерживать мужа в земной юдоли слез.

Они поженились на тридцатый день рождения Карла Людвига, 10 октября 1843 года. Молодой муж перевез новобрачную в дом священника в Рекене, где всем заправляла Эрдмуте — ныне непреклонная матрона шестидесяти четырех лет в строгом чепце и с фальшивыми локонами по моде ее поколения. Она души не чаяла в сыне, контролировала финансы и настаивала на соблюдении в доме полной тишины из-за своего «слабого слуха».

Также в доме жили две болезненные и нервные старшие сводные сестры пастора — тетушки Ницше, Августа и Розалия. Тетушка Августа была настоящим мучением. Она практически не пускала Франциску на кухню из опасений, что та что-нибудь испортит. «Оставь мне это единственное утешение», — говорила Августа, когда Франциска предлагала помочь. Тетушка Розалия имела более интеллектуальные наклонности и подвизалась на ниве благотворительности. Обе тетки страдали от широко распространенных в то время «нервных болезней» и никогда далеко не уходили от шкафчика с медикаментами, которые, впрочем, вовсе не помогали. Из-за этого престарелого триумвирата новобрачная чувствовала себя фактически бесполезной в собственном доме. К счастью, через несколько месяцев после бракосочетания она забеременела Фридрихом.

Фридрих Вильгельм Ницше родился 15 октября 1844 года и был крещен отцом в церкви Рекена. Его назвали в честь правящего монарха — Фридриха Вильгельма IV Прусского. Через два года, 10 июля 1846 года, родилась девочка по имени Тереза Элизабет Александра — в честь всех трех альтенбургских принцесс, которых обучал ее отец. Все звали ее Элизабет. Через два года, в феврале, родился еще один мальчик, крещенный Йозефом в честь герцога Альтенбургского.

Пастор был благочестивым патриотом, но и его не миновали нервные расстройства, преследовавшие его мать и сводных сестер. Порой он на несколько часов запирался в кабинете, отказываясь есть, пить и разговаривать. Но еще больше тревожили загадочные приступы, когда он прерывал фразу буквально на полуслове и невидящим взглядом смотрел в пространство. Франциска сразу же старалась его разбудить, но когда он «просыпался», то полностью забывал об этой потере сознания.

Франциска обратилась к семейному врачу, доктору Гутьяру, который списал все на «нервы» и порекомендовал отдых. Однако симптомы усугублялись, так что в итоге пастор не смог исполнять приходские обязанности. Загадочные пароксизмы были признаны свидетельством «размягчения мозга», и он на многие месяцы мог впадать в прострацию, подвергался чудовищным головным болям и приступам тошноты. Дегradировало и зрение — он наполовину ослеп. Осенью 1848 года, в возрасте тридцати пяти лет, всего после пяти лет семейной жизни, он оказался прикован к постели. Активная жизнь его на этом практически прекратилась.

Франциска задыхалась между Эрдмута и двумя невротическими тетками, с одной стороны, и неуклонным ухудшением состояния мужа — с другой. Насупленные брови и другие скрытые сигналы стали обычным делом в доме пастора, но Франциске каким-то обра-

зом удалось укрыть детей от нездоровой атмосферы, царившей между взрослыми. И Фридрих, и Элизабет в своих воспоминаниях о детстве отмечают свободу и легкость бытия, ведь брат и сестра могли играть где угодно — на колокольне, на заднем дворе, в саду и в цветнике. Там были пруды с ивами, на которые они залезали, чтобы послушать птиц и посмотреть, как рыба носится у блестящей поверхности воды. Поросшее травой кладбище за домом казалось им «дружелюбным», но они не играли среди старинных надгробий из-за трех шлицованных мансардных окон, которые выходили на эту сторону крыши и казались детям всевидящими глазами Бога.

Страдания Карла Людвига усугублялись; он утратил дар речи и, наконец, полностью ослеп. 30 июля 1849 года, в возрасте всего лишь 35 лет, он скончался.

«В приходе ему приготовили каменный склеп... О, никогда глубокие звуки этих колоколов не перестанут отдаваться в моих ушах; никогда я не забуду мрачную мелодию гимна “Иисус — мое утешение”! Звуки органа рокотали по пустой церкви, — писал тринадцатилетний Ницше, вспоминая о своем раннем детстве [12]. — В то время мне однажды приснилось, что я слышу в церкви ту же самую органную музыку, что и на похоронах отца. Когда я понял, что кроется за этими звуками, вдруг могила открылась и из нее показался отец, закутанный в льняной саван. Он поспешил в церковь и спустя мгновение вернулся с ребенком в руках. Могила вновь открылась, он вошел туда, и крышка гроба затворилась снова. Хрип органа немедленно прекратился, и я проснулся. На следующий день после этого сна маленький Йозеф вдруг заболел, у него начались сильные судороги, и уже через несколько часов он умер. Наше горе было беспредельно. Мой сон полностью сбылся. Маленькое тельце теперь лежало в объятиях отца» [13].

Причины ухудшения здоровья пастора Ницше и его смерти изучались многими исследователями. Для последующих поколений важен вопрос, сошел ли пастор перед смертью с ума, поскольку сам Ницше страдал от похожих симптомов перед тем, как внезапно сошел с ума в 1888 году, когда ему было 44 года, и не приходил в рассудок до самой смерти в 1900 году. Литературы по этому вопросу все больше, но первая книга, «О патологии Ницше» (*Über das Pathologische bei Nietzsche*), была опубликована уже в 1902 году, всего через пару лет после смерти философа. Ее автор, доктор Пауль Юлиус Мебиус [14], был выдающимся пионером невропатологии и с 1870-х годов специализировался на наследственных нервных заболеваниях. Фрейд называл Мебиуса одним

из отцов психотерапии; кроме того, он мог работать непосредственно с отчетом о вскрытии пастора Ницше, в котором значился диагноз *Gehirnerweichung*, «размягчение мозга» — термин, который в XIX веке обычно использовали для характеристики множества дегенеративных нервных заболеваний. Среди современных вариантов интерпретации этого диагноза — общая дегенерация, опухоль головного мозга, туберкулема мозга или даже медленное кровоизлияние в мозг, вызванное каким-либо сотрясением. В отличие от отца Ницше не был подвергнут вскрытию, так что ни Мебиус, ни позднейшие исследователи не смогли провести сопоставления мозгов отца и сына, однако Мебиус решил посмотреть на дело шире и выявил склонность к психическим проблемам по материнской линии. Один дядя Ницше покончил жизнь самоубийством. Судя по всему, он предпочел смерть заточению в *Irrenhaus* — сумасшедшем доме. По отцовской линии некоторые братья и сестры Эрдмута, бабки Ницше, считались «психически нездоровыми»: кто-то покончил с собой, кто-то вынужден был обратиться к психиатрам, еще двое тоже страдали какими-то психическими заболеваниями [15].

Прежде чем мы оставим эту тему насовсем, нужно затронуть и смерть во младенчестве младшего брата Ницше. До смертельного приступа Йозеф уже страдал припадками. Нельзя не прийти к заключению о том, что семейство Ницше, несомненно, было предрасположено к психическим или неврологическим заболеваниям.

Карл Людвиг Ницше скончался в тридцать пять. Франциске тогда было двадцать три, Ницше — четыре, Элизабет — три года. Семье пришлось покинуть дом пастора, уступив его новому священнику. Баба Эрдмута решила вернуться в Наумбург, где у нее были прекрасные связи. Ее брат служил проповедником в соборе. Она сняла квартиру на первом этаже на Нойгассе — скромной, но вполне респектабельной улице с домами-кондоминиумами. Эрдмута заняла переднюю комнату, а теток Розалию и Августу поселила в соседнюю.

Вдовья пенсия Франциски составляла 90 талеров в год плюс по 8 за каждого ребенка. Она дополнялась скромными выплатами альтенбургского двора, но всего этого было недостаточно для независимости. Ее с детьми водворили в две худшие комнаты на заднем дворе дома. У Ницше и его сестры была общая спальня на двоих.

«После того как мы столько времени жили в деревне, городское житье показалось нам ужасным, — писал Ницше. — Мы избегали мрачных улиц и стремились к открытым пространствам, как птицы, пытающиеся покинуть клетку... огромные церкви и здания на рыночной площади,

с ратушей и фонтаном, орды людей, с которыми я не был знаком... Меня поражало, что и сами эти люди часто друг друга не знали... едва ли не больше всего меня тревожили длинные мощеные улицы» [16].

Пятнадцатитысячный Наумбург действительно мог напугать детей из маленькой деревушки Рекен. Сейчас мы воспринимаем Наумбург как открыточный романтический городок, словно бы взятый из средневековых часословов, со светлыми башнями по берегам извилистой реки Заале, но когда туда переехала семья Ницше, Заале вовсе не была живописным рвом с водой — это был настоящий рубеж обороны с мощными укреплениями на берегу.

За два года до переезда семейства в Наумбург Европу потрясли революции 1848–1849 годов: материк забился в конвульсиях народных восстаний, которых некогда так страшился непреклонный в своем монархизме отец Ницше. Рихард же Вагнер, напротив, целиком поддерживал революции, которые, как он надеялся, должны были повлечь за собой полное перерождение искусства, общества и религий. Вагнер бок о бок с русским анархистом Михаилом Бакуниным бился на баррикадах в ходе Дрезденского восстания в мае 1849 года и финансировал поставку восставшим ручных гранат. Когда это открылось, его сослали. Потому-то он и проживал в Швейцарии в то время, когда состоялась его первая встреча с Ницше. Германия 1850-х годов была объединена в Германский союз (1815–1866) — конфедерацию государств, сформированную, когда державы-победительницы на Венском конгрессе перекроили карту Европы после поражения Наполеона. В союз входили тридцать девять автономных немецких государств, которыми правили князья, герцоги, епископы, электоры и другие монархи. Раздробление Германии на мелкие — и мелочные — государства подразумевало отсутствие национальной армии, единой налоговой системы, общей экономической политики и реального политического значения. Один деспот выступал против другого, и все они были слишком близоруки, чтобы понять возможные выгоды от объединения. К тому же в Германский союз входили чехи из Богемии, датчане из Гольштейна и итальянцы из Тироля. В Ганновере до 1837 года правил английский король, Гольштейн подчинялся королю Датскому, а Люксембург — королю Нидерландов. В 1815 году, когда был основан Германский союз, в конфедерации доминировала Австрия, однако мало-помалу власть и влияние австрийского канцлера Меттерниха ослабли, а на ведущую роль выдвинулось крупное, богатое полезными ископаемыми Прусское государство. Особенно процветающей и воинственной Пруссия стала при канцлере Отто фон Бисмарке.

Город Наумбург в провинции Саксония принадлежал прусскому королю. Обилие укреплений в городе, о котором вспоминает Ницше, объяснялось трениями внутри Германского союза и годами французской угрозы. На ночь пять тяжелых городских ворот закрывались. Только с помощью громкого звона и подкупа стражи горожанин мог вернуться домой ночью. Ницше с сестрой нравилось совершать прогулки «по светлым горам, речным долинам, поместьям и замкам» [17], но им приходилось прислушиваться к звукам вестового колокола (который Ницше позднее опишет в «Так говорил Заратустра» как «полночный колокол, переживший больше, чем человек: уже отсчитавший болезненные удары сердца ваших отцов»¹), чтобы не повторить ужасную судьбу Гензеля и Гретель и не провести ночь отрезанными от дома.

Наумбург был окружен мрачным Тюрингенским лесом — самым древним лесом Германии, с могилами легендарных героев, пещерами драконов, дольменами и черными безднами, которые еще со времен, когда создавалась германская мифология, символизировали иррациональность и бесконтрольность подсознательного немцев. Вагнер позднее использует это ощущение для описания мысленного путешествия Вотана к хаосу, которое приведет к слому старого порядка, гибели богов и отмене всех прежних договоров. Ницше характеризовал это ощущение сперва как демоническое, а затем как дионисийское.

И ничто не могло быть более аполлоническим, более логичным и необходимым, чем сам город Наумбург. Вдоль реки Заале вытянулись кварталы рациональности, процветания и склонности к романтическому консерватизму. Город зародился как центр торговли — необходимое для враждующих древних племен место мира. С годами Наумбург стал средневековым центром немецких ремесел, в нем была образована гильдия. С момента закладки собора в 1028 году церковь и государство гармонично и разумно шли рука об руку на протяжении многих веков, особенно с зарождением протестантизма. Так что, когда Ницше поселился в Наумбурге, это был богатый, солидный, буржуазный город, отличное место для спокойной жизни. Два главных архитектурных шедевра города — собор и столь же величественная ратуша — показывали, как могут процветать церковь и государство, если религиозные и гражданские добродетели сольются воедино в мещанском, консервативном обществе.

Когда бабушка Эрдмута в детстве воспитывалась в Наумбурге, круг местных религиозных догм ограничивался простыми лютеранскими

¹ Здесь и далее «Так говорил Заратустра» цит. в пер. Ю. М. Антоновского.

идеалами долга, скромности, простоты и умеренности, однако ее возвращение в город совпало с началом движения Пробуждения, которое ставило истовость и божественные откровения выше рациональной веры. Многие стали объявлять о своем перерождении. Они публично признавались в том, что являются отчаянными грешниками. Такое поветрие совершенно не устраивало дам из семейства Ницше, и, хотя никто ни на йоту не сомневался, что Фридрих пойдет по стопам отца и деда и станет служителем церкви, семья вовсе не собиралась возвращаться в кругах необузданных религиозных фанатиков. Подруг дамы Ницше нашли среди жен чиновников и судей — в состоятельном и могущественном слое провинциального общества, не подвергнувшемся влиянию новых идей.

Консервативная элита города двигалась вперед черепашными темпами, и Эрдумте и Франсиска, две вдовы пасторов, находящиеся в не слишком стесненных, хотя и не особо блестящих обстоятельствах, легко заняли в обществе положение знатных дам, которые могли оказаться полезными высшему кругу в обмен на ненавязчивое покровительство. Ницше вовсе не возмущало такое положение дел, что он с сожалением и признавал, описывая, как в детстве в Наумбурге всегда вел себя с достоинством истинного маленького филистера. Но если его описание визита короля в Наумбург, сделанное в десять лет, не отличается глубиной политической мысли, оно определенно обещает некоторый литературный талант:

«Наш дорогой король почтил визитом Наумбург. Подготовка к событию была масштабной. Всех школьников нарядили в черно-белые одеяния, и с одиннадцати утра они ожидали на рыночной площади прибытия Отца народа. Постепенно небо затянуло тучами, и на нас пролился дождь — короля не было! Пробило двенадцать — короля все не было. Многие дети проголодались. Дождь стал обложным, все улицы покрылись грязью; час дня — нетерпение только усилилось. Вдруг, около двух часов, зазвонили колокола и небо улыбнулось сквозь слезы радостно пляшущей толпе. Мы услышали грохот экипажа; неистовой радостью огласились улицы; мы в возбуждении размахивали шляпами и кричали что есть мочи. Свежий ветер развеивал множество флагов на крышах, звонили все колокола в городе, люди кричали, бушевали от восторга и буквально подталкивали карету по направлению к собору. В глубине святилища группа маленьких девочек в белых платьях с венками из цветов была выстроена в форме пирамиды. И тут появился король...» [18]

В том же 1854 году Ницше живейшим образом заинтересовался Крымской войной. Уже несколько веков стратегически важный Крымский полуостров, вдающийся в Черное море, был яблоком раздора между Россией и Турцией. В то время он находился под властью России, и войска царя Николая I воевали там с Османской империей и ее союзницами — Англией и Францией. Это была первая война, с которой сохранились фотографии. Благодаря электрическому телеграфу сводки с фронтов доходили почти моментально. Ницше и его школьные друзья — Вильгельм Пиндер и Густав Круг — пристально следили за ходом кампании. Все их карманные деньги уходили на оловянных солдатиков; они корпели над картами и строили модели полей сражения; они даже сделали из лужи Севастопольскую бухту и пускали бумажные кораблики, представляя их боевыми. Чтобы имитировать бомбардировки, они скатывали шарики из воска и селитры, поджигали их и бросали на модели. Им очень нравилось смотреть, как горящие шары со свистом падают, поражают цель и поджигают ее. Но однажды Густав пришел на «поле боя» с печальной новостью: оказывается, Севастополь пал, война окончена. Разгневанные мальчики обратили ярость на свой игрушечный Крым, об игре забыли, но вскоре они уже разыгрывали новую войну — Троянскую.

В то время по Германии распространилась грекофилия. Бесчисленные мелкие германские княжества рисовали себе будущее величие, подобное величию греческих полисов. Элизабет писала: «Мы стали ревностными маленькими греками — метали копья и диски (деревянные тарелочки), прыгали в высоту и бегали наперегонки». Ницше сочинил две пьесы — «Боги на Олимпе» и «Взятие Трои», которые инсценировал перед своим семейством, упросив сыграть другие роли своих друзей Вильгельма Пиндера и Густава Круга и сестру Элизабет.

Читать и писать Фридриха научила мать в пять лет. Образование мальчиков начиналось в шесть лет, и в 1850 году его отдали в муниципальную школу, куда ходили дети бедноты. Его сестра Элизабет, неравнодушная к вопросам статуса, подчеркивает в своей биографии, что дело было в особой теории бабушки Эрдмута: «До восьми-десяти лет все дети любого общественного положения должны учиться вместе: дети высших классов тем самым смогут лучше понять классы низшие» [19]. Но, по свидетельству их матери, это была неправда: они просто были бедны.

Раннее развитие Ницше, его серьезность, точность мыслей и выражений, а также крайняя близорукость, из-за которой он никак не мог сосредоточить внимание на предметах, препятствовали тому, чтобы он

сошелся со сверстниками. Он получил прозвище «маленький священник», и его стали дразнить.

На Пасху 1854 года, когда мальчику было девять лет, его перевели в частную школу под замысловатым названием «Учреждение с целью тщательной подготовки к гимназии и другим высшим учебным заведениям», которую посещали дети состоятельных родителей. Здесь ему было намного комфортнее с точки зрения общения, но своих амбициозных планов по обучению школа попросту не выполняла. В десять лет он вместе с Вильгельмом Пиндером и Густавом Кругом перешел в гимназию при кафедральном соборе. Там ему пришлось так активно наверстывать упущенное, что из-за интенсивных занятий он мог выделить на сон по пять-шесть часов в день. В повествовании о том времени, как и во многих других фрагментах, посвященных самоанализу, характерно возвращение к обстоятельствам смерти отца. Снова и снова в автобиографических записях — как в детстве, так и в последние годы сознательной жизни — Ницше упоминает смерть отца.

«Ко времени переезда в Наумбург мой характер стал проявляться. Я уже испытал много горя и печали за свою короткую жизнь, а оттого не был так дик и беспечен, как это обычно бывает у детей. Мои сверстники часто дразнили меня за излишнюю серьезность. Это случалось не только в начальной школе, но и позднее вплоть до гимназии. С самого детства я искал одиночества и лучше всего чувствовал себя тогда, когда его никто не нарушал. Обычно это случалось в храме природы, на открытом воздухе, что доставляло мне истинное удовольствие. Гром и буря всегда производили на меня самое яркое впечатление: грохочущий в отдалении гром и вспышки молний только усиливали мой страх перед Богом» [20].

За четыре года, что Ницше провел в гимназии при соборе, он отличился в тех предметах, что были ему интересны: немецком стихосложении, древнееврейском и латинском языках, а со временем и в греческом, который сперва казался ему слишком сложным. Математика была ему скучна. В свободное время он начал сочинять роман под названием «Смерть и разрушение», создал несколько музыкальных произведений, написал по меньшей мере 64 стихотворения и брал уроки благородного искусства фехтования, которое мало вязалось с его внешностью, но было необходимым для соответствующего положения в обществе. «Я писал поэмы и трагедии, кровожадные и невероятно скучные, изводил себя сочинением оркестровых композиций и так увлекся идеей все познать

и всему научиться, что подвергся серьезной опасности вырасти настоящей бестолочью и фантазером» [21].

Но тут четырнадцатилетний подросток, подводя итоги, себя недооценивает. В той же заметке он дает резкий критический анализ собственных стихов, которые он стал писать с восьми лет. Критика Ницше своего детского творчества интересным образом предсказывает настроение символистской поэзии, с которой он никак не мог быть знаком, поскольку в то время Бодлер в Париже только начал ее создавать.

«Я пытался выразить себя более цветистым и ярким языком. К сожалению, в результате от изящества я скатился к аффектации, а от переливчатости языка — к сентенциозному невежеству, поскольку всем моим стихам недоставало самого главного — идеи... Стихотворение, бедное идеями и перегруженное фразами и метафорами, напоминает румяное яблоко, сердцевину которого выел червяк... В любом жанре основное внимание следует уделять идеям. Можно простить любые ошибки стиля, но не ошибки мысли. Юнец, которому недостает оригинальных идей, естественным образом пытается скрыть эту пустоту за блестящим и цветистым стилем; но разве поэзия не напоминает в этом отношении современную музыку? Именно в этом направлении будет вскорости развиваться поэзия будущего. Поэты будут выражать себя самым странным образом, сбивчиво излагая свои мысли и подкрепляя их невежественными, но чрезвычайно напыщенными и сладкозвучными аргументами. Грубо говоря, нас ожидают произведения, подобные второй части “Фауста”, вот только идеи в них будут отсутствовать уже начисто. *Dixi*» [22].

Попытки Ницше овладеть универсальными знаниями и умениями, безусловно, были навеяны Фаустом, а также примером таких энциклопедически образованных людей, как Гёте и Александр фон Гумбольдт. Как и все они, Ницше стал изучать естественную историю.

«Лиззи, — сказал он как-то сестре, когда ему было девять лет. — Не рассказывай всякую ерунду про аистов. Человек — это млекопитающее, и он живородящий» [23].

В его книге по естественной истории также сообщалось, например, что «лама — удивительное животное; она с готовностью переносит самые тяжелые грузы, но когда ей дальше идти не хочется, она поворачивает голову и плюет в лицо седоку, а слюна ее имеет весьма неприятный запах. Если же ее удерживают силой или дурно с нею обращаются, она отказывается принимать пищу, ложится в пыль и умирает». Он решил, что это описание полностью подходит его сестре Элизабет, и до конца

жизни как в письмах, так и в разговорах называл сестру «лама» или иногда «верная лама».

Элизабет же нравилось это ее интимное прозвище, и она рассказывала о его происхождении при первой возможности, правда, опуская пассаж о вонючей слюне.

У отца Густава Круга было «великолепное большое пианино», которое прямо-таки зачаровывало Ницше. Франциска тоже купила ему фортепиано и научилась играть, чтобы учить сына. Круг был близким другом композитора Феликса Мендельсона. Все именитые музыканты, оказавшись в Наумбурге, собирались играть в доме Круга. Музыку через окна было слышно на улице, где Ницше любил стоять и слушать ее сколько угодно. Так он еще мальчиком познакомился с романтической музыкой, против которой и восстал Вагнер. В результате этих концертов через окно первым музыкальным кумиром Ницше стал Бетховен, но на создание собственного музыкального сочинения девятилетнего мальчика вдохновил Гендель. Фридрих написал ораторию после того, как услышал хор «Аллилуйя» из оратории Генделя «Мессия». «Мне казалось, что это была торжественная песнь ангелов и что именно под нее происходило Вознесение Иисуса. Я немедленно попытался сочинить нечто подобное».

Большая часть его детских музыкальных сочинений уцелела благодаря матери и сестре, которые хранили все бумаги со следами пера обожаемого Фридриха. Целью его музыкальных экспериментов было выразить страстную любовь к Богу, которая пронизывала эмоциями весь дом и была неотделима от горестных воспоминаний об отце, дух которого, по их общему мнению, продолжал наблюдать за ними. Сюда примешивались и ожидания того, что сам Ницше вскоре станет словно ее «отцом и как бы продолжением его жизни после слишком ранней смерти» [24].

Мать и сестра обожали его; он был для них всем. Элизабет отличалась большим умом, но она была всего лишь девочкой, поэтому о получении школьного образования не приходилось и говорить. Ее обучили читать и писать, немного считать, азам французского, чтобы демонстрировать воспитание, танцам, рисованию и, разумеется, манерам. Любая жертва в пользу мужчины вызывала у нее и ее матери настоящее упоение своей неполноценностью. И Фридрих платил им тем, что и был тем высшим существом, которого они хотели в нем видеть. Если уж не в школе, то дома он сполна осознавал собственную значимость. Когда Элизабет не была «ламой» или «верной ламой», она была «маленькой девочкой»,

охранять которую являлось его обязанностью. Когда Фридрих прогуливался с матерью или сестрой, он шел на пять шагов впереди, чтобы защитить их от таких «угроз», как грязь и лужи, и таких «чудовищ», как лошади и собаки, которых они должны были опасаться.

Отчеты из гимназии при соборе свидетельствуют, что он был прилежным учеником. Его мать не сомневалась, что сын способен осуществить ее мечты и последовать по стопам отца в лоне церкви. Склонность к теологии проявлялась в отличных оценках по предмету. Двенадцатилетний Ницше был крайне религиозен и однажды увидел Бога во всей славе Его. Это убедило его посвятить жизнь Богу.

«Во всем, — писал он, — Бог руководил мною, как отец руководит своим слабым малым чадом... Я твердо решил навсегда посвятить себя служению Ему. Пусть Господь даст мне силу и решимость исполнить мое намерение и защитит меня на жизненном пути. Я, как ребенок, верю в Его милосердие: Он сохранит всех нас, да не падет на нас никакое несчастье. Да будет слава Его! Все, что Он дает, я приму с радостью: счастье и несчастье, богатство и бедность; я буду смело смотреть в лицо смерти, которая со временем соединит нас в вечной радости и блаженстве. Да, Господи, да сияет Твое лицо нам вечно! Аминь!» [25]

Но даже в разгар такого религиозного энтузиазма (впрочем, не особенно необычного) в глубине души он таил взгляды чрезвычайно еретические. Одно из базовых положений христианской веры заключается в том, что Святая Троица состоит из Бога Отца, Бога Сына (Иисуса Христа) и Святого Духа. Но двенадцатилетний Ницше не мог смириться с иррациональностью этой конструкции. Сам он вывел для себя совершенно другую Святую Троицу: «В двенадцать лет я придумал себе удивительную троицу: Бога Отца, Бога Сына и Бога Дьявола. Я считал, что Бог, помывшись, создал второе свое лицо из собственной головы, но для этого ему нужно было помыслить о своей противоположности, а следовательно, и создать ее. Вот так я начал философствовать» [26].

2

Наши немецкие Афины

Плохо отплачивает тот учителю, кто навсегда остается только учеником.

Ессе Ното. Предисловие, 4

Когда Ницше было одиннадцать лет, его бабка умерла, и матери наконец-то удалось обзавестись собственным домом. В 1858 году Франциска и двое детей наконец поселились в угловом доме на Вайнгартен — респектабельной и ничем не примечательной улице Наумбурга. Теперь у Ницше была своя комната. Он быстро завел привычку работать примерно до полуночи, а затем вставать в пять утра и продолжать. Это стало началом периода, который сам он называл *Selbstüberwindung* — самопреодолением. Этот важный принцип позднее приобретет метафизический характер, но в то время преодолевал Фридрих в основном собственное плохое здоровье. Чудовищные приступы головной боли, сопровождаемые рвотой и сильной болью в глазах, могли длиться неделями, и тогда ему приходилось лежать в темной комнате с задернутыми шторами. От малейшего проблеска света глаза болели еще сильнее. Не было и речи о том, чтобы читать, писать или даже сосредоточенно думать. Например, с Пасхи 1854 года до Пасхи 1855 года он отсутствовал в школе в общей сложности шесть недель и пять дней. Когда он был здоров, то при помощи, по его словам, «ее величества Воли» старался опередить одноклассников. Наумбургская гимназия при соборе была одной из лучших, но Ницше изо всех сил стремился попасть в Земельную школу Пфорта — лучшую классическую гимназию в Германском союзе.

«Пфорта, Пфорта, все мои мечты о Пфорте», — писал он в десять лет. Пфорткой фамильярно называли Земельную школу Пфорта, и использование этого прозвища передает всю глубину его мечтаний. В Пфорте обучались двести юношей в возрасте от четырнадцати до двадцати лет, притом предпочтение отдавалось тем, чьи отцы, подобно отцу Ницше, скончались на службе Прусскому государству или церкви. Процесс выбора воспитанников напоминал то, как послы принца разъезжали по всей стране в поисках девушки, которой придется впору туфелька Золушки. В Наумбург эмиссары Пфорты прибыли, когда Ницше было тринадцать лет, и мальчик произвел на них достаточное впечатление, чтобы ему, несмотря на некоторые проблемы с математикой, предложили место в школе со следующей осени.

«Я, бедная лама, — писала Элизабет с обычным своим драматизмом, — чувствовала себя обиженной судьбой сверх всякой меры. Я отказывалась от пищи и легла в пыль умирать». Ее состояние объяснялось не завистью к первоклассному образованию, которое должен был теперь получить ее брат, а горем оттого, что теперь он будет регулярно по несколько месяцев отсутствовать дома. Ницше и сам не избежал дурных предчувствий. Его мать вспоминала, что накануне отъезда все наволочки были мокрыми от слез, но в день выезда он напустил на себя подобающую юноше браваду.

«Было утро вторника, когда я вышел из ворот города Наумбурга... Страхи робкой ночи окружали меня, и, наполняя меня предчувствиями, лежало передо мной будущее, укрытое серой завесой. Впервые приходилось мне на долгий, долгий срок разлучиться с родительским домом. Я шел навстречу незнакомым опасностям; разлука вселяла в меня робость, и я дрожал при мысли о своем будущем. <... > отныне я никогда уже не смогу предаваться своим мечтам, а школьные товарищи станут преградой между мной и моими любимыми занятиями. С каждой минутой мне становилось все страшней, так что, когда впереди замаячила Пфорта, я готов был признать в ней скорее тюрьму, чем *alma mater*. Священные чувства переполняли мое сердце; я вознесся к Богу в безмолвной молитве, и глубокий покой наполнил все мое существо. Господи, благослови входящего сюда и огради меня телесно и духовно в этом обиталище Святого Духа. Ангела своего пошли, чтобы тот победоносно провел меня через все искушения, коим я иду навстречу, и да послужит мне это место ко спасению во веки веков. Помоги мне в этом, Господи!

Аминь»¹ [1].

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

Пфорта напоминала тюрьму потому, что изначально комплекс был цистерцианским монастырем. Он находился в уединенной долине притока реки Заале примерно в шести километрах к югу от Наумбурга и был окружен стенами три с половиной метра высотой и пятнадцать сантиметров толщиной, за которыми находились семьдесят акров полезной площади с обычными для монастыря прудом с карпами, пивоварней, виноградником, лугами для сенокоса, орошаемыми полями и пастбищами, амбарами, молочной фермой, конюшней, кузницей, каменными аркадами и множеством величественных готических зданий.

Пфорта, казавшаяся увеличенной версией родного дома Ницше в Рекене, была церковной крепостью, способной выстоять посреди политических катаклизмов, важнейшими из которых для Пфорты стали религиозные войны XVI–XVII веков. Когда битвы утихли и католицизм был изгнан из этих мест, князь-электор Саксонии, поддерживавший Мартина Лютера, объявил Пфорту *Prinzenschule* — «Княжеской школой». Это была одна из важнейших латинских школ, учрежденная в 1528 году Шварцердом [2], который помогал Лютеру в переводе на немецкий язык Ветхого Завета. К обучению латинскому и греческому языкам, которые уже были основой высшего образования, Шварцерд добавил древнееврейский, что позволило ученикам читать великие древнееврейские тексты в оригинале, а не в переводах, отличавшихся политическими или теологическими перекосами в ту или иную сторону. Это был смелый шаг против многовековой цензуры церкви, который предоставил каждому ученику возможность для независимого анализа.

Когда Ницше поступил в Пфорту, образовательная система школы уже подверглась некоторым изменениям по инициативе Вильгельма фон Гумбольдта [3], брата знаменитого путешественника, географа и ученого-энциклопедиста Александра. На Гумбольдта, друга Шиллера и Гёте, значительное влияние оказало посещение Парижа вскоре после взятия Бастилии. «Я несколько устал от Парижа и Франции, — писал он с удивительным для двадцатидвухлетнего юноши здравым смыслом, после чего спокойно заключал, что стал свидетелем необходимых жертв на пути к новой рациональности. — Человечество пострадало от крайности и обязано искать спасения в другой крайности».

Занимаясь в 1809–1812 годах реформой немецкого образования, фон Гумбольдт сочетал исключительную рациональность в отношении событий того времени с непосредственным опытом приобщения к классическому наследию (он был послом Пруссии в Ватикане). Он предвидел будущий Германский союз, созданный по образцу Древней Греции как система

небольших государств, существующих по отдельности и различным образом, но сохраняющих творческое и интеллектуальное единство. Его теория изложена в трактате «О пределах государственной деятельности», который повлиял на книгу Джона Стюарта Милля «О свободе». Основным принцип Гумбольдта состоял в том, что максимальная свобода образования и религии должна существовать в небольших государствах. В таком государстве человек — это всё, а следовательно, образование — это всё. Конечная цель образования — «полное обучение человеческой личности... высшее и как можно более пропорциональное развитие возможностей индивида по достижению полной и устойчивой целостности» [4]. Эта полная и устойчивая целостность сочетала в себе два чисто германских идеала — *Wissenschaft* и *Bildung*. *Wissenschaft* — идея обучения как динамического процесса, постоянно обновляемого и обогащаемого научными поисками и независимым мышлением, при котором каждый студент вносит свой вклад в постоянно увеличивающуюся сумму знаний. Этот процесс был прямо противоположен механическому запоминанию. Знание имело эволюционный характер и шло рука об руку с *Bildung* — эволюцией самого ученика: процессом духовного роста в ходе приобретения знаний, который фон Гумбольдт описывал как гармоничное взаимодействие между собственной личностью студента и природой, ведущее к состоянию внутренней свободы и целостности в более широком контексте.

Вопросы целостности личности и общественной морали имели непосредственное отношение к самой насущной в то время проблеме религиозной веры в век научного прогресса, сметавшего вековые представления о миропорядке. Какой бы стадии ученик или студент университета ни достиг на пути между теорией Дарвина и сомнениями в вере, нельзя было отрицать практически божественной природы канона западного знания, в котором истина, красота, интеллектуальная чистота и целеустремленность царили многие века независимо от того, какой бог почитался в определенное время.

Фундаментальной силой, поддерживавшей цивилизацию, был язык, без которого мы, вероятно, не могли бы думать и точно не смогли бы доносить друг до друга сложные идеи. Фон Гумбольдт сам был известным филологом и философом языка. В Пфортте, как и в других школах и университетах после реформы Гумбольдта, главными дисциплинами были классические языки и классическая филология — искусства высочайшей точности, обращенной в прошлое. Филологи были богами невероятно малых величин — «узколобые исследователи микромира

с лягушачьей кровью», как однажды назвал их Ницше [5], а филологи-классики, поглощенные греческим, еврейским и латинским языками, были богами образовательной системы.

В дни Ницше Пфурту описывали как город-государство: утром — Афины, вечером — Спарта. Режим был полумонашеским-полувоенным, тяжелым и в интеллектуальном, и в физическом плане. Ницше, так ценивший дома собственную комнату, где можно было работать в соответствии с собственным распорядком дня, теперь спал в общей комнате на тридцать человек. День начинался в четыре утра, когда одновременно открывались двери всех спален, накануне закрывшихся ровно в девять вечера (сейчас можно провести параллель с громким одновременным щелканьем замков дверей в Байрёйтском оперном театре, закрывающих публику в начале представления и освобождающих ее в конце спектакля). Сто восемьдесят мальчиков выбегали из спален к пятнадцати раковинам и общему желобу, в который нужно было выплевывать воду после чистки зубов. День продолжался в соответствии с записями Ницше:

«5.25 Утренние молитвы. Теплое молоко и бутерброды.

6.0 Урок.

7–8 Подготовка.

8–10 Урок.

10.00–11 Подготовка.

11–12 Урок.

12 Марш в столовую с салфетками. Переключка. Латинская благодарственная молитва перед обедом и после него. 40 минут — свободное время.

1.45–3.50 Урок.

3.50 Бутерброды с маслом, беконом или сливовым вареньем.

4.0–5.0 Старшие мальчики проверяют младших по греческому диктанту или математическим задачам.

5.00–7.00 Подготовка.

7.0 Марш в столовую на ужин.

7.30–8.30 Игры в саду.

8.30 Вечерние молитвы.

9.0 Отбой.

4 утра. Открытие дверей. Новый день».

Это был самый плотный и строгий распорядок школьного дня в Европе, что подтверждали и мадам де Сталь: «Обучение в Германии просто восхитительно: многолетнее одиночество и занятия по пят-

надцать часов в день кажутся здешним детям нормальным способом существования» [6].

Сначала Ницше невероятно скучал по дому: «Ветер порывами шумел в высоких деревьях, их ветви стонали и шатались. В том же состоянии было и мое сердце» [7]. Он признался в этом своему наставнику — профессору Буддензигу, который посоветовал с головой уйти в занятия, а если это не поможет — отдаться на милость Господа.

Раз в неделю, по воскресеньям, когда ученики шли в церковь и обратно, он виделся с матерью и сестрой, но это лишь усугубляло его муки. Он спешил на север по дороге, выходящей по высоким темным хвойным лесам к деревне Альмрих. Тем временем Франциска и Элизабет направлялись к нему по дороге из Наумбурга. Семейство встречалось в альмрихском трактире, и через час Фридриху уже нужно было бежать обратно. В остальном же вся свобода воспитанников Пфорты заключалась в вечернем времени с 7:30 до 8:30, которое они проводили в саду. Там ученые споры на греческом и латыни за спокойной игрой в шары могли перерастать в словесные дуэли, оружием в которых служили импровизированные латинские гекзаметры.

Мальчиков побуждали всегда разговаривать друг с другом на латыни или древнегреческом. Ницше, как обычно, решил пойти еще дальше и даже думать на латыни. Вероятно, это ему удалось, поскольку на неудачи он не жаловался. Газеты в Пфорте не допускались. От политики, внешнего мира и вообще современности воспитанников ограждали как можно тщательнее.

Основная часть программы состояла из литературы, истории и философии Древней Греции и Рима, а также изучения немецких классиков — Гёте и Шиллера. Во всем этом Ницше преуспевал, а вот с древнееврейским, который был необходим для принятия духовного сана, дело шло туго: грамматику этого языка он находил чрезвычайно сложной. Он так и не овладел английским, поэтому, хотя любил Шекспира и Байрона, в особенности «Манфреда», читал обоих авторов в немецком переводе. В неделю у мальчиков было одиннадцать часов латыни и шесть часов древнегреческого. Фридрих считался одним из лучших учеников, а несколько раз по итогам года занимал первое место в классе. Средний балл постоянно уменьшался из-за низких оценок по математике, которой он по-прежнему интересовался слабо, за исключением короткого периода, когда он был очарован свойствами окружности.

Иногда мальчиков выводили на прогулки в сельскую местность. Тогда они надевали спортивную форму, разработанную Фридрихом Людвигом

Яном — крайним националистом и отцом гимнастического движения, призванного поддерживать воинское чувство солидарности в молодых людях, чья сплоченность могла бы заложить фундамент зарождающейся нации. Ян придумал знаменитый принцип четырех F — *frisch, fromm, fröhlich, frei* (свежий, искренний, радостный, свободный), в соответствии с которым групповые прогулки организовывались по-военному. Мальчики выстраивались в колонну и маршем шли на штурм гор, распевая песни, подбадривая друг друга, размахивая школьным флагом и выкрикивая тоекратное «ура» в честь короля (в то время сошедшего с ума после удара), принца Пруссии и школы, а затем так же маршем отправлялись домой.

Не менее упорядоченным было и обучение плаванию:

«Вчера наконец-то прошел заплыв. Это было замечательно. Мы выстроились в ряды и промаршировали через ворота под бодрящую музыку. Все мы надели красные плавательные шапочки, что выглядело очень мило. Но мы, юные пловцы, были очень удивлены, когда для старта заплыва пришлось долго идти вдоль реки Заале, и все испугались. Однако, увидев, что к нам приближаются старшие пловцы, и услышав музыку, все мы попрыгали в реку. Плыли мы в точно таком же порядке, в каком шли из школы. В целом все шло весьма хорошо; я старался как мог, но постоянно захлебывался. Я много проплыл и на спине. Добравшись до места, мы получили свою одежду — ее привезли на лодке. Спешно одевшись, мы в том же порядке направились обратно в Пфурту. Воистину замечательно!» [8]

Удивительно — при таком-то начале, — что плавание стало любимым досугом Ницше на всю жизнь. В отличие от гимнастики, которой ему доводилось заниматься в шутовском настроении. Его школьный друг Пауль Дойссен описал его единственный акробатический трюк, которому он в шутку придавал большое значение. Трюк состоял в том, чтобы на руках пройти по параллельным брускам. То, что другим удавалось за считанные минуты, иногда даже без касания ногами жердей, у Ницше получалось с трудом: лицо его становилось багрово-красным, он потел и шумно переводил дыхание [9].

Постоянно потеющий, не очень физически развитый, неуклюжий и слишком умный, Ницше не был всеобщим любимцем. Один из его одноклассников вырезал его фотографию и сделал из нее куклу, которая говорила и делала всякие глупости. Однако особенность личности Ницше состояла в том, что он постоянно отталкивал преданных друзей,

которые стремились защитить его от ударов несправедливого мира. Узкий круг его друзей в Пфорте убедился в этом сполна: когда марионетка Ницше исчезла, это не добавило мудрости оригиналу.

Любовь к музыке у Ницше не утихла. Он поступил в школьный хор, открывавший бесконечные возможности для коллективной радости и военных маршей, и именно по музыке мы более, чем по каким-либо иным школьным предметам (все они были основаны на идее самореализации через подчинение групповой этике), можем понять, что ему удалось сохранить свободу мысли, что так беспокоило его перед поступлением в Пфурту. Учителя и товарищи по учебе восхищались его искусством игры на фортепиано и выдающимся умением хорошо читать с листа, но особенно их поражали клавишные импровизации. Пока отец Ницше был жив, послушать его игру приезжали из самых отдаленных уголков. Теперь тот же дар проявился и у самого Ницше. Когда он начинал одну из своих долгих, страстных, свободно текущих в мелодическом потоке импровизаций, соученики сталпливались вокруг неуклюжего парня в очках с толстыми стеклами и с эксцентрически длинными, откинутыми назад волосами, сидевшего в неудобной позе на табурете перед пианино. Даже те, кто считал его невыносимым, были очарованы его виртуозной игрой, как магическими пассажами фокусника.

Особенное вдохновение будила в нем бурная погода. Когда грохотал гром, даже Бетховен, по мнению друга Ницше Карла фон Герсдорфа, не смог бы достичь таких высот импровизации.

Религиозность Фридриха оставалась страстной, и он не отказывался от идеи вслед за отцом посвятить себя церкви. Конфирмация пришлось на разгар религиозного пыла. День конфирмации — четвертое воскресенье Великого поста 1861 года — связал его узами дружбы с Паулем Дойссеном — школьным товарищем, описавшим гимнастический трюк Ницше. Участники конфирмации шли к алтарю парами, вставали на колени и получали благословение. Дойссен и Ницше преклонили колени вместе. Настроение у них было возвышенное, близкое к экстазу, и они объявили, что готовы хоть сейчас умереть за Христа.

Крайнее религиозное возбуждение наконец отступило и сменилось тем же беспристрастным анализом христианских текстов, который Ницше применял и при изучении древнегреческого и латыни. Свои идеи Ницше выразил в двух длинных эссе — «Фатум и история» и «Свободная воля и фатум». В обоих отразился его интерес к американскому мыслителю того времени Ральфу Уолдо Эмерсону, который тогда много писал о проблеме судьбы и свободной воли. Ницше закончил «Свободную волю

и фатум» одним из первых своих афоризмов: «Абсолютная свобода воли без рока сделала бы человека Богом, фаталистический принцип — механизмом»¹. Ту же идею он в более развернутом виде излагает в «Фатуме и истории»: «Свободная воля без фатума столь же немыслима, как дух без реальности, добро без зла... Только противопоставление рождает качество... Случится еще много потрясений, прежде чем массы наконец осознают, что все христианство основано на исходных предпосылках: существовании Бога, бессмертии, авторитете Библии, вдохновении и других доктринах, которые будут всегда вызывать сомнения... мы не знаем, не является ли человечество всего лишь стадией или периодом всеобщей истории... Или, может быть, человек — всего лишь итог развития камня через этапы растения и животного? Конечно ли это вечное становление?» В это рассуждение внезапно вкралась еретическая теория Дарвина, но эти мысли Ницше на самом деле были навеяны чтением трех философов, которые еще много лет будут определять направление его творческой мысли: это Эмерсон, греческий философ и поэт Эмпедокл и немецкий философ и поэт Гёльдерлин.

В 1861 году Ницше написал школьное сочинение под названием «Письмо другу, в котором я рекомендую ему своего любимого поэта». Этим поэтом был Фридрих Гёльдерлин, в то время забытый и почти неизвестный. Сейчас же он находится на самых вершинах пантеона немецкой литературы.

За сочинение Ницше получил низкую оценку, а учитель посоветовал ему «вернуться к поэтам более здоровым, более ясным и более немецким» [10]. На самом деле трудно быть более немецким поэтом, чем Гёльдерлин, но он от всего сердца ненавидел национализм *über alles*. То же отношение разделял и семнадцатилетний Ницше, и в его сочинении говорится, что Гёльдерлин «сообщает немцам горькие истины, которые имеют под собой, увы, слишком много оснований... Гёльдерлин не сдерживает резких слов в адрес немецкого варварства. Но такая ненависть к реальности сочетается с горячей любовью к родине, и этой любовью Гёльдерлин обладал в значительной степени. Но в германцах он презирал ограниченность и филистерство» [11].

Учителя Ницше не любили Гёльдерлин а за качества, которые считали свидетельством ментального и морального нездоровья. К концу жизни Гёльдерлин сошел с ума, что делало его творчество неподходящим

¹ Цит. по: А. И. Патрушев. Жизнь и драма Фридриха Ницше // Новая и новейшая история, № 5, 1993.

предметом для изучения. Этого в сочетании с любовью Ницше ставить под сомнение значение разума оказалось достаточно, чтобы наставники заподозрили в мальчике опасный пессимизм, который был прямо противоположен трем основным принципам Пфорты — *Wissenschaft, Bildung* и лютеранство. Этих трех священных принципов должно было хватить для защиты любого юного учащегося Пфорты (в том числе Ницше) от пристрастия к потрясающим душу, забытым богом уголкам внутреннего мира, которые и исследовал Гёльдерлин:

«О мои бедные ближние, те, кому все это понятно, кому тоже не хочется говорить о назначении человека, кем тоже владеет царящее над нами Ничто; вы ведь ясно сознаете, что цель нашего рождения — Ничто, что мы любим Ничто, верим в Ничто, трудимся, не щадя себя, чтобы обратиться постепенно в Ничто... Виноват ли я, если у нас подкашиваются ноги, когда мы серьезно над этим задумываемся? Я и сам не раз падал под бременем этих мыслей, восклицая: “Зачем ты хочешь подсесть меня под корень, безжалостный разум!” И все-таки я еще жив!»¹ [12]

В последние годы Гёльдерлину случалось порой высказать яркую идею, пророческое предсказание или особенно тревожащую душу фразу. Он поселился в Тюбингене в башне, которая превратилась в туристический объект — там делали остановку во время «большого турне» романтической эпохи, ничто так не любившей, как кишасшие совами разрушенные башни, где обитает человек, движимый порой божественным вдохновением.

Ницше писал, что «могила долгого безумия» Гёльдерлина, когда разум поэта боролся с подступающей ночью, чтобы наконец разродиться мрачными и таинственными погребальными песнями, въелась в его собственное сознание, как плеск волн бурного моря. Эссе о Гёльдерлине дает основания предположить, что, возможно, Ницше уже был на пути к идее принесения разума в жертву во имя доступа к вратам откровения.

Гёльдерлин определенно плохо подходил к Пфорте. Однако Ницше, несмотря на критику и неодобрение со стороны учителей, не утратил к поэту интереса.

Гёльдерлин написал пьесу об Эмпедокле (ок. 492–432 до н. э.), и Ницше вознамерился сделать то же самое. По легенде, Эмпедокл окончил жизнь, прыгнув в жерло вулкана Этны, будучи полностью уверенным, что переродится в бога. Это сразу же вызывает в памяти

¹ Пер. Е. А. Садовского.

Заратустру, появляющегося из пещеры, и самого Ницше, который, потеряв разум, считал, что перевоплотился в бога Диониса. Тема зарождения божественности и священного безумия как первого шага на пути к божественному проходит красной нитью через жизни и труды Ницше, Гёльдерлина и Эмпедокла. Итак, семнадцатилетний ученик лучшей немецкой школы, воплощающей принципы цивилизованного культа разума и олимпийского спокойствия, исследует идеи возвышающего безумия и важности иррационального.

«Быть одному, без богов — это Смерть», — такие слова вкладывает в уста Эмпедокла Гёльдерлин в пьесе. Возможно, именно в этом месте началась гигантская трагедия, которая закончится для Ницше провозглашением смерти Бога.

От трудов Эмпедокла сохранилось мало. Оставшиеся фрагменты — части двух эпических философских поэм «О природе» и «Очищения». «О природе» — прекрасная поэма о сотворении мира, напоминающая пасторали Овидия и «Потерянный рай». Но Эмпедокл был не просто мастером слова вроде Овидия и Мильтона. Например, он — первый автор, перечисляющий четыре первоэлемента:

Скажем о первых и равных по древности мира основах,
В коих возникло всё то, что ныне мы зрим во вселенной:
Бурное море, земля, бременеющий влагою воздух,
Также эфирный Титан, облекающий вкруг мирозданье.
Выслушай ныне о том, как огонь, выделяясь, ко свету
Вывел в ночи сокровенные отпрыски многотрадных...¹ [13]

Эмпедокл утверждает наличие всеобщего круговорота, где ничто не появляется и ничто не исчезает. Есть единственная форма материи, ее количество вечно и неизменно — благодаря единому и раздельному существованию двух вечных и вечно противостоящих друг другу сил: Любви и Ненависти. Напряжение, возникшее от их противостояния, породило первичный вихрь, который Эмпедокл изображает как кошмарный водоворот в стиле Иеронима Босха, где части тела («Выросло много голов, затылка лишенных и шеи, / Голые руки блуждали, не знавшие плеч, одиноко / Очи скитались по свету без лбов, им ныне присущих») ищут друг друга, чтобы слиться воедино. Сегодня эти строки считаются первыми предвестниками теории эволюции.

¹ Здесь и далее «О природе» Эмпедокла цит. в пер. Г.И. Якубаниса.

Благодаря тому что от сочинений Эмпедокла сохранились лишь незначительные отрывки, Ницше научился краткости. Он также узнал о том, как отрывки позволяют освободить разум и пускаться в бесконечные рассуждения. Впоследствии это станет еще более ценным, поскольку периоды творческой активности между приступами болезни будут становиться все короче, что поставит его перед проблемой наиболее емкого изложения мыслей, чтобы добиться максимального эффекта до нового приступа.

В год после конфирмации Ницше работал еще и над, по его выражению, «омерзительным романчиком». «Эвфорион» — трансгрессивная проза подростка, заигрывающего с сексом и грехом.

«Когда я писал его, меня переполнял дьявольский хохот», — хвастается он в письме другу, которое подписывает «Ф. В. ф. Нитцки (он же Мук) *homme étudié en lettres (votre ami sans lettres)* [человек, поднаторевший в буквах, — а ваш друг без всяких букв]» [14].

В легенде о Фаусте Эвфорион — сын Фауста и Елены Троянской. В Германии времен Ницше современным Эвфорионом нередко называли Байрона. Поэтому, создавая книгу об Эвфорионе от первого лица, Ницше примеряет позу как Фауста, так и Байрона.

Сохранилась лишь первая страница романа. Она открывается описанием Эвфориона в его кабинете:

«Багрянец утра сияет в многоцветных небесах — потухший фейерверк, как скучно... Передо мной стоит чернильница, чтобы утопить мою черную душу; лежат ножницы, которыми легко перерезать собственное горло; рукописи, которыми можно подтереться, и ночной горшок.

Если только Мучитель придет помочиться на мою могилу... думаю, гораздо приятнее разлагаться во влажной земле, чем расти под голубым небом, быть жирным червем слаще, чем человеческим существом, этим ходячим знаком вопроса...

“Неподалеку живет монахиня, которую я иногда посещаю, чтобы насладиться ее безупречной добродетелью... Раньше она была монахиней тонкой и хрупкой; я был ее доктором и увидел, что вскоре она наберет вес. С нею живет ее брат, они состоят в браке; он казался мне слишком толстым и цветущим — я сделал его худым и тощим, как труп...” Здесь Эвфорион откинулся назад и простонал, потому что страдал от заболевания спинного мозга»¹ [15].

¹ Здесь и далее при цит. «Эвфориона» част. исп. пер. А. В. Милосердовой из кн.: Р. Дж. Холлингдейл. Фридрих Ницше: Трагедия неприкаянной души. М.: Центрполиграф, 2004.

На этом месте, к счастью, обрывается единственная сохранившаяся страница рукописи.

Нельзя не рассказать еще об одном юношеском фрагменте. Обычно этот текст считается рассказом о каком-то реальном событии — видении или таинственном посещении духов, которое, возможно, даже стало первым этапом пути к сумасшествию. В таком случае он действительно очень важен, однако, учитывая наличие «Эвфориона», это может быть всего лишь еще один юношеский литературный эксперимент: «Я боюсь не того ужасного призрака за моим креслом, но его голоса; не слов, но ужасного неразборчивого и нечеловеческого тона этого призрака. О, если бы он хотя бы говорил, как человеческие существа!» [16]

В Пфорте ужасные приступы хронической болезни Ницше: ослепляющие головные боли, сочащийся из ушей гной, «катар желудка», рвоту и головокружение — лечили унижительными средствами. Его клали на кровать в темной комнате, привязывая к мочкам ушей пиявок, чтобы они отсосали кровь из головы. Иногда пиявок прикладывали и к шее. Фридрих ненавидел подобное лечение, понимая, что ничего хорошего оно ему не несет. С 1859 по 1864 год зафиксировано двадцать случаев его заболеваний, которые в среднем длились неделю.

«Я должен к этому привыкнуть», — писал он.

Он носил дымчатые очки, чтобы защитить чувствительные глаза от причиняющего боль солнечного света, и школьный врач не проявлял оптимизма, предсказывая полную слепоту.

Но физические ограничения и мрачные прогнозы только побуждали его использовать каждую свободную минуту. Он отличался невероятной жадной работы. Помимо школы, он решил основать литературное братство вместе с двумя друзьями детства — Густавом Кругом и Вильгельмом Пиндером, которые продолжали учиться в гимназии при Наумбургском соборе, не сумев попасть в элитные ряды Пфорты. Три мальчика назвали свое литературное общество «Германией» — возможно, в честь исторического труда Тацита [17]. Учредительное собрание состоялось в летние каникулы 1860 года, в башне с видом на Заале. Было произнесено множество братских клятв и опустошена бутылка дешевого красного вина, которую затем бросили в реку. Каждый поклялся ежемесячно что-нибудь создавать: поэму или эссе, музыкальное сочинение или архитектурный проект. Остальные обязывались критиковать творение «в дружеском духе взаимных поправок».

За три года Ницше создал тридцать четыре произведения самого разного характера: и Рождественскую ораторию, и «Образ Кримхильды в “Песни о нибелунгах”», и «К демоническому элементу в музыке». Ницше продолжал работать еще долго после того, как остальным это наскучило. «Каким образом можно подстегнуть нашу творческую активность?» — писал он с явным отчаянием в протоколе собрания общества в 1862 году.

На следующий год он заинтересовался девушкой. Анна Редтель была сестрой его школьного приятеля. Она вместе с братом пошла на горную прогулку и привлекла внимание Ницше изящным танцем на полянке. Они стали танцевать вместе. Это была невысокая, тоненькая девушка из Берлина — очаровательная, добродетельная, воспитанная и музыкальная. По сравнению с нею Ницше казался крупным, широкоплечим, сильным, весьма серьезным и негибким. Она хорошо играла на фортепиано, и во время исполнения фортепианных дуэтов они еще больше сдружились. Он посылал ей стихи и посвятил музыкальную рапсодию. Когда Анне пришла пора возвращаться в Берлин, он вручил ей папку с несколькими собственными сочинениями для фортепиано. Она поблагодарила его в коротком письме. На этом первая еще мимолетная встреча Ницше с любовью завершилась.

1864 год стал для него последним в школе. Времени заниматься чем-то помимо учебы почти не осталось. Он должен был сосредоточиться на написании оригинальной и важной работы — *Valediktionsarbeit*, чтобы сдать *Abitur* — вступительный экзамен в университет.

«В последние годы учебы в Пфорте я работал над двумя филологическими сочинениями сразу. В одном я намеревался рассмотреть различные варианты саг о короле остготов Эрманарихе в их связи с источниками (Иордан, “Эдда” и т. д.); в другой — обрисовать портрет тиранов в древнегреческой Мегаре; по мере работы он стал портретом мегарца Феогида» [18].

От Феогида Мегарского, древнегреческого поэта VI в. до н. э., до нас дошло менее 1400 строк. Это роднило Феогида с другими любимыми персонажами Ницше — Эмпедоклом и Диогеном Лаэртским — и давало самому Ницше свободу действий. «Я построил множество гипотез и предположений, — писал Ницше по поводу сочинения о Феогиде, — но планирую завершить работу с требуемой филологической тщательностью и притом как можно более научным образом». Филологическая наука и тщательность действительно торжествуют

в «О Феогниде Мегарском» (De Theognide Megarensi). Он написал работу всего за неделю, в начале летних каникул. Сорок две страницы мелким почерком на латыни поразили филологов из числа педагогов Пфорты. Ему следовало посвятить остаток летних каникул математике, но он этого не сделал. По возвращении в школу возмущенный учитель математики профессор Бухбиндер потребовал не допускать его к вступительным экзаменам в университет.

«Он никогда не показывал прилежания в математике и всегда откатывался назад как в письменных, так и в устных работах по этому предмету; его познания нельзя признать даже *удовлетворительными*», — выговаривал Бухбиндер. Однако его ворчание не встретило поддержки у коллег, которые спросили: «Вы, кажется, предлагаете прокатить самого одаренного ученика в истории Пфорты?» [19]

«Все получилось! — восклицал Ницше 4 сентября. — О, пришли славные дни свободы!» И он покинул Пфарту в обычной для нее пышной манере, помахивая рукой из окна убранной гирляндами кареты, которую сопровождали ярко разодетые фореиторы.

Отчет школьного врача гласил: «Ницше — крепкое, плотное существо с пристальным взглядом. Он близорук, и его часто тревожат головные боли. Его отец умер молодым от размягчения мозга, а родился от пожилых родителей; сын родился, когда отец был уже весьма плох. Пока дурных симптомов нет, но предпосылки стоит принять во внимание».

Прощальное описание Пфарты Ницше тоже едва ли можно было назвать комплиментарным:

«Я создал своеобразный тайный культ искусств... Я сохранил свои личные наклонности и стремления от унифицирующих школьных правил; я пытался нарушить строгость расписаний и распорядков, этими правилами регулируемых, отдаваясь чрезмерной страсти к всеобщему познанию и развлечению... Мне нужен был противовес постоянно меняющимся и беспокойным наклонностям — наука, которую можно было бы изучать с холодной тщательностью, чистой логикой, путем постоянной работы, а результаты работы не должны были бы затрагивать меня слишком глубоко... Как хорошо обучен — и как плохо образован ученик княжеского учебного заведения!» [20]

3

Будь, каков есть

Короче, на сотню ладов можешь ты внимать своей совести. Но то, *что* ты выслушиваешь то или иное суждение как голос совести, — стало быть, ощущаешь нечто, как правильное, — может иметь свою причину в том, что ты никогда не размышлял о самом себе и слепо принимал то, что с детских лет внушалось тебе как *правильное*...¹

Веселая наука. Книга IV, 335

Впоследствии Ницше считал 1864 год пошедшим насмарку. В октябре он поступил в Боннский университет. Как послушный сын, он пошел на факультет теологии, хотя гораздо больше интересовался классической филологией. Выбор Бонна определялся тем, что в числе преподавателей там были два выдающихся классических филолога — Фридрих Ричль и Отто Ян. Курс теологии был ему скучен, и он грустил по матери и сестре: Бонн находился от Наумбурга почти в 500 километрах. Впервые в жизни они оказались друг от друга так далеко, что пешком было уже не дойти. Но даже тоскуя по родным, он умудрился использовать расстояние между ними себе во благо, хотя и не самым честным образом: те все еще думали, что он собирается посвятить жизнь церкви, и он не спешил их разубеждать.

Он посчитал, что до этого момента жил слишком ограниченно. Чтобы покончить с полным незнанием окружающего мира, можно было вступить в *Burschenschaft* — студенческое братство. Это движение впо-

¹ Здесь и далее «Веселая наука» цит. в пер. К. А. Свасьяна.

следствии обрело дурную репутацию, поскольку стало ассоциироваться с гитлерюгендом. Но в 1815 году, когда оно только зародилось, его целью было создание общих либеральных культурных ценностей для поколения немецких студентов по всему Германскому союзу. Однако союз настолько пристально следил за интеллектуальной деятельностью студенческих братств из опасения, что они перерастут в беспокойные политические общества, что им оставалось только гулять по горам, распевать песни, драться на дуэлях да пить пиво. Ницше вступил в довольно разборчивое франконское братство, ожидая, что приобщится к ученым дискуссиям и парламентским дебатам, но вскоре обнаружил, что только и успевает поднимать кружку и петь застольные песни общества. Пытаясь стать своим, он погрузился, по собственным словам, в какую-то странную круговерть из беспорядочных движений и лихорадочного возбуждения.

«Поклонившись самым вежливым образом во всех возможных направлениях, представляюсь вам членом Германской ассоциации студентов «Франкония», — писал он дорогим маме и Ламе. Должно быть, даже они устали от множества однотипных писем, в которых он описывал прогулки «Франконии», неизменно начинавшиеся с торжественного марша в поясах и шапках общества, сопровождавшегося похотливыми песнями. Маршируя вслед за гусарским отрядом («что привлекало много внимания»), обычно они повышали градус веселья в каком-нибудь трактире или в хибаре крестьянина, чье гостеприимство и крепкий алкоголь принимались со снисходительной любезностью. Внезапно появился у Ницше и новый приятель — Гассман, редактор *Beer Journal* («Пивного журнала»).

Необходимым для чести студента считался шрам, полученный на дуэли, и Ницше для его получения прибег к необычному методу. Когда он рассудил, что момент настал, то совершил весьма приятную прогулку с неким г-ном Д., принадлежавшим к враждебной «Франконии» ассоциации. Ницше пришло в голову, что г-н Д. мог бы стать отличным соперником, и он сказал: «Вы мне весьма нравитесь — может быть, устроим завтра дуэль? Давайте пропустим все необходимые вступления». Это, конечно, едва ли соответствовало какому-либо дуэльному кодексу, но г-н Д. любезно согласился. Секундантом выступил Пауль Дойссен. Он рассказывал, как сверкающие клинки плясали вокруг незащищенных голов участников на протяжении примерно трех минут, пока г-н Д. не попал Ницше по переносице. Выступила кровь; честь была удовлетворена. Дойссен перевязал друга, погрузил его в карету, отвез домой и уложил в постель. Пара дней — и он полностью оправился [1]. Шрам так мал, что на фотографиях его не видно, но Ницше

им невероятно гордился. Он понятия не имел, как смеялись друзья г-на Д., когда тот пересказывал им эту историю.

«Франконцы» часто ходили по борделям Кельна. Ницше посетил город в феврале 1865 года, наняв гида, чтобы тот показал ему собор и другие достопримечательности. Он попросил отвести себя в ресторан, и гид, похоже, решил, что юноша слишком скромн, чтобы попросить о том, что ему действительно нужно, и привел его в бордель. «Внезапно я оказался в окружении полудюжины созданий в блестках и газе, которые выжидательно смотрели на меня. Некоторое время я стоял перед ними совершенно ошарашенный; затем, словно движимый инстинктом, я направился к фортепиано — единственному, что там обладало душой, и взял один-два аккорда. От музыки оцепенение прошло, и я мигом выскочил оттуда» [2].

Вот и все, что мы знаем об этом эпизоде, однако в литературе о Ницше и мифе о нем он оставил глубокий след. Некоторые считают, что Фридрих вовсе не ограничился взятием нескольких аккордов на фортепиано и ушел совсем не сразу, а воспользовался заведением по прямому назначению и в результате подцепил сифилис, откуда и берут корни его дальнейшие проблемы с психическим и физическим здоровьем. Одно из доказательств состоит в том, что в 1889 году, уже после помешательства, в сумасшедшем доме он говорил, что «заразился дважды». Врачи решили, что речь идет о сифилисе. Однако если бы они заглянули в его историю болезни, то узнали бы, что дважды он переболел гонореей, о чем сообщал врачам еще в здравом уме.

Томас Манн сделал эпизод с борделем ключевым в своем огромном романе «Доктор Фаустус», где он пересказывает легенду о Фаусте, представив в качестве главного героя Ницше. Манн показывает, что ночь в борделе была той самой ночью, когда Ницше-Фауст продает свою душу дьяволу за женщину, которую он желает. Она становится его навязчивой идеей, его суккубом. В ранних версиях истории о Фаусте такой женщиной обычно выступает Елена Троянская, но Манн почему-то выводит в этой роли на сцену Русалочку Ханса Кристиана Андерсена — бедное создание, которое ради любви мужчины вынуждено терпеть ужасные муки: ее рыбий хвост превратился в человеческую промежность, язык отрезан, а при каждом шаге, сделанном ее новыми человеческими ногами, в плоть словно вонзалось множество острых клинков. Вероятно, это больше говорит нам о Манне, чем о Ницше.

В течение тех двух семестров, что Ницше провел в Бонне, музыка и ее сочинение оставались его главной страстью. Он написал длинную

пародию на «Орфея в аду» Оффенбаха, что снискало ему в братстве «Франкония» прозвище Глюк. Он возложил венок на могилу Роберта Шумана, а покупка фортепиано загнала его в такие долги, что не хватило средств на поездку домой к матери и сестре на каникулы. Заметив, что деньги у него постоянно утекают — «возможно, потому что монеты такие круглые» [3], он отправил вместо себя сборник своих музыкальных сочинений (в то время очень напоминавших Шуберта по стилю), переплетенный в дорогой бледно-лиловый сафьян и снабженный чрезмерно подробными указаниями, как именно его дорогая Лама должна их играть и петь: серьезно, печально, энергично, эффектно или же с большой страстью. Даже вдали от любимых женщин он стремился не ослаблять контроля над ними.

Пасху после инцидента в борделе он провел дома и даже отказался пройти в церкви таинство Причащения. Практикующим христианам причащаться на Пасху обязательно, так что это был не вялый протест, а причина настоящего ужаса мамы и Ламы, для которых отступничество Фридриха означало предательство единственной цели в жизни — общего воссоединения в раю с любимым пастором Ницше.

Ницше еще не полностью потерял веру, но его уже мучили серьезные сомнения. Еще в своей студенческой комнате, ставшей настоящим святилищем его умершего отца (чей портрет стоял на фортепиано рядом с картиной маслом, изображавшей снятие с креста), он читал книгу Давида Штрауса «Жизнь Иисуса» и составлял список из 27 научных книг, которые намеревался прочитать далее.

Вместе со всем своим поколением он старался нащупать зыбкую грань между наукой и верой — то была самая насущная проблема его времени. Слепая вера в Бога постепенно заменялась столь же слепой верой в ученых. Те утверждали, что открыли загадочную природу материи, которая якобы крылась в некой «биологической силе», объяснявшей все удивительное разнообразие мира природы.

Энциклопедия того времени объясняла образование Вселенной весьма сходным с Эмпедоклом образом: «вечный дождь из разрозненных молекул, падавших различными способами, пожиравших себя в падении и создававших водоворот» существовал в эфире — «светоносной эластичной твердой среде, заполняющей все пространство, через которое волнами переносятся свет и тепло». Свет «нельзя было объяснить каким-то иным образом», хотя оставалось загадкой, «как Земля может проходить сквозь эфир со скоростью почти миллион миль в день. Но если вспомнить, что сапожная вакса разбивается под ударом молотка,

однако, подобно жидкости, затекает в трещины сосуда, где хранится, что пули в ней медленно тонут, а пробки медленно всплывают, то движение Земли сквозь эфир уже не кажется столь непостижимым» [4].

Вселенную объясняли на примере сапожной ваксы; вера в науку становилась не менее иррациональной, чем вера в Бога. Книга Штрауса подходила к жизни Иисуса «научным образом». Ницше называл Штрауса молодым филологическим львом, снимающим шкуру с теологического медведя. Если христианство подразумевало веру в историческое событие или историческую личность, то он не хотел иметь с ним ничего общего.

Лама требовала пояснений. Он писал ей: «Всякая подлинная вера и так безошибочна — она выполняет то, что на нее возлагается, однако не дает ни малейших оснований для доказательства объективной истины. И вот здесь пути людей расходятся: если ты стремишься к душевному покою и счастью, что ж — веруй; если же хочешь посвятить себя истине, тогда исследуй»¹ [5].

За два семестра в Бонне он мало чего достиг. Он влез в долги и стал спать допоздна. Букет болезней пополнился ревматизмом в руке. Он стал саркастичным и раздражительным, явно жалея о времени и деньгах, потраченных на «пивной материализм» и «бездумное панибратство» «Франконии». Очень удачно разлад между двумя профессорами филологии — Яном и Ричлем — настолько усугубился, что Ричль уехал из Бонна, чтобы преподавать в Лейпцигском университете. За ним последовал Ницше. Новое начало отлично ему подходило. Каждое утро он вставал в пять утра и шел на занятия. Он основал Классическое общество, которое соответствовало ему явно больше, чем братство «Франкония». Местное кафе он превратил в «подобие филологической биржи» и купил себе шкаф для хранения газет и журналов. Он вступил в процветающее Филологическое общество и писал на латыни работы по всем нерешенным вопросам классической филологии: «Недавно мне удалось найти доказательство того, что мифологический словарь *Violarium* Евдокии Макремволитиссы восходит не к энциклопедии “Суда”, а к ее главному источнику — изложению “Компендиума всемирной истории” Исихия Милетского (конечно, утраченному)...» [6]

Ницше обладал даром оживлять самые сухие темы — редкий талант на филологическом поприще. Его выступления охотно посещались. Он стал популярен. Он был полностью свободен от филистерского педан-

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

тизма. Один из его однокурсников вспоминал: «С его выступлений я уходил под впечатлением поразительно ранней зрелости и спокойной уверенности в себе» [7]. Он отдавал Гомеру предпочтение перед Гесиодом и поразил преподавателей, выступив против общего мнения о том, что Одиссея и Илиада — народное творчество, записанное несколькими поэтами, утверждая, что было бы невозможно, если бы такой выдающийся памятник литературы не создал один великий творец. Ричль хвалил его работу о Феогниде, а за эссе о Диогене Лаэртском он получил награду. Озаглавил он эссе строчкой из одной из «Пифийских песен» Пиндара, которые ценил всю жизнь: «Будь, каков есть: А ты знаешь, каков ты есть»¹ [8].

Ницше вступил на путь становления, но тут вмешалась судьба в виде территориальных претензий Бисмарка, чья экспансионистская политика стала причиной ряда мелких войн, имевших целью выдвинуть на первый план в Германии не Германский союз, а Пруссию. Германия же должна была оказаться на передовой Европы.

В 1866 году Пруссия вступила в короткую войну с Австрией и Баварией и одержала победу. Прусская армия оккупировала Саксонию, Ганновер и Гессен и объявила, что Германская конфедерация более не существует. В следующем, 1867 году проблемы продолжились, и Ницше был призван рядовым в конное подразделение полевого артиллерийского полка, расквартированного в Наумбурге. Ему доводилось брать уроки верховой езды, но его знание лошадей не было доскональным.

«Да, дорогой мой друг, если некий демон однажды рано поутру, скажем, между пятью и шестью, проведет тебя по Наумбургу и вознамерится направить твои стопы в мою сторону, не поражайся картине, которая предстанет твоим органам чувств. Внезапно ты вдыхаешь запах конюшни. В тусклом свете фонаря вырисовываются какие-то фигуры. Вокруг раздается ржание, стук копыт, что-то скребут, чистят щеткой. И посреди в кучерском наряде судорожно разгребаящий голыми руками кучу Невыразимого и Неприглядного или же чистящий скребком лошадь — мне страшен лик, полный страшной муки: это ж, черт побери, я сам.

Спустя пару часов ты видишь двух лошадей, гарцующих в манеже, не без всадников, один из которых очень похож на твоего друга. Он скачет на своем огненном, ретивом Балдуине и надеется стать однажды хорошим наездником, хотя (или, вернее, поскольку) он теперь ездит только на покрытии, со

¹ Пер. М. Л. Гаспарова.

шпорами и шенкелями, но без хлыста. Еще ему нужно поскорее разучиться всему, что он слышал в Лейпцигском манеже, и прежде всего перенять уверенную полковую посадку.

В другое время суток он трудится внимательно и прилежно у орудия... прочищая ствол шомполом или рассчитывая дюймы и градусы. Но прежде всего ему нужно многому еще научиться.

Могу уверить тебя, что у моей философии появилась сейчас отличная возможность сослужить мне практическую службу. Ни единого мгновения до сих пор я не чувствовал униженности, зато очень часто мне доводилось улыбаться каким-то вещам, как чему-то сказочному. Порой я украдкой шепчу из-под брюха лошади: “Помоги, Шопенгауэр”...»¹ [9]

Артиллеристов учили вскакивать на лошадь на ходу, храбро прыгая в седло. Из-за близорукости у Ницше был неважный глазомер, и в марте он промахнулся, налетев грудью на твердую луку седла лошади. Он стоически продолжал упражнения, но вечером ему стало хуже, и с глубокой раной в груди пришлось лечь в постель. Десять дней на морфии не принесли облегчения, и военный врач вскрыл грудную клетку; но и через два месяца из раны на груди сочился гной — заживать она отказывалась. К ужасу Ницше, в груди обнажилась небольшая косточка. Ему было велено промывать полость ромашковым чаем и раствором нитрата серебра и принимать ванну три раза в неделю. Но и это не дало желаемого результата; пошли разговоры об операции. За консультацией обратились к знаменитому доктору Фолькманну из Галле, и он рекомендовал лечение соленой водой на источниках Виттекинда. Эта небольшая деревенька на водах была довольно мрачным, дождливым и сырым местом, да и окружающие больные не настраивали на позитивный лад. Чтобы избежать банальных разговоров, за едой он сидел за столом с глухонемым. К счастью, лечение сработало: раны затянулись, оставив лишь глубокие шрамы, и он сумел покинуть столь мрачное место.

В октябре его объявили временно негодным к активной службе и комиссовали из армии до следующей весны. После этого он должен был явиться на месячные сборы по обращению с оружием, что едва ли могло поспособствовать успешному окончательному заживлению ран. 15 октября он отметил свой двадцать четвертый день рождения, а через три недели состоялась знаменитая первая встреча с Рихардом

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

Вагнером, вскоре после чего Ницше получил предложение возглавить кафедру филологии в Базеле.

Это было невероятное предложение, ведь Ницше, в конце концов, все еще оставался студентом. Он провел два семестра в Боннском университете и два в Лейпциге и еще не получил степени, но его заслуженный учитель Ричль рекомендовал его на должность как совершенно блестящего ученика. Кафедру ему предложили 13 февраля 1869 года, и 23 марта в Лейпциге ему без экзаменов присвоили докторскую степень, чтобы он мог принять предложение. В апреле его назначили профессором классической филологии Базельского университета, положив жалованье в три тысячи франков. Ницше невероятно гордился тем, что стал самым молодым профессором в истории университета, и потратил часть денег на одежду, принимая отчаянные меры, чтобы отказаться от молодежной моды и усвоить себе стиль, который делал бы его старше.

Он имел определенные предубеждения против швейцарцев, подозревая, что они окажутся расой «аристократических филистеров», и против Базеля — состоятельного, консервативного города, разбогатевшего на торговле тканями, с безупречными гостиницами, непогрешимыми олдерменами и маленьким университетом всего на 120 студентов, большинство из которых изучали теологию.

Университет настаивал, чтобы он отказался от прусского гражданства, не желая, чтобы его снова призвали в армию. Ему предложили стать гражданином Швейцарии, но, отказавшись от гражданства Пруссии, он так и не предпринял шаги для получения швейцарского. В результате до конца жизни он оставался лицом без гражданства, что, по его мнению, было лучше, чем вступать в ряды филистеров.

«Меня гораздо больше устроило бы оставаться базельским профессором, чем Богом»¹ [10], — говорил он; именно здесь он впервые обнаружил, насколько ему нравится преподавать. По контракту он должен был работать не только в университете, но и в местной средней школе — Педагогиуме. Он вел историю древнегреческой литературы, курс религии древних греков, платоновскую и доплатоновскую философию, а также греческую и римскую риторику. Под его руководством ученики штудировали «Вакханок» Еврипида и писали работы о дионисийском культе.

Его ученики единодушно утверждали, что «складывалось впечатление, словно они сидели не с педагогом, а у ног живого эфора [один из

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

магистратов древней Спарты, деливших власть с царем] из античной Греции, пересекшего время, чтобы явиться среди них и поведать о Гомере, Софокле, Платоне и их богах. Он говорил так, словно сам это пережил и исходил из собственных знаний о вещах самоочевидных и по-прежнему абсолютно правомерных, — таково было впечатление, которое он производил на них»¹ [11].

Но все это доставалось Ницше дорогой ценой. Один из его учеников описывал трудные для Ницше дни, когда больно было даже смотреть на то, как он читает лекцию. Стоя за кафедрой, он почти утыкался лицом в блокнот, несмотря на толстые стекла. Говорил он медленно и с трудом, делая длинные паузы между словами. Невыносимое напряжение чувствовалось во всем: казалось даже сомнительным, что он справится с задачей [12].

Его очень бодрила энергия Рейна. Заходя в класс, ученики часто заставляли его стоящим у открытого окна и замороженным постоянным рокотом реки. Гулкое эхо реки отражалось от высоких стен домов в узких средневековых улочках и сопровождало его в прогулках по городу. Он был весьма стильным господином чуть ниже среднего роста (как он любил подчеркивать — одного роста с Гёте), плотного телосложения, тщательно и элегантно одетым, с большими усами и глубоко посаженными задумчивыми глазами. Серый цилиндр, вероятно, был частью стратегии взросления, поскольку в Базеле такой же был только у одного очень пожилого государственного советника. В дни, когда здоровье особенно его беспокоило, Ницше надевал вместо цилиндра плотный зеленый козырек для защиты чувствительных глаз от солнца.

Пока Ницше заступал на профессорскую должность в Базеле, Вагнер жил в Люцерне на вилле Трибшен на берегу озера. Доехать в Люцерн из Базеля на поезде можно было довольно быстро, и Ницше охотно принял предложение композитора продолжить разговор о Шопенгауэре и побольше узнать о навешанной Шопенгауэром опере Вагнера «Тристан и Изольда».

Философия Шопенгауэра в основном изложена в его объемной книге «Мир как воля и представление» (*Die Welt als Wille und Vorstellung*, 1818), где он развивает идеи Канта и Платона.

Мы живем в физическом мире. Все, что мы видим, осязаем, воспринимаем или испытываем, — это представление (*Vorstellung*), но за представлением кроется истинная суть объекта, его воля (*Wille*). Мы

¹ Пер. А. В. Милосердовой.

осознаем себя как в восприятии, с помощью которого мы познаем внешний мир, так и совсем по-другому, изнутри — как «волю».

Представление находится в состоянии бесконечного томления и бесконечного становления, стремясь воссоединиться с волей — состоянием, способным к совершенствованию. Представление может порой слиться с волей, но это вызывает лишь дальнейшую неудовлетворенность и томление. Человеческий гений (который встречается редко) может достичь единства воли и представления, но для остального человечества это невозможно и достижимо только в смерти.

Вся жизнь — это томление по невозможному состоянию; следовательно, вся жизнь — страдание. Кант писал с христианских позиций, и это делало вечно несовершенное и вечно жаждущее состояние эмпирического мира хоть как-то выносимым, поскольку, если достаточно стараться, вас может ожидать какой-то счастливый конец. Возможно было и искупление через Христа.

Шопенгауэр же испытал значительное влияние буддистской и индуистской философии с их самоотрицающим акцентом на страдании, предназначении и судьбе, а также на том, что удовлетворение желаний ведет лишь к новым желаниям. Чувство постоянного движения на ноуменальном (метафизическом) уровне воли разрешается томлением по небытию.

Шопенгауэр известен как философ-пессимист, но для такого молодого человека, как Ницше, который все больше проникался идеей невозможности христианства, он являл собой жизнеспособную альтернативу Канту. Именно влиянием Канта была пронизана немецкая философия того времени, не в последнюю очередь благодаря тому, что неотъемлемой частью немецкого общества было христианство, поставленное государством на службу консервативной, националистической политике. Все это делало Ницше и Вагнера изгоями в своем отечестве, против чего они, разумеется, вовсе не возражали.

Ницше был далек от некритического толкования Шопенгауэра. Например, он изучил «Историю материализма и критики его значения в настоящее время» (*Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart*) Фридриха Ланге и сделал ряд пометок.

«1. Мир чувств — продукт нашей организации.

2. Наши видимые (физические) органы, как и все остальные предметы феноменального мира, являют собой лишь образы неизвестного объекта.

3. Таким образом, наша реальная организация так же нам неизвестна, как реальные внешние предметы. Перед нами не что иное, как продукты того

и другого. Таким образом, истинная суть вещей — вещь-в-себе — не просто нам неизвестна: сама ее идея — не более и не менее как конечный продукт антитезиса, определяемого нашей организацией; антитезиса, о котором мы не знаем даже, имеет ли он какое-то значение вне нашего опыта» [13].

Идеей свободного падения в незнание Шопенгауэр затронул в нем что-то глубоко эмоциональное, дал ему утешение. Предположение, что вся жизнь есть состояние страдания, нравилось ему больше остальных, ведь его бедное тело постоянно страдало от хронических болезней и часто мучилось от сильной боли. Конечно же оно томилось по идеальному состоянию. Так и сам он томился по своему истинному «я», которое помогло бы понять и оправдать существование. На этом этапе его особенно заботило, что же такое истинное «я». Шопенгауэр утверждал, что мы не можем понять единство нашего истинного «я», поскольку наш интеллект постоянно делит мир на части — да и может ли быть иначе, если сам этот интеллект — лишь малая часть, лишь фрагмент нашего представления?

Ницше принимал это очень близко к сердцу. «Самое неприятное, что мне все время приходится кого-то из себя изображать — учителя, филолога, человека» [14], — писал он вскоре после принятия кафедры в Базеле. Этому вряд ли можно удивляться, учитывая, что молодой человек одевался как старик, чтобы изображать мудрость; старшекурсник изображал профессора; ожесточенный сын изображал перед раздражающей его матерью доброго и послушного, любящего, преданного памяти отца-христианина, меж тем как сам полностью терял христианскую веру. И теперь, как будто бы всего перечисленного было недостаточно, вставал еще вопрос об отсутствии гражданства, формальной идентичности человека, который изображал все это. Раздробленный на куски, он оказался в чисто шопенгауэровском состоянии борьбы и страдания, став человеком, который даже не понимает своей истинной воли, а не то что не приближается к ней.

Напротив, Вагнер, по крайней мере по собственному мнению, проделал такой долгий путь по шопенгауэровской философии, что уже достиг статуса гения. Он был настолько уверен, что его воля и представление слились воедино, что он и его возлюбленная Козима в шутку называли себя шопенгауэровскими именами. Он был *Will* (Воля), а она — *Vorstell* (Представление).

Для Шопенгауэра музыка была единственным искусством, способным открыть правду о природе реального бытия. Другие искусства — живопись или скульптура — могли быть лишь представлениями представлений. Это

только отдаляло их от подлинной реальности — воли. Музыка же, не имея формы и ничего не представляя, имела возможность непосредственного доступа к воле, минуя интеллект. Открыв для себя Шопенгауэра еще в 1854 году, Вагнер стал пытаться сочинять то, что Шопенгауэр называет «подвешенным состоянием». Музыка по-шопенгауэровски должна была быть максимально приближена к жизни — двигаться от диссонанса к диссонансу, что разрешалось только в момент смерти (в музыке — на финальной ноте произведения). Слух, как мятущаяся душа, постоянно стремится к этому окончательному решению. Человек — это воплощенный диссонанс; таким образом, музыкальный диссонанс должен быть самым эффективным художественным средством изображения боли человеческого существования.

Композиторы прошлых лет считали себя обязанными соблюдать музыкальную форму и следовать прежним правилам, заключая свои сочинения в рамки формальной (и формульной) структуры симфонии или концерта. Слушая эти произведения, вы могли оценить их личный вклад в исторически непрерывное развитие музыки. Если вы знали язык эпохи, то могли легко разместить их на исторической шкале.

Но Шопенгауэр поставил под сомнение саму идею истории, объявив время лишь формой нашей мысли. Это освободило Вагнера от необходимости создавать узнаваемое представление. Ницше описывал вагнеровскую *Zukunftsmusik* («Музыку будущего») как торжествующую кульминацию всех искусств, поскольку она не затрудняла себя, как остальные, образами феноменального мира, а непосредственно разговаривала на языке воли. Исходя из самых глубинных источников, музыка была предельным проявлением воли. А музыка Вагнера словно бы накладывала на Ницше какое-то заклятие, которое со временем становилось только сильнее: он не мог слушать ее спокойно, трепетал и вибрировал всем своим существом. Ничто не рождало в нем столь продолжительного и глубокого ощущения экстаза. Ведь то, что он испытывал, было чувством непосредственного прикосновения к воле! Он жаждал возобновить знакомство с маэстро.

Пробыв в Базеле три недели, Ницше решил, что взял дела в университете под достаточный контроль, чтобы нанести визит Вагнеру. Его не беспокоило, что Вагнер был более чем в два раза старше и обладал мировой известностью, а приглашение в гости было сделано полгода назад. В субботу, 15 мая 1869 года, Ницше сел на поезд до Люцерна, достиг пункта назначения, вышел и направился вдоль Люцернского озера к дому Вагнера.

Толстостенный и импозантный Трибшен, построенный в 1627 году, — старинный особняк, напоминающий сторожевую башню. Многочисленные симметрично расположенные окна выглядывают из-под пирамидальной красной крыши с крутым уклоном. Он возвышается над треугольным кулаком скал, вдающихся в озеро, словно разбойничье гнездо, откуда видно все подступы. Ницше никак не мог подойти незамеченным — как и все посетители, он должен был смутиться под испытующими взорами окон. Из дома доносились агонизирующие, бередящие душу, снова и снова повторяемые на пианино аккорды из «Зигфрида». Он позвонил в дверь. Появился слуга. Ницше вручил визитную карточку и стал ждать, чувствуя себя все более неловко. Он уже собирался уйти, когда его поспешно догнал слуга. Он ли господин Ницше, с которым маэстро встречался в Лейпциге? Да, именно так. Слуга снова ушел, затем вернулся и объявил, что маэстро сочиняет и его нельзя беспокоить. Не мог бы господин профессор вернуться к обеду? К сожалению, обеденное время занято. Слуга снова ушел, снова вернулся. Не мог бы господин профессор прийти на следующий день?

В Духов день у Ницше не было занятий. На сей раз в конце злополучного пути его встретил сам маэстро. Вагнер обожал славу и хорошую одежду. Он отлично понимал важность образа как инструмента передачи идей. Поэтому для встречи с филологом, занимающимся изучением и продолжением античных традиций, он облачился в наряд «художника эпохи Возрождения»: черный бархатный жилет, бриджи до колен, шелковые чулки, туфли с пряжками, небесно-голубой шейный платок и рембрандтовский берет. Его приветствие было теплым и искренним. Он провел Ницше через удивительно длинную анфиладу комнат, обставленных несколько избыточно: во вкусах композитор совпадал со своим царственным патроном королем Людвигом.

Многие посетители отмечали, что Трибшен показался им слишком розовым и переполненным купидончиками, но подобное убранство было для Ницше в новинку и произвело большое впечатление, ведь до того его жизнь протекала в подчеркнуто аскетичных, протестантских помещениях. Стены Трибшена были обиты красной и золотой камчатной тканью, кордовской дубленой кожей или фиолетовым бархатом особого оттенка, специально выбранным, чтобы наилучшим образом подчеркнуть белизну мрамора огромных бюстов короля Людвига и самого Вагнера. Был тут и ковер, сотканный из брюшных перьев фламинго и павлиньих перьев. На высоком пьедестале стоял диковинно хрупкий, украшенный причудливыми завитками кубок из красного

богемского стекла, пожалованный Вагнеру королем. Доказательства славы композитора, подобно охотничьим трофеям, были развешаны по стенам: вянувшие лавровые венки, программки с автографами, изображения мускулистого златовласого Зигфрида, побеждающего дракона; одетых в кирасы валькирий, штурмующих небеса, подобно грозovým облакам; Брунгильды, пышущей радостью после пробуждения на скале. В витринах лежали безделушки и драгоценности, как бабочки на игле. Окна были затянуты розовым газом и блестящим атласом. В воздухе чувствовался сильный аромат роз, нарциссов, тубероз, сирени и лилий. Никакой запах не был слишком густым, никакая цена — слишком высокой: можно было заплатить и за розовую эссенцию из Персии, и за гардении из Америки, и за фиалковый корень из Флоренции.

Создание *Gesamtkunstwerk* — единого произведения искусства, сочетающего в себе возможности литературной драмы, музыки и театрального представления, — само по себе уже было *Gesamtkunstwerk* и требовало от Вагнера участия всех его чувств. Он говорил: «Если я обязан вновь погрузиться в пучину волн художественного воображения, чтобы найти удовлетворение в воображаемом мире, я должен по крайней мере развить свое воображение, для чего найти средства развития этих способностей. Поэтому я не могу жить как собака. Я не могу спать на соломе и пить обычный джин: я наделен весьма раздражительной, острой и ненасытной, но при этом нежной и трепетной чувственностью, которой так или иначе следует воздавать должное, если я хочу как-то решить ужасающе сложную задачу создания в своем воображении несуществующего мира» [15].

Помещение, из окна которого Ницше слышал звуки «Зигфрида», оказалось зеленой комнатой, предназначенной Вагнером для сочинения музыки. Она представляла собой удивительно тесную, в каком-то смысле мужественную, похожую на рабочую лабораторию каморку, выбивавшуюся из романтической атмосферы Трибшена. Две стены были полностью скрыты книжными полками — напоминание о том, что Вагнер являлся литератором не в меньшей степени, чем композитором: статей, книг и либретто он создал не меньше, чем музыкальных произведений. В фортепиано были встроены шкафчики для перьев и выдвижная столешница, на которой можно было держать свежие листы сочинения, пока на них сохли чернила. Посетители страстно жаждали заполучить эти листы, и Вагнер знал, как выгодно поставить на них автограф и подарить влиятельному поклоннику. Над фортепиано висел большой портрет короля. По какой-то причине в Трибшене считалось

неприличным обращаться к королю Людвигу по имени. Он был «царственным другом». Он посещал Трибшен в одиночестве и инкогнито и даже там заночевал, после чего его спальня была всегда готова к его возвращению. Трибшен был для Людвиг его Рамбуи, его аналогом молочной фермы Марии-Антуанетты. Почти ту же роль он стал играть и для Ницше, оказавшегося единственным, помимо короля, человеком, которому в доме была выделена собственная спальня. За последующие три года он посетит Трибшен двадцать три раза, и особняк навечно останется в его памяти Островом блаженных.

Король Людвиг, плативший по счетам, дал Вагнеру возможность выбрать любое место, чтобы освободить свое воображение от всех приземленных реалий бытия и сосредоточиться на завершении цикла «Кольцо нибелунга», который король обожал. Вагнер выбрал это удивительно живописное место, которое полностью соответствовало кантианскому принципу возвышенного: «Функция чрезвычайного напряжения, испытываемого разумом, который воспринимает нечто огромное и безграничное, превосходящее любые ожидания здравого смысла и вызывающее чувство восхитительного ужаса, чувство спокойствия, смешанного со страхом, которое достигается трансцендентно; это величие, которое может быть сопоставлено лишь с самим собой... оно направляет наши мысли внутрь, и вскоре мы понимаем, что искать возвышенное нужно не в природных объектах, но в наших собственных идеях» [16].

Согласно этому принципу, трансцендентные виды из любого окна в Трибшене могли вызывать у Вагнера и Ницше неизменное состояние творческого вдохновения. За западными окнами закатное солнце освещало вечные снега горы Пилатус. В дохристианскую эпоху она была тем самым Нибельхеймом с легендарными драконами и эльфами, а в христианскую эру была переименована в честь Понтия Пилата, который бежал в Люцерн из Галилеи после распятия Христа. Здесь, снедаемый раскаянием, он взобрался на двухкилометровую вершину горы и бросился с нее в небольшое черное озерцо у ее подошвы. Здесь можно встретить его призрак, блуждающий в полной тишине. Местные проводники расскажут вам, что мертва и сама вода озерца, ведь поверхность его всегда неподвижна и даже самый сильный ветер не вызывает никакой зыби. Проклятое место окружают черные сосны. Много веков ни один дровосек не заходил сюда, боясь спугнуть духа, которому приписывается множество бедствий. Поэтому сосны вокруг озерца выросли очень высокими — они-то, кстати, и сдерживают ветер, так что по воде не идет зыбь. В XIV веке один храбрый священник вошел в темное озеро

и провел над местом самоубийства Пилата обряд экзорцизма. Однако местных жителей это не убедило, и многочисленные грозы, которые гремят над горой и вызывают внезапные бури на Люцернском озере, продолжают приписывать призраку Пилата. Только в 1780-е годы ранние романтики — бледные молодые люди, изможденные пароксизмами поэтических метафор и ценившие кантианское возвышенное и «поэзию сердца» превыше всего, взошли на пользовавшуюся столь дурной репутацией гору. А озеро Пилата, конечно, стало отличным местом для самоубийства многих последователей молодого Вертера, безнадежно увязших в тенетах любви.

Когда Вагнер пригласил Ницше присоединиться к нему в освежающих прогулках по Пилатусу, предприимчивые крестьяне уже выстроили гостиницу и сдавали внаем пони для подъема наверх. Вагнер и Ницше, однако, пренебрегали этой возможностью. Они покоряли скалистые утесы пешком, постоянно напевая и философствуя.

В окна Трибшена, выходящие на озеро, Ницше видел «Разбойничий парк» — невспаханное, покрытое травой и валунами поле, где паслись конь Вагнера Фриц, а также куры, павлины и овцы композитора, заполонившие собой спуск к воде. Вагнер и Ницше любили плавать, спустившись по купальной лестнице, где на водной глади отражались заснеженные горы с дальнего берега озера. Высота горы Риги — около 1800 метров, она несколько ниже Пилатуса, но столь же знаменита тем, что ее рисовал Уильям Тернер, а также забавным световым эффектом, известным как «призрак Риги». В определенных условиях — при одновременном тумане и ярком солнечном свете — призрак виден довольно отчетливо. Он обретает форму огромной человеческой фигуры, силуэта гиганта в небе над вами. Гигант окружен радужным нимбом; на самом деле это не призрак, а ваша собственная фигура, спроецированная на туман. В этом легко убедиться, если от удивления всплеснуть руками. После этого ваши движения будут отражены фигурой в тумане, как будто под увеличительным стеклом. Вагнер нередко приплясывал и выкидывал коленца, заставляя делать то же и свое небесное отражение, пока туман не рассеивался, а с ним не заканчивался и кукольный спектакль [17].

На берегу озера, справа от купальной лестницы Вагнера, стоял маленький лодочный сарай, крытый дранью. Когда Вагнеру нужно было выпустить пар, он велел своему верному слуге Якобу везти его через стада белых лоэнгриновских лебедей, плывших по озеру, в сторону того места, где Вильгельм Телль дразнил своего злокозненного врага ландфогта Гесслера, изрыгая оскорбления, что создавало в горах

бесконечное эхо. Вагнер тоже любил выкрикивать непристойности со своим грубым саксонским акцентом. От этого он раздражался хохотом, который эхо ему немедленно возвращало.

Если дурное настроение не покидало его и после лодочной прогулки, он залезал на сосну и продолжал ругаться оттуда. Однажды он каким-то образом влез по ровному фасаду дома и стал кричать с балкона, но то был исключительный случай, ведь гневался он не на врага, а на самого себя — за то, что он сделал что-то такое, чего стыдился [18].

Когда Ницше нанес Вагнеру первый визит, в доме творилась неразбериха. На следующей неделе ожидался день рождения композитора, и король Людвиг хотел провести этот значимый день с ним. Однако Вагнер разрывался между королем и своей любовницей Козимой. Хотя они с Вагнером были вместе уже так долго, что она родила ему двух дочерей и теперь была беременна от него в третий раз, Козима лишь недавно оставила мужа и переехала к Вагнеру в Трибшен. Вагнер скрывал ее от короля по нескольким причинам. Король был ревностным католиком и не одобрял прелюбодеяний. Кроме того, он обожал Вагнера больше, чем кого-либо в этом мире. Конечно, никаких физических отношений между ними не было — разве что им доводилось припадать к коленям друг друга, проливая горячие слезы, но это была весьма романтическая связь, по крайней мере со стороны Людвига.

Людвиг был ревнивым и властным; он не понимал, почему он не должен занимать первое, и единственное, место в сердце гения, которому он воздавал почести, как языческому идолу, которого поддерживал финансово в невероятных масштабах. Это приводило в ярость его министров и подданных, подозревавших, что Вагнер со своей «музыкой будущего», опустошая государственную казну, попросту дурачит их милого, прекрасного, наивного юного монарха и одевает его в смехотворный наряд из андерсеновского «Нового платья короля».

Вагнер и его любовница уже были в центре сложного эмоционального сплетения подавленных гомо- и гетеросексуальных влечений, желаний и социальных конфликтов — и теперь туда же попал Ницше. Козима была второй из трех незаконных дочерей композитора Ференца (Франца) Листа и графини Мари д'Агу. Не вполне понятно, кто был отцом самого Вагнера, так что, когда ему понадобился кто-то в этой роли, Лист подошел и в музыкальном, и в практическом плане. В 1849 году Лист дал Вагнеру деньги на то, чтобы бежать из Дрездена, и помог ему выправить фальшивый паспорт. С тех пор он долго и регулярно

финансово поддерживал революционную музыку Вагнера. Лист был для Вагнера отцом и в музыкальном, и в материальном отношении.

Хотя Вагнер был лучше как дирижер, Лист бесконечно превосходил его как пианист. Он фактически изобрел профессию международного концертирующего музыканта. Его считали полубогом клавиатуры в Париже и Константинополе, а также в большинстве городов, расположенных между ними. Генрих Гейне придумал слово «листомания» для характеристики массовой истерии, которую Лист порождал. В его присутствии дамы впадали в экстаз и колыхались, как кукурузные поля. Они крали из пепельниц кончики его сигар и хранили как реликвии. Они воровали цветы, которыми украшались площадки его концертов. Хотя никаких сомнений в строгой гетеросексуальности Вагнера быть не может (что слишком хорошо знали обе его жены, ведь чуть ли не после каждой оперы у него появлялась новая молодая любовница), он порой разражался слезами, когда на коленях целовал Листу руку. Если говорить о сентиментальности и проявлениях чувств, то Вагнер вполне соответствовал требованиям времени, позволявшим мужчине почитать своих героев и безнаказанно демонстрировать эмоции.

Козима не была любимой дочерью Листа. Она была гадким утенком, но обладала значительной харизмой. Это была длиннолицая обаятельная дурнушка, необычайно похожая на отца. Помимо харизмы, она унаследовала от него высокий рост, римский нос и болезненный вид — привлекательный у мужчины, ей он сообщал неприступность богини, перед которой не могли устоять интеллектуалы определенного типа, особенно невысокого роста, включая Вагнера и Ницше.

В тот Духов день, когда Ницше явился на обед, Козима все еще была замужем за Гансом фон Бюловым. Ранее фон Бюлов считался одним из самых многообещающих учеников Листа, теперь он стал главным дирижером Вагнера. Кроме того, он был капельмейстером короля Людвига, что еще больше запутывало этот тесный клубок музыкально-эротических отношений.

Козима согласилась выйти замуж за фон Бюлова еще в юном возрасте, под впечатлением от концерта в Берлине. В программе концерта была премьера вагнеровской «Венериной горы» из «Тангейзера». Фон Бюлов сделал ей предложение тем же вечером. Оба они были влюблены в Вагнера и глубоко восхищались его дивной музыкой; можно только гадать, кому на самом деле делал предложение фон Бюлов и кому давала согласие Козима.

Многие источники выражают сомнение в гетеросексуальности фон Бюлова. Вероятно, дело в необычном письме, которое он отправил отцу

Козимы Листу, сообщая о помолвке: «Я чувствую к ней больше чем любовь. Мысль о том, что я стану ближе к вам, превосходит все, о чем я мог мечтать на земле, — к вам, кого я считаю главным архитектором и создателем моей нынешней и будущей жизни. Для меня Козима превосходит всех женщин не только потому, что носит ваше имя, но и потому, что она так на вас похожа...» [19]

Через год после свадьбы Козима была уже в отчаянии. Она совершила ужасную ошибку. Одного из близких друзей мужа, Карла Риттера, она даже просила убить себя. Когда Риттер отказался, она заявила, что утопится в озере, и успокоилась только тогда, когда он сказал, что если она так поступит, то ему придется сделать то же самое. Брак продолжался, но она постоянно прилагала усилия, чтобы заболеть какой-нибудь смертельной болезнью [20]. Козима и фон Бюлов были восторженными поклонниками музыки Вагнера, и однажды Вагнер отметил, что она «была в странно возбужденном состоянии, которое проявлялось в конвульсивно-чувственной нежности *ко мне*» [21].

В то время Вагнер еще состоял в браке с первой женой Минной, но после ее смерти события стали стремительно развиваться. Хотя Козима родила фон Бюлову двух дочерей, это не помешало ей родить еще двух от Вагнера и, продолжая поддерживать видимость брака, забеременеть от него же в третий раз.

Когда Ницше прибыл на обед в Трибшен, Козима была уже на восьмом месяце беременности, о чем Ницше, будучи несколько не от мира сего, не имел ни малейшего понятия. Он наслаждался обширной веселой компанией хозяев, состоявшей из четырех дочерей Козимы, гувернантки, няни, экономки, кухарки и двух или трех слуг; молодого Ганса Рихтера, бывшего тогда секретарем Вагнера, его переписчиком нот и организатором концертов и развлечений; огромного черного ньюфаундленда композитора по кличке Русс, который ныне похоронен в Байрёйте рядом со своим хозяином; серого фокстерьера Козимы, которому она дала кличку Коз, чтобы никто не смел сокращать до «Коз» ее собственное имя; коня Фрица, овец, кур и кошек; пары золотых фазанов и пары оставленных на развод павлинов, которые носили имена Вотан — в честь отца богов в германской мифологии, источника всех проблем в вагнеровском «Кольце нибелунга», — и Фрикка — в честь истеричной и властной жены Вотана, довольно похожей на Козиму.

4

Наксос

Фрау Козима Вагнер — самое благородное создание из всех существ, а что до меня, то ее брак с Вагнером я всегда расценивал как адюльтер.

Черновик «Ессе Ното»

К величайшему сожалению, нам неизвестно, о чем за тем обедом говорили Ницше и Вагнер. Мало что можно понять из рядовой дневниковой записи Козимы: «На обед был один филолог, профессор Ницше, с которым Р. впервые познакомился у Брокгаузов и который отлично знает работы Р. и даже приводит в своих лекциях цитаты из “Оперы и драмы”. Спокойный, приятный визит» [1]. Вагнер же, судя по всему, отнесся к гостю с большим энтузиазмом. Прощаясь, он подарил Ницше свое фото с автографом и настойчиво звал приходить еще. Через три дня он велел Козиме отправить Ницше письменное приглашение отпраздновать на следующих выходных день рождения маэстро, пришедшийся на 22 мая. Ницше отказался, пояснив, что будет слишком занят подготовкой вводной лекции по Гомеру, которая должна была состояться 28 мая. В ответ Вагнер пригласил его приезжать на любых выходных: «Приезжайте непременно, только известите заранее».

Композитор прицепился к филологу, как ракушка к корпусу «Летучего голландца». Если энтузиазм Ницше по поводу Вагнера не может нас удивить, то энтузиазм Вагнера по отношению к молодому Ницше поразителен. Гений Вагнера обладал разрушительной силой. Те, кто его интересовал, могли либо войти в круг избранных, либо остаться за его пределами навсегда; третьего не дано. Один поклонник Вагнера писал,

что его полностью устроит остаться в истории в качестве примечания к великому тексту Вагнера, быть доверенным лицом, предметом интеллектуальной мебели. Однако в профессоре Ницше Вагнер определенно видел не предмет мебели, но восходящую интеллектуальную звезду и одновременно страстного любителя вагнеровской музыки, а также великолепного филолога-классика.

Хотя Вагнера, чтобы польстить, часто называли профессором, он им никогда не был. В его образовании зияли огромные пробелы. Он не умел читать ни по-латыни, ни по-гречески, но свой великий «шедевр будущего» — «Кольцо нибелунга» — он мыслил как возрождение греческой трагедии, какой ее ставили на праздниках в эпоху Эсхила и Еврипида. Человек, решивший возродить классическую драму, но способный читать ее лишь в переводе, мог многое выиграть от подтверждения Ницше его интеллектуальных талантов.

Кроме того, Вагнер приближался к завершению «Кольца» и понимал, что для его защиты нужны блестящие молодые люди — такие, как король Людвиг и Ницше. «Кольцо» было слишком новаторским для своей эпохи. Молодежь с горящими глазами должна найти средства на эту революционную театральную работу (а средств она требовала много) и приложить значительные усилия для ее постановки на сцене. Тетралогия состояла из четырнадцати часов музыки и должна была ставиться на протяжении четырех дней. Для нее требовалось создание совершенно нового типа пространства — оперного театра, сходного по конструкции с греческим амфитеатром, но крытого с учетом холодного климата. В Германии было полно театров, выстроенных в стиле барокко или рококо, но там отсутствовала нужная акустика и было недостаточно места, чтобы вместить оркестр в сотню с лишним человек, требующийся для отдельных мест тетралогии. Даже сегодня в Лондонском королевском оперном театре арфы и барабаны размещаются не в оркестровой яме, а в особых пристройках по обе стороны от нее.

Ницше принял открытое приглашение вернуться в Трибшен при первой же возможности после лекции. Он приехал в субботу, 5 июня. Судя по всему, он не имел ни малейшего понятия о беременности Козимы. В ее дневнике за тот день записано, что они провели «терпимый» вечер. Она попрощалась в районе одиннадцати, поднялась вверх — и тут начались схватки. В три часа ночи прибыла акушерка, и через час, «крича от невыносимой боли», Козима родила Вагнеру сына, громкие крики которого донеслись до Оранжевого салона, где композитор напряженно ждал развития событий. Мальчик родился в момент, когда рассвет озарил

гору Риги богатством красок, «доселе невиданных». Вагнер разразился слезами. Через озеро донесся звон воскресных утренних колоколов в Люцерне. Козима сочла это добрым предзнаменованием — приветствием мальчику, который станет наследником Вагнера и «будущим представителем отца для всех его детей» — все дети Вагнера до того были девочками: Даниэла и Бландина были законными детьми Козимы, а Изольда и Ева были рождены не от мужа, как считали все, а от Вагнера, но тогда Козима все еще жила с фон Бюловом.

Вагнер провел утро у постели Козимы, держа ее за руку. Он вышел к обеду и рассказал Ницше, единственному гостю в доме, радостную новость о рождении Зигфрида. Отметим, что Ницше пребывал в полном неведении о ночных событиях. Трибшен, конечно, большой дом, но не настолько огромный. Его комнаты расположены вертикально одна над другой. Шум распространяется вверх и вниз по лестнице, по которой всходила и сходила акушерка, к тому же, по словам самой Козимы, ее схватки были ничуть не тише приветственного крика Зигфрида. Но ничто не показалось Ницше необычным или любопытным.

Так или иначе, теперь Вагнер считал Ницше счастливым посланником богов. Это никак не могло быть совпадением — сама судьба избрала молодого блестящего профессора в ангелы-хранители Зигфрида. Композитор уже представлял себе, как Ницше будет наставником юноши, когда тот отправится покорять мир, а Вагнер и Козима будут смотреть на него со стороны, подобно тому, как Вотан, отец богов, следил за воспитанием Зигфрида — молодого воина, героя «Кольца», будущего спасителя мира.

Ницше хватило такта уехать вскоре после обеда, но в Трибшене непременно хотели видеть его снова, и уже на следующий день Козима написала ему, благодаря за книгу, прилагая два эссе Вагнера и предложение вернуть их в следующий визит. Через восемь дней она написала фон Бюлову, требуя развода. Через какое-то время он согласился после длительной переписки с ее отцом, распутным аббатом Листом — ревностным, но очень неортодоксальным католиком, который вовсе не хотел, чтобы его дочь следовала по его стопам в вопросах сексуальной свободы. Возможно, щепетильность Листа объяснялась и разницей в возрасте: Козиме был тридцать один год, а Вагнеру — пятьдесят шесть, лишь на два года меньше, чем самому Листу. Что же до фон Бюлова, то он смирился со своей ролью в псевдоантичном мифе Трибшена, где Козима была великой Ариадной, а фон Бюлов — Тесеем, ведь он был всего лишь простым дирижером и пианистом по сравнению с Диони-

сом — музыкальным гением Вагнером «великим человеком, которого должно почитать как бога», чья музыка была «актом освобождения от мирских забот» [2]. Вполне естественно, что смертный должен уступить свою женщину богу. Вагнер не возражал.

Ницше впоследствии согласится с таким устройством вселенной, но попытается столкнуть Вагнера с пьедестала и занять место бога самостоятельно, но до этого было еще далеко. Сейчас же он провел несколько следующих после рождения Зигфрида недель за исполнением педагогических обязанностей в Базеле и уже затем вернулся в лабиринт Трибшена, где были и величественная Козима, и все остальное, что стимулировало, привлекало и будоражило его.

Энгельс в свое время мрачно описал Базель как «скучный город, переполненный праздничными сюртуками, треуголками, филистерами, патрициями и методистами»¹ [3]. Конечно, ничто в нем не могло сравниться с экстравагантными прелестями Трибшена. Вступительная лекция Ницше оказалась достаточно успешной, и он прочитал еще несколько интересных, но не то чтобы захватывающих лекций об Эсхиле и греческих лирических поэтах. Впрочем, кое-что интересное в Базеле было, а именно личность другого профессора — Якоба Буркхардта — и его лекции по истории.

Буркхардт и Вагнер оказывали на Ницше основное влияние в течение ближайших нескольких лет, пока он собирался с мыслями для своей первой книги «Рождение трагедии из духа музыки» (*Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik*). Оба были того же возраста, что и отец Ницше, если бы не его безвременная кончина. Но на этом сходство заканчивалось.

На коротко стриженной голове Буркхардта не красовалось никаких бархатных беретов, а внутри ее не зрело никаких националистических идей. Говорили даже, что он не выносил, когда в его присутствии упоминали Вагнера. Костлявый, резкий, наделенный блестящим умом, он тщательно хранил свою частную жизнь, неброско одевался и яростно ненавидел любую помпезность, претенциозность и славу вообще. Он занимал две комнаты над пекарней, и ничто не радовало его больше, чем когда его принимали за пекаря.

Революционер в буржуазной шкуре, Буркхардт основывал свои поразительные идеи на глубоком знании материала и высказывал их

¹ Цит. по: К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 41. М.: Издательство политической литературы, 1970.

с удивительной простотой, которая завоевала ему всеобщее уважение в свете любви базельцев к трезвой умеренности. Своим лаконичным, телеграфным стилем он резко контрастировал с Вагнером — бурным, экзальтированным художником, на которого всегда смотрели с подозрением: он странствовал по Европе, доил королей и руководил международными культурными переворотами из своего скалистого гнезда в Трибшене.

Буркхардт, шедший по средневековому центру Базеля с чернильными пальцами, в черном костюме и мягкой черной шляпе, был одним из всеми любимых и малопримечательных свидетельств того, что в городе все в порядке. Если он держал под мышкой большую голубую папку, было еще интереснее: значит, он шел преподавать. Его лекции пользовались бешеной популярностью. Буркхардт не опирался на записи и использовал неформальный, повседневный язык. Он говорил так, будто просто думал вслух, но утверждалось, что даже паузы и спонтанные отступления от основной темы были тщательно отрепетированы в его квартире над пекарней.

У Буркхардта и Ницше вошло в приятную привычку прогуливаться до гостиницы в пяти километрах от города и там вместе обедать и выпивать немного вина. По дороге они разговаривали о древнем и новом мире и о «нашем философе», как они называли Шопенгауэра, чей пессимизм был созвучен мнению Буркхардта о том, что европейская культура движется к новому варварству в форме капитализма, сциентизма и централизации государства. В эпоху объединения Германии и Италии Буркхардт обвинял современные монолитные государства в том, что они «требуют почитать себя, как боги, и правят, как султаны». Такое государственное устройство, по его убеждению, могло лишь дать дорогу *terribles simplificateurs* — демагогам, вооруженным всеми потенциально опасными орудиями индустриализации, науки и технологии.

Буркхардт ни во что не верил, но считал, что это совершенно не мешает поступать этично. От всего сердца он не любил Французскую революцию, Соединенные Штаты, демократию масс, единообразие, индустриализацию, милитаризм и железные дороги. Буркхардт, родившийся в том же году, что и Карл Маркс, выступал против капитализма, гневно называя его «вымогательством со стороны тех, кто имеет власть и деньги» [4], но не жаловал он и популизм. Будучи консервативным пессимистом, он всерьез верил, что массы нужно спасти от самих себя, во многом из-за их склонности сажать на трон посредственность и сни-

жать вкусы, низводя все до вульгарности и порчи народной культуры, в чем с ним был согласен и Ницше.

Буркхардта и Ницше очень беспокоила грядущая война между Францией и Германией. Наполеон был *terrible simplificateur* во Франции, теперь же в военную форму Наполеона облачался Бисмарк, чтобы стать *terrible simplificateur* в Германии. Наполеон сделал военный захват Европы орудием культурного империализма, и Буркхардту было очевидно, что Бисмарк собирается повести себя ничуть не лучше. Он считал, что все тираны страдают синдромом Герострата, имея в виду Герострата Эфесского, который поджег храм Артемиды в Эфесе и уничтожил этот великий памятник культуры просто потому, что решил прославить себя в истории до конца времен.

Вагнер всегда верил в какие-то идеологические структуры и искренне восхищался Бисмарком и германским национализмом, в то время как Буркхардт был приверженцем идеи общей Европы и рассматривал непропорциональный подъем одной страны как угрозу культурному единству. Вагнер считал евреев и еврейскую культуру чуждым элементом, который не может принадлежать никакой европейской нации и только портит драгоценные местные культуры. Буркхардт же рассматривал еврейскую культуру как универсальную закваску европейского хлеба. Ницше считал, что ничто так не отличает человека от стандартов своей эпохи, как его владение историей и философией [5]. Буркхардт придерживался интересной точки зрения: история сопоставляет и потому нефилософична, философия же подчиняет и потому неисторична. Поэтому он считал, что словосочетание «философия истории» бессмысленно, и это было одним из ключевых различий между ним и его современниками. Еще одним принципиальным расхождением была его ненависть к идее растворения личности в государстве. В то время как другие крупные историки, например Леопольд фон Ранке, все больше интересовались объективными силами в политике и экономике, Буркхардт твердо верил в силу культуры и влияние личности на историю. Он также ставил под сомнение понимание истории как процесса сбора документальных фактов и формирования «объективной» точки зрения. Он сомневался в самом понятии объективности: «Духовные черты культурной эпохи, возможно, с разных точек зрения выглядят неодинаково, и если речь идет о цивилизации, которая и сейчас продолжает оставаться образцом для нашей, то субъективное восприятие и суждения автора и читателя должны каждый раз смешиваться... исследования, которые выполнялись для этой работы, могли бы не только быть использованы кем-либо

совершенно иным образом, но и дать повод к тому, чтобы сделать совершенно другие заключения»¹ [6].

Для Буркхардта и Ницше главным событием в истории человечества была эллинизация мира. Целью современности было не разрубить гордиев узел греческой культуры, подобно Александру, оставив свободные концы свисать во всех направлениях. Напротив, нужно было завязать его заново, вплета нить эллинизма в современную культуру. Но если их предшественники Гёте, Шиллер и Винкельман достигли такого неоклассицистского вплетения, представляя Грецию в качестве идеального противопоставления современности — спокойного, серьезного, с идеальными пропорциями, такого, которому легко подражать, если знаешь классику, то Буркхардт написал ряд книг, в которых подвергал сомнению эту упрощенную, розовую, идеализированную картинку классического мира и первой попытки его имитировать — Ренессанса.

Кровожадность Рима периода упадка была уже хорошо известна, но Буркхардт в своей серии книг и лекций на тему Древнего мира и Ренессанса показывал, что крайнее варварство не было какой-то культурной отрыжкой и проявлялось не только в те моменты, когда цивилизация двигалась к своему концу, но служило необходимым для творческой энергии материалом. Буркхардта часто именуют отцом истории искусств, а среди его духовных сыновей называют Бернарда Беренсона и Кеннета Кларка. Однако, в отличие от своих последователей, изображавших Италию эпохи Возрождения как идеализированную интеллектуальную Аркадию, Буркхардт включает в «Культуру Возрождения в Италии» леденящие душу рассказы о правосудии мелких итальянских городов-государств, о пытках и варварстве, которыми гордились бы Калигула или дочери короля Лира. История Буркхардта не отрицает и дионисийских — жестких, жестоких, низменных импульсов, из которых и возникла абсолютная необходимость создать их противоположность — ясность, красоту, гармонию, порядок и пропорциональность.

Буркхардт был человеком болезненно скрытным и болезненно скромным, и Ницше расстраивало то, что их долгие прогулки и беседы не перешли в теплую и тесную дружбу, как с Вагнером, но если Вагнер был не способен на отношения, которые не подразумевали бы накала страстей — положительных или отрицательных, то Буркхардт отвергал всякую теплоту. Для этого сложного человека отстраненность и свобода

¹ Пер. Н. Н. Балашова и И. И. Маханькова.

от эмоциональных привязанностей были необходимы для восприятия величайших этических истин.

Ницше провел упоительное лето, разрываясь между насыщенными беседами с Буркхардтом и шквалом приглашений в Трибшен, где они с Вагнером и Козимой образовывали равносторонний треугольник из ума, серьезности и взаимного восхищения.

«В доме Вагнера дни шли самым приятным образом. Стоило нам войти в сад, как нас приветствовал лаем огромный черный пес, а с лестницы доносился детский смех. Из окна поэт-музыкант размахивал своим черным бархатным беретом... Нет, я не могу припомнить, чтобы он сидел, кроме как за фортепиано или столом. Он ходил взад-вперед по зале, пододвигая себе то один, то другой стул, шарил по карманам в поисках затерявшейся где-то табакерки или очков (иногда они висели, например, на канделябрах, но никогда, ни в коем случае не у него на носу), хватал бархатный берет, который свисал у него на левый глаз, как черный петушиный гребень, потирал его между руками, засовывал его в рукав и тут же брал обратно и снова надевал на голову — и постоянно говорил, говорил, говорил... В его речи было все: возвышенные метафоры, каламбуры, безвкусица, — непрерывный поток наблюдений лился из его уст — гордый, нежный, жестокий или смешной. То улыбаясь от уха до уха, то доходя до слез, то вводя себя в пророческое исступление, он был способен, импровизируя, говорить на все темы с одинаковым успехом... Ошеломленные и пораженные всем этим, мы смеялись и плакали вместе с ним, разделяли его экстаз, его видения; мы чувствовали себя как облачко пыли, уносимое бурей, но вместе с тем эффектно освещенное ее властью, страшной и восхитительной одновременно» [7].

Когда Вагнер сказал Ницше: «У меня теперь нет никого, с кем я мог бы говорить так же серьезно, как с вами, за исключением Особенной [Козимы]» [8], — это была высшая похвала. И едва ли не важнее было то, что ледяная Козима однажды сказала, что относится к Ницше как к одному из ближайших своих друзей.

Для Козимы наступило трудное время. Ее муж не сразу согласился на развод, она публично жила во грехе, что доказывал и родившийся младенец, и она чувствовала себя болезненной и утомленной. Вагнер уже положил глаз на прекрасную Жюдит Готье, которая была на семь лет младше Козимы. Для укрепления ее положения было жизненно необходимо, чтобы маленький Зигфрид выжил. Самые мелкие жалобы ребенка вызывали в ней животный ужас и погружали ее в нездоровые мысли о смерти.

В то первое лето Ницше посетил Трибшен шесть раз. Ему была выделена особая комната — кабинет вверху. Ее прозвали *Denkstube* («Комната размышлений»), и Вагнер сердился, если Ницше не торопился вновь ее занять.

Разве можно было не вдохновляться, сидя за рабочим столом и слушая, как Вагнер работает над третьим актом «Зигфрида»? Какая привилегия могла сравниться с возможностью подслушать странный, дерганный процесс сочинения музыки, которая плыла вверх по наполненному ароматами воздуху: шаги маэстро, спокойные или возбужденные, которыми он мерил комнату; его хриплый голос, напевающий мелодию, за которой следовали секунды тишины, когда он устремлялся к фортепиано подбирать ноты. Новая тишина — в это время он ноты записывал. Вечером наступало безмолвие, когда Козима, сидя у колыбели, записывала итоги дня. Днем, если у нее не было работы, они с Ницше и с детьми отправлялись в лес на пикник и смотрели, как солнце играет на водах озера. Между собой они называли это «звездным танцем».

Трибшен дарил Ницше и другие простые домашние радости, каких он никогда не знал прежде. Дома мать и сестра смотрели на него как на небожителя, но Вагнер и Козима не стеснялись давать ему мелкие поручения и посылать за самыми обычными покупками. И он гордился этими задачами.

Как-то раз, вернувшись после очередного воскресного визита в Трибшен, он спросил одного из своих студентов, где в Базеле найти хорошую шелковую лавку. В итоге ему пришлось сознаться студенту, что в лавке ему требовались шелковые трусы. По каким-то одному ему известным причинам Вагнер носил шелковые трусы от лучших портных. Это важное поручение очень встревожило Ницше. Отправляясь в пугающий магазин, он мужественно расправил плечи, а перед тем как зайти, заметил: «Выбрав себе Бога, ты должен его украшать» [9].

Ницше совершил одиночное восхождение на Пилатус, взяв с собой почитать эссе Вагнера «О государстве и религии», в котором тот предлагал заменить религиозное воспитание культурным. Это еретическое предложение так возбудило кающийся призрак Понтия Пилата, что над горой разразилась сильнейшая гроза. Белые электрические змеи-молнии заполнили небо. Гром потряс землю. Внизу, на вилле Трибшен, суеверные слуги Вагнера качали головами и гадали, что опять учудил профессор, чтобы вызвать такую ярость небес.

Когда Ницше и Вагнер восходили на Риги и Пилатус вместе, то часто обсуждали развитие музыки в греческой драме. Вскоре Ницше

опишет это в своей первой книге «Рождение трагедии из духа музыки», но прежде он прочтет две публичные лекции по этому вопросу в начале 1870 года. После этого он сухо сообщал Вагнеру, что аудитория в основном состояла из почтенных дам среднего возраста, чье желание расширить кругозор наткнулось на сложность темы доклада. Это было вряд ли удивительно, учитывая, что Ницше развивал идеи, владевшие Вагнером уже более двадцати лет, в течение которых он написал цикл из четырех опер «Кольцо нибелунга».

Вагнер начал писать «Кольцо», будучи яростным революционером тридцати пяти лет, а закончил лишь в шестьдесят один год, когда стал уже всемирно признанной знаменитостью и другом монархов. Однако идеи «Кольца» не утратили революционного духа, которым были пропитаны изначально. В 1848 году — «году революций» — Вагнер страстно приветствовал опалившее континент пламя, когда народы Европы выходили на улицы, требуя избирательной реформы, социальной справедливости и конца самодержавного правления. Вагнер сыграл активную роль в сооружении баррикад во время Дрезденского восстания, которое было быстро подавлено. На его арест был выдан ордер, и он, якобы в женском платье, бежал в Швейцарию, где начал работать над «Кольцом». В то время Вагнер еще не был знаком с трудами Шопенгауэра и являлся поборником философии Людвига Фейербаха, вдохновлявшей движение «Молодая Германия», которое призывало к объединению страны, отмене цензуры, конституционному правлению, эмансипации женщин и в какой-то мере их сексуальному освобождению. В «Сущности христианства» Фейербах объявляет человека мерой всех вещей. Идея бога изобретена человеком: это ложь, на протяжении всей истории человечества распространяемая правящими классами для подчинения масс.

Сегодня вряд ли кто-то считает политические взгляды Вагнера прогрессивными, а «Кольцо нибелунга» — произведением, задуманным ради освобождения искусства от церкви и двора, чтобы вернуть оперу народу. Однако на самом деле так и было. Вагнер рассказывает об этом в трех эссе, написанных в ранний период своего политического изгнания, когда он на протяжении пяти лет хранил (относительное) музыкальное молчание, генерируя идеи для художественного произведения будущего. Два первых эссе — «Искусство и революция» и «Художественное произведение будущего» — были написаны в 1849 году, вскоре после того, как он бежал из Германии из-за участия в восстании.

Когда Вагнер начинал свою музыкальную карьеру, к успеху было два пути: стать инструменталистом-виртуозом, как Лист (Вагнер опреде-

ленно не мог этим похвастаться и говорил: «Я играю на фортепиано, как мышь играет на флейте»), или капельмейстером (музыкальным директором) при одном из множества мелких дворов, составлявших Германский союз. Вагнер стал капельмейстером при саксонском дворе Фридриха Августа II — весьма цивилизованного деспота по сравнению с остальными. Но бремя службы при дворе неизбежно означало остановку в музыкальном развитии для амбициозного молодого капельмейстера. Вкусы немецких монархов редко были прогрессивными и часто зависели от прихоти — например, представление укорачивалось, потому что у князя болели зубы.

Служба при дворе приводила Вагнера в бешенство. Общество уделяло его музыкальным приношениям столько же внимания, сколько стуку ножей и вилок, в ожидании самой интересной части вечера — флирта, сплетен и танцев.

Величие музыки нужно признать и восстановить! Театр должен стать центром общественной жизни, как в Древней Греции и Риме. Великий Платон писал, что «ритм и гармония проникают в самые потаенные уголки души и там закрепляются». Вагнер превратит музыку в нечто большее, чем аккомпанемент для сплетен и орудования столовыми приборами. Его новая музыка будущего затронет душу и необязательно будет связана с Высшим Существом, сомнения в существовании которого уже овладели душой самого композитора. Опера будущего будет помещена в более широкий культурный контекст и займет важное место в общественной жизни. Театр Афин открывался только в особые дни, когда наслаждение искусством было одновременно и религиозным празднеством. Пьесы представлялись перед подавляющим большинством жителей города и страны, которые были преисполнены высокими ожиданиями от величественности трагедий. Именно поэтому Эсхил и Софокл смогли создать самые глубокие свои произведения в уверенности, что их оценят по достоинству.

Цикл «Кольцо нибелунга» имел форму подобной (воображаемой) греческой музыкальной драмы, эквивалентной «Орестее», но основанной на чисто германских мифах и легендах и призванной представлять (а точнее — формировать) посленаполеоновский пангерманский дух. Новая оперная форма, по мнению Вагнера, была способна очистить германскую культуру от чуждых элементов — в особенности от всего французского и еврейского. Французское не приветствовалось, потому что французы слишком фривольно предпочитали элегантное возвышенному. Кроме того, самим фактом своего существования они

постоянно напоминали о национальном унижении Германии Наполеоном, а также о собственном унижении Вагнера в 1861 году, когда открытое неприятие в Париже его оперы «Тангейзер» обратило его во франкофоба на всю жизнь.

Все еврейское также подлежало уничтожению. Антисемитизм был неотъемлемой частью националистических взглядов Вагнера; читать его статью «Еврейство в музыке» сейчас невыносимо. Работая над своими идеями аутентичности немецкой музыки, он пришел к выводу, что искусство и цивилизация XIX века испорчены и обесценены капитализмом. Капитализм же находил свое высшее воплощение в расплодившихся по всей Европе еврейских банкирах и торговцах. Он, разумеется, проигнорировал тот факт, что евреев фактически выдавили в финансовый сектор, законодательно запретив им заниматься чем-либо иным. Антисемитизм Вагнера, как и его франкофобия, имел и личные причины: он завидовал еврейским композиторам Мейерберу и Мендельсону, которые пользовались в то время куда большим успехом, чем он.

«Кольцо нибелунга» состоит из четырех опер, сюжет которых, последовательный и циклический, как кольцо, демонстрирует непреодолимость силы рока в действии. Фабула основана на великом германском мифе о нибелунгах, в котором древнескандинавские боги ведут себя совсем не так, как иудеохристианский Бог, но скорее как боги Древней Греции. Они капризны, несправедливы, похотливы, ненадежны и ничем не отличаются от людей. Легенды о них в вагнеровском изложении производят впечатление мыльной оперы.

Анонимная средневековая эпическая поэма «Песнь о нибелунгах», написанная около 1200 года, уже была мощным символом борьбы за немецкую национальную идентичность и рассматривалась как текст, демонстрирующий отчетливый *Volksgeist* — дух немецкого народа. Националистическая идеология пронизывает «Кольцо» Вагнера, которое не сходит со сцены вот уже почти 150 лет. Теперь паломничество в Байрёйт в вечернем костюме или платье стало святым и неизменным капиталистическим, а порой и политическим ритуалом. Но мы должны отдать Вагнеру должное: он представлял себе будущее своего произведения совершенно иначе. Оно должно было стать не священной коровой, а трамплином, вдохновляющим художественные произведения будущего. Оно должно было идти на праздниках для *Volk* — простого народа, как театральные фестивали в Древней Греции. Само «Кольцо» Вагнер рассматривал как произведение недолговечное и переходное: «После третьего [представления] театр будет уничтожен, а партитура

сожжена. Насладившись моим произведением я скажу: “А теперь идите и создайте то же сами”» [10]. Довольно поразительные чувства по отношению к тому, что отняло у него несколько десятилетий жизни, раздумий и самого существования.

Во время долгих прогулок Ницше с маэстро по горам вокруг Трибшена они обсуждали идею постановки «Кольца» в рамках возрождения Антестерий — ежегодного четырехдневного праздника в честь Диониса. Под ними искрились в лучах солнца воды Люцернского озера, где Козима и дети плавали с лебедями. Козима в своем раздувающимся белом купальном костюме и сама была похожа на лебедя, что отметил один из членов важной писательской группы, которая тем летом совершила паломничество в Трибшен из Парижа.

Хотя в 1861 году парижская постановка «Тангейзера» окончилась сокрушительным провалом, она все же оказала значительное влияние на французский авангард. Символистские и декадентские движения обратили большое внимание на статью Бодлера «Вагнер и “Тангейзер” в Париже» [11] в контексте открытого продвижения в опере идеи о борьбе и взаимной зависимости сексуальности и духовности, а также замечательного технического достижения Вагнером синестетического синтеза слов и музыки в своей *Gesamtkunstwerk*.

И вот в Трибшен прибыли три ревностных парижских вагнерианца: Катюль Мендес, поэт-декадент, драматург, романист и основатель литературного журнала *La revue fantaisiste*, его жена Жюдит Готье и Вилье де Лиль-Адан, основатель движения «парнасцев», которое предпочло романтизму возрождение неоклассицизма. Парнасцы не добились особого успеха — их затмило гораздо более успешное символистское движение.

Вилье де Лиль-Адан, человек хрупкого сложения, прибыл в Трибшен в подбитых ватой «гамлетовских» узких штанах, которые он носил, чтобы продемонстрировать красивые ноги. Катюлю Мендесу подобные меры не требовались: часто его называли самым красивым мужчиной своего поколения. Его именовали светловолосым Христом, но нрав его был жестоким, извращенным и деструктивным; Мопассан дал ему прозвище «лилия в моче» [12].

Жюдит Готье было чуть за двадцать, она была дочерью поэта и критика Теофиля Готье. Она одевалась с исключительным вкусом в истинно парнасском духе, отказавшись от корсетов и кринолина в пользу свободной одежды в античном стиле, не стеснявшей ее полноты. Ини-

циатором поездки была именно Жюдит. Из-за алкоголизма Катюль не мог считаться надежным источником заработка, и Жюдит превратилась в журналистку и успешную писательницу, автора популярных любовных романов, действие которых происходило на таинственном Востоке (где Жюдит никогда не была). Целью визита Жюдит в Трибшен было написание яркого очерка о Вагнере в домашней обстановке, который затем можно было бы опубликовать во Франции.

Жюдит была богиней инстинктов и дионисийской чувственности: высокая, темноволосая, бледная, необычайно театральная, «с полной фигурой и беззаботностью, характерными для восточной женщины. Ее легко было представить на тигровой шкуре с кальяном в руках», — говорил провансальский поэт Теодор Обанель, который считал ее поэзию «дьявольски туманной», но вот ее саму — «великолепной», а ее искусственный ориентализм — совершенно неотразимым. Она постоянно влюблялась в мужчин гораздо старше себя — например, уже побывала любовницей Виктора Гюго, который был на одиннадцать лет старше Вагнера. Жюдит прекрасно знала, какой эффект производит, томно опуская веки, опущенные длинными ресницами, чувственно вдыхая наполненный крепкими ароматами воздух Трибшена и поглаживая мягкие, скользкие ткани, которые Вагнер так любил. Катюль Мендес сообщал: «Не один раз, явившись утром, мы заставляли его [Вагнера] в том самом костюме, который впоследствии ему часто приписывали легенды: халат и тапочки из золотистого атласа, украшенные парчовыми цветами жемчужного цвета (он страстно любил блестящие ткани, горящие пламенем или ниспадающие великолепными волнами). В салоне и в его кабинете в избытке было шелков и бархата — ткани лежали просто кучами или висели без особого декоративного смысла — просто ради красоты и для того, чтобы своей теплотой вдохновлять поэта» [13].

Когда Жюдит вернулась в Париж, Вагнер писал ей письма, начиная их с обращения «Возлюбленная Полнота». Часто он прилагал списки необходимых мягких тканей и тяжелых запахов, которые оба они обожали. Она отправляла покупки на другой адрес, чтобы Козима ничего не узнала. Очарование Вагнера и его музыки стало для Жюдит религией, экстатическим состоянием благодати, как и для Козимы. Обе не стеснялись самоуничижаться и гиперболизировать свое восхищение маэстро: «Звуки, которые он создает, — солнце моей жизни!» — и так далее. Но две эти поклонницы были совершенно разными. Козима никогда не забывала о корсете. Граф Гарри Кесслер говорил, что она

«состоит из костей и силы воли... как Иоанн Креститель у Донателло», а ее дантист отмечал, что она поразительным образом игнорировала препятствия, стоящие между нею и целью [14]. В отличие от свободного дионисийства Жюдит контроль Козимы над Вагнером был аполлоническим, чисто интеллектуальным, часто наставительным. Тем летом, как свидетельствует дневник Козимы, она поставила перед собой задачу прочитывать вместе с ним вслух большинство пьес Шекспира и сыграть фортепианные дуэты Бетховена и Гайдна. Она была хорошей пианисткой и трезвым критиком. Вагнер боялся ее суждений, как дитя. Когда она отказывала ему в сексе, он бился в истерику.

Хотя Вагнер и Жюдит не стали любовниками, инстинктам Козимы не требовалось формальной измены. Тем временем ее рассудочные, платонические и совершенно безупречные отношения с Ницше только крепили. К сожалению, всю переписку с Ницше она сожгла, так что остается полагаться на ее дневник, который она вела не для себя, но как будущий публичный источник просвещения и воспитания детей и потомков.

Во время визита Жюдит Готье Ницше описывается в дневнике просто как хорошо образованный, культурный и приятный человек. Сама Жюдит Готье и ее сопровождающие именуются «людьми Мендеса».

После возвращения в Париж Жюдит написала статью о Вагнере в домашней обстановке, которая сделала бы честь любому современному таблоиду. Козима была поражена таким вторжением в личную жизнь и той вульгарностью, с которой Жюдит описывала мелкие повседневные детали их частной жизни.

В перерывах между сочинительством Вагнер брал собак и отправлялся на горную прогулку или же ездил в любимую антикварную лавку в Люцерне. Когда маэстро не было дома, Ницше разрешалось играть на его фортепиано. Он играл хорошо даже для такого окружения, к тому же более эмоционально, чем Вагнер, которого всегда больше беспокоили технические детали. Ницше во время игры погружался в какое-то состояние транса, которое вызывало у Козимы (бывшей все же дочерью Листа) приступы галлюцинаторного возбуждения.

Чем дольше и чем лихорадочнее он играл, тем больше ее сковывало «ощущение страха и дрожи». Она отмечала, что игра Ницше пробуждала в ней все демоническое. И для Козимы, и для Ницше музыка была царством божественного экстаза. Повседневность, по ее убеждению, после этого внезапно становилась невыносимой. Пока

Вагнера не было, они несколько раз пытались связаться с миром духов: экзальтированная игра Ницше на фортепиано была прелюдией к вызову оккультных сил [15].

На Рождество 1869 года Ницше снова пригласили в Трибшен. Он был единственным посторонним, единственным гостем. Такого Рождества у него еще не было.

Вагнер и Козима соблюдали сложные рождественские ритуалы. Козима была ревностной католичкой, а Вагнер — известным атеистом, но год за годом они объединяли усилия ради детей. В сочельник они воссоздавали старинную немецкую историю о святом Николае, приносящем дары, и Кнехте Рупрехте, грозящем выпороть или похитить шаловливых и непослушных детей.

Ницше помог Козиме устроить сцену для постановки ритуального действия. Они вместе украсили елку. Когда все было готово, няня Гермина побежала к детям, чтобы сообщить, что слышала *такой* рев! Затем появился Вагнер в костюме Кнехта Рупрехта. Он ревел изо всех сил и сеял панику. Постепенно детей успокоили подарками — орехами, на золочение которых Козима потратила большую часть декабря. Появился младенец Христос, что отвлекло детей от загадочного исчезновения отца. Наступила тишина, и в таинственной атмосфере младенец Христос поманил их к себе на галерею по темной лестнице. Все домочадцы последовали молчаливой процессией. Наконец они дошли до елки, чудесно освещенной свечами. Произошел обмен подарками, и Козима помолилась вместе с детьми.

Следующая неделя, судя по всему, была отмечена высшим счастьем и наибольшей интимностью между Ницше и Козимой. Ее дневник обрывается на 26 декабря и возобновляется лишь 3 января записью о том, что она позабыла о дневнике на целую неделю, большую часть которой провела вместе с профессором Ницше; вчера же он уехал.

18 июля 1870 года брак Козимы с фон Бюловом наконец-то удалось расторгнуть. Ницше был приглашен свидетелем на ее свадьбу с Вагнером, которая состоялась в протестантской церкви Люцерна 25 августа, но не смог присутствовать. К тому времени разразилась война между Германией и Францией, как и опасались Ницше и Якоб Буркхардт.

Когда Франция Наполеона III 10 июля 1870 года объявила войну бисмарковской Пруссии, Ницше был в Базеле и лежал в постели с растяжением лодыжки. За ним ухаживала его сестра Элизабет. Естественным было бы отправить ее обратно к матери в Наумбург, но это оказалось

и небезопасно, и невозможно в условиях хаоса, последовавшего сразу за объявлением войны.

«19 июля была объявлена война, — писала Элизабет, — и с того времени в Базеле начался совершенно невероятный переполох. Откуда-то так и посыпались французские и немецкие путешественники, спешившие присоединиться к своим полкам. В течение недели прибывающим толпам было почти невозможно найти в Базеле хоть какой-то приют на ночь. Железнодорожные вокзалы каждой ночью были переполнены, а те, кому не под силу было выносить удушливый воздух, нанимали на всю ночь пролетки» [16].

Ницше вместе с Элизабет нанес краткий визит в Трибшен, после чего они направились к горе Аксенштейн. Там они остановились в большом отеле. Обдумывая свое будущее, он написал статью «Дионисийское мировоззрение» (*Die dionysische Weltanschauung*), где применил философию Шопенгауэра к духу древнегреческой трагедии, а кроме того, набросал несколько черновиков письма президенту образовательного совета Базеля: «Учитывая текущее состояние дел в Германии, вы не будете удивлены моей просьбой отставить меня от своих обязанностей ради возвращения на родину. Именно это я и прошу вас устроить, договорившись о моем отсутствии в последние недели летнего семестра с досточтимым образовательным советом Базеля. Мое здоровье сейчас настолько улучшилось, что я могу без опасений послужить своим соотечественникам либо как солдат, либо как сотрудник санитарной службы... перед лицом ужасных стонов моей родины, призывающей всех немцев выполнять свои обязанности *немцев*, вынужден признаться, что выполняю свои обязательства перед Базельским университетом с болезненной неохотой... И хотел бы я посмотреть на швейцарца, который с радостью оставался бы на своем посту в подобных обстоятельствах...» Последнее предложение из чистового письма было вычеркнуто [17].

9 августа он написал Козиме, рассказывая о своем намерении отправиться на войну. Она в тот же день ответила, что, по ее мнению, отправляться добровольцем еще слишком рано, а сотня добрых сигар, например, будет армии более полезна, чем присутствие дилетанта. Это был образец ее обычной живости реакции, которая заставляла Ницше и Вагнера боготворить ее и падать к ее ногам.

Университетские власти отпустили его лишь на том условии, что поскольку он уже практически является гражданином Швейцарии, то не вернется в свой полк, а останется нонкомбатантом и вступит в санитарную службу.

12 августа Ницше поехал в город Эрланген для обучения медицинской работе в большой местной больнице. Его двухнедельный курс обучения не успел закончиться, как ему пришлось заниматься мертвыми и тяжело ранеными — умирающими детьми и взрослыми.

29 августа, через четыре дня после свадьбы Козимы и Вагнера, Ницше совершил одиннадцатичасовой марш-бросок, чтобы забрать раненых с поля битвы при Вёрте, где немцы добились важной победы дорогой ценой. Почти десять тысяч немцев полегли на поле боя рядом с восемью тысячами французских солдат.

Он писал матери об ужасном поле, «усеянном бесчисленными скорбными останками и переполненным мертвыми телами»:

«Сегодня мы едем в Аньо, завтра — в Нанси и вообще следуем за Южной армией... В течение нескольких ближайших недель твои письма не смогут до меня доходить, потому что мы двигаемся быстро, а почта — чрезвычайно медленно. О ходе войны мы тут ничего не знаем: газеты не выходят. Враждебное местное население, похоже, только привыкает к новому положению дел. Впрочем, за малейший ущерб нашей армии им грозит смертная казнь. Во всех деревнях, которые мы проезжаем, бесконечные больницы. Вскоре я дам о себе знать; не тревожься за меня» [18].

2 сентября Ницше оказывал помощь раненым в санитарном поезде на пути из Арс-сюр-Мозель в Карлсруэ. Поездка длилась три дня и две ночи, о чем он 11 сентября написал Вагнеру:

«Lieber und verehrter Meister [любимый и глубокоуважаемый маэстро]: итак, ваш дом достроен и тщательно укреплен перед лицом бури. Хотя я и был далеко, но не переставая думал об этом событии и призывал на вас благословения, так что я очень рад известию, переданному мне вашей женой, которую я искренне люблю, что в итоге эти празднества [свадьбу и крестины Зигфрида] удалось организовать быстрее, чем мы думали, когда я в последний раз был у вас.

Вы знаете, каким потоком унесло меня от вас и что именно не позволило мне стать свидетелем этих священных и долгожданных событий. Моя работа в качестве санитара временно подошла к концу — к сожалению, из-за болезни. Многие мои задачи и обязанности привели меня под Мец [в то время осажденный]. В Арс-сюр-Мозель мы забрали раненых и вернулись с ними в Германию... Я отвечал за ужасный вагон для скота, в котором шестеро были совсем плохи: я заботился о них, перевязывал, следил за ними один в течение всей поездки... В двух случаях мне пришлось диагностировать

гангрену... Только я сдал своих раненых в госпиталь в Карлсруэ, как у меня самого начались явные признаки болезни. Я с трудом достиг Эрлангена, где отчитался о своих действиях. Затем я отправился в постель, где и нахожусь до сих пор. Хороший врач определил у меня, во-первых, сильнейшую дизентерию, а во-вторых, дифтерию... Итак, после всего четырех недель, когда я старался направлять усилия во благо мира, я вернулся к тому, с чего начал, — какое ужасное состояние!»

В течение первой критической недели в Эрлангене Ницше был на грани смерти. Его лечили клизмами с нитратом серебра, опиумом и дубильной кислотой — в то время это было обычное лечение, которое навсегда разрушало внутренние органы пациента. Через неделю его жизнь была вне опасности, и его отправили к матери и Элизабет, которые все еще проживали в том же доме в Наумбурге. Из-за ужасных болей и постоянной рвоты он стал самостоятельно принимать лекарства, которые временно облегчали симптомы, но в долгосрочной перспективе только вредили. Эта дурная привычка осталась с ним на всю жизнь. Высказывались предположения, что у Ницше после ухода за ранеными в санитарном вагоне развились не только дифтерия и дизентерия, но и сифилис. Проверить это попросту невозможно, как и вопрос о том, был ли у Ницше вообще сифилис.

Выздоравливая, он погрузился в подготовку лекций и семинаров для грядущего семестра, а в письмах друзьям не затрагивал тяжелых воспоминаний с поля боя, которые наверняка преследовали его денно и нощно. Ницше страдал от расстройства кишечника, разлития желчи, бессонницы, рвоты, геморроя, постоянно чувствовал привкус крови во рту и видел ночные кошмары о том, что происходило на полях сражений. В отличие от Вагнера и Козимы, которые едва ли не каждое утро поверяли друг другу свои сны, после чего Козима прилежно заносила их в дневник, Ницше не оставил потомству воспоминаний о своих сновидениях. Однако после этого он все чаще выражает яростное неприятие милитаризма и филистерства вообще и в бисмарковской Пруссии в особенности.

«Какие враги нашей веры [культуры] растут из кровавой почвы этой войны! Я готов к худшему и в то же время уверен, что среди страданий и ужасов расцветут ночные цветы познания» [19].

Винить во всем нужно было «роковую, антикультурную Пруссию»: вместо того чтобы возрождать творческий дух Древней Греции, Бисмарк

превращал страну в Рим — филистерскую, жестокую, материалистическую машину массовых убийств и всяческих грубостей.

Ницше был возмущен кровожадностью и циничной жестокостью пруссаков, умышленно моривших французов голодом во время осады Парижа, которая продлилась с сентября, когда он заболел, до января следующего года.

Его негодование по поводу зверств войны распространялось, впрочем, не только на действия Пруссии. Стоило сформировать новое французское правительство, как против него восстала Парижская коммуна, действовавшая по отношению к собственным согражданам ничуть не лучше пруссаков. Она приступила к кровавым массовым убийствам, вырезая духовенство, заключенных и просто невинных прохожих. Была объявлена и война культуре. Памятники сбрасывали с пьедестала и уничтожали. Музеи и дворцы Парижа, в том числе Тюильри, грабились и сжигались новыми Геростратами. В базельских газетах появилось ошибочное сообщение о том, что разрушен и Лувр. Заслышав такие жуткие новости о сознательном культурном геноциде, Буркхардт и Ницше выбежали на улицу в поисках друг друга. Встретившись, они обнялись, не в силах проронить ни слова от горя.

«Когда я узнал о пожаре в Париже, то в продолжение нескольких дней чувствовал себя совершенно уничтоженным, я терзался в слезах и сомнениях, — писал Ницше, — вся научная жизнь, творческое и художническое существование показались мне абсурдом, коль скоро одного дня оказывается достаточно, чтобы истребить прекраснейшие произведения, даже целые периоды искусства. Я пытался утешаться искренним убеждением в метафизической ценности искусства, которое из-за этих бедняг не могло больше присутствовать в нашем мире, но зато продолжало выполнять более высокую миссию. Но сколь бы ни было велико мое горе, я был не в состоянии бросить камень в тех святотатцев: они для меня — лишь носители нашей всеобщей вины, о которой стоит всерьез задуматься!»¹ [20]

Наступили Святки, и его снова пригласили в Трибшен. В глазах хозяев он вырос, превратившись в философа-воина, но его военный опыт стал пропастью между ними и гостем. Ницше укрепился в своем панъевропеизме, в то время как Вагнер и Козима были полны мстительного ура-национализма. Вагнер даже отказывался читать письма, написанные ему по-французски.

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

Рождественским утром ароматный воздух дома огласили восхитительные звуки. Вагнер тайно провел на лестницу Ганса Рихтера и оркестр из пятнадцати человек. Они сыграли «Идиллию Зигфрида» — тогда она еще не имела названия, а дочери Козимы прозвали ее «лестничной музыкой».

«Теперь я могу умереть», — воскликнула Козима, услышав ее. «Тогда мне будет проще умереть, чем жить» [21], — ответил он.

Такой обмен репликами был типичным для утомительно возвышенного стиля, в котором неизменно велись диалоги в Трибшене, часто сопровождавшиеся всхлипываниями и просто слезами. Рождественская интерлюдия продолжилась для Козимы в том же утрированном ключе: она писала, что «Идиллия Зигфрида» словно перенесла ее в мир, где сбываются сны. Она пребывала в эйфории, чувствовала, как размываются границы, не отдавала отчета в своем материальном существовании, испытывала наивысшее счастье, была на седьмом небе блаженства, как будто достигла установленной Шопенгауэром цели — разрушить границы между волей и представлением.

Козиму обрадовал полученный от Ницше на день рождения подарок — рукопись «Рождения идеи трагического», одного из первых черновиков «Рождения трагедии». По вечерам Вагнер вслух читал отрывки. Они с Козимой хвалили работу, считая ее совершенной и очень ценной.

Вагнер и Козима решили не дарить подарков на Рождество в знак уважения к тем, кто все еще испытывал нужду из-за войны. Ницше об этом не предупредили, и он приехал с эссе для Козимы и разной мелочью для детей. Для Вагнера он выбрал копию великой гравюры Дюрера «Рыцарь, смерть и дьявол», которая с момента своего создания в 1513 году служила важным националистическим символом немецкой веры и немецкой храбрости перед лицом опасностей. Вагнер принял подарок с большим удовольствием. Для него немецкий рыцарь был символичен вдвойне: композитор видел в нем себя самого и своего героя Зигфрида, который по сюжету «Кольца нибелунга» отправляется спасать мир. Вагнеровский выход на музыкальную арену был основан на музыке будущего: рыцарь должен был обновить дух немецкой культуры, которая, освободившись от филистерства и мультикультурализма, однажды, как Зигфрид, будет призвана, чтобы уничтожить драконов заимствованной культуры. Подарок, таким образом, был тщательно продуман.

Ницше остался на восемь дней и снова был единственным гостем. Однажды вечером он прочитал свою статью о дионисийском начале,

после чего состоялось обсуждение. Другим вечером Вагнер читал либретто «Нюрнбергских мейстерзингеров». Козима записала, что они с Ницше ощутили самые возвышенные чувства, когда Ганс Рихтер только для них двоих сыграл музыку из «Тристана и Изольды». Они обсудили сравнительные достоинства Э. Т. А. Гофмана и Эдгара Аллана По и сообща признали глубину идеи смотреть на реальный мир как на спектр, что, по словам Шопенгауэра, свидетельствует о способности к философии. Однажды стояла такая холодная погода, что Ницше был просто счастлив, когда вся семья по-домашнему вторглась в его «Комнату для размышлений» — *Denkstube*. Это было самое теплое помещение в доме. Они читали и разговаривали вполголоса, чтобы не отрываться профессора от работы, — это наверняка ему очень льстило.

В канун нового, 1871 года он уехал обратно в Базель. Ницше наконец принял решение, что делать с потерей интереса к филологии и растущим интересом к философии. В январе он написал еще одно длинное письмо к президенту образовательного совета [22], обратившись к нему с необычным предложением — перевести его на кафедру философии, которая как раз освободилась. Его же место на кафедре филологии мог занять его друг Эрвин Роде. Роде и Ницше вместе учились у Ричля в Бонне и Лейпциге, но поскольку у Ницше не было должного философского образования, а Роде был всего лишь приват-доцентом (приглашенным лектором) в Кильском университете, то руководство не восприняло такое предложение всерьез. При мысли о необходимости вернуться к преподаванию филологии Ницше впал в какую-то духовную нарколепсию. Весь январь он чувствовал себя плохо. Врачи настаивали на полноценном отдыхе в теплом климате. К нему приехала сестра. Для поправки здоровья они отправились в Итальянские Альпы. «В первый день, — писала Элизабет, — мы добрались только до Флюлена, потому что дилижанс, движение которого было задержано сильнейшими снегопадами на целых две недели, мог возобновить регулярное сообщение лишь на следующий день. В отеле мы встретили Мадзини, который под вымышленным именем мистера Брауна путешествовал в компании какого-то молодого человека». Джузеппе Мадзини был товарищем Гарибальди. Он был приговорен к смерти в своей стране и большую часть изгнания проводил, пытаясь придумать, как сделать из Италии объединенную республику. Как и многие республиканцы и анархисты со всего мира, Мадзини нашел убежище в Лондоне, откуда планировал вторжение в Италию и ее захват всеми политическими эмигрантами. Пламенная обычно революционерка Джейн Карлайл поспешила отка-

заться от идеи под предлогом склонности к морской болезни, но больше никто не возразил. Планировали отправиться из Англии на воздушных шарах — практичный способ управлять ими был как раз изобретен. Мадзини не без оснований полагал, что подобная кампания повергнет в ужас Бурбонов, тиранящих Италию [23].

«Этот благородный беглец, — продолжала Элизабет, — сгорбленный годами и печалью, вынужденный возвращаться в любимое отечество лишь тайно и под чужим именем, показался мне удивительно занятой фигурой. Все путешествие через Сен-Готард в небольших саних всего лишь на два человека прошло при такой дивной погоде, что мрачный пейзаж и зимняя бело-сине-золотая палитра показались нам невыразимо прекрасными. Интеллектуальное товарищество Мадзини, который охотно присоединялся к нам обоим на всех остановках, а также инцидент, который ужаснул нас, когда мы спускались по зигзагообразной дороге, ведущей с ошеломительных высот Сен-Готарда в долину Тремола, как будто на крыльях (маленькие сани, ехавшие прямо перед нами, вместе с пассажирами, кучером и лошастью упали в 60-метровую пропасть. К счастью, благодаря глубокому мягкому снегу никто не пострадал), — благодаря всему этому поездка приобрела особенное и незабываемое очарование. Следующая фраза из Гёте, которую Мадзини постоянно цитировал со своим иностранным акцентом молодому сопровождающему, стала с тех пор любимым жизненным принципом для меня и брата: *Sich des Halben zu entwöhnen und im Ganzen, Vollen, Schönen resolut zu leben* [«Отринь компромиссы и живи безбоязненно полной и прекрасной жизнью»]. Прощальные слова Мадзини очень нас тронули. Он спросил, куда мы направляемся. Я ответила: «В Лугано, который, по всем приметам, подобен раю». Он улыбнулся, вздохнул и сказал: «Молодым рай повсюду»» [24].

12 февраля они достигли Лугано, где угодили в объятия одного из самых характерных буржуазных гранд-отелей, напоминающего волшебную гору эллинизма. Элизабет отмечала даже самых незначительных знаменитостей, среди которых особенно выделяла графа фон Мольтке, брата великого фельдмаршала. Там их ожидали салонные игры, театральные представления, концерты и приятнейшие экскурсии на расположенную неподалеку гору Бре, с которой открывался великолепный обзор. Двадцатисемилетний холостяк и профессор, Ницше пользовался большой популярностью и обратился в светского льва. Он незамедлительно залез на гору Бре выше, чем остальные. Вынув из кармана томик «Фауста», он стал читать из него вслух, пока они «осматривали величе-

ственный весенний ландшафт и поражались невероятным богатством мира». «Наконец он выронил книгу и своим мелодичным голосом начал рассуждать о том, что только что прочел и что мы все увидели, как если бы мы, отринув нашу пустую северную узость и мелочность, доросли до более высоких чувств и целей и теперь, расправив крылья и расхрабрившись, набравшись энергии, могли теперь двинуться на самый верх, навстречу солнцу» [25].

К сожалению, фон Мольтке во время прогулки к озеру простудился. «К ужасному огорчению всей нашей группы, он скончался, — писала Элизабет, но общей ее жизнерадостности это почти не омрачило. — Какими счастливыми и безоблачными были те три недели в Лугано: вокруг нас царил запах фиалок, солнечный свет, прекрасный аромат гор и весны! Я до сих пор помню, как мы шутили и смеялись; мы были так беззаботны, что даже приняли участие в карнавальных празднествах. В четвертое воскресенье Великого поста один итальянский дворянин пригласил нас в Понте-Треза. Когда я сейчас вспоминаю, как мы, немцы из Hôtel du Parc [26], танцевали друг с другом и с итальянцами на местной рыночной площади (у меня перед глазами до сих пор предстает Фриц, весело отплясывающий в хороводе), все это кажется мне каким-то бесконечным счастливым карнавалом».

Пока Элизабет рассказывала о веселых крестьянских танцах, ее брат писал свою первую книгу — «Рождение трагедии из духа музыки», где излагал выводы, к которым он пришел за годы нефилологического осмысления происхождения и цели греческой трагедии и ее неизменной важности для настоящего и будущего культуры.

5

Рождение трагедии

Почти всё, что мы называем «высшей культурой», покоится на одухотворении и углублении жестокости... То, что составляет мучительную сладость трагедии, есть жестокость¹.

*По ту сторону добра и зла.
Наши добродетели, 229*

Влияние первой книги Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» оказалось гораздо значительнее, чем те мелкие и уже устаревшие сейчас идеи, которые привели Ницше к ее написанию. Книга задумывалась частично как страстное юношеское обличение культурной деградации своего времени, а частично — как манифест культурного возрождения только что объединившегося германского государства благодаря деятельности Рихарда Вагнера. Книга сохраняет свое значение как памятник революционного восприятия тончайших переходов между рациональным и инстинктивным, между жизнью и искусством, между миром культуры и реакцией на него человека.

Знаменитый зачин книги гласит, что как размножение зависит от дуализма полов, так постоянное развитие искусства и культуры в веках зависит от двойственности аполлонического и дионисийского начал. Как и два пола, эти начала ведут между собою постоянную борьбу, которая лишь изредка прерывается периодами примирения. Аполлоническое начало он связывает с пластическими искусствами — главным образом скульптурой, но также и живописью, архитектурой и снами, которые

¹ Здесь и далее «По ту сторону добра и зла» цит. в пер. Н. Н. Полилова.

до Фрейда не считались беспорядочными вспышками подсознательно подавляемых чувств, но сохраняли свое древнее значение пророчеств, откровений и просветлений. Аполлоническое начало можно назвать более-менее очевидным, поддающимся описанию; оно приблизительно соответствует шопенгауэровскому «представлению». Мир Аполлона, «в жестах и взорах которого с нами говорит вся великая радость и мудрость “иллюзии”, вместе со всей ее красотой»¹ [1], состоит из моральных, рациональных личностей, являющих собой *principium individuationis* («принцип индивидуации, индивидуальное начало»).

К дионисийскому началу относятся музыка и трагедия. Дионис, дважды рожденный сын Зевса, считался в Древней Греции одновременно человеком и животным. Он представлял собой притягательный мир экстраординарного опыта, переходящего границы бытия. Бог вина и опьянения, алкоголя и наркотиков, ритуального безумия и экстаза, бог вымышленного мира театра, масок, перевоплощений и иллюзии; бог, чье искусство изменяет коллективное или индивидуальное поведение его последователей, которые подвергаются трансформации.

Как музыка, так и трагедия способны, подавив частный дух, пробудить импульсы, которые в своей крайней форме могут довести человека до самозабвения, а дух мистически переносится в трансцендентное состояние блаженства или ужаса. В аттической трагедии одним из имен Диониса было «Пожиратель сырой плоти». Только через дух музыки мы можем понять весь экстаз самоуничтожения. Представьте себе современных зрителей рок-фестивалей или самого Ницше, который писал, что, слушая «Тристана и Изольду», словно бы приложил ухо к сердцу всеобщей воли и почувствовал трепещущую тягу к жизни, будто бурный поток. Для современников он иллюстрирует свою позицию знакомым им примером взбудораженных толп, которые с пением и плясками носились по средневековой Германии — это были так называемые плясуны святого Иоанна и святого Витта. (Вагнер косвенно упоминает их в «Нюрнбергских мейстерзингерах».) В них Ницше узнает вакхические хоры греков. Опьянение, музыка, пение и танец — состояния и виды деятельности, в которых теряется *principium individuationis*. Такова была дионисийская реакция на жизненные страдания.

Откуда же взялся пессимизм греков, их пристрастие к трагическому мифу, к страшному, злобному, жестокому, оргиастическому, загадочному и деструктивному Пожирателю плоти? Гениальность греческой траге-

¹ Здесь и далее «Рождение трагедии из духа музыки» цит. в пер. Г.А. Рачинского.

дии, по словам Ницше, состоит в том, что благодаря чуду воли эллинов в ней сочетаются аполлоническое и дионисийское. Досократический греческий драматург — это аполлонический сновидец и дионисийский художник экстаза одновременно, и достигается это благодаря хору.

В хоре кроются истоки трагедии, он представляет дионисийское состояние. Введение хора отрицает натурализм. Ницше порицает современную ему культуру: «Я боюсь, что мы, со своей стороны, при нашем теперешнем уважении к естественности и действительности достигли как раз обратного всякому идеализму полюса, а именно области кабинета восковых фигур» [2].

Чтобы понять причины смерти греческой трагедии, нужно вспомнить максимы Сократа: добродетель есть знание, все грехи идут от невежества, счастливый человек есть человек добродетельный.

В этой в целом оптимистичной и рациональной формуле и кроются предпосылки конца трагедии. В пьесах после Сократа добродетельный герой должен быть диалектичным, должна присутствовать явная связь между добродетелью и знанием, верой и моралью. Трансцендентную справедливость Эсхила Сократ сводит к «плоскому и дерзкому принципу поэтической справедливости».

Сократ — «мистагог науки», в глазах которого никогда не светил приятный огонек безумия. Благодаря Сократу «неведомая дотоле универсальность жажды знания, охватив широкие круги образованного общества и сделав науку основной задачей для всякого одаренного человека, вывела ее в открытое море, откуда она с тех пор никогда не могла быть вполне изгнана; как эта универсальность впервые покрыла всеохватывающей сетью мысли весь земной шар и даже открывала перспективы на закономерность целой Солнечной системы» [3].

Люди разделяют ошибочное мнение Сократа о том, что радость от понимания может исцелить вечную рану бытия: «Кто на себе испытал радость сократического познания и чувствует, как оно все более и более широкими кольцами пытается охватить весь мир явлений, тот уже не будет иметь более глубокого и сильнее ощущаемого побуждения и влечения к жизни» [4].

Но поступать так — значит не обращать внимания на то, что мир — нечто большее, чем копирование феноменов. Существует и дионисийское начало — воля. Потому в поздний период сократической культуры человек «остается вечно голодающим». Александрийский человек, ограниченный рациональностью, «в глубине души своей библиотекарь и корректор и жалко слепнет от книжной пыли и опечаток» [5].

Может быть, наше стремление к науке и научным доказательствам — это своеобразный страх, бегство от пессимизма, последнее восстание против истины? Иначе говоря, не является ли оно проявлением моральной трусости и фальши?

Проблему науки необходимо решить. Наука была проблемой в постсократовской Греции, как сейчас, по замечанию Ницше, она остается проблемой в постдарвиновской Европе. Верой в объяснимость природы и в знание как панацею наука разрушает миф. В результате мы впадаем в «старческое и рабское наслаждение существованием».

Ни в один период культура не была под большей угрозой. Когда катастрофа, зарождающаяся в лоне теоретической культуры, начинает угрожать современному человеку, единственное спасение для культуры — взломать заколдованные ворота, ведущие к волшебной горе эллинизма [6].

Кто владеет ключами к волшебной горе? Чьей силы достаточно, чтобы взломать ворота? Шопенгауэра и, разумеется, Вагнера. Опера, сочетающая в себе слова и музыку, являет собой новую форму трагического искусства, в которой воссоединяются дионисийское и аполлоническое начала.

«Музыка будущего» Вагнера основана на обязательном возрождении трагического мифа (немецкого, а не греческого) и диссонансе. Использование им диссонанса в музыке отражает и подтверждает диссонанс человеческой души и разлад между Волей и Представлением, между аполлоническим и дионисийским.

Кто, вопрошает Ницше, может слушать третий акт «Тристана и Изольды», этот «пастуший напев метафизики», и «не задохнуться от судорожного напряжения всех крыльев души»? Кто «не был бы сокрушен в одно мгновение» [7]? Это яркий пример дионисийского переживания, причем с мифологической точки зрения — чисто германский.

В какой-то недоступной до сих пор бездне покоится во сне, подобно дремлющему рыцарю, германский дух, несокрушимый и дионисийский по своей природе; из этой бездны до наших ушей доносится проявление дионисийского начала. В «Тристане и Изольде» (тут все начинает запутываться) дионисийское находится на службе у аполлонического. Сверхзадача трагедии — чтобы Дионис говорил словами Аполлона, а Аполлон — словами Диониса. Тогда достигается цель и трагедии, и любого искусства вообще.

Книга содержит множество цитат из либретто «Тристана и Изольды» и завершается воображаемой встречей современного человека с древним греком, которые приступают к работе над трагедией во имя обоих бо-

жеств. Хотя «Рождение трагедии» — книга больше о культуре, чем о том, как следует жить, она знакомит нас с идеями, к которым Ницше будет обращаться и впоследствии, когда его философия получит развитие. Дуалистическая природа человека, выраженная в «Рождении трагедии» аполлоническим и дионисийским началами, и необходимость противостоять иллюзии уверенности, рождаемой наукой, будут занимать его мысли до конца сознательной жизни.

Закончив первый черновик книги, он сбежал от тающих снегов Лугано в Трибшен и удивил Козиму, внезапно появившись там к завтраку 3 апреля. Она отметила, что он выглядел очень измотанным, и упростила остаться на пять дней. Он вслух читал свою рукопись, которая тогда носила название «Происхождение и цель греческой трагедии». Козима и Вагнер были в восторге: многие положения книги представляли собой сумму их идей, развившихся за последние несколько лет. Да и как им было не увлечься призывом к обновлению национальной культуры посредством музыки Вагнера?

Внезапно всё и вся в Трибшене стало аполлоническим или дионисийским. Вагнер дал Козиме новое любовное прозвище: теперь она именовалась его «аполлоническим духом». Сам он уже был Дионисом в любовном треугольнике, но после знакомства с книгой Ницше начал осознавать эту роль по-новому. Вагнер включил термины «аполлоническое» и «дионисийское» в речь «О судьбе оперы», которую должен был представлять через три недели в Академии наук в Берлине. После этого была запланирована его личная встреча с Бисмарком. Так зарождалось общее культурное направление Германского рейха.

Однако хотя все это было лестно для Ницше, он ощущал себя человеком более буркхардтовского, более европейского типа, чем Вагнер. Он не мог одобрить радости Вагнера от страданий Парижа в прусской осаде. Вагнер называл Париж «продажной девкой мира» и потирал руки от удовольствия оттого, что город наконец-то настигает возмездие за легкомысленное поведение, предпочтение элегантности перед серьезностью и «франко-еврейскую тривиализацию культуры».

«Рихард хотел написать Бисмарку и предложить стереть Париж с лица земли» [8], — отметила Козима. Ницше же придерживался иной точки зрения: он был охвачен жалостью к невинным парижанам и ужасом оттого, что его страна стала причиной таких страданий.

Музыка в Трибшене перестала радовать слух Ницше. Дети распевали новый привязчивый *Kaisermarsch*, который Вагнер сочинил во славу

провозглашенного императора, а маэстро читал вслух новое стихотворение, восхваляющее прусскую армию, которая осаждала Париж. То, что казалось Ницше проявлением варварского стремления к уничтожению культуры, Вагнер считал знаком культурного обновления. Композитор полагал, что если вы не можете снова писать картины, то недостойны и обладать ими. Если не учитывать уродливый национализм Вагнера, это была чисто дионисийская, оригинально творческая точка зрения в сравнении с чисто историческим, аполлоническим стремлением Ницше к сохранению здания культуры.

Нам известно, что в Трибшене Ницше по предложению Вагнера внес какие-то изменения в «Рождение трагедии», но мы не знаем, в чем именно они состояли. «Порадовав детей зеленой змеей» [9], он вернулся в Базель и засел за редактуру текста, сменил название и добавил длинное посвящение Вагнеру.

В Базеле его ожидали только плохие новости. Вакантная кафедра философии была отдана подходящему кандидату. Лишь тут Ницше понял, насколько наивными и неуместными были его предложения в духе игры в музыкальные стулья.

«Каких глупостей я наделал! И какими верными казались все мои схемы! Я не могу даже укрыться под пологом кровати больного; очевидно, эта идея родилась в какую-то из бессонных лихорадочных ночей, и с ее помощью я надеялся исцелиться от болезней и нервов» [10]. Теперь же он вынужден был оставаться одним из множества филологов, погруженных в исследование грамматических тонкостей древних авторов и не занимающихся более серьезными жизненными проблемами. Его филологические обязанности, как казалось ему, только отвлекают его от более важных задач. Оставалось надеяться на публикацию книги, которая должна была принести признание его философии. После этого уже можно было сменить направление.

Тем временем руководство университета решило облегчить его педагогическую нагрузку по причине перевозбуждения и нездоровья. Ухаживать за ним в Базель приехала сестра Элизабет. Она охотно покинула Наумбург, где вела ограниченную жизнь старой девы, живя в доме матери и посвящая себя благотворительности.

В конце апреля Ницше отправил начало «Рождения трагедии» лейпцигскому издателю. Прошло несколько месяцев, а никакого ответа не последовало. Его авторская неуверенность усугублялась отсутствием Вагнера и Козимы. Боги оставили Остров блаженных и отправились в путешествие по Германии в поисках места, где можно было бы

устроить театральный фестиваль для постановки «Кольца». Искать интеллектуальной поддержки в Трибшене, таким образом, было бессмысленно. Да даже и будь Вагнер дома, он едва ли способен был оказать кому-то поддержку, поскольку сам находился во власти беспокойства и напряжения. Вопреки всем отчаянным усилиям композитора король Людвиг организовал провальную постановку «Золота Рейна», первой оперы тетралогии. Королю не терпелось увидеть ее на сцене, и он заказал преждевременную и совершенно не продуманную постановку. Худшие предчувствия Вагнера оправдались, и в результате отношения с королем испортились: теперь композитор не был уверен в том, что Людвиг продолжит финансирование «Кольца нибелунга». Особенно неприятно это было в свете того, что в ходе поездки по Германии Вагнер и Козима сочли Байрёйт идеальным местом для постройки оперного театра. Были бы деньги.

Байрёйт, средних размеров город в Северной Баварии, имел железную дорогу, по которой публика могла доехать до будущего театра. Пейзаж был великолепным, полностью соответствующим германским мифам. Город стоял в высшей точке большой равнины, где в изобилии росли злаки и пасся скот. Исторический барочный дворец в ландшафтном парке символизировал триумф аполлонического интеллекта, а солидных размеров холм, покрытый густой травой, так и просился стать местом постройки дионисийского оперного театра.

На Троицу Вагнер и Козима вернулись в Трибшен полными надежд и сразу же вызвали к себе Ницше. Духов день имел для всех троих особое эмоциональное значение, всегда вызывая в памяти рождение Зигфрида в 1869 году, которое скрепило прочными узами их мистический триумвират.

Теперь же, всего через два года, он грозил распасться. В случае успеха культурного проекта — а Ницше должен был на это надеяться — Вагнер и Козима навсегда уехали бы из Трибшена в Байрёйт. Его дни на Острове блаженных были сочтены. В какой день ему предстоит лишь вспоминать о звездном танце ряби на воде? Его неуверенность и эмоциональная хрупкость усугублялись тем, что издатель так и не написал ему, собирается ли опубликовать «Рождение трагедии». В июне Ницше понял, что больше не может этого выносить. Он затребовал рукопись обратно и, не советуясь с маэстро, послал ее издателю Вагнера Эрнсту Вильгельму Фриццу.

В начале сентября Козима в письме попросила Ницше посоветовать кого-то в сопровождающие сыну княгини Гатцфельдт-Трахенберг, от-

правляющемуся в большое турне по Италии, Греции, Востоку и Америке. У самого Ницше было много поводов согласиться. Это помогло бы скоротать длинное и напряженное лето, поправить его здоровье (врачи продолжали рекомендовать ему более теплый климат), с достоинством уйти с кафедры филологии и наконец увидеть своими глазами Рим и классический мир. Это так его увлекло, что он стал рассказывать университетским коллегам о проекте еще до того, как все было улажено. Да и ведь таково было желание Козимы, иначе зачем она вообще об этом упомянула? Но, увы, он понял ее совершенно неправильно, ведь Козима никогда не намекала там, где могла бы приказывать. Козима пришла в ужас оттого, что он готов оставить серьезную должность профессора ради легкомысленной роли *чичероне* при принце. Когда она объяснилась, Ницше был пристыжен тем, что выставил себя дураком перед ней и перед всем университетом. К счастью, в университете к этому отнеслись иначе. Когда он объявил, что все же намерен остаться, ему подняли зарплату на 500 франков, доведя ее до солидной суммы в 3500 франков.

В октябре он отметил двадцать седьмой день рождения. Через месяц он написал взволнованное письмо Карлу фон Герсдорфу, своему школьному другу по Пфорте, где уведомлял, что «великолепный Фрицш» принял книгу и обещал опубликовать к Рождеству. Ницше торжествующе рассказывал фон Герсдорфу:

«Оформление книги будет повторять вагнеровскую “Цель оперы” — радуйся со мною! Это значит, что там найдется достаточно места для славной винетки: передай это своему другу-художнику вместе с моими наилучшими пожеланиями. Сними с полки книгу Вагнера, открой титульный лист и посмотри сам, сколько места мы можем уделить:

THE
BIRTH OF TRAGEDY
FROM THE SPIRIT OF MUSIC

by
Dr. Friedrich Nietzsche
Professor of Classical Philology
*Leipzig Fritsch*¹

¹ Рождение трагедии / из духа музыки. / Доктор Фридрих Ницше. / Профессор классической филологии. / Лейпциг, издательство Фрицша.

Я сейчас вполне уверен, что книга будет прекрасно расходиться, а человек, который возьмет на себя подготовку виньетки, увенчает себя бессмертной славой.

А теперь другие новости. Представь себе, дорогой друг, какие странные плоды принесли мне эти чудесные дни нашего воссоединения на каникулах: я сочинил длинную композицию для двух фортепиано, в которой все пронизано духом теплой, согретой солнцем осени. Поскольку она отсылает к временам юности, то называется “Отражение кануна Нового года: с псалмом, крестьянским танцем и полуночными колоколами”. Это чудесное название... На Рождество музыка будет представлена фрау Вагнер в качестве сюрприза... Я ничего не сочинял вот уже шесть лет, но *эта* осень снова вдохновила меня. При должном исполнении музыка продлится 20 минут» [11].

Его эйфория продолжалась недолго. Гравер, которому было предложено обессмертить себя виньеткой, отказался от работы — пришлось искать другого. Превосходный Фрицш напечатал текст меньшим шрифтом, чем вагнеровскую «Цель оперы», так что книга заняла 140 страниц и оказалась более тонкой и на вид менее внушительной, чем надеялся Ницше, напоминая скорее какой-то буклет. Кроме того, Вагнер рассердился на то, что Ницше обратился к его издателю, не посоветовавшись сперва с ним. Из-за этого казалось, что между ними наметился какой-то разлад, а ведь Ницше был ярым пропагандистом Вагнера.

Ницше отклонил предложение приехать на Рождество в Трибшен, объяснив, что ему нужно время, чтобы обдумать новый курс лекций о будущем образовательных учреждений, хотя легко мог бы заняться этим в *Denkstube*. На самом деле, как он конфиденциально признался Эрвину Роде, ему нужно было время, чтобы подготовиться к вердикту Вагнера по поводу музыкального сочинения, которое он прислал. «Я волнуюсь, не зная, что он скажет о моей музыке» [12].

Ницше считал себя композитором не без таланта и надеялся на одобрение Вагнера. Когда в Трибшене Ганс Рихтер и Козима сели за фортепиано, чтобы сыграть Вагнеру этот дуэт, маэстро беспокойно ерзал все двадцать минут, что звучала музыка. Пьеса была типичной для фортепианных сочинений Ницше того периода, представляя собой попури из Баха, Шуберта, Листа и Вагнера. Отрывочные, излишне эмоциональные и почти лишенные развития, эти сочинения неизменно побуждают думать, что живи он немного позже, то добился бы успехов как создатель сопроводительной музыки для немого кино. Но как бы ни смеялись Вагнер и Козима между собой, они скрыли это от друга.

Она поблагодарила Ницше за «прекрасное письмо», прилагавшееся к подарку, но вообще не упомянула о самой музыке.

Оказавшись в Базеле на Рождество, одинокий Ницше лишь с помощью какого-то случайного маляра сумел открыть огромный ящик, посланный его матерью. Франциска наконец-то разбогатела, получив наследство после смерти тетюшек. Это позволило ей приобрести весь дом в Наумбурге и сдавать комнаты постояльцам.

Тем Рождеством Франциска, движимая миссионерским духом, решила послать своему нетвердому в вере сыну большое изображение Мадонны, написанное маслом итальянским мастером. Проводя долгие рождественские дни в полном одиночестве, Ницше имел достаточно времени на составление благодарственного письма, куда вошло описание того, как традиционно он обставил свою квартиру: «Конечно, “Мадонна” будет висеть над диваном; над пианино будет большой портрет Эразма Роттердамского кисти Гольбейна; над книжным столиком у камина — папа Ричль и Шопенгауэр. В общем... я благодарю тебя от всего сердца... кажется, что эта картина невольно влечет меня в Италию, я почти уже подумал, что ты послала ее мне, чтобы заманить меня туда. Единственный ответ, который я могу дать этому аполлоническому действию, — дионисийский, своей новогодней музыкальной пьесой, а затем я рассчитываю на аполлонически-дионисийский двойной эффект от своей книги, которая тоже будет опубликована на Новый год».

Далее в письме он благодарит мать за присланные расческу, щетку для волос, щетку для одежды, которая, правда, «мягковата», хорошие носки и множество имбирных пряников в ярких упаковках [13]. В то же время он пишет игривое письмо своему другу детства Густаву Кругу, которому рассказывает, что «Рождение трагедии» выйдет на Новый год, и предупреждает примерно в том же тоне и выражениях, как и десять лет назад, когда отправлял ему «омерзительный» непристойный роман «Эвфорион»: «О! Это гадкая и грубая книга. Читай ее тайно, запершись в своей комнате» [14].

Читать письма, отправленные им в то Рождество, и не сочувствовать ему из-за общей неопределенности, что творилась вокруг, невозможно. Никто не изъяснялся с ним прямо.

Все, как и он сам, играли какие-то роли, все носили маски, причем разные для каждого случая. Он временно позабыл о руководящем принципе, который усвоил в студенческие годы из оды Пиндара: «Будь, каков есть!»

Наконец книга вышла, и 2 января 1872 года Ницше смог послать ее Вагнеру с сопроводительным письмом, где рассказывал, что ее издание

отсрочили «силы судьбы, с которыми невозможно установить какую-то прочную связь»:

«На каждой странице вы увидите, что я просто хотел поблагодарить вас за все, что вы мне дали; меня лишь снедают сомнения в том, всегда ли я правильно использовал все данное.

С самой горячей благодарностью за вашу любовь — есть, был и останусь вашим верным Фридрихом Ницше».

Это было самое откровенное, самое страстное письмо, что он когда-либо писал. К счастью, после получения книги Вагнер с обратной почтой ответил:

«Дорогой друг! Я никогда не читал более прекрасной книги. Все просто превосходно! Я сказал Козиме, что после нее вы занимаете следующее место в моем сердце, а за вами, на почтительном отдалении, следует Ленбах, который создал мой поразительно похожий портрет! До встречи! Приезжайте к нам побыстрее — устроим дионисийское веселье!»

Козима тоже написала восторженное письмо, не сдерживаясь в похвалах книге. Она сочла текст глубоким, поэтическим и прекрасным и утверждала, что книга дала ей ответы на все вопросы ее внутренней жизни. Выражаемые в письме чувства она испытывала на самом деле: в личном дневнике она тоже называет книгу «просто великолепной» и пишет, что они с Вагнером чуть не разорвали книгу надвое, когда буквально дрались за то, чтобы забрать себе экземпляр.

Ницше отправил книгу и Листу. Он тоже высоко оценил ее, ответив, среди прочего, что никогда не встречал лучшего определения искусства. Похвалы поступали и в письмах от разных титулованных дам и господ — баронов и баронесс, которые, возможно, ничего в книге и не поняли, но посчитали своим долгом подтвердить в самых тривиальных выражениях, что находятся в лагере Вагнера и короля Людвига, противостоя всему миру. Профессиональные философы и филологи книгу проигнорировали, рецензий в прессе тоже не было. Он в волнении ждал. Вокруг книги сгущалась атмосфера гнетущего и неприятного молчания в обществе. «Как будто я совершил какое-то преступление», — писал он.

Впрочем, его разум отвлекался на подготовку лекций об образовании, которые помешали ему провести Рождество в Трибшене. Академическое

общество Базеля проводило публичные лекции уже много лет. Каждой зимой вниманию всех желающих предлагалась программа из 30–40 лекций. Первую лекцию Ницше 16 января посетили около трехсот человек. Они прослушали выступление с большим интересом и пришли вновь.

Курс лекций «О будущности наших образовательных учреждений» был посвящен направлению, которое следовало придать развитию образования в только что созданном рейхе. В лекциях широко использовался материал «Рождения трагедии». За критикой стерильной культуры современности следовало предложение возродить взамен «германский дух» прошлого.

Ницше выстроил лекции в духе платоновских диалогов между учеником и учителем и оживил их, вложив в уста своих персонажей реплики по текущим политическим вопросам. Он возражал марксистской теории с позиций аристократического радикализма Древней Греции. Ученик выступает за максимальное распространение образования. Его сети должны быть раскинуты как можно шире. Целью и задачей образования должна стать польза. Возможность получения материальной выгоды должна обеспечить всем равные возможности для счастья. Философ возражает ему, ратуя за возврат к чистому образованию, призванному поддерживать высочайшие этические нормы. Расширенное образование есть ослабленное образование. Дилемма для государства состоит в том, что связь между разумом и собственностью требует быстрого обучения народа, формирования прослойки тех, кто способен зарабатывать деньги. Культура же позволяется лишь в той мере, в которой она совместима с интересами выгоды.

Ницше произнес то, о чем долго молчали: государству нужны не блестящие личности, а винтики в механизме, специалисты, имеющие ровно столько образования, чтобы работать покорно и некритически, неизбежным результатом чего станет укоренение интеллектуальной посредственности. В возмущении тем, что место культуры занимают газеты, мы слышим эхо разговоров Ницше с Буркхардтом во время прогулок и раздражение тем, что газеты сейчас необходимы даже величайшим ученым: «Тот клейкий, связующий слой, который теперь отложился между науками — журналистика, — воображает, что призван выполнять здесь свою задачу и осуществлять ее сообразно со своей сущностью»¹ [15].

Лекций в курсе должно было быть шесть, но, когда он прочитал пятую, подвело здоровье. Это, наряду с его неспособностью перейти

¹ Пер. под ред. И. А. Эбаноидзе.

в последней лекции от теории к конкретным предложениям по поводу образовательной реформы, предопределило то, что цикл так и не был завершен. Все пять лекций пользовались популярностью и активно посещались. Он получил предложение возглавить кафедру классической филологии в северном городке Грайфсвальде, но последнее, что ему было нужно, — это очередная кафедра филологии. Он мечтал перейти на кафедру философии.

Окрыленные студенты из Базеля неправильно поняли его отказ Грайфсвальду. Посчитав, что дело в его нерушимой преданности Базелю, они нанесли ему визит и предложили провести в его честь факельное шествие. Он отказался. Через несколько дней университет Базеля поднял ему жалованье до 4000 швейцарских франков в знак признания его «выдающейся работы».

Через восемь дней после первой лекции Ницше его призвал Вагнер. Он был сильно расстроен. Ему никак не удавалось предотвратить «убийство молчанием» [16] книги Ницше, но еще больше Вагнер беспокоился о себе и о труде своей жизни. Похоже, его мечта рушилась вновь. Сначала городской совет Байрёйта предложил ему место для постройки оперного театра, но позже оказалось, что совет не владеет землей, а настоящий владелец отказался продавать участок. Затем ситуация усугубилась: секретарь короля Людвига подсчитал смету. Финансы удавались Вагнеру еще хуже, чем насвистывание мелодий, и затраты на строительство каким-то невероятным образом выросли с трехсот тысяч талеров до девятисот тысяч. Деньги планировалось добыть, организовав Вагнеровские общества с вступительными взносами везде, где найдутся энтузиасты. В Германии и по всей Европе возникло несколько обществ. Одно появилось даже в Египте с участием самого хедива, загоревшегося идеей интеграции с Европой (незадолго до того он пригласил на открытие Суэцкого канала, среди прочих, даже Генрика Ибсена). Ответственность за координацию средств многочисленных Вагнеровских обществ была возложена на двух больших шишек с идеально подходящими друг другу фамилиями — баронов Лена из Веймара и Кона из Дессау. Им, однако, удалось собрать лишь сумму от 12 до 28 тысяч. По крайней мере, так они утверждали, хотя Вагнер был уверен, что Кон, которого он называл «придворным евреем», саботировал предприятие по своим гнусным семитским причинам.

Вагнер был в отчаянии; он уже почти готов был отказаться от проекта. Он не мог заснуть, никуда не годилось пищеварение. Композитора страшила мысль о том, что король Людвиг может умереть или сойти

с ума. Тогда деньги кончатся совсем: проект «Кольца» и всего культурного возрождения Германии умрет вместе с монархом. Вагнер призвал Ницше в преддверии последнего, отчаянного турне для сбора средств. Увидев маэстро в таком плачевном состоянии, Ницше импульсивно предложил все бросить и отправиться в турне по Германии с лекциями, доход от которых поступал бы в пользу Вагнера. Композитор разубедил его: Ницше должен был оставаться в Базеле и упрочивать свою репутацию, завершив цикл лекций. Самым важным было повлиять на образовательную политику Бисмарка. Параллельно с успешными лекциями, которые Ницше планировал переработать в книгу, он тайно готовил меморандум для Бисмарка, где указывал на просчеты канцлера в образовательной сфере и предлагал реформы как модель культурного возрождения: «Хочу показать, как постыдно упускается благоприятнейший момент для того, чтобы основать действительно немецкое образовательное учреждение, которое служило бы возрождению немецкого духа...»¹ [17] В итоге и книга не увидела свет, и меморандум так и не был отправлен. Впрочем, идея была обречена с самого начала: Бисмарк не любил, когда ему грозили пальчиком.

Вагнер продолжал свой путь в Берлин, оставив Козиму одну дома с книгой Ницше и банкой икры, которую послал ей из Лейпцига [18]. Если бы Ницше последовал своему донкихотскому импульсу, покинул университет и отправился с Вагнером по Рейху, то за месяц быстро почувствовал бы себя не у дел. Поездка Вагнера имела ошеломительный финансовый успех. Победа над Францией породила националистические настроения, благодаря которым композитор и его идеи стали пользоваться огромной популярностью. Его с восторгом принимали в Берлине и Веймаре. В Байрёйте ему предложили участок земли еще лучше, а также другой участок, рядом с будущим оперным театром, где они с Козимой могли бы построить себе прекрасную виллу.

В конце марта снег начал таять, Вагнер вернулся из своего триумфального турне, а Ницше был приглашен в Трибшен на Пасху. Он снова был единственным гостем. Он появился в Великий четверг с сотней франков в кармане. Это был результат своеобразного пасхального предательства, напоминавшего о тридцати иудиних сребрениках. Деньги дал ему Ганс фон Бюлов, эксперт в области эмоциональных манипуляций. Он никогда не упускал случая помучить Козиму и всех, кто ее любил. Перед Пасхой он посетил Ницше в Базеле, расхвалил до небес

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

«Рождение трагедии» и обременил его малоприятной задачей доставить в Трибшен деньги — пасхальный подарок его дочери Даниэле, которая жила в Трибшене с Козимой и Вагнером.

Погода на ту Пасху была такой же беспокойной и переменчивой, как их эмоции. Они стояли на самом краю разрыва и несказанно об этом сожалели. Они оставляли Остров блаженных. Если отъезд из Трибшена и не означал того, что Вотан называет *das Ende* — «сумерками богов», то он, несомненно, знаменовал окончание волшебного периода божественного взаимно вдохновляющего творчества, результатом которого стали один ребенок и четыре шедевра — «Зигфрид», «Сумерки богов», «Идиллия Зигфрида» и «Рождение трагедии». Все они понимали, что идиллия подошла к концу.

Вагнер и Ницше отправились на последнюю, как оказалось, прогулку по трибшенским окрестностям. Вечером Ницше прочел свою пятую лекцию. На следующий день, пока Вагнер работал, Ницше и Козима прогулялись по Тропе разбойников. На такие прогулки Козима обычно надевала розовую кашемировую шаль, обильно декорированную кружевами, и большую тосканскую шляпу, украшенную розовыми розами, чтобы сохранить цвет лица. Рядом с ней с достоинством трусил огромный угольно-черный ньюфаундленд Русс, необычайно напоминающий семейного духа из легенды о Фаусте. Прогуливаясь по берегу серебристого озера, они беседовали о трагедии человеческой жизни, о грехах, о немцах, о планах и надеждах. Холодный ветер, словно взмах огромного крыла, ознаменовал начало внезапной бури, которая загнала их обратно в дом, где они читали друг другу сказки у камина.

В Пасхальное воскресенье Ницше помогал ей прятать в саду яйца, которые должны были искать дети. В своих бледных пасхальных одеяниях дети выглядели как стая лебедей, рассеянных по берегу: в изумрудных камышах они искали спрятанные яйца и тихонько вскрикивали, совершив открытие. Держа яйца на скрещенных пальцах, дети несли их назад к Козиме.

Днем Ницше и Козима играли дуэтом на фортепиано. В небе встала радуга. Этот универсальный символ надежды и мечтаний имел для них еще большее личное значение: в «Кольце нибелунга» радуга — это мост, соединяющий мир смертных с царством богов. Только перейдя радужный мост, можно попасть из одного мира в другой.

За обедом они втроем говорили о другом способе связи между богами и смертными — модном в то время спиритизме. Козима горячо верила

в сверхъестественное. В дневнике она неоднократно пишет, как, лежа ночью в постели, слышала скрипы и стуки старого дома и считала их сигналами мира духов — посланиями от умерших знакомых или собак. Но в присутствии Вагнера она проявляла скепсис, чтобы не выглядеть глупо в его глазах. Самого Вагнера не очень интересовали звуки, вызванные расширением и сжатием древесины, но он обращал внимание на более масштабные знамения — радугу, удары грома, попытки луны избавиться от черной ленты проплывающих облаков, сияние в небе Трибшена. За обедом Вагнер дал рационалистическое опровержение спиритических явлений, и Козима объявила, что все это мошенничество. Однако вечером они вместе попытались заняться столоверчением. Исключительно неудачно.

Утром в понедельник Ницше нужно было возвращаться к работе в университете. После отъезда профессора хозяева чувствовали себя не в своей тарелке, больными и подавленными. Даже неунывающий Вагнер был в печали, беспокоился и опасался, что окажется недостойным стоящей перед ним огромной задачи. Козима вернулась в постель.

Ряд недоразумений — а может быть, судьба — привел к тому, что Ницше приехал в Трибшен прощаться с маэстро уже через три дня после его окончательного переезда в Байрёйт. Он застал Козиму в процессе сборов. Дом уже совсем не походил на то место, которое некогда полностью изменило его представления о том, как можно прожить жизнь. Комнаты потеряли свой густой аромат: некогда наркотическая атмосфера теперь сменилась альпийской свежестью и слабым запахом озерной воды. Сгущенный полумрак их личного мира наполнился ярким солнцем. Закутанные некогда в розовую дымку вещи потеряли свою мягкую таинственность и стали резкими, плотными и гладкими. Окна, прежде задрапированные плотными шторами, которые держали в руках толстощекие херувимы, и гирляндами нежных шелковых розовых роз, вызывавших настоящий разгул воображения, ныне стали просто плоскими стеклянными прямоугольниками. Апокалиптическое мироощущение Вагнера, которое превращало любую деталь домашнего интерьера в театральную декорацию, покинуло обычные, ничуть не таинственные пустые комнаты. Толстая обивка из фиолетового бархата и прессованной кожи несла на себе уродливые, мышинового цвета следы бывших икон веры хозяев. Расплывшиеся U-образные отпечатки указывали на то, что раньше здесь висели лавровые венки. Пустые прямоугольники напоминали о картинах, которые изображали закованных в броню валькирий, молодого и благородного короля Людвига, скрученных

в спираль чешуйчатых драконов, и о картине Джелли «Воспитание Диониса музами», которую Ницше так часто созерцал, излагая свои мысли в «Рождении трагедии». Ницше не мог удержаться от эмоций. Как и в том давнем случае, когда его поразили ужас и тревога в борделе, он бросился за утешением к фортепиано. Он сел за клавиатуру и начал импровизировать, в то время как Козима с величавой торжественностью двигалась по комнатам, меланхолично наблюдая, как слуги упаковывают сокровища Трибшена. Он изливал в звуках свою мучительную любовь к ней и ее мужу — за ту атмосферу, что окружала их в течение трех лет, за восторженную память и за вечную тоску в будущем. Его потеря была еще не окончательной, но ничто уже не могло ее предотвратить. Впоследствии он писал, что ему казалось, будто он гуляет посреди будущих руин. Козима говорила о «вечных временах, которые все же прошли». Слуги были в слезах; собаки ходили за людьми, как неприкаянные души, и отказывались от еды. Ницше вставал с фортепианного табурета, только чтобы помочь Козиме отсортировать и упаковать вещи, которые были слишком драгоценными, чтобы доверить их слугам: письма, книги, рукописи и, разумеется, прежде всего ноты.

«Слезы буквально висели в воздухе! О, это было отчаяние! Те три года, что я провел в тесных отношениях с Трибшеном и в течение которых я посетил этот дом двадцать три раза, — какое влияние они на меня оказали! Кем был бы я без них!» [19] А в «Ессе Номо» он добавлял: «Я не высоко ценю мои остальные отношения с людьми, но я ни за что не хотел бы вычеркнуть из своей жизни дни, проведенные в Трибшене, дни доверия, веселья, высоких случайностей — *глубоких мгновений*... Я не знаю, что другие переживали с Вагнером, — на *нашем* небе никогда не было облаков».

Говорили, что, когда потом речь заходила о Трибшене, голос Ницше всегда дрожал.

Вернувшись в Базель, он заболел опоясывающим лишаем на шее и не смог дописать шестую, последнюю лекцию. Новой книги для Фрицша не было, а «Рождение трагедии» по-прежнему окутывал туман молчания.

Ницше написал письмо своему любимому учителю — профессору Ричлю, филологу-классику, за которым он последовал из Боннского университета в Лейпцигский и чей портрет висел у него над столом у камина. «Надеюсь, Вы не осудите меня за мое изумление тому, что я не услышал от Вас ни единого слова о моей недавно вышедшей

книге»¹ [20], — начиналось его непродуманное послание, которое продолжалось в столь же запальчивом юношеском тоне.

Ричль просто потерял дар речи. Он решил, что письмо Ницше свидетельствует о мании величия. «Рождение трагедии» он счел затейливой, но трескучей ахинеей. Поля его экземпляра испещрены такими пометками, как «мания величия!», «распутство!», «аморально!». Однако ему удалось так тактично сформулировать ответ, что Ницше не обидели слова о том, что текст скорее дилетантский, чем научный, и замечание по поводу того, что тягу к индивидуализму он не рассматривает как свидетельство регресса, поскольку альтернативой служило бы растворение своего «я» в общем.

Другой «фигурой отца», чье мнение имело для Ницше большой вес, был Якоб Буркхардт. Он тоже проявил достаточно такта и изобретательности в своем ответе. Ницше в итоге даже решил было, что Буркхардт очень увлечен его книгой. Но на самом деле Буркхардта возмутила идея книги, ее излишняя горячность, слишком резкий тон и предположение о том, что серьезный ученый послесократической эпохи — это всего лишь неразборчивый собиратель фактов.

Итак, молчание продолжалось! «Уже 10 месяцев царит полное молчание — всем кажется, что моя книга настолько пройденный этап, что нет даже смысла тратить на нее какие-то слова» [21].

Прошло меньше месяца с того времени, как Вагнеры уехали из Трибшена, как он уже получил от них приглашение принять участие в закладке первого камня в основание оперного театра в Байрёйте. Все начало развиваться с невероятной скоростью. Козима быстро позабыла Трибшен. В Байрёйте она расцвела как никогда прежде. Она писала: «Кажется, вся наша предыдущая жизнь была лишь подготовкой к этому». Вагнер только подтвердил эти чувства, преклонив перед ней колени и дав ей новое имя — маркграфини Байрёйта.

Козима всегда была склонна к снобизму. Они жили в *Hotel Fantaisie*, который принадлежал герцогу Александру Вюртембергскому и находился рядом с его замком «Фантазия». Ее дневник начинает напоминать Готский альманах. Страницы пестрят двойными и тройными титулами герцогов, князей и княгинь. Ее прихоти были законом для всех. Менее значительные аристократы — графы и графини — пробивались вперед всеми возможными способами. Граф Кроков подарил Вагнеру леопарда,

¹ Эта и следующая цитаты из писем Ницше — пер. И. А. Эбаноидзе.

подстреленного им в Африке. Графиня Бассенхайм шила сорочки для маленького Зигфрида. Все подношения Козима принимала со спокойной благодарностью маркиграфини [22].

Церемония закладки первого камня была назначена на 22 мая — пятьдесят девятый день рождения Вагнера. В небольшом городке Байрёйт, прежде не видевший таких столпотворений, съехалась почти тысяча музыкантов, певцов и гостей. В гостиницах, трактирах и ресторанах кончились еда и напитки. Вскоре стало не хватать и конных экипажей. Чтобы довезти высоких гостей до Зеленого холма, на время реквизировали транспорт у пожарной бригады и спортивных клубов. В небе висели низкие серые облака. Порой начинался сильный дождь. Вскоре и лошади, и пешеходы уже месили маслянистую бурю грязь. Королю Людвигу повезло, что он не приехал.

В те дни короля видели все реже и реже. Его день обычно начинался в семь вечера: он завтракал в небольшой комнате, освещенной шестьюдесятью свечами, после чего ездил по залитым лунным светом садам в экипаже в виде лебедя под звуки музыки Вагнера, которую исполняли спрятанные музыканты. Он все еще носился с идеей поставить премьеру «Золота Рейна» без согласия композитора, но милостиво одобрил идею строительства в Байрёйте в особом письме. Вагнер спрятал письмо в драгоценную шкатулку, которая с должной торжественностью была заложена в основание театра под звуки оркестра, играющего «Марш присяги на верность Людвигу Баварскому», который Вагнер написал для короля несколькими годами ранее.

Как бог Вотан, который в «Кольце» трижды потрясает землю, вызывая огонь и различные роковые последствия, Вагнер трижды ударил молотом по первому камню. Произнеся слова благословения, он, бледный как смерть, отвернулся с блестящими от слез глазами, согласно Ницше, которому была оказана высокая честь вернуться в город в одной карете с композитором.

Ницше все еще пребывал в состоянии неопределенности — ему хотелось узнать мнение о фортепианном дуэте, который он послал Козиме на Рождество. Ни Козима, ни Вагнер не проронили ни слова, и он решил отправить сочинение фон Бюлову.

В Базеле, когда фон Бюлов вручил Ницше сотню франков для Даниэлы, дирижер сказал, что так впечатлился «Рождением трагедии», что пропагандировал книгу всем и каждому. Он даже спрашивал у Ницше разрешения посвятить ему следующую книгу. Как мог молодой профессор устоять перед такой лестью? Конечно, это должно было внушить

ему серьезные надежды на то, что фон Бюлов похвалит и его музыку, которую Ницше оркестровал и назвал «Манфред. Медитация».

По крайней мере, Ницше мог ожидать, что фон Бюлов ограничится обычными общими фразами, как это часто делают профессионалы, когда любители спрашивают их мнения. Но дирижера переполняло злорадство — *Schadenfreude*, и свой вердикт он вынес с беспощадной жестокостью. Он написал, что не может скрыть смущения от того, что ему приходится оценивать «Манфреда»: «Ничего более безотрадного и антимузыкального, чем Ваш “Манфред”, мне давно уже не доводилось видеть на нотной бумаге. Несколько раз я спрашивал себя: не шутка ли все это, может быть, Вы намеревались сочинить пародию на так называемую музыку будущего? Сознаете ли Вы сами, что противоречите всем правилам композиции?.. Я не могу найти тут и следа аполлонического элемента, касаясь же дионисийского, мне, признаться, скорее приходится думать о *lendemain* [то есть похмелье] вакханалии, чем о ней самой»¹ [23].

Как Вагнер, так и Козима считали, что суждения фон Бюлова слишком жестоки, но совершенно не собирались утешать своего дорогого друга, поступаясь интересами истины. Когда Козима передала слова фон Бюлова своему отцу Листу, он печально покачал седой головой и сказал, что, хотя суждение чрезвычайно резкое, смягчать удар ему вовсе не хочется.

Чтобы оправиться, Ницше потребовалось три месяца. Он даже сумел написать ответ фон Бюлову: «Слава богу, что мне пришлось выслушать от Вас это, и именно это. Я понимаю, какие неприятные минуты доставил Вам, и могу лишь сказать, что взамен Вы мне очень помогли. Вообразите себе, что в своем музыкальном самовоспитании я постепенно лишился всякого надзора и мне никогда не приводилось слышать от настоящего музыканта суждения о моей музыке. Так что я по-настоящему счастлив, что меня таким вот простым манером просветили относительно сути моего последнего композиторского периода».

Он оправдывает свою самонадеянность тем, что находится в «полупсихиатрическом» музыкальном возбуждении, которое приписывает своему желанию почтить Вагнера, и умоляет фон Бюлова не списывать этот «своего рода *otium cum odio*, это одиозное времяпрепровождение», на увлечение музыкой «Тристана и Изольды». «Все это, честно говоря, стало для меня очень полезным опытом... Я должен пройти музыкаль-

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

ное лечение; возможно, мне не повредит изучить сонаты Бетховена в вашей редакции, под вашим руководством и наставничеством»¹ [24].

Нашелся и положительный момент: появилась первая статья о «Рождении трагедии». Друг Ницше Эрвин Роде умудрился поместить благоприятный отзыв в *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*. Впрочем, рецензией статью назвать было нельзя. В ней просто повторялись положения Ницше об убийстве сакрального и мистического суровой последовательностью сократической мысли, тревога по поводу культурного вандализма варваров-социалистов и мантра о том, что переосмысление Вагнером пантеона германских богов обеспечит прочные основания для культурного возрождения германской нации.

Ницше был в экстазе: «Мой друг, друг, друг, что ты для меня сделал!» Он заказал пятьдесят экземпляров статьи, но времени насладиться ею у него не было. Ульрих фон Виламовиц-Меллендорф, филолог и выпускник Пфорты, вскоре издал тридцатидвухстраничный памфлет с сатирическим названием «Филология будущего!» (*Zukunftsphilologie!*), которое обыгрывало вагнеровский термин *Zukunftsmusik* («Музыка будущего»). Рецензия начиналась с яркой цитаты из Аристофана, которая намекала, что «Рождение трагедии» может понравиться лишь педерастам. Далее книгу клеймили как плохое филологическое исследование и вагнеровскую ерунду. Виламовиц отстаивает возможность строгой интерпретации прошлого «научными» филологическими методами, а не ницшеанским «метафизическим и апостольским» подходом. Он разделяет укоренившееся мнение о греках как о «вечных детях, невинно и ни о чем не подозревая наслаждающихся чудесным светом». Предположение о том, что греки нуждались в трагедии, было «полной ерундой»: «Какой позор!.. Ницше меньше знает о Гомере, чем какой-нибудь серб или финн». Идея художественного альянса между Аполлоном и Дионисом столь же смехотворна, как идея союза Нерона с Пифагором. Культ Диониса вырос не из трагического мироощущения, но «из праздника урожая вина, давления винограда, радостного потребления нового возбуждающего напитка». Затем он начинает рассуждать о музыке Древней Греции, о которой имеет столько же представления, что и сам Ницше. Ни один из них и понятия не имел, как могла звучать древнегреческая музыка. В заключении он нападает на Ницше за грубое невежество, множество ошибок и недостаточную любовь к истине. Он требует, чтобы Ницше оставил преподавание филологии. Козима

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

посчитала весь диспут «неподходящим для публичности», но Вагнер быстро встал на защиту Ницше, опубликовав в той же газете 23 июня открытое письмо. Его весьма предсказуемую статью очень оживило забавное замечание о том, что стиль Виламовица-Меллендорфа характерен скорее для «висконсинского биржевого листка». Это позволяет в несколько ином свете увидеть читательские привычки самого Вагнера.

Итак, Ницше получил два тяжелейших удара от фон Бюлова и Виламовица-Меллендорфа, которых было достаточно, чтобы разрушить его перспективы как композитора, как классициста и как филолога. Впрочем, последнее было наименее важным: он уже долго искал способы отойти от филологии. Помимо множества существующих интерпретаций «Рождения трагедии», можно вывести и еще одну: эта книга свидетельствовала о филологическом самоубийстве.

Со временем «Рождение трагедии» стало одним из главных бестселлеров Ницше. Но из 800 экземпляров, напечатанных и изданных в 1872 году, за последующие шесть лет разошлось всего 625 [25]. Серьезный урон был нанесен и его репутации. Когда начался новый учебный год, оказалось, что на его курс лекций по филологии записалось всего два студента, ни один из которых не был собственно филологом.

6

Ядовитая хижина

Болезнь дала мне также право на совершенный переворот во всех моих привычках; она позволила, она *приказала* мне забвение; она одарила меня *принуждением* к бездействию, к праздности, к выжиданию и терпению... Мои глаза одни положили конец всякому буквоедству по-немецки: филологии; я был избавлен от «книги»... *величайшее* благодеяние, какое я себе когда-либо оказывал! Глубоко скрытое Само, как бы погребенное, как бы умолкшее перед постоянной высшей *необходимостью* слушать другие Само (а ведь это и значит читать!), просыпалось медленно, робко, колеблясь, но наконец *оно* заговорило.

Ессе Ното. Человеческое, слишком человеческое, 4

Осенью 1872 года Вагнер пригласил Ницше в Байрёйт на Рождество и день рождения Козимы, как это было принято у них в Трибшене. Ницше отказался: на следующий семестр не записалось ни одного студента-филолога, и он не мог вынести позора. Вместо этого он отправился на праздники домой в Наумбург, где Франциска и Элизабет не стали бы считать неудачей ни «Рождение трагедии», ни неспособность сочинить порядочную музыкальную пьесу, ни невозможность закончить серию лекций об образовании, ни неумение привлечь более чем двух студентов на новогодний курс в университете.

Его подарок Козиме на день рождения и Рождество стоил ему многих и долгих трудов. Впрочем, он все равно опоздал к обеим датам. Она с облегчением обнаружила, что это была не музыкальная, а литературная рукопись, хотя название и не было многообещающим: «Пять предисловий к пяти ненаписанным книгам». Первое — «О па-

фосе истины» (Über das Pathos der Wahrheit) — имело форму притчи: действие происходило на звезде, населенной разумными животными, которые открыли истину. Звезда умирает, и все животные вместе с нею. Они умирают, проклиная истину, поскольку она открыла им, что все их предыдущие познания были ложными, в чем убедится и человек после того, как познает истину.

Второе предисловие касалось будущего немецкого образования. Третье являло собой глубоко пессимистические размышления по поводу греческого государства и рабовладения, которое лежало в его основе. Не основана ли на рабовладении и цивилизация железного девятнадцатого века, спрашивает Ницше. Не является ли необходимость наличия класса рабов тем стервятником, который постоянно терзает печень Прометея, распространителя культуры?

В четвертом предисловии рассказывалось о важности Шопенгауэра для современной культуры, в пятом рассматривалось описание войны Гомером. Весь январь Ницше ждал какой-то реакции, желательно признания. Но если он был уязвлен молчанием Козимы, то Вагнера гораздо сильнее уязвило и разочаровало его решение провести Рождество не у них. После переезда в Байрёйт Вагнер дважды — в июне и в октябре — посылал ему прочувствованные письма, в которых фактически называл Ницше своим сыном. Учитывая его возраст (Вагнеру было уже под шестьдесят), его отношения с сыном Зигфридом должны были скорее напоминать отношения деда с внуком, чем отца с сыном. Ницше призван был стать связующим звеном — сыном одному и отцом другому.

Рождество без Ницше Вагнеру и Козиме не удалось. В финансах опять наступил кризис: частично построенный оперный театр вновь оказался на грани выживания. Они чувствовали себя преданными королем Людвигом, который уже почти нигде не появлялся и только заказывал все более экстравагантные декорации для своих фантастических дворцов, а государственные дела решал с министрами через любимого конюха. Вагнер подозревал, что именно этот конюх мешает ему общаться с монархом. Его чувство изоляции, возникшее из-за отчуждения Людвига, усугубилось после отказа Ницше приехать на Рождество, что было расценено как измена и свидетельство нелояльности и принято очень близко к сердцу. Вагнер планировал, что на Рождество представит Ницше схему привлечения финансов к строительству театра при помощи какого-либо журнала, где Ницше был бы редактором и одним из основных авторов (он мог бы печатать сколько угодно статей, что явно пришлось бы ему по вкусу). Целью было раздобыть средства на Байрёйт. Вместо

этого профессор Ницше отправил пять бессмысленных и случайных предисловий к пяти книгам, которые никогда не будут написаны, и при этом ни одно из них не имело ни малейшего отношения к Вагнеру или его проблемам. «Они не подняли нам духа», — язвительно констатирует Козима в своем дневнике, где описывает невеселый праздник, проведенный в тревоге, муках и болезненном состоянии духа. Они даже впервые в жизни поссорились из-за того, впускать ли в дом грязную собаку. Каждую ночь Вагнера терзали совершенно ужасные кошмары. Просыпаясь, он успокаивался, думая о Ницше. Но Ницше ограничивался лишь ролью ученика. Он не понимал, что маэстро действительно нуждается в нем и что они с Козимой рассматривают его отсутствие как предательство. Когда Козима 12 февраля все же прислала письмо, Ницше поразился тому, что она упомянула какой-то разрыв между ними: он-то и помыслить ничего подобного не мог.

В качестве компенсации он начал писать книгу, чтобы успеть подарить ее Вагнеру на шестидесятилетний юбилей в мае. Это точно должно было исцелить их раны. Но прежде пришло предложение приехать к ним на Пасху. На этот раз он мудро согласился, взяв с собой «Философию в трагическую эпоху Греции» (*Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen*) и своего друга Эрвина Роде, ставшего профессором в Киле.

Первый восторг Козимы от приезда сразу двух профессоров быстро улетучился. Хотя Роде был добрым и надежным товарищем Ницше, он оказался не особенно жизнерадостным человеком, и его присутствие никак не помогало рассеять мрак Байрёйта. Помимо всего прочего, Ницше настоял на том, чтобы в течение нескольких вечеров читать вслух свой труд, да еще и с большими паузами под вдумчивое обсуждение. Вагнеру это смертельно наскучило, а еще сильнее ситуация усугубилась, когда буря за окном вдохновила Ницше на то, чтобы исполнить им свое новое музыкальное сочинение. «Нас несколько утомляет обыкновение нашего друга сочинять музыку, а Р. слишком много разглагольствует о направлении, которое приняла музыка» [1], — записала Козима. Ницше и Роде, в свою очередь, вовсе не были в восторге от предложения Вагнера пропагандировать Байрёйт в газетах. Учитывая, как часто Ницше унижал газетную культуру в своих сочинениях, подобная просьба выглядела даже оскорбительной.

Годы, проведенные в Трибшене, безусловно, были самым приятным периодом жизни Ницше. Устойчивый ритм начала его профессорской карьеры, постоянные перемещения между базельскими аудиториями и святилищем маэстро позволили ему в течение нескольких лет сохранять

хорошее здоровье — такого удачного периода у него никогда не было до того и не будет после. Но унылые пасхальные каникулы, которые они с Роде провели в Байрёйте, не смогли возродить духа славных дней. Это была жалкая имитация прежнего счастья.

По возвращении в Базель у него снова пошатнулось здоровье. На первый взгляд головные и глазные боли лишь мешали его вечернему ритуалу — сидеть, читать и писать лекции в своем красном кожаном блокноте, но каждый день боли становились все сильнее и настойчивее. Через месяц он уже и думать не мог о работе. Врач посоветовал ему предоставить глазам полный отдых.

Свет вызывал ужасную боль. По большей части он просто сидел в затемненной комнате за плотно задернутыми шторами. Иногда он выходил за порог, защищаясь от света с помощью зеленых солнечных очков с толстыми стеклами и клювообразного зеленого козырька, свисавшего со лба. Теперь знакомые базельцы казались ему тенями в пещере Платона. Впрочем, для них это было удобно: можно было притворяться, что они не видят странного профессора, и игнорировать его.

Он сильно всех разочаровал. Его репутация теперь была такой дурной, что вредила всему университету. Один профессор филологии из Боннского университета сказал своим студентам, что Ницше — враг культуры, хитрый обманщик, а «Рождение трагедии» — совершенно бесполезная чепуха [2].

Ницше снимал комнаты на Шютценграбен, 45. Другие комнаты в том же доме арендовали Франц Овербек [3], недавно назначенный в университет профессором Нового Завета и истории церкви, который как раз писал свою первую книгу — «О христианских качествах современной теологии», и Генрих Ромундт, работавший над докторской диссертацией о «Критике чистого разума» Канта. По дороге в университет и обратно трое молодых амбициозных ученых нередко останавливались в баре Das Gifhüttli («Ядовитая хижина»), обязанном своим названием тому, что он находился на месте бывшей шахты по добыче мышьяка. Эта тройка в шутку присвоила то же мрачное название собственному дому. Однако планы произвести революцию в обществе пришлось отложить до выздоровления Ницше.

Он вызвал ухаживать за собой и вести хозяйство свою сестру Элизабет. Подросла и секретарская помощь в лице старого друга Карла фон Герсдорфа, который защищал его еще в дни Пфорты. Фон Герсдорф прибыл в Базель с Сицилии, где переболел малярией, но глаза его, по крайней мере, были в отличном состоянии. Он читал

Ницше вслух его материал к лекциям, и Ницше заучивал наизусть все цитаты, которые хотел использовать. В результате фон Герсдорф пришел к выводу, что ухудшение физического состояния Ницше привело того к более четкому и ясному самосозерцанию. Трудоемкость работы положительно сказалась и на выборе материала, и на его подаче: Ницше стал выступать более четко, красноречиво и сосредоточенно [4]. Соглашался и сам Ницше:

«Болезнь дала мне также право на совершенный переворот во всех моих привычках; она позволила, она *приказала* мне забвение; она одарила меня *принуждением* к бездействию, к праздности, к выжиданию и терпению... Мои глаза одни положили конец всякому буквоедству по-немецки: филологии; я был избавлен от «книги»... *величайшее* благодеяние, какое я себе когда-либо оказывал! Глубоко скрытое Само, как бы погребенное, как бы умолкшее перед постоянной высшей *необходимостью* слушать другие Само (а ведь это и значит читать!), просыпалось медленно, робко, колеблясь, но наконец *оно заговорило*» [5].

Система работала, но боль становилась все сильнее. Профессор-окулист Шисс выписал атропин (настойку смертельной белладонны) — глазные капли для расслабления мышц. Они вдвое увеличивали размер зрачков, так что человек совершенно не мог фокусироваться на чем-то. Мир превратился в танцующее расплывчатое пятно. Ницше стал еще больше зависим от фон Герсдорфа, который вспоминал, что темные блестящие зрачки глаз друга его очень пугали.

Когда Элизабет взяла на себя заботы о хозяйстве, а фон Герсдорф — роль личного секретаря, Ницше смог обрести интеллектуальную свободу, не страдая от мрачного одиночества отшельника-интеллектуала. От книги ко дню рождения Вагнера он быстро отказался: его переставшие фокусироваться глаза устремлялись к иным горизонтам. Он погрузился в составление списка. Сначала нужно было написать серию «Несвоевременных размышлений». В них он должен был сформулировать свои мысли о природе культуры современного мира в целом и рейха — в частности. Слово «несвоевременные» кажется ничем не примечательным, но для Ницше слово *unzeitgemässe* несло глубокий смысл. Оно подразумевало нахождение вне будущего и прошлого; вне нынешней моды и тянущего назад якоря истории. Он имел в виду твердое отстаивание собственной позиции искателя истины, не обращающего внимания на все эфемерное. Он составил список предметов, о которых он, несвоевременный автор,

намеревается написать. Он собирался издавать по два «Размышления» в год, пока не закончит список. Ницше долго добавлял и вычеркивал темы, но в их числе постоянно оставались:

Давид Штраус
История
Чтение и письмо
Год волонтерства
Вагнер
Школы и университеты
Христианский нрав
Совершенный учитель
Философ
Люди и культура
Классическая филология
Раб газет

Первым должно было быть написано «Несвоевременное размышление» на тему «Давид Штраус, исповедник и писатель». Давид Штраус был теологом и философом-кантианцем, который за сорок лет до того имел огромный успех, выпустив двухтомную «Жизнь Иисуса» (*Das Leben Jesu*) — попытку «научного» анализа Иисуса Христа как исторической личности. Книга вызвала скандал и стала сенсацией. На английский язык ее перевела Джордж Элиот (которую Ницше нравилось считать типичной представительницей британской расы — интеллектуально вялой и с сексуальными странностями). Граф Шафтсбери назвал книгу самой ужасной из всех, что когда-либо извергал ад. Когда Ницше еще в Пфортре прочел книгу Штрауса, он написал сестре, что если бы от него требовали поверить в Иисуса как в историческую личность, то это не вызвало бы у него ни малейшего интереса; но как моральный учитель Иисус был достоин гораздо более глубокого исследования.

В те дни Штраус приближался к семидесятилетию. Незадолго до того он опубликовал продолжение своей книги — «Старая и новая вера» (*Der alte und der neue Glaube*), которое тоже снискало большую популярность. Книга отражала настроения своего времени, утверждая с почти маниакальной радостью, что в современном мире возможно существование нового, *рационального* христианства — фундаментальное противоречие, невозможное с точки зрения как рационализма, так и веры. Ницше отмечал: если расстаться с фундаментальной идеей веры

в Бога, то все сразу разбивается на куски. Революция в вере требует революции в морали. Это следствие, судя по всему, ускользнуло от Штрауса и не отразилось в его труде, который Ницше с явной радостью обозвал «настолярной книгой немецкого филистера»¹ [6].

Он отправил рукопись издателю, после чего выехал с Ромундтом и фон Герсдорфом на летние каникулы в Кур — швейцарский альпийский курорт, известный восстановительными озерными ваннами и другими «целительными средствами». Каждый день трое друзей гуляли по четыре-пять часов. Ницше не забывал о зеленых очках и солнцезащитном козырьке. Прохладный чистый воздух отлично прояснял мысли. В нескольких сотнях метров ниже их гостиницы сияло красивое озерцо Каумазее. «Мы одеваемся и раздеваемся под настойчивое кваканье большой лягушки», — отмечал фон Герсдорф. Поплавав, молодые люди разваливались на бархатном мхе и иголках лиственницы. Друзья читали Ницше вслух Плутарха, Гёте и Вагнера. Роде и фон Герсдорф по просьбе Ницше очень тщательно вычитывали гранки «Несвоевременных размышлений», но, получив в начале августа первые экземпляры, сделали уничижительное открытие: опечаток и типографских ошибок в книге было почти столько же, сколько в труде Штрауса, который Ницше критиковал за то же самое. Тем не менее поступление первых экземпляров необходимо было отпраздновать самым торжественным образом. Они взяли с собой на берег озера бутылку вина и на наклонной скале торжественно нацарапали U.B.I.F.N. 8/8 1873 (*Unzeitgemüsse Betrachtung* I. Фридрих Ницше, 8 августа 1873 года). После этого они разделись и доплыли до небольшого островка на озере, где нашли еще один камень, на котором вырезали свои инициалы. Затем они приплыли обратно, совершили жертвенное возлияние над первой надписью и объявили: «Сим отмечаем начало антиштраусиады. Пусть враги выступают. Да отправятся они прямо в ад!» [7]

В феврале следующего года Штраус умер. Ницше отметил этот факт в своем дневнике. Его терзала совесть из-за того, что его грубое нападение могло ускорить кончину собрата по перу, но друзья уверили Ницше, что его книга не омрачила последних месяцев жизни Штрауса. Они сказали, что Штраус даже не знал о книге. Это было неправдой: Штраусу было о ней известно. Он удивился, но не нашел повода для расстройств: его бестселлерам уделялось куда больше внимания, чем

¹ Здесь и далее «Давид Штраус, исповедник и писатель» из «Несвоевременных размышлений» цит. в пер. И. А. Эбаноидзе.

критическому жалю малоизвестного и малоинтересного автора, какого-то Фридриха Ницше.

Когда Ницше вернулся в Базель на осенний семестр, улучшений в его физическом состоянии не произошло. Он по-прежнему не мог читать и писать. В середине октября Вагнер написал ему с просьбой бросить клич германской нации. Байрёйт все еще отчаянно нуждался в деньгах. Ницше чувствовал себя настолько не приспособленным для этой задачи, что продиктовал письмо Эрвину Роде, где просил сочинить для него воззвание «в наполеоновском стиле». Это письмо было ехидным и саркастичным. В нем высмеивался Вагнер, который считал, что пал жертвой коммунистического заговора, имевшего целью саботировать Байрёйт. Еще одной частью заговора, по мнению Ницше, была попытка коммунистов захватить издательство Фришца, чтобы заставить замолчать его и Ницше.

«Твое сильное мужественное сердце все еще бьется в груди? — спрашивал Ницше в письме Роде. — После всего этого я даже не решаюсь поставить подпись под этим письмом... если все время думать о бомбах и заговорах, стоит пользоваться псевдонимами и носить накладные бороды...» [8]

Роде отказался написать за Ницше статью, и тому пришлось все-таки продиктовать ее самому. Решительности Ницше было не занимать, и он успел подготовить текст для маэстро задолго до 31 октября. Это был День Реформации, который праздновался по всей лютеранской Германии. Именно в этот день в 1517 году Мартин Лютер прибил свои девяносто пять тезисов к дверям церкви. Вагнеру было необходимо представить свое культурное воззвание в эту значимую дату, а дальше оно должно было разойтись по всем представителям Вагнеровских обществ в Германии и во всем мире.

Речь понравилась маэстро, но, когда он переслал ее в Вагнеровские общества, там сочли ее настолько дерзкой, бестактной и воинственной, что сразу же отказались от нее и сочинили собственную, в более мягкой форме. Работа же Ницше так и не увидела свет.

Теплый отклик Вагнера побудил Ницше совершить самостоятельное небольшое путешествие. Он все еще смотрел на мир через зеленые очки, но рискнул отправиться на поезде к маэстро, чтобы присоединиться к нему на праздновании Дня Реформации.

Все было как в старые времена. За исключительно приятным обедом Ницше развлекал супругов реальной историей коммунистической угрозы издательскому дому Фришца.

Безумная и богатая вдова по имени Розалия Нильсен, товарищ Мадзини по политической борьбе и, по слухам, удивительно непривлекательная женщина, прочла «Рождение трагедии». Книга зажгла в ее груди такую страсть к автору, что она приехала в Базель и явилась к нему. К его ужасу, она представилась служительницей культа Диониса. Он выставил ее за дверь. Она ему угрожала. В итоге удалось убедить ее вернуться в Лейпциг, где она решила выкупить издательство Фрицша — вероятно, с целью овладеть книгами ее героя и заполучить полный контроль над ними. Этот план внушал страх уже сам по себе, но особенно неприятно было узнать, что она имела тесные связи с марксистским Интернационалом, члены которого стали считать Ницше одним из своих.

Вагнер смеялся над этим дольше и радостнее, чем за весь предшествующий год. Прошло уже несколько дней с рассказа Ницше, а композитор все еще периодически хихикал и тряс головой.

Вернувшись в Базель, Ницше написал второе из «Несвоевременных размышлений» — «О пользе и вреде истории для жизни», которое будет опубликовано в следующем, 1874 году. Рассматривая связь истории и историографии (создания истории) с жизнью и культурой, автор статьи утверждал, что увлеченность немцев прошлым мешает им действовать в настоящем. В эссе проводится разграничение между тремя способами трактовки истории: антикварным, стремящимся сохранить прошлое; монументальным, стремящимся его воспроизвести; и критическим, призванным освободить настоящее. Между ними необходимо поддерживать тонкое равновесие, чтобы достичь надысторического — ориентации на вечно живые примеры прошлого и вместе с тем сознательного забвения прошлого в интересах настоящего.

Ницше прочел множество вышедших книг по науке — о природе комет, об истории и развитии химии и физики, об общей теории движения и энергии и о природе космоса [9]. Все это подтолкнуло его к тому, чтобы оседлать того же конька, что и в предыдущем «Несвоевременном размышлении» о Давиде Штраусе, — рассуждать о важнейших вопросах связи науки и религии и бичевать современных теологов за то, что они умаляют собственную веру, пытаются примирить эти две области. То был один из важнейших вопросов его эпохи, к которому Ницше возвращался постоянно.

Он придумал новое слово для описания воздействия науки — *Begriffsbeben* («идеетрясение»): «Жизнь колеблется в своих устоях и лишается силы и мужества, когда под воздействием науки сотрясается

почва понятий, отнимая у человека фундамент, на котором покоится его уверенность и спокойствие, а также веру в устойчивое и вечное. Должна ли господствовать жизнь над познанием, над наукой или познание над жизнью?»¹ [10]

Конечно, человечество поднимается (или думает, что поднимается) в рай в лучах научной истины, но рай науки в той же мере необходимая ложь, что и рай религиозный. Вечная истина ни науке, ни религии не принадлежит. Каждое новое научное открытие обычно разоблачает предыдущие вечные научные истины как ложные. Истина загоняется в новые формы, подобные нитям паутины, которые вытягиваются и искажаются, а иногда и рвутся.

На последних нескольких страницах даются советы молодым. Чтобы излечить их от болезни истории, Ницше, что и неудивительно, отмечает, что основной способ разобраться в неуправляемости существования — обратиться к древним грекам, которые постепенно научились организовывать хаос, следуя совету дельфийского оракула: «Будь, каков есть».

Первые печатные экземпляры он отправил самым важным для себя критикам. Якоб Буркхардт, по своему обыкновению, спрятал серьезную критику под маской скромности: его бедная старая голова никогда не была способна на такие глубокие суждения о первоосновах, целях и надеждах исторической науки.

Эрвин Роде дал весьма конструктивный ответ, указав, что, хотя мысли Ницше блестящи, ему надо бы следить за стилем, который кажется слишком настойчивым, и за построением аргументов, которые необходимо разворачивать более полно и подкреплять историческими примерами, а не первой пришедшей в голову идеей, чтобы озадаченный читатель сам попытался найти какую-либо связь.

Вагнер передал Козиме статью, заметив, что Ницше все еще очень незрел: «Ему недостает пластичности, поскольку он не приводит исторических примеров. Зато много повторов и никакого настоящего плана... Не знаю, кому я мог бы дать это почитать, потому что никому не понравится» [11]. Написать ответ он предоставил Козиме. Что характерно, ответ получился бескомпромиссным и не щадил чувства автора. Книга понравится лишь немногим, поучала она, перечисляя претензии к стилю, что его просто взбесило.

¹ Здесь и далее «О пользе и вреде истории для жизни» из «Несвоевременных размышлений» цит. в пер. Я. Бермана, А. и Е. Герцык.

Ницше был подавлен. «Размышление» о Штраусе получило несколько рецензий, но вовсе не благодаря своей «несвоевременности»: его заметили, потому что тема как раз была модной. «Размышление» же об истории этим похвастаться не могло. Больших продаж не ожидалось — их и не случилось. При мысли о том, что серия может продолжиться, издатель корчил кислую мину.

Сорок восьмой день рождения матери Ницше пришелся на февраль 1874 года. Обычные пожелания счастья и здоровья едва ли были радостными. Он писал ей, что не стоит следовать примеру ее драгоценного сына, который начал болеть слишком рано. Он с горечью сравнивал свою жизнь с жизнью мухи: «Цель слишком далека, и даже если человек ее добивается, то чаще всего он слишком утомлен долгими поисками и борьбой; достигнув свободы, он утомлен, как муха-однодневка с наступлением вечера» [12].

Вагнер решил, что для Ницше настала пора остепениться. Он должен либо жениться, либо написать оперу. Конечно, опера будет настолько ужасной, что ее никогда не поставят. Но какая разница? Если жена будет достаточно богата, это вряд ли будет иметь какое-то значение [13]. Ницше должен выйти в свет и оставить маленький кружок, который он создал вокруг себя, — круг полезных умных людей, жаждущих ему служить, и обожающей сестры (она же домохозяйка, она же королева-консорт), готовой примчаться по первому зову. Следовало внести в жизнь больше равновесия. Жаль, что фон Герсдорф — мужчина, а то бы Ницше мог на нем жениться. Вагнер и Козима пришли к выводу о том, что у Ницше слишком яркие отношения с друзьями-мужчинами. Впрочем, в этом вопросе они придерживались либеральных взглядов. Их это не беспокоило, и они не считали, что интерес к мужчинам может стать препятствием к браку.

«... О боже, почему среди вас единственный мужчина — Герсдорф? Женитесь на богатой! Тогда вы сможете путешествовать и обогащаться... и написать собственную оперу... Какой дьявол заставил вас быть всего лишь педагогом!» [14]

Это был типичный Вагнер, слишком резкий для восприятия человека, только что сравнившего себя с утомленной мухой в сумерках жизни. Ницше не был готов к таким ярким переживаниям. Он ответил Вагнеру, что точно не приедет летом в Байрёйт, а собирается провести время в разреженном воздухе какой-нибудь очень высокой и отдаленной швейцарской горы, сочиняя следующее «Размышление».

Вагнеру идея не понравилась. Он настаивал на том, что присутствие Ницше в Байрёйте летом будет неоценимым. Король Людвиг наконец-то понял, что не может больше выносить мысли о том, что не увидит «Кольца» в тончайшей постановке самого маэстро, и довел сумму ссуды до сотни тысяч талеров. У Ницше в связи с этим должно было появиться много дел.

Как Вальхалла Вотана, оперный театр строился камень за камнем. На лето было назначено прослушивание певцов и музыкантов, подготовка декораций и театральных машин: валькирии должны *летать*, девы Рейна — *плавать*, а дракон — *изрыгать огонь* и при этом не спалить весь театр.

Как Вагнер мог быть таким бесчувственным и не понимать, что деликатное здоровье Ницше может не выдержать такое насыщенное лето? Как это вообще пришло ему в голову? Кроме того, профессору не нравились разговоры о браке — с этого конька редко слезала и его мать.

Идеетрясение

Совершенно поразительно, как в этом человеке уживаются две души. С одной стороны — строжайшие методы хорошо выученного научного анализа... С другой — фантастически-рапсодический, ослепительный, ударяющийся в вагнеро-шопенгауэровское, художественно-мистически-религиозное направление подлинный энтузиазм.

Профессор Фридрих Ричль о Ницше в беседе с Вильгельмом Фишером-Бильфингером, председателем управляющего совета Базельского университета, 2 февраля 1873 года

Ницше уже приближался к тридцатилетию, а оставил пока только несколько мало кому интересных книг и меркнувшую славу филолога-вундеркинда. По сравнению с Иисусом Христом, который в тридцать лет приступил к трехлетней проповеди, потрясшей мир, достижения были весьма скромными. Отец Ницше умер в тридцать пять, и сам Фридрих всегда думал, что тоже умрет в этом возрасте, но теперь уже закрадывались сомнения в том, что он протянет так долго. Смерть стучалась в двери крепости; механизм давал сбои. Проблемы со здоровьем сменялись «оздоровительными мерами». То и другое часто вызывало ужасные конвульсии и харканье кровью. Несколько раз он подозревал, что его последний час настал. Порой он прямо-таки молил о смерти. Медицинская теория того времени, как и теория религии, колебалась между взглядом на врачей как на ведунов и научным подходом. Лучшие врачи, осматривавшие Ницше, диагностировали у него хронический катар желудка, усугубленный чрезмерным количеством крови в организме, которая вызывала растяжение желудка и перенасыщение кровью

сосудов, что приводило к недостаточному снабжению кровью головы. К пиявкам, банкам и шпанским мушкам добавились новомодные методы лечения — карлсбадская соль, электротерапия, гидротерапия, огромные дозы хинина и новое чудодейственное средство — «раствор Гелленштейна». Но ничто не помогало, и Ницше это понимал.

По его словам, он стал одним из тех бледных и слабонервных людей со всего мира, странствующих от одного курорта к другому. Он жадно читал литературу по медицине и физиологии, и все же, хотя он пробовал все чудодейственные лекарства и ни одно ему не помогало, тут ему изменяла аналитическая научная строгость. В этой области он был так же доверчив, как следящий за гороскопами читатель газет. Но в глубине души он знал: «Такие люди, как мы... никогда не страдают лишь физически — все это тесно переплетено с духовными кризисами, так что я понятия не имею, как медицина и кулинария могут мне помочь» [1].

Возможно, самый серьезный удар по его здоровью был нанесен самым почтенным в то время специалистом по желудочным болезням доктором Йозефом Вилем, клинику которого в Штейнабаде Ницше посетил летом 1875 года. Помимо традиционных клизм и пиявок, ему было предписано новшество — «чудодейственная» диета Вилия: мясо — и только мясо! — четыре раза в день. Виль даже дал ему уроки кулинарии, чтобы Ницше мог соблюдать эту диету и после выхода из клиники.

Вернувшись в Базель, чтобы продолжить работу, он вызвал к себе Элизабет. Каждый раз, когда она уезжала от матери, Франциска осыпала обоих детей горькими жалобами, внушая им чувство вины за недостаточное почтение. Ницше впоследствии введет термин *Kettenkrankheit* (буквально «болезнь цепи») — состояние, когда мать или сестра дергали за цепь его семейных уз.

Франциска ревновала к тому, что Элизабет удастся уехать из скучного Наумбурга к брату и влиться в круг его друзей. Однако состояние его здоровья было так плачевно, что пришлось разрешить Элизабет приглядывать за ним в течение четырех месяцев в 1870 году, шести месяцев в 1871 году, по несколько месяцев в 1872 и 1873 годах и все лето 1874 года. Наконец, в августе 1875 года брат и сестра обосновались вместе в квартире на Шпаленторвег, 48, буквально через дорогу от «Ядовитой хижины», где в пределах досягаемости оставались Ромундт и Овербек.

В трудах о Ницше часто встречаются, например, такие фразы: «Брат и сестра были связаны слишком тесно», «Они слишком любили друг друга». Подобные высказывания объясняются тем, что сенсационные литературные мистификации так просто не умирают.

В 2000 году, через полвека после первой публикации в 1951 году и ровно через век после смерти Ницше, книга «Моя сестра и я» (*My Sister and I*), якобы написанная Ницше, все еще продолжала переиздаваться. «Мальчик, который вырос в доме, полном женщин и лишенном мужчин, — утверждает рекламная аннотация. — Странные отношения Ницше с сестрой, скрывавшиеся полвека и наконец-то признанные самим философом. История знаменитого брата и чрезмерно амбициозной младшей сестры, которые любили друг друга физически в детстве и продолжали во взрослом возрасте, не интересуясь другими женщинами и мужчинами. Достаточно прочесть лишь несколько страниц этой захватывающей книги, чтобы понять, почему она замалчивалась все эти годы. Простым и леденяще серьезным тоном величайший философ XIX века рассказывает, как он со временем попал в чрезвычайно опасную любовную ловушку, которая привела к тому, что сам он так и не женился, а единственный муж его сестры покончил с собой. Книга «Моя сестра и я» написана в психиатрической лечебнице в Йене. Безусловно, она стала продуманной мстью семье, которая запретила ему издать более раннюю и гораздо более скромную исповедь — «Ессе Номо», которая была издана лишь через десять лет после его смерти. Книге «Моя сестра и я» пришлось ждать более полувека: ее нельзя было обнародовать, пока не скончались все действующие лица великой драмы».

Это повествование гадко с самого начала, когда описывается, как Элизабет забирается в кровать брата и он впервые «овладевает ее маленькими пухлыми пальчиками» в ночь смерти их младшего брата Йозефа. Поскольку в описываемое время Элизабет было два года, а Ницше — четыре, логику и разум автор отбрасывает сразу же. Однако здравый смысл нередко вынужден был отступать перед погоней за сенсациями и скандалами. Выдающийся ученый Вальтер Кауфманн с большим искусством провел филологический анализ текста, но прошло несколько лет, прежде чем фальсификация была разоблачена. Ее автором оказался предприимчивый мошенник и закоренелый преступник Самуэль Рот [2], который анонимно или под псевдонимом выпустил такие труды, как «Мужья леди Чаттерлей» (*Lady Chatterley's Husbands*, 1931), «Частная жизнь Фрэнка Харриса» (*The Private Life of Frank Harris*, 1947), «Бумарап: история девственника» (*Bumarap: the Story of a Male Virgin*, 1947), «Я был врачом Гитлера» (*I Was Hitler's Doctor*, 1951) и «Детские отклонения Мэрилин Монро» (*The Violations of the Child Marilyn Monroe*, 1962), написанные от имени «ее друга-психиатра».

Рот также выпускал несколько недолго просуществовавших эротических обозрений, в которых публиковались сексуально откровенные пассажи из произведений современных авторов, не дававших на то никакого согласия. В итоге писатели пришли в ярость, и 167 из них подписали протест. Среди них были Роберт Бриджес, Альберт Эйнштейн, Т. С. Элиот, Хэвлок Эллис, Андре Жид, Кнут Гамсун, Эрнест Хемингуэй, Гуго фон Гофмансталь, Джеймс Джойс, Д. Г. Лоуренс, Томас Манн, Андре Моруа, Шон О'Кейси, Луиджи Пиранделло, Бертран Рассел, Артур Саймонс, Поль Валери и Уильям Батлер Йейтс [3].

«Моя сестра и я» издается до сих пор. На обложке все еще значится «Фридрих Ницше», настоящий автор не упомянут. Даже сейчас, если вы купили эту книгу, потребуется некоторое время, чтобы докопаться до истины.

Элизабет была умной и начитанной девушкой. Франциска упрекала ее в том, что она слишком умна, почти как ее брат. Пол Элизабет, ее воспитание и ее мать составляли ее трагедию.

Родись она мальчиком, все было бы иначе, но гимназий для девочек не существовало до конца века. Если Ницше в Пфорте был погружен в мир идей и занят поисками истины и своего «я», то школа фройляйн Параски для девочек в Наумбурге насаждала в Элизабет прямо противоположные качества. Фройляйн Параски должна была заставить девочек отказаться от индивидуальности и втиснуть их личности в засахаренную форму идеальной невесты — *tabula rasa*, способной произвести впечатление на любого мужа, который возьмется управлять ее будущим. Словарь того времени дает такое определение *Frau* (женщины): «Женщина дополняет мужчину; их объединение — пример проявления божественного в человеке. Он — могучий вяз, она — лоза; он стремится вперед, полный сил и соков; она — нежная, ароматная, осиянная внутренним светом, способная легко гнуться...» [4]

Чтобы заполнить мужа, разумная девушка из Наумбурга должна была притвориться мелочной и пустоголовой. Излишний ум в девушках не приветствовался, и Элизабет запомнила это на всю жизнь. Впрочем, такой общественный договор ее вполне устраивал. Умный брат предоставлял ей бесчисленные возможности для самообразования, но она никогда ими не пользовалась: это было слишком дискомфортно, слишком вызывающе. Даже в семидесятилетнем возрасте ее описывали как «вертихвостку в душе, которая увлекается то тем, то другим, как семнадцатилетка». Граф Гарри Кесслер в дневнике также

отмечал, что Элизабет отличает решительное и устойчивое желание противиться интеллектуальным требованиям: она была снобом, и мало что нравилось ей так, как реверансы перед аристократами. Иными словами, она «воплощала ровно то, против чего так яростно боролся ее брат» [5].

Бабка Эрдмуте не дала своей дочери Франциске, матери Элизабет, никакого примера для подражания, никакой взрослой роли, никаких обязанностей — следовало лишь продолжать считать себя в вопросах свободы воли беспомощной, как дитя. Все, что происходило, к лучшему или худшему, было волей Божественного Отца. Лишь немногим уступал Богу мужской пол. Все три поколения женщин в семье Ницше отличались твердым нравом и сильной волей, но все они стремились прежде всего проявить себя как «послушные дочери» церкви и патриархального общества.

Ницше знал, что его Лама — умная женщина, и обращался с ней соответствующим образом, что было нехарактерно для того времени. Всю свою жизнь он ценил умных женщин и умел завязывать с ними тесную и долгую дружбу. Влюблялся он тоже только в умных женщин — начиная с Козимы. Невежественные ханжи его вовсе не привлекали.

Ницше всегда обращался с Элизабет как с мыслящим человеком и пытался поощрять в ней независимость суждений. Он хотел, например, чтобы улучшился ее стиль: «Если бы она могла научиться писать лучше! И когда она что-то рассказывает, ей стоило бы избавиться от ахов и охов» [6]. Он составлял для нее списки чтения и предлагал развивать свой мозг. Он рекомендовал ей (тщетно) изучать иностранные языки, посещать лекции в университете в качестве вольнослушательницы — единственный для женщины способ попасть в аудиторию. Франциска неизменно противилась любым подобным попыткам. Элизабет должна была служить украшением дома и оставить при себе все самостоятельные мысли и действия. Она должна вести хозяйство матери в Наумбурге, посещать чаепития, преподавать в воскресной школе и орудовать иглой в Дарнингской школе для бедных детей.

Если бы Элизабет и дали возможность надлежащего образования, она, вероятно, за нее бы не ухватилась. Всю жизнь она имела собственное представление о женственности. Ей нравилась роль беспомощной, невежественной женщины, тем более что она понимала, что это позволяет избежать ответственности за свои поступки и убеждения. Когда она была еще школьницей, Ницше написал ей из Пфорты, признаваясь в религиозных сомнениях и побуждая высказать собственные идеи,

но она уклонилась от ответа: «Не в силах отказаться от своей натуры, я, как Лама, нахожусь в полном замешательстве и даже не думаю об этом, потому что все, что я могу сказать, — чепуха» [7]. Эту тему с некоторыми вариациями она повторяла каждый раз, когда от нее просили большего, чем она была готова дать: прикрывалась девичьей неуклюжестью и женской ограниченностью, часто подчеркивая, что она «всего лишь дилетантка». Элизабет не хотела иметь ничего общего с феминистски настроенными «новыми женщинами», которых язвительно описывала как «борцов за право носить штаны и стать частью голосующего стада» [8].

Квартира на Шпаленторвег, куда переселились в 1875 году Ницше и Элизабет, описана студентом Людвигом фон Шеффлером. Он приехал в Базель учиться у Якоба Буркхардта, но вскоре перешел к Ницше, который «пленил и смутил» его своими лекциями и «загадочной душой». Судя по описанию фон Шеффлера, стили жизни и преподавания двух профессоров разительно отличались.

В кабинете Буркхардта над пекарней книги лежали по всему полу по обе стороны продавленного старого дивана, на котором сидел профессор. Если посетитель не хотел стоять, то ему не оставалось выбора, кроме как сложить стопку из книг и сесть на нее.

Квартира Ницше была обставлена необыкновенно мягкими креслами, элегантно укрытыми кружевными салфеточками. На украшенных различными орнаментами хрупких столиках стояли вазы с цветами. Окна, задрапированные цветным газом, светились розовым цветом. По бледным стенам были развешаны неяркие акварели. Фон Шеффлеру показалось, что он в гостях у какой-то милой девушки, а не у профессора [9].

Контраст между двумя профессорами был столь же ярким и в аудитории. Буркхардт врывался в зал, уже что-то бормоча, как зажигательная граната, брошенная в огонь мысли. Его называли Смеющимся стойком. Разумеется, он не уделял внимания своему внешнему виду: коротко подстриженные волосы, немодные костюмы и общая небрежность.

Ницше входил в аудиторию скромно, как если бы желал остаться незамеченным. Говорил он довольно тихо. Волосы и усы были тщательно причесаны, одежда в полном порядке. Он явно обращал внимание на моду, которая тогда благоволила бледного цвета брюкам, коротким жилетам и светлым галстукам.

Но при всей внешней непримечательности именно Ницше привлекал внимание фон Шеффлера. Когда он услышал трактовку Ницше платоновских идей, то перестал верить в «солнечную, радостную Гре-

цию». Он знал, что слышит истинное толкование, и отчаянно захотел узнать больше.

В условиях широко распространившейся по Германии страсти ко всему эллинскому суровые рассказы Ницше о жестокости античного мира ошарашили большинство его студентов. Хотя фон Шеффлера они привлекли, в целом аудитория опустела. Летом 1874 года курс Ницше по драме Эсхила «Хоэфоры» («Жертва у гроба») привлек лишь четырех студентов, и то не самых успевающих. Ницше охарактеризовал их как «университетских уродцев». Один из них вообще-то был драпировщиком по профессии и древнегреческий учил только год.

Семинар по Сапфо был отменен из-за недостатка участников, как и курс риторики. Это дало ему много времени на написание третьего «Несвоевременного размышления» — «Шопенгауэр как воспитатель», эссе в восьми частях, опубликованного в 1874 году. Эссе известно тем, что посвящено вовсе не тому, о чем можно предположить по его названию: о философии Шопенгауэра здесь говорится мало, зато много внимания уделено моральному примеру философа, который добровольно принял на себя страдания во имя истины.

Воспитатель должен помочь студенту понять свой собственный характер. Цель жизни — не быть имитацией. Однако студент, стремящийся преобразить свою душу, должен изучить три типа людей. Самый пламенный образ — это «человек Руссо». Как Тифон, гигантский змей, живущий под Этной, человек Руссо влечет массы к революциям, таким как французская. Второй пример — «человек Гёте», это пример для немногих. Он торжественно созерцателен и вызывает непонимание толпы. Наконец, есть «человек Шопенгауэра» — правдивый и придающий метафизическое значение каждому своему действию¹ [10].

Ницше также признает в Шопенгауэре великого стилиста, который выражает свои мысли индивидуальным, чистым и четким слогом. По способности элегантно изложения истины Шопенгауэру, с точки зрения Ницше, равен только Монтень. Конечно, этот пример Ницше принял близко к сердцу, поскольку именно с «Размышления» о Шопенгауэре начинается переворот в его собственной прозе. Его предыдущие труды подвергались со стороны Вагнера, Козимы и Роде справедливой критике за жесткий, дидактический стиль, недостаток ясности и полное неуважение к последовательной аргументации, но

¹ Здесь и далее «Шопенгауэр как воспитатель» из «Несвоевременных размышлений» цит. в пер. В. М. Бакусева.

в этой работе его стиль достигает элегантности Шопенгауэра и человечности Монтеня.

Если раньше его советы искателям истины всегда заканчивались многозначительным и не особенно полезным изречением дельфийского оракула о том, что подлинность достигается, только если быть «собой», что бы ни значило это туманное понятие, то сейчас он оставил Грецию в покое и осмелился дать практические советы на основе собственных мыслей и опыта. «Пусть юная душа обратит свой взор на прошлую жизнь с вопросом: что ты подлинно любила доселе, что влекло твою душу, что владело ею и вместе давало ей счастье? Поставь перед собою ряд этих почитаемых предметов, и, быть может, своим существом и своею последовательностью они покажут тебе закон — основной закон твоего собственного я» [11].

Текст «Шопенгауэра как воспитателя» гораздо легче для восприятия, полон игры слов, он услаждает и соблазняет читателя множеством элегантных афоризмов, например:

«Насильственное нисхождение в глубины своего существа по ближайшему пути есть мучительное и опасное начинание. Как легко человек может при этом так повредить себе...» [12]

«Все людские порядки устроены так, чтобы постоянно рассеивать мысли и не ощущать жизни» [13].

«Отношение между художником, с одной стороны, и знатоками и любителями его искусства — с другой — таково же, как отношение между тяжелой артиллерией и несколькими воробьями» [14].

«Государству вовсе не важна истина вообще, а исключительно лишь полезная ему истина» [15].

«[Государство] хочет, чтобы люди идолопоклонствовали перед ним так же, как они это делали прежде в отношении церкви» [16].

«Воды религии отливают и оставляют за собой болото или топи; народы снова разделяются, враждуют между собой и хотят растерзать друг друга. Науки, культивируемые без всякой меры в слепом *laisser faire*, раздробляют и подмывают всякую твердую веру; образованные классы и государства захвачены потоком грандиозного и презренного денежного хозяйства» [17] — эта мысль напоминает, что когда он писал о Шопенгауэре, то одновременно делал наброски для статьи о Вагнере, наблюдая ту колесницу Джаггернаута, в которую превратилось байрёйское предприятие, сметающее колесами всех на своем пути.

Посчитав оба предмета рассуждений сложными, он решил немного отдохнуть в деревне Кур, где встретился с несколькими знакомыми, в том числе с хорошенькой девушкой из Базеля Бертой Рор. Ницше написал Элизабет, что «почти решился» сделать ей предложение. Насколько это «почти предложение» было направлено на то, чтобы порадовать Вагнера, не совсем понятно, но мысли о браке приходили ему на ум неоднократно. Два его друга детства, Вильгельм Пиндер и Густав Круг, незадолго до того обручились, и Ницше, таким образом оставшийся позади, теперь взвешивал достоинства брака. В итоге он отказался от него, поскольку это могло помешать его работе, но в своем решении до конца уверен не был.

Вагнер продолжал настаивать на том, чтобы Ницше приехал к ним летом. Наконец 5 августа Ницше прибыл в Байрёйт. Сразу по приезде он заболел и свалился в постель в своем гостиничном номере. Сам Вагнер был вымотан и изнурен работой, но лично явился в гостиницу, чтобы перевезти Ницше в Ванфрид — только что законченный особняк рядом с оперным театром, предназначенный стать домом для семейства Вагнер. Переехав туда, Ницше немедленно почувствовал себя лучше.

Сперва Вагнер дал дому название Эргерсхайм («дом раздражения») из-за тех чувств, что испытал в ходе строительства, но для потомков такое грубое наименование не подходило. Как-то вечером, когда он стоял на балконе под серебристой луной, положив руку на запястье Козимы, они смотрели на обширную огороженную могилу в саду, где собирались провести вместе вечность, не забыв и о любимых собаках (первым там был похоронен Русс, опередивший своего хозяина), и он решил переименовать дом в Ванфрид («свобода от иллюзий»).

На массивном здании Ванфрида были высечены надписи: *Sei dieses Haus von mir benannt* («Да будет этот дом назван в мою честь») и *Hier wo mein Wohnen Freiden fand* («Здесь упокоятся с миром мои глупые мечтания»). Но Ницше не нашел здесь ни мира, ни свободы от иллюзий.

По своему стилю и характеру Ванфрид разительно отличался от романтически уединенного и интимного Трибшена. Вотан-Вагнер построил свою Вальхаллу-Ванфрид как приют богов. Квадратный в плане, чрезвычайно солидный, дом больше напоминал не жилое помещение, а городскую ратушу. Мрачный фасад, облицованный огромными каменными блоками, был почти лишен орнамента. Все внимание приковывал к себе полукруглый балкон, напоминающий балкон римского папы. Здесь Вагнер мог появляться в торжественных случаях — на премьерах, на дне

рождения или просто чтобы радостно помахать рукой марширующим ансамблям, играющим отрывки из его опер.

«Человеку, который доставляет удовольствие тысячам людей, позволительны свои удовольствия», — сказал он. При всех своих революционных устремлениях он выстроил себе дворец в королевских традициях подавляющей архитектуры.

Посетитель входил в расположенную в центре фасада дверь, украшенную гербом из витражного стекла и аллегорической картиной «Искусства будущего», моделью для которой послужил пятилетний Зигфрид Вагнер. Просторный холл простирался на все этажи дома и освещался естественным светом. Вдоль красных стен в неогреческом стиле был выставлен целый пантеон мраморных бюстов домашних божеств — как мифических, так и реальных: здесь были Зигфрид, Тангейзер, Тристан, Лоэнгрин, Лист и король Людвиг. Сами Вагнер и Козима стояли на таких пьедесталах, с которых можно было смотреть на всех сверху вниз.

В холле, достаточно вместительном для прослушиваний и репетиций, Ницше узнал особым образом модифицированное бехштайновское пианино — подарок короля Людвиг. В Трибшене оно занимало большую часть маленького зеленого кабинета — мыслительного центра дома. Здесь же его отодвигал на второй план огромный орган — подарок из США. Проходя по холлу в высокие двери, посетитель попадал в комнату еще больших размеров — площадью в сотню квадратных метров. Здесь располагались семейная гостиная и библиотека. Ее интерьер был разработан мюнхенским скульптором Лоренцем Гедоном, одним из любимых декораторов короля Людвиг, специалистом по сплаву неосредневекового и необарочного стилей. Книжные полки, украшенные резьбой, занимали две трети высоты комнаты. С глубокого кессонного потолка свисала монструозных размеров люстра. Вдоль внешней кромки потолка шел ярко раскрашенный фриз с гербами всех городов, где существовали Вагнеровские общества. Широкая полоса между верхними книжными полками и многоцветьем гербов была ярко декорирована цветочными обоями, на которых висели портреты членов семьи и других важных персон. Дальний конец комнаты, противоположный входным дверям, продолжался одноэтажной полукруглой ротондой, крыша которой служила полом тому самому балкону. Окна во всю стену, чрезмерно густо задрапированные атласом и бархатом, дугой обтекали еще одно большое фортепиано — подарок от нью-йоркской фирмы Steinway and Sons. Когда Вагнер по вечерам садился поиграть для семьи, он видел не величественные вершины Риги и Пилатуса, как в Трибшене. Здесь

его взору представлялась совершенно иная картина — зеленая садовая аллея, которая вела к рукотворному величию его собственной могилы.

В первый вечер Ницше в Ванфриде Вагнер сел за пианино, чтобы развлечь своих гостей темой рейнских дев из «Сумерек богов». Возможно, стремясь подсознательно нивелировать монументально-величественный дух Ванфрида, Ницше записал ноты «Триумфальной песни» Брамса, которую он слышал на концерте и которая произвела на него большое впечатление. Вряд ли можно было поступить более бестактно. Десять лет назад Вагнер и Брамс поссорились из-за возвращения рукописной партитуры «Тангейзера», которую Вагнер требовал назад. Небольшая стычка переросла со временем в затяжной конфликт. Когда Вагнер, сидя в своем великолепном зале, взглянул на записанные Ницше ноты, он громко захохотал, объяснив, что Брамс вообще ничего не понимает в *Gesamtkunstwerk*. Сама идея применения слова *Gerechtigkeit* (справедливость) к музыке попросту абсурдна! Ноты «Триумфальной песни» были довольно заметны, так как имели красный переплет. Всю следующую неделю, когда Вагнер проходил мимо фортепиано, его внимание приковывал красный прямоугольник и он его под чем-нибудь прятал. Но каждый раз, когда он возвращался, Ницше снова клал ноты на прежнее место. Наконец в субботу Вагнер все-таки сел за фортепиано сыграть это произведение, и чем больше играл, тем больше раздражался. Он назвал сочинение содержательно бедным — это была смесь из Генделя, Мендельсона и Шумана «в кожаном переплете». Козима, движимая возмущением верной жены, записала в дневнике с непростительным злорадством, что слышала о том, как плохи дела Ницше в университете: у него всего три или четыре студента и он практически уже уволен [18]. Вагнер был так же уязвлен музыкальной неверностью Ницше, как Ницше — излишней меркантильностью Вагнера (в которой, впрочем, не было ничего нового). Маэстро забыл о той презренной экономии, тяготы которой некогда они несли вместе. Байрёйт был шагом в сторону от свободного, демократического праздника культурного возрождения, который когда-то представлялся их идеалистическим взором.

Оба оплакивали утрату былых тесных отношений. Ницше теперь был не единственным компаньоном маэстро, а всего лишь одной из фигур в огромной международной толпе, беспрестанно текущей по обширным, с гулким эхом залам Ванфрида по делам завершения проекта. Первый фестиваль был запланирован на следующий год. Времени оставалось невероятно мало: нужно было закончить строительство, произвести последнюю оркестровку партитуры, а также найти и нанять

актеров и провести с ними репетиции. При этом актеры должны были уметь и играть, и петь на героическом уровне. В итоге все заняло на год больше времени: первый фестиваль состоялся летом 1876 года.

Во время визита Ницше Ванфрид постоянно оглашался вагнеровскими темами: их насвистывали, распевали, играли и даже пели йодлем потенциальные валькирии, девы Рейна, боги и смертные. На прием приходили толстосумы; в доме кормили и нахваливали городских старейшин. Декорации расстилали и сворачивали. К концу недели между Вагнером и забытым хозяевами Ницше отношения стали такими холодными, что тот намеренно оскорбил Вагнера, грубо сказав, что немецкий язык не доставляет ему никакого удовольствия и что лучше бы говорить на латыни. Он уехал в конце недели, увозя с собой испорченные нервы, напряжение и бессонницу. «Тиран, — записал он в дневнике, — не признает никакой индивидуальности, кроме своей собственной и, возможно, самых верных друзей. Очень опасаясь за Вагнера» [19].

Ему мало на что можно было надеяться и по возвращении в Базель: тридцатый день рождения прошел чрезвычайно скромно. Лучшим подарком стало прибытие тридцати экземпляров только что отпечатанного «Несвоевременного размышления» — «Шопенгауэр как воспитатель». Он переслал один экземпляр Вагнеру, который тут же откликнулся поздравительной телеграммой: «Прекрасно и глубоко. Совершенно новое и смелое толкование Канта. Понять смогут лишь одержимые» [20]. Понравилась книга и Гансу фон Бюлову. Его восторженное благодарственное послание в какой-то мере помогло наладить отношения, испорченные резкой критикой композиторских опытов Ницше. Фон Бюлов находил книгу блестящей и считал, что Бисмарку, возможно, стоит процитировать отдельные удачные места в парламенте.

Ницше тут же почувствовал себя лучше и даже смог поехать на Рождество домой в Наумбург. Он не стал брать с собой книги — только партитуры своих музыкальных сочинений. Он провел счастливые праздники и укрепился в вере в свой музыкальный талант: переписывал и улучшал пьесы и играл их Франциске и Элизабет, составлявшим восторженную аудиторию. Во время этого краткого музыкального интермеццо даже наумбургские проповеди не смогли испортить его хорошего настроения или здоровья, хотя беспокоиться было о чем: глава управляющего совета Базельского университета, Вильгельм Фишер-Бильфингер, в тот год умер. А именно он некогда рекомендовал

Ницше на должность профессора и с тех пор выступал его наставником и защитником. Длительные перерывы в преподавании, вызванные болезнями, не позволяли Ницше вносить значительный вклад в работу университета, а противоречивые публикации едва ли способствовали славе учебного заведения. Однако он пребывал в хорошем настроении, что, возможно, как-то было связано с идеей, которую он проводил в «Размышлении» о Шопенгауэре: только свобода способна выпустить на волю гения; только философ, не связанный ни с какой организацией, может стать подлинным мыслителем. Такую свободу и мог обеспечить ему разрыв с Базелем.

Козима написала Ницше восхитительно тактичное и свидетельствующее о прекрасных манерах послание, в котором рассказывала, что им с Вагнером предстоит отправиться в новую поездку для сбора средств — на сей раз в Вену. И никому они не доверили бы с такой радостью самые бесценные свои сокровища — детей, — как Элизабет. Не согласилась бы она взять на себя бремя проживания в Ванфриде и стать матерью их дочерям и маленькому Зигфриду, пока сами они будут в Вене? Не будет ли невежливым попросить Ницше сделать это предложение сестре? Франциска только буркнула в ответ на просьбу потратить время ее дочери таким сомнительным образом, но Элизабет препятствий не видела. Это был шаг вверх по социальной лестнице. В ходе визита она укрепилась в доме на положении кого-то большего, чем служанка, но меньшего, чем подруга, став кем-то вроде фрейлины.

Зима 1874/75 года была холодной и снежной. С декабря по февраль Ницше сильно болел. К счастью, в то время у него была лишь легкая работа для школы — Педагогиума. Он все больше думал о следующем «Несвоевременном размышлении», темой которого, по его решению, должно было стать искусство. Основанием послужат впечатления от личного общения с Вагнером. Но прежде чем он смог претворить этот план в жизнь, его ожидали два «землетрясения души», из-за которых его здоровье пошатнулось до конца года.

Первое было связано с Генрихом Ромундтом — его близким другом и секретарем из «Ядовитой хижины», которого он считал едва ли не продолжением себя самого. Ромундт внезапно объявил, что собирается стать католическим священником. Ницше чувствовал себя глубоко уязвленным. Не рехнулся ли Ромундт? Возможно, еще не поздно его вылечить — например, холодными ваннами? И почему из всех конфессий Ромундт выбрал именно католичество? Ведь это самая абсурдная из христианских церквей — со всеми этими суеверными поклонениями

мощам и продажей индульгенций. Всего пятью годами ранее католики превзошли свои же средневековые нелепости, объявив о непогрешимости папы. Католичество можно было сравнить с колокольчиками на шутовском колпаке. Так-то Ромундт отплатил за годы тесной дружбы, за совместные рассуждения и философствования?

Те немногие недели, что Ромундт оставался в Базеле, были болезненны для всех участников. Ромундт чуть не плакал и не мог связно объясниться. Ницше ничего не понимал и был вне себя от ярости. В тот день, когда Ромундт уезжал в семинарию, Ницше и Овербек провожали его до вокзала. Он продолжал умолять простить его. Когда носильщики закрыли двери поезда, он боролся с окном, пытаясь опустить его и что-то сказать стоящим на платформе. Окно не поддавалось, и последнее, что они запомнили, были его мучительные физические усилия что-то им крикнуть. Они так ничего и не услышали. Поезд медленно отправился.

У Ницше сразу же началась головная боль, которая продлилась тридцать часов и сопровождалась рвотой.

Второе душевное потрясение исходило от другого соседа по «Ядовитой хижине». Франц Овербек обручился и собрался жениться. Ромундт оставил Ницше ради религиозного суеверия, Овербек оставляет его ради любви. Останется ли с ним кто-то из тех, на кого он так рассчитывал? Только мать и сестра — невеселая перспектива. Но любовь может исцелить от одиночества. Он решил последовать примеру Овербека и пуститься в небольшое романтическое приключение.

В апреле 1876 года он прослышал, что некая графиня Диодати из Женевы перевела на французский язык «Рождение трагедии». Это стоило того, чтобы с нею встретиться. Он сел на поезд. По прибытии он узнал, что графиня заперта в сумасшедшем доме, но съездил он не зря: удалось возобновить знакомство с Гуго фон Зенгером, директором Женевского оркестра и пламенным вагнерианцем. Зенгер давал уроки игры на фортепиано. Среди его учеников было эфирное двадцатитрехлетнее создание, пользовавшееся всеобщим восхищением за нежность и красоту. Она была ливонкой¹, звали ее Матильда Трампедях.

Ницше пробыл в Женеве всего неделю. В его списке приоритетов одним из первых номеров значилось паломничество на виллу Диодати, где некогда жил Байрон. Матильда составила ему компанию. Во время поездки в экипаже вдоль берега озера Ницше рассуждал на байроновскую

¹ Согласно другой версии, она была голландкой. — *Прим. ред.*

тему свободы от угнетения. Матильда внезапно прервала его, заявив, что ей всегда кажется странным, что люди так много времени и сил тратят на устранение внешних ограничений, хотя подлинно важны лишь ограничения внутренние.

Это замечание воспламенило Ницше. Когда они вернулись в Женеву, он сел за фортепиано, чтобы подарить ей одну из своих взволнованных и драматических импровизаций. Окончив играть, он наклонился к ее руке и многозначительно на нее посмотрел. Затем он отправился наверх, чтобы написать ей предложение руки и сердца.

«Соберитесь с духом, чтобы не испугаться вопросу, который я вам сейчас задам: хотите ли вы быть моей женой? Я люблю вас и испытываю такое чувство, как если бы вы уже были моей. Ни слова о неожиданности моего увлечения! Во всяком случае, в этом нет ничьей вины, и тут не за что вообще извиняться. Но что мне хотелось бы знать, — это ощущаете ли вы так же, как и я, что мы вообще не были чужими друг другу, ни единого мгновения! Верите ли вы так же, как и я, что в союзе каждый из нас был бы свободней и лучше, чем поодиночке? Вы готовы отважиться идти вместе со мной как с человеком, который всем сердцем стремится к освобождению и совершенствованию?..»¹ [21]

Он понятия не имел, что на самом деле Матильда была тайно влюблена в своего учителя фортепиано Гуго фон Зенгера, который был намного ее старше. Она послушно последовала за ним в Женеву в надежде стать его третьей женой — и впоследствии успешно исполнила это свое желание.

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

Последний ученик и первый ученик

Были друзья, но перестали быть друзьями, и они разорвали свою дружбу одновременно с обеих сторон: один потому, что считал себя непонятым, другой потому, что считал себя слишком понятым, — и оба при этом обманулись! — потому что каждый из них мало знал себя самого¹.

Утренняя заря. Книга IV. Раздел 221

Насущной необходимостью на 1875–1876 годы было закончить следующее «Несвоевременное размышление». Издатель хотел соблюсти темпы выпуска — каждые девять месяцев. Ницше начал составлять очерк о филологии, но эссе «Мы, филологи» развития не получило. Что еще можно было сказать об историческом редукционистском подходе и вытекающей из него нечувствительности к подлинным источникам художественного вдохновения? Он вернулся к изначальному предмету — Искусству.

Он напишет новое «Несвоевременное размышление» на тему, которая вызывала у него огромный интерес: об индивидуальном гении и о влиянии, которое он может оказать на культуру своей эпохи. Благодаря долгим и близким взаимоотношениям с Вагнером никто не мог бы быть лучше приспособлен к тому, чтобы поместить гения под увеличительное стекло. Четвертое «Несвоевременное размышление» должно было называться «Рихард Вагнер в Байрёйте» и служить двоякой цели — стать следующим в серии размышлений и провозгласить открытие первого Байрёйтского фестиваля.

¹ Здесь и далее «Утренняя заря» цит. в пер. В. М. Бакусева.

Эссе «Рихард Вагнер в Байрёйте» насчитывает всего лишь около пятидесяти страниц, но на его написание ушла большая часть года. Работа хромала на обе ноги — и не потому, что он, как это часто бывало, с трудом переносил мысли на бумагу, но из-за разлада между сердцем и головой, который мешал пониманию предмета. Процесс создания похвального слова гению композитора заставил Ницше осознать насущную необходимость освободить себя от Вагнера. Опасное влияние любимого композитора было трудно переоценить: становление самого Ницше требовало преодоления Вагнера, и все это вызывало в нем серьезный эмоциональный конфликт.

Ницше долго воспевал божественную власть, которую музыка Вагнера устанавливала над его чувствами, но теперь он понял, что она вместе с тем и лишает его свободной воли. Когда он это осознал, в нем начало расти раздражение против лихорадочного, туманного, метафизического искушения, некогда казавшегося ему высшим смыслом жизни. Теперь он видел в Вагнере страшную опасность, а восхищение композитором стало казаться ему частью нигилистического бегства от мира. Он критиковал Вагнера за романтическое фиглярство, за тиранию, за манипуляцию чувствами. Музыка Вагнера расстроила его нервы и здоровье. Возможно, Вагнер — это не композитор, а болезнь?

Он и не думал о том, чтобы предать подобные мысли публикации, иначе они обесмыслили бы его книгу «Рождение трагедии». Но в процессе работы из панегирика гению Вагнера «Размышление», как он сам впоследствии признавал, превратилось в анализ его собственного гения и раздумья о возможном его применении в будущем.

В предыдущем «Размышлении» о Шопенгауэре давалось определение человека Руссо, первобытная природа которого подобна змею Тифону, дремлющему под Этной [1]. Вагнер и был такой жизненной силой; таким хотел быть и сам Ницше — неистовым бунтарем, не беспокоящимся о собственной безопасности и безопасности мира, культурным новатором, чья мысль вызовет обширные идеетрясения. Приятно было думать, что визионерские взлеты таких гениев, как Вагнер (и он сам), хотя и несут с собой неизбежное разрушение, все же жизненно необходимы для спасения человечества от застоя и посредственности.

В эссе затрагиваются темы, впервые прозвучавшие в «Рождении трагедии». Ницше вновь приписывает Вагнеру собственные мысли о смерти почитания дионисийского начала из-за установления безжалостно рациональных теорий права, государства и культуры, что привело к современной эпохе, когда *Bildungsphilister*, образованные филистеры,

демонстрируют самодовольную уверенность во всем, так что вся активная культурная жизнь сводится к подпираанию стен гигантских зданий экономики и власти, соответствующим образом поддерживаемых и четвертой властью. Ницше снова порицает газетчиков как мелочных льстецов самолюбию читателей, недооценивающих их душу. Настоящая культура, такая как вагнеровская (а также, разумеется, его собственная), — это подземный поток очищения, возвеличения и облагораживания духа, неизбежно сопровождающийся сокрушением современных идолов. Эссе заканчивается много раз переписанными восхвалениями Вагнера. Его взоры «становятся тогда подобными солнечным лучам, “влекущим к себе воды”, сгущающим туманы и собирающим грозовые тучи... его взгляд застиг врасплох природу», которая ищет укрытия «в своих противоположностях»¹ и т. д. [2] Но не смог Ницше удержаться и от нескольких шпилек. Сравнивая поразительную веру в себя Вагнера с такой же верой Гёте, он пишет: «В этом отношении он был, пожалуй, более высокого мнения о себе, чем Гёте, который говорил: “Мне всегда казалось, что все уже в моей власти; мне могли бы надеть корону, и я нашел бы, что так оно и должно быть”» [3]. «Размышление» недвусмысленно оканчивается утверждением о том, что Вагнера следует считать «не пророком грядущего, каким он может казаться нам, но истолкователем, преображающим прошлое» [4].

Ницше оставил роль пророка грядущего для самого себя.

«Рихард Вагнер в Байрёйте» не пользовался большим успехом. Эссе было преисполнено сыновней обиды и неискренности, и в нем вновь проявился его прежний негибкий авторский стиль: слишком много серьезного анализа, слишком мало теплоты и остроумия предыдущего «Размышления» о Шопенгауэре.

Все время, что он сочинял очерк, он испытывал муки отцеубийства: голова, глаза и желудок не давали ему покоя. Каждый день он по нескольку часов чувствовал себя так, будто страдает от морской болезни.

В среднем он проводил в постели и в полной темноте по тридцать шесть часов в две недели. От дикой боли он часто не мог даже думать. Он потерял двух друзей, которые до того преданно брали на себя запись под диктовку: фон Герсдорф уехал заниматься своим имуществом, а Ромундт — в семинарию. Однако в апреле появился новый секретарь — энергичный, с буйной шевелюрой, двадцатидвухлетний

¹ Здесь и далее «Рихард Вагнер в Байрёйте» из «Несвоевременных размышлений» цит. в пер. В. М. Бакусева.

саксонский композитор Иоганн Генрих Кезелиц. Ему от природы достался великолепный, четкий, каллиграфический почерк.

Изучая в Лейпциге контрапункт и композицию, Кезелиц прочел «Рождение трагедии», и книга заставила его и его приятеля Пауля Генриха Видеманна «закачаться от восторга». Им хватило скромности, чтобы осознать, что до конца книгу они не поняли, но почувствовали, что в лице автора нашли ум, высказывающийся с невиданной доселе способностью к объяснению. «Когда Ницше дошел до описания того, как аполлоническое и дионисийское начала были разрушены утилитарным рационализмом (выраженным Сократом), мы стали подозревать, почему развитие и процветание великого искусства почти невозможно в условиях нашей культуры знания и разума... “Рождение трагедии” — мощный протест творческого и героического человека против слабых, разрушающих инстинкты последствий нашей александрийской культуры» [5].

«Шопенгауэр как воспитатель» углубляет их энтузиазм еще больше. «Потому что если наши современники понимали “культуру” как нечто вроде бентамовского идеала общего комфорта (характерного для Штрауса и всех социалистов начиная с Томаса Мора), Ницше внезапно появился меж них и сквозь гром и молнию стал учить, что цель и вершина культуры — давать миру гениев» [6].

Кезелиц назвал Ницше «великим переоценщиком». Он немедленно отправился в Базель, чтобы встретиться с философом и учиться у него.

Не зная, как выглядит Ницше, он стал опрашивать владельцев книжных лавок, где можно было купить фотографии местных достопримечательностей и знаменитостей. К его неудовольствию, сборник фотографий университетских профессоров не включал изображения его героя. На его вопросы отвечали: «Профессор Ницше? Разве тут есть кто-то с такой фамилией?» Возможно, дело было не только в сомнительной репутации, которую Ницше приобрел в университете, но и в его неприязни к тому, что он называл «фотографической казнью посредством одноглазого циклопа». «Каждый раз я пытаюсь уберечься от этого несчастья, но неизбежное всегда случается — и вот я навеки запечатлен, словно пират, известный тенор или какой-то боярин...» [7]

Кезелиц был убежденным вагнерианцем, и когда они наконец встретились, то Ницше одолжил ему неоконченное вагнеровское «Размышление». Характерный для Кезелица бурный энтузиазм убедил Ницше, что эссе необходимо закончить и он способен помочь. С конца апреля до конца июня он записывал под диктовку профессора три последних

главы, а также переписывал своим чудесным почерком все девяносто восемь страниц. Когда от издателя пришли гранки, Кезелиц прилежно их откорректировал. Наконец два прекрасно переплетенных тома в конце июля были готовы к отправке Вагнеру и Козиме. То был последний период репетиций перед формальным открытием фестиваля 13 августа.

Посреди многочисленных последних приготовлений Вагнер, наверное, не смог бы даже теоретически улучшить минутку, чтобы прочесть книгу, но это был великолепный подарок в такое беспокойное время. Он быстро и с большим энтузиазмом отправил в ответ телеграмму: «Мой друг! Ваша книга изумительна! Но как вам удалось так много обо мне узнать? Тотчас приезжайте и познакомьтесь с нашим “Кольцом” на репетициях» [8]. Второй экземпляр Вагнер переслал королю Людвигу, который был столь же очарован текстом Ницше.

Прежде чем Ницше успел поразмыслить над повелением Вагнера ехать в Байрёйт, он получил от Эрвина Роде письмо, в котором тот извещал его о помолвке. Перед свадьбой друзья меняются, и теперь трое из его ближайших и самых старинных друзей связывали себя узами брака.

Ницше испытывал противоречивые чувства. Он написал Роде теплое письмо с поздравлениями, но включил туда рассуждение о том, что, возможно, он, в отличие от своих друзей, ошибается, но брак должен подразумевать компромисс и неприемлемое для него примирение с человеческой посредственностью, а на это он пойти пока не готов. В ночь после получения письма от Роде он сочинил сентиментальную поэму «Странник» (*Der Wanderer*) [9], в которой описал, как он бредет в ночи по горной тропе и слышит сладкоголосое пение птицы. Как и лесная птица из вагнеровского «Зигфрида», она умеет говорить. И на его вопрос отвечает, что поет не для него, а для его друга.

22 июля он отправился в трудную поездку в Байрёйт, куда прибыл через два дня. В Ванфриде он появился на следующий день. Козима лишь кратко отметила в дневнике его появление. Лихорадка последних репетиций — напряженный период для любого театра, но все усугублялось еще и тем, что спонсоры приняли ужасающее решение продавать на репетиции билеты. Это напоминало затянувшийся неудачный стриптиз: любой недостаток, любая морщинка были открыты взору публики. Но каждый лишний день влек за собой дополнительные две тысячи марок расходов, которые надо было как-то окупить. «Много недовольства», — пишет Козима. Вагнер прямо на сцене сцепился с хореографом и декоратором. Певцы уходили, нужно было нанимать

новых. Герр Унгер, который должен был петь Зигфрида, молодого героя «Кольца», простудился — а может, это было просто оправдание? Одна из главных валькирий проявила «избыток неуклюжести и отсутствия грации». Злодей Хаген забывал слова. Единственная мастерская, в которой могли сделать дракона, способного извергать огонь, качать хвостом и закатывать глаза, оказалась в Англии. Три части дракона, которые предстояло собрать на месте, были отправлены морем, но в Байрёйт прибыли только две. Шею послали в Бейрут, столицу Ливана. Дымовая машина не работала. Декорации упали, открыв миру крепких рабочих в одних рубашках, отдыхающих в ожидании момента, когда декорации нужно будет менять. Певцы требовали выходов на бис. Вагнер не позволял: это разрушило бы магическое очарование, державшее публику в оцепенении. В корыстных целях, но оттого не менее демократично Вагнер бесплатно пригласил на репетицию пожарную бригаду, отчего важный член постановочной комиссии подал в отставку. Репетиция в костюмах была сущей пыткой. Вагнер нанял для создания декораций исторического живописца. В результате декорации оказались настолько исторически достоверными и тщательно проработанными, что стали свинцовыми сапогами, которые твердо приковывали историю к мелочному отображению реальности и не давали воображению воспарить.

Козиме не нравились костюмы, «напоминавшие вождей краснокожих и, помимо этнографической абсурдности, являвшие черты провинциальной безвкусицы»: «Я очень разочарована ими» [10]. Насколько разочарована, что Вагнер приставил к голове рог Зигфрида и с громким бычьим ревом атаковал не угодившего им разработчика костюмов.

Печали Козимы увеличились с приездом Жюдит Готье, которая приковала общее внимание, появляясь на улицах Байрёйта одетой по последней парижской моде — в матросский костюм. Увлечение Вагнера Жюдит, проявившееся еще в Трибшене, не проходило, и от Козимы он скрывал его очень плохо. Была ли в итоге Жюдит оказана высшая честь — непонятно, но вряд ли это имеет какое-то значение. Она поселилась в доме, который Вагнер постоянно посещал, их отношения явно носили эротический характер, и сплетни не заставили себя ждать. Все называли Жюдит его любовницей. Это было ужасным унижением для дочери Листа, «гадкого утенка». Она прошла ради Вагнера через огонь, а теперь другая стала его музой, любовью и вдохновением. Без всего этого Козима испытывала опустошенность. Она пишет, что чувствует себя «мертвой», «несуществующей». Однако во время фестиваля она встала во весь свой немалый рост, гордо неся величественный длинно-

носый профиль, убирала волосы в средневековую косу, подходящую для королевы нибелунгов, носила струящееся белое шелковое платье, как у невесты, а в роли владычицы Байрёйта проявляла себя как превосходная хозяйка.

Пока фестиваль бурлил из-за скандала с Готье, то же общество, которое некогда покрывало унижением и позором Козиму как любовницу Вагнера, ныне отчаянно боролось за ее внимание. Байрёйт стал модным местом, а показаться вместе с Вагнером было просто необходимо. Все общество стремилось войти в двери Ванфрида, и Козима была их привратницей. Блистательная в своем псевдосредневековом наряде, с огромным веером в руке (в Байрёйте стояла типичная августовская жара, повлекшая за собой несколько обмороков в оперном зале), Козима держалась холодно и величаво, принимая сотни посетителей, которые явились со всех концов света — других посмотреть и себя показать. Это была великолепная месть обществу, некогда ее отвергнувшему, и этой француженке.

В день приезда Ницше стал одним из пятисот посетителей Ванфрида. Будучи скромным профессором, он не мог надеяться на высокое место в иерархии. Правила этикета соблюдались так, как чтят их только выскочки. Козиме предстояло иметь дело с четырьмя царствующими особами, бесчисленными принцами и принцессами, великими герцогами и герцогинями, эрцгерцогами и эрцгерцогинями, герцогами, графами, графинями и менее важными дворянами. Во избежание оскорблений и скандалов всех их требовалось принимать в правильном порядке. Простолоудины ждали в передних, разговаривая приглушенно, как в церкви.

Король Людвиг пожелал посетить фестиваль инкогнито. Он появился самым таинственным образом в полночь, его тайно встретил Вагнер и отвез в экипаже в великолепный байрёйтский дворец Эрмитаж, где король, как он считал, мог остановиться «незамеченным». Под стремительными облаками и ускользающей луной двое мужчин обнажали друг перед другом души, пока экипаж ехал между фантастическими павильонами, фонтанами и мрачными гротами освещенного луной дворцового парка. Для Вагнера это был один из очень немногих чисто духовных моментов за весь фестиваль — момент воздаяния за все мелкие тревоги и кавардак, воссоединение с чистым духом, вдохновением и целью работы всей его жизни.

Но, как известно, отношения с монархом чрезвычайно хрупки. Король настаивал, что не желает публичных оваций во время пребывания в Байрёйте, но был возмущен, когда эту его просьбу действительно

исполнили. Но театр значил для короля Людвига куда больше, чем почести. 28 июля он побывал на костюмированной репетиции «Золота Рейна». Несмотря на отсутствие оваций, музыка показалась королю чрезвычайно возвышенной. Вернувшись в Эрмитаж, он потребовал осветить парк факелами и незаметно рассадить за кустами музыкантов, исполняющих музыку Вагнера. Во время ее звучания должны были бить искусно иллюминированные фонтаны.

Как и предсказывал Ницше, первый Байрёйтский фестиваль был шагом в сторону от нового Эсхила, возрождающего трагический дух, призванный спасти европейскую культуру от застоя и посредственности. Изначально он должен был стать гораздо большим, чем просто мероприятие, — метафорой германской культуры, образом будущего и образцом для настоящего, однако, как Ницше и писал в «Размышлении», он стал чем-то куда меньшим — трусливым продолжением старого порядка, компромиссом и развлечением для образованных филистеров.

Ницше горько отмечал, что «все бездельники Европы» отнеслись к фестивалю в Байрёйте как к очередному пункту своих бесцельных блужданий в рамках календаря общественных событий. Его также отпугнуло множество антисемитов, которых порадовала сюжетная линия «Кольца», заключающаяся в расовой борьбе между темными, уродливыми гномами подземного мира и светловолосым племенем Вотана. Триумф Зигфрида пришелся им по нраву, как и Гитлеру, впервые посетившему фестиваль в 1923 году и сразу принявшемуся за «Майн кампф».

Педру II, бразильский император, прибыл в Ванфрид на следующий вечер после костюмированной репетиции. Его императорское присутствие значительно скрасило недостатки постановки и разочарование от костюмов. Король Вюртемберга шел куда ниже в иерархии монархов, однако и его появление стало источником удовлетворения. Сам германский император, кайзер Вильгельм, почтил своим присутствием первые две оперы, аплодировал и одновременно, улыбаясь, говорил адъютантам сквозь зубы: «Ужасно! Ужасно!» Он с сожалением отметил, что не сможет остаться на две последние оперы цикла.

Хотя Вагнер обещал Ницше отдельную комнату в Ванфриде, как некогда в Трибшене, не было и речи о том, чтобы действительно там остановиться. Он нашел себе самую дешевую гостиницу в центре города. Потолки были низкими, а комната — раскалена как печь.

В Байрёйте в то время жило около двадцати тысяч человек. Новый оперный театр Вагнера вмещал 1925 зрителей. Планировалось дать три отдельных цикла из четырех опер, входящих в состав «Кольца». Таким

образом, билеты на допуск в Вальхаллу имело примерно 5775 человек, приехавших с тысячами супругов, детей и слуг. Следовало учесть и профессионалов — певцов, актеров, музыкантов, мастеров сцены, плотников, швей, прачек, чернорабочих и слуг всех мастей. Конечно, ни одно публичное мероприятие не могло пройти и без непрошенных гостей. Ночные бабочки, усатые искатели приключений в широких брюках, карманники, уличные мальчишки, бездельники, зеваки и множество крестьян, которые пришли с окрестных ферм поглазеть на зрелище. Все они вывалились на раскаленные, сухие мостовые. Шум создавался невыносимый. Ницше даже не мог скрыться в своей комнате, где жара и запах стояли как в духовом шкафу.

Для Чайковского, как и для многих других посетителей, главной проблемой стало найти еду. «Имеющиеся в отелях табльдоты никак не могут вместить в себя всех голодающих, — писал он. — Каждый кусок хлеба, каждая кружка пива добывается с боя, ценою невероятных усилий, хитростей и самого железного терпения. Да и добившись места за табльдотом, нескоро дождешься, чтобы до тебя дошло не вполне разоренным желанное блюдо. За столом безраздельно царит самый хаотический беспорядок. Все кричат разом. Утомленные кельнеры не обращают ни малейшего внимания на ваши законные требования. Получение того или другого из кушаний есть дело чистой случайности... В течение всего времени, которое заняла первая серия представлений вагнеровской тетралогии, еда составляла первенствующий общий интерес, значительно заслонивший собой интерес художественный. О бифштексах, котлетах и жареном картофеле говорили гораздо больше, чем о музыке Вагнера» [11].

Театр был для Ницше слишком ярок — смотреть оперу из зрительного зала он не мог: «Мне совсем не понравилось... мне надо было уйти». Ему выделили темную, маленькую, размером со шкаф комнатку рядом со сценой. Там было чудовищно жарко. Его приезд совпал с репетициями к четвертой, последней опере — «Сумеркам богов», в которой происходит конец света. Оркестр из сотни музыкантов, рисуя апокалиптическую картину падения Вальхаллы и крушения прежних богов, производил, вероятно, беспрецедентный по мощности звук.

Приемы в Ванфриде нравились ему еще меньше. Он посетил один, там его сочли несчастным и молчаливым, и на остальные он так и не явился.

Одна из повторяющихся ситуаций в жизни Ницше — когда он чувствовал себя хуже всего, постоянно являлся какой-то спаситель

и окружал его любовью и заботой. На этот раз спасение явилось в облике Мальвиды фон Мейзенбуг — пышущей здоровьем, но стареющей анархистки на три года младше Вагнера, из того же революционного поколения [12]. Автобиография Мальвиды «Воспоминания идеалистки» сделала ее одной из ярких личностей в Байрёйте [13].

Мальвида обожала композитора, в ее римской квартире стоял его мраморный бюст. Она была дочерью прусского дворянина; один отказ на балу превратил ее из члена высшего общества в решительную сторонницу его разрушения. Как и Вагнер, она была в изгнании после революций 1848–1849 годов. В ее случае причиной был контрабандный провоз писем первого из многих революционеров, в которых она влюблялась. Изгнание привело ее в Северный Лондон, где она поселилась в кругу русских эмигрантов-анархистов и стала гувернанткой двух дочерей овдовевшего Александра Герцена, хотя предпочла бы стать его женою [14].

Среди революционеров Мальвида пользовалась достаточной популярностью, чтобы Гарибальди во время своего крайне успешного посещения Лондона с целью радикализации англичан и образования «плавающей республики [кораблей], всегда готовой отправиться туда, где борются за свободу» [15], пригласил ее позавтракать на борту своего судна, бросившего якорь на берегу Темзы. Когда она прибыла на весельной лодке, ей «спустили кресло, покрытое красивой накидкой, и подняли... на борт». «Гарибальди принял нас в живописном костюме: короткая серая туника, красная шапочка с золотой вышивкой на светлых волосах и оружие за широким поясом. Его моряки, со смуглой кожей и темно-кариими глазами, собрались на палубе, тоже в живописных костюмах». Были поданы устрицы, за которыми последовала «самая живая и приятная беседа... Все моряки, казалось, его обожествляли, и не почувствовать поэтического обаяния его личности было невозможно...» [16]

Теперь Мальвида выглядела безобидной миниатюрной шестидесятилетней дамой; ее седые волосы были откинuty назад, за дорогой кружевной воротник. Но в душе Мальвида вовсе не потеряла былой кровожадности юной анархистки. Ее восхищал пример Парижской коммуны — наверное, если бы она встретилась с Якобом Буркхардтом, полетели бы искры. Она была не гуманистом, но мистиком: верила в управляющие миром абстрактные силы добра, которые нельзя обнаружить ни в какой лаборатории и тем более пробирке. Именно эти силы давали человеческому духу безграничные возможности, которые

позволяли мужчинам и женщинам обращаться в богов — и требовали от них этого. Мальвида сохранила наивные и непосредственные манеры пламенной революционерки. Ее нежные голубые глаза, о красоте которых твердили многие, по-прежнему видели только то, что хотели видеть. Такая возвышенная близорукость отбрасывала все аспекты человеческого поведения, несовместимые с ее идеализмом. Все отношения с революционерами, о которых она писала в своих воспоминаниях, носили платонический характер; она всегда оставалась домохозяйкой, хотя мечтала быть влиятельной любовницей. Трудно не видеть в ней бесплатное приложение к сильным мужчинам, более податливое, чем ей бы хотелось, — классический пример богатого «полезного идиота», если пользоваться словами Ленина. Теперь она видела свое призвание в том, чтобы вдохновлять молодых «пионеров свободы», и в Ницше, как она решила, она нашла еще одного из них.

Они встретились в мае 1872 года в Байрёйте на закладке первого камня, а затем завели учтивую переписку. Она восхищалась его трудами, а он высказал теплое сочувствие, когда одна из дочерей Герцена вышла замуж за человека, которого революционное сердце Мальвиды не могло принять.

Мальвида видела, какие физические страдания причиняет Ницше его адски раскаленный гостиничный номер, и дала ему возможность отдыхать днем в прохладной тени своего сада. Она одаривала его бесконечным сочувствием и успокоительной молочной диетой. Он совершал длительные заплывы по речушке, протекавшей в саду. Этот режим так пошел ему на пользу, что даже возродил в нем страсть к музыке, которую он слушал в театре. Он вынужден был признать, что перед музыкой его душа склоняется, при всей общей невыносимости атмосферы Байрёйта.

3 или 4 августа Ницше бежал из Байрёйта, не сказав никому ни слова, даже Мальвиде. Он сел на поезд до Клингенбрюнна — крошечной деревеньки в баварском лесу. Там он пробыл всего несколько дней, но ему удалось существенно поправить здоровье. Он приехал как раз к открытию фестиваля 13 августа, в соответствии с планом встретить в Байрёйте сестру и своих дорогих друзей Роде и фон Герсдорфа, выложивших за билеты и жилье солидные суммы.

Волшебный любовный напиток часто служит для развития сюжета в операх Вагнера, и теперь все трое друзей испили его сполна.

Карл фон Герсдорф «отчаянно, безумно, байронически» влюбился в юную итальянскую графиню Нерину Финокьетти. Он стремительно

сделал предложение и все последующие месяцы спасался от алчности ее семейства.

Только что обрученный Эрвин Роде самым рискованным, хотя и неуклюжим, образом флиртовал с каждой встречной дамой, к значительному смущению его друзей.

Сам Ницше не смог устоять перед привлекательной блондинкой по имени Луиза Отт. Музыкальность придавала ей что-то общее с его предыдущими пассиями. Луиза была великолепным музыкантом, превосходно играла на фортепиано и очень мило пела. Когда она повстречала Ницше, они переговорили обо всем на свете, но она забыла упомянуть, что замужем. Когда это открылось, для Ницше было уже поздно. Супруг Луизы, банкир, не разделял ее страсть к Вагнеру и остался дома в Париже, так что на фестиваль она приехала с маленьким сыном Марселем. Похоже, любовь с первого взгляда накрыла Ницше и Луизу одинаково сильно и глубоко.

«Моя милая госпожа Отт,

все вокруг померкло, когда Вы покинули Байрёйт, мне казалось, будто меня лишили света. После этого мне нужно было снова собраться с духом, но это я уже сделал, и это письмо Вы можете брать в руки не тревожась.

Мы хотим хранить верность чистоте духа, который свел нас вместе, мы хотим во всем добром оставаться верны друг другу»¹ [17].

«Как это хорошо, — ответила она через три дня, — что теперь мы можем прийти к верной, здоровой дружбе между нами, так что каждый из нас сможет думать о другом всем сердцем, не боясь укоров совести... Но ваши глаза я забыть не могу: все так же, как тогда, покоится на мне Ваш ласковый глубокий взгляд... Только при этом не упоминайте ничего о Вашем и моем письмах — пусть все, что происходило до сих пор, останется между нами — это будет нашим святилищем лишь для нас двоих» [18].

Через год, почти в тот же день, он написал ей страстное письмо, в котором говорил, что так ярко ощутил ее присутствие, что даже мельком увидел ее глаза. Луиза снова была беременна, но ответила почти незамедлительно, что ничуть не удивлена, поскольку тоже вспоминала время, проведенное вместе: «Я вновь пережила все и поняла, что сказочно богата, потому что вы отдали мне свое сердце» [19].

¹ Эта и следующая цитаты — пер. И. А. Эбаноидзе.

9

Ум свободный и не очень

Если, таким образом, наука сама по себе приносит все меньше радости и отнимает все больше радости, внушая сомнения в утешительной метафизике, религии и искусстве, то иссякает тот величайший источник удовольствия, которому человечество обязано почти всей своей человечностью. Поэтому высшая культура должна дать человеку двойной мозг, как бы две мозговые камеры: во-первых, чтобы воспринимать науку и, затем, чтобы воспринимать не-науку; они должны лежать рядом, быть отделимыми и замыкаемыми и исключать всякое смешение; это есть требование здоровья¹.

*Человеческое, слишком человеческое.
Признаки низшей и высшей культуры, 251*

Университет предоставил Ницше оплачиваемый годичный отпуск с осени 1876 года. Его даже освободили от последних преподавательских обязанностей — в Педагогиуме. Это означало полную свободу. Мальвида фон Мейзенбург пригласила его провести зиму в Сорренто, и он согласился.

Издатель требовал от него следующего «Несвоевременного размышления». Ницше отвечал, что уже достаточно продвинулся. Это было неправдой, но идея, которая так и просилась на бумагу, уже была готова. Он дал новой работе условное название «Лемех» (Die Pflugschar). Как острое лезвие лемеха взрезает почву, повреждая корни сорняков, которые мешают расти культурным растениям, так книга должна обре-

¹ Здесь и далее «Человеческое, слишком человеческое» цит. в пер. С. Л. Франка.

зять сорняки, сдерживавшие его оригинальную мысль, в особенности избавив его от прежних идолов — Вагнера и Шопенгауэра.

Конечно, сложную поездку по железной дороге с пересадками и багажом он не стал бы предпринимать в одиночку, поэтому пригласил в компанию двух друзей. Одним из них был студент-филолог по имени Альберт Бреннер: двадцатиоднолетний больной туберкулезом юноша, склонный к депрессии и поэзии, чьи родители уверовали в целительные свойства зимовки на юге. Другой — двадцатилетний философ Пауль Рэ, с которым Мальвида виделась в Байрёйте. Первая книга Рэ — «Психологические наблюдения» (*Psychologische Beobachtungen*) — привлекла к себе некоторое внимание, и он собирался опубликовать вторую. Он должен был идеально вписаться в кружок Сорренто, который Мальвида задумывала как философско-литературный салон. Она всегда мечтала существовать в некоем сообществе идеалистов, и грядущая зима казалась ей отличной лабораторией для плодотворных мыслей. Сама Мальвида собиралась писать свой первый роман. Зимой она действительно закончила книгу под названием «Федра» — трехтомную сагу о запутанных семейных отношениях и поисках индивидуальной свободы.

19 октября 1876 года Ницше и Бреннер сели в поезд, который должен был проехать через туннель Мон-Сени, недавнее чудо инженерной мысли, и доставить их в Турин.

Свое купе первого класса они делили с парой элегантных и образованных дам — Клодиной фон Бреверн и Изабеллой фон дер Пален. Ницше впал в романтическое настроение: они с Изабеллой много беседовали в течение всей поездки. Они обменялись адресами, прежде чем расстаться на ночь, которую, по случайности, должны были провести в одном и том же отеле. Утром дамам нужно было садиться на другой поезд, и Ницше отправился их провожать, но по дороге на вокзал на него напала такая чудовищная головная боль, что до собственной гостиницы он добрался только с помощью Рэ.

В Пизе он остановился взглянуть на знаменитую башню, а в Генуе впервые в жизни увидел море. Этот город с тех пор ассоциировался у него с Колумбом, Мадзини и Паганини. То был город исследователей, первооткрывателей, новаторов — тех, кто храбро плыл по неизведанным морям в надежде открыть новые миры. Гуляя по холмам, окружающим Геную, Ницше стремился представить себя на месте великого Колумба, который, открыв Новый Свет, одним махом вдвое увеличил пределы Земли.

Из Генуи они отправились в Неаполь на пароходе. Ему предстояла первая встреча с классическим миром, но у него не было времени как-то отметить этот торжественный момент. Вместо этого он тратил все силы и энергию на то, чтобы перехитрить агрессивных попрошайек, сновавших повсюду и споривших за его багаж, как банда вороватых сорок. Невероятно было попасть в мир, который он воображал себе всю жизнь, и обнаружить, что он беден и непригладен. Мальвида подняла его настроение вечерней поездкой в экипаже вдоль изгибающегося Неаполитанского залива от лесистого мыса Позилиппо (Павсилипона древних греков) к смутно вырисовывавшемуся коническому Везувии и острову Искья, поднимающемуся из винноцветного моря.

«Штормовые облака величественно собрались над Везувием, из молний и мрачных темно-красных туч образовалась радуга; город сверкал, будто выстроенный из чистого золота, — писала Мальвида. — Это было так великолепно, что моих гостей буквально преисполнял восторг. Я никогда не видела Ницше таким оживленным. Он громко смеялся от радости» [1].

После двух дней в Неаполе они направились в Сорренто. Путешественники не были готовы к восприятию южной архитектуры. Охряные и мандаринового цвета стены осыпались, гипс облезал, и туманные, неопрятные призраки классического прошлого требовали от них навсегда отказаться от прежних представлений. Это был разительный контраст со швейцарской и немецкой архитектурой, среди которой Ницше провел всю жизнь, с ее тщательно организованными структурами, символизирующими общую праведность и опрятную гражданскую добродетель.

Мальвида снимала виллу Рубиначчи — квадратную оштукатуренную виллу рядом с самим городком Сорренто. Здание утопало в виноградниках и оливковых рощах. Трое мужчин заняли комнаты на первом этаже с видом на террасу. Мальвида и ее горничная Трина жили на втором этаже, там же находился и салон. Эта комната была достаточно велика, чтобы вместить всех носителей свободного духа и закружить их в синхронном вихре вдохновения. В первом письме домой, отправленном 28 октября, Ницше сознательно не сообщает матери и сестре ничего, что сам посчитал важным или глубоким. Послание написано с показной наивностью школьника, так что даже Франциске и Элизабет оно должно было показаться крайне неинформативным. «Вот мы и здесь в Сорренто! Все путешествие

из Бекса заняло восемь дней. В Генуе я заболел. Оттуда мы три дня добирались морем и — представь себе — без морской болезни» [2]. И так далее. Но для себя он писал иначе, признаваясь, что просто содрогался при мысли о том, что мог умереть, не увидев мира Средиземноморья.

О посещении Пестума он писал: «Мы привыкли не ставить вопроса о возникновении всего совершенного, а, наоборот, наслаждаться его настоящим состоянием, как если бы оно выросло из земли по мановению волшебства... Нам *почти* кажется (например, когда мы созерцаем греческий храм вроде пестумского), что некий бог, играя, построил себе однажды утром жилище из таких огромных тяжестей; в других случаях нам мнится, будто душа была внезапно вколдована в камень и теперь хочет говорить через него. Художник знает, что его произведение оказывает полное действие, лишь когда оно возбуждает веру в импровизацию, в чудесную внезапность возникновения; поэтому он при случае сознательно содействует этой иллюзии и вводит в искусство элементы вдохновенного беспокойства, слепого беспорядка, чуткой грезы при начале творения — в качестве средств обмана, которые должны настроить душу зрителя или слушателя так, чтобы она верила во внезапное появление совершенного» [3].

Свободный дух увяз в рутине. Утро проходило у них в полной свободе. Ницше плавал каждый день, когда это позволяло состояние моря, гулял и работал. Сходились вместе они к полуденному приему пищи. После обеда они совершали совместные прогулки по окружающим цитрусовым рощам или ездили по полям на ослах, подшучивая над молодым Бреннером, который был так высок, что его ноги, когда он сидел на осле, почти достигали земли. Вечером они все ужинали вместе. После этого они отправлялись в салон и вели там вдохновляющие беседы по программе совместной работы. Рэ и Бреннер по очереди читали вслух Ницше и Мальвиде, которая тоже плохо видела.

Начали они с лекций Буркхардта о древнегреческой культуре, затем перешли к Геродоту, Фукидиду и «Законам» Платона. Потом последовало «Мышление и реальность» Африкана Шпира — русско-украинского философа и метафизика, который во время осады Севастополя 1854–1855 годов служил в одном батальоне с Толстым. Философская система Шпира зиждется на требовании абсолютной уверенности. Важна не истина, а именно уверенность. Единственное безусловно

верное утверждение — закон тождества: $A = A$. Ничто в мире становления (*Geschehen*) нельзя считать тождественным самому себе. Мы должны постулировать высшую реальность, но о ней почти ничего нельзя сказать, кроме того, что, будучи тождественной сама себе, она должна исключать множественность и перемены. Шпир утверждал, что в этом кроется логическая демонстрация того, что интуитивно поняли Платон и Парменид.

Забавно, что Шпир оказал на Ницше в это время значительное влияние, хотя был деистом и, как Шопенгауэр, метафизиком, а Ницше испытывал значительный интерес к французским рационалистам-моралистам — Монтеню, Ларошфуко, Вовенаргу, Лабрюйеру, Стендалю и Вольтеру.

Рэ называл себя этиком-эволюционистом, и почти наверняка именно он предложил включить французских рационалистов в программу чтения. Вольтер в эпоху увлечения Ницше Шопенгауэром был бы явлением недопустимым, но той зимой идеи нашего героя приняли совершенно иное направление, так что, когда новая книга была все-таки написана, он даже посвятил ее Вольтеру. Это направление он в шутку называл «Рэ-ализмом».

Пауль Рэ был на пять лет младше Ницше. Он родился в семье богатого еврейского дельца; ему не было нужды зарабатывать на жизнь, и он превратился в вечного студента: учился в нескольких университетах, где последовательно изучал право, психологию и физиологию. За год до этого он получил докторскую степень по философии. Роста он был столь же невыдающегося, как Вагнер и Ницше. Его можно было назвать красивым: каштановые волнистые волосы и привлекательная неуверенность в себе, которая объясняет, почему впоследствии он станет орудием в руках сильных женщин — таких как Элизабет Ницше и Лу Саломе. Рэ страдал от какой-то малозначительной, но непонятной проблемы со здоровьем, но куда больше он страдал от недостатка мотивации и решительности.

Как и Ницше, Рэ принимал участие во Франко-прусской войне и был ранен, но это не мешало ему наслаждаться французской культурой. Его космополитический подход соответствовал мнению Ницше о том, что лучше быть хорошим европейцем, чем хорошим подданным рейха. Дружба с Рэ продлилась около шести лет — с октября 1876 по 1882 год. За это время каждый написал несколько книг, которые повлияли на другого как в литературном, так и в философском отношении. Для обоих Древняя Греция служила точкой отсчета для размышлений о проблемах

современности, оба стремились примириться с постдарвиновской реорганизацией человеческого знания.

Рэ изложил свои основные принципы в докторской диссертации 1875 года:

1. Действия людей не зависят от свободной воли.
2. Совесть не имеет трансцендентного источника.
3. Аморальные средства часто оправданы благой целью.
4. Прогресса человечества не существует.
5. Категорический императив Канта не подходит к практической морали [4].

Рэ объявлял о своем намерении подходить к моральным чувствам и идеям так, как геолог изучает формации земной коры, вооружившись дарвиновской доктриной естественного отбора как общетеоретической схемой и заменив метафизические рассуждения научным натурализмом.

Без веры в свободу воли нельзя верить и в моральную ответственность. Сама идея вины или греха ошибочна, поскольку подразумевает, что человек мог поступить иначе. В итоговом анализе отстраненный, даже циничный подход Рэ отрицал любую возможность того, что человека что-то может укреплять, наставлять, оправдывать, возвышать или выводить за границы. Итак, избавившись от метафизики, Рэ оказался еще большим пессимистом, чем Шопенгауэр, но именно его натуралистическая доктрина позволила Ницше отойти от метафизического романтизма Шопенгауэра и Вагнера в сторону более научной, позитивистской картины мира. На это новое направление сильно повлияли попытки Рэ объяснить моральные чувства, воссоздав их историческое или доисторическое развитие в ходе разработки так называемой «эволюционной этики».

Рэ объяснял мораль следующим образом: как дети формируют идеи в ходе повседневного опыта, по примеру родителей и с приобретением привычек, так человеческая раса со временем обрела имеющуюся ныне мораль. Взгляды Рэ на появление морали шли в русле дарвиновской эволюционной этики, изложенной в «Происхождении человека и половом отборе». Возможно, что Ницше был знаком с этой книгой лишь понаслышке — например, от Рэ [5]. По крайней мере, сомнительно, чтобы он мог хорошо читать по-английски. Однако мы точно знаем, что он читал статью Дарвина «Биографический очерк ребенка» [6]. Это короткая статья, рассматривающая вопрос первых проявлений морали.

Дарвин рассказывает, как встретил своего двухлетнего сына Уильяма, выходящего из столовой «с блестящими глазами и с каким-то странным, напускным видом». Ребенок стянул немного сахара. Дарвин заключил, что дискомфорт ребенка был связан с фрустрированным желанием угодить: он уже обрел способность связывать прошлые и будущие события. Дело было не в страхе наказания, поскольку ребенок «никогда не был наказан». Для Рэ статья доказывала второй принцип его докторской диссертации: совесть не имеет трансцендентного источника. Ницше собирался написать об этом целую книгу — как он выражался, исследование происхождения морали.

Рэ носил с собой экземпляр «Максим» Ларошфуко. Он и сам был большим мастером афоризмов, например: «Обучение меняет наше поведение, но не наш характер» или «Религия происходит из страха перед природой, мораль — из страха перед людьми» [7].

Докторская диссертация Рэ содержала смелое и удивительное заявление: «В этой работе есть пробелы, но пробелы лучше, чем временные затычки». Много пробелов и в его афоризмах, которыми он предпочитал передавать свои мысли. Афоризм — удивительно ненаучный метод для человека, именующего себя эволюционным этиком, поскольку эта сфера явно нуждается в научных доказательствах, где В неуклонно следует из А, а афоризм, как отмечал Ницше, может быть истолкован самыми разными способами: «Афоризм, по-настоящему отчеканенный и отлитый, вовсе еще не “дешифрован” оттого лишь, что он прочитан; скорее именно здесь должно начаться его толкование, для которого нужно целое искусство толкования»¹ [8].

Ницше попытался имитировать по-французски элегантный афористический стиль Рэ. Краткость привлекала его внимание еще и потому, что короче становились периоды, когда он вообще мог писать и читать: «Эта невралгия взялась за дело столь основательно, по-научному; она форменным образом зондирует, до каких пределов я могу выносить боль, и посвящает этому исследованию всякий раз часов по тридцать»² [9]. Он не всегда мог найти секретаря, который взял бы на себя запись под диктовку, а записать хорошо продуманный афоризм было минутным делом.

Первые афоризмы, которые он занес в свою записную книжку, похожи на фразы из печений с предсказаниями: «В любой любви присутствует

¹ Здесь и далее «К генеалогии морали» цит. в пер. К. А. Свасьяна.

² Пер. И. А. Эбаноидзе.

материнство, но не отцовство»; «Чтобы увидеть что-то целиком, нужно иметь два глаза — любящий и ненавидящий» [10]. С улучшением качества афоризмов у него развилась неприязнь к немецкому языку. По сравнению с французским он выглядел неуклюжим гигантом. Его неудобная структура совершенно не подходила для кратких высказываний. Любой, кто пытается афористично писать на немецком, вскоре понимает, что немецкие конструкции нельзя так резко и остроумно обрывать, как французские или английские. Отделившиеся вспомогательные глаголы лавиной падают на читателя, размывая смысл и разрушая краткость. Однако он продолжал упорно работать, и в итоге книга «Человеческое, слишком человеческое» стала включать в себя почти 1400 афоризмов или афористических абзацев.

Вагнеры тоже проводили зиму в Сорренто — в отеле «Виттория», рядом с виллой Рубиначчи. Единственный раз после Байрёйтского фестиваля маэстро написал Ницше в сентябре, внезапно попросив его купить в Базеле шелковое нижнее белье и переслать ему почтой. Когда письмо пришло, Ницше был так слаб, что не мог даже поднести перо к бумаге, но он организовал покупку и доставку белья и продиктовал длинное и страстное сопроводительное письмо. Письмо выражало подлинную радость оттого, что он оказался полезен: маленькое поручение живо напомнило ему счастливые времена в Трибшене [11].

Как только Мальвида и ее молодые друзья прибыли в Сорренто, они, не теряя времени, посетили Вагнеров в отеле «Виттория». Вагнера они нашли в состоянии самой черной меланхолии. Фестиваль полностью истощил его силы. Но гораздо тяжелее на нем сказались недостатки фестиваля. Он дрожал от ярости. Все было сделано неумело. Он *обязан* исправить художественные ошибки на фестивале в следующем году. Но будет ли следующий год, если уже первый фестиваль принес ему долгов на 140 тысяч марок? Он написал королю Людвигу, предложив хитрый план — возложить убытки на рейх, но король, верный своей обычной манере избегать всего, что он считал сложным, просто не отвечал на письма.

Две компании находились вместе в Сорренто в течение двух недель. Мы знаем, в основном от Мальвиды, о ветре в оливковых рощах, о дневных экскурсиях, о вечеринках при свете звезд и прибое фосфоресцирующих морских волн, но ничего существенного о разговорах Ницше с Вагнером в то время мы не знаем. В дневниках Козимы Ницше упоминается только в первый день: она пишет, что он очень вымотан и обеспокоен своим здоровьем [12]. Она не проявляла осо-

бенной вежливости по отношению к Рэ, чья «холодная и педантичная натура» ей не нравилась: «При более подробном изучении мы пришли к выводу, что он наверняка еврей» [13]. Впоследствии она вообще не пишет о Ницше, но, возможно, он был слишком болен, чтобы присутствовать. Октябрь стал для него тяжелым месяцем. После «короткого отчаянного приступа» он уехал в Неаполь на консультацию с Отто фон Шреном, профессором-офтальмологом, который заявил ему, что дела наладятся, если он женится. Вероятнее всего, это был эвфемизм для сексуальных контактов, и Рэ намекает, что Ницше воспользовался советом и посетил проститутку в Неаполе или по возвращении в Сорренто. Мальвида же не усмотрела в совете профессора никакого двойного дна и с радостью приняла на себя обязанности свахи. Они с Ницше разработали план, который Ницше и излагает в письме к Элизabet: «План г-жи фон Мейзенбуг, которого необходимо строго придерживаться и выполнению которого ты должна помочь, состоит в следующем: мы убеждаемся, что в долгосрочной перспективе мое существование в Базельском университете не может продолжаться, ибо в лучшем случае это будет означать отказ от всех моих важных проектов и полную потерю здоровья». Выходом должна была стать женитьба на влиятельной особе.

«Хорошей, *но* богатой, как говорит г-жа фон М., и от этого “но” мы хохочем в голос... С такой женой я проживу несколько следующих лет в Риме — это место подходит и по климату, и по местному обществу, и для моей работы. Этим летом план должен быть выполнен в Швейцарии, чтобы осенью я вернулся в Базель женатым человеком. В Швейцарию приглашено множество “особ”, среди них... Элиза фон Бюлов из Берлина, Элбет Брандес из Ганновера. Если говорить об интеллектуальных качествах, то Нат.[алья] Герцен кажется мне самым подходящим образцом. Ты отлично воспевала в Германии достоинства этой малышки Кёкер! Честь тебе и слава! Но я сомневаюсь: есть ли деньги?..» [14]

Самым важным для жены качеством (после денег) он называет способность вести с ним разумные разговоры в старости. В этом плане наиболее подходящей кандидатурой он называет Наталью Герцен. Дочь овдовевшего Александра Герцена была русско-еврейского происхождения, ее воспитанием и образованием занималась Мальвида, которая считала ее и сестру приемными дочерьми. Но, хотя Наталья была достаточно умна, у нее не хватало денег, так что Ницше не требовалось изобретать

пути для отступления. Трудно представить себе другую его реакцию на мысли о браке, кроме откровенной паники. Когда он получил письмо от своей знакомой по флирту в поезде Изабеллы фон дер Пален, где выражалась надежда на встречу в Риме, подкралась внезапная болезнь (второй раз, когда он имел дело с Изабеллой), и он оказался слишком болен, чтобы ответить на ее письмо, хотя все же не настолько, чтобы не попросить издателя отправить ей «Несвоевременные размышления» с наилучшими пожеланиями.

Похоже, в поездах у Ницше обострялась чувствительность. В следующей поездке по железной дороге он был очарован юной балериной из миланского театра: «Слышали бы вы мой итальянский! Будь я пашой, я взял бы ее с собой в Пфаферс: когда я был бы не способен на интеллектуальные занятия, она могла бы для меня танцевать. Я все еще несколько сержусь на себя за то, что не остался в Милане ради нее хотя бы на несколько дней» [15]. Но вскоре он признался: «Женитьба — нечто хотя и очень желательное, но *совершенно невероятное*, это мне *абсолютно* очевидно»¹ [16].

Вагнеры уехали из Сорренто 7 ноября, но прежде, в День поминовения усопших, 2 ноября, обе компании совершили совместную прогулку и вместе провели вечер. В биографии своего брата Элизабет Ницше (которая никогда не была в Сорренто) поведала миру, что в тот день ее брат сильно поссорился с Вагнером, так что больше они никогда не виделись. Козима не подтверждает этого факта. А ведь она была там, и ее запись в дневнике за этот день короткая и спокойная. Но этот пример талантливой фабрикации фактов со стороны Элизабет мы должны включить в наше повествование, поскольку ее биография брата — очевидный источник для каждого исследователя, и ее ложная версия событий на несколько десятилетий определила содержание исследований, касающихся жизни Ницше. Как сфабрикованный Элизабет рассказ о смерти ее отца был призван отвлечь внимание от возможности наличия в семье сифилиса, так история разрыва с Вагнером была выдумана, чтобы скрыть истинные причины разрыва, который произошел позже и касался врачебной тайны и сексуального скандала, что Элизабет отчаянно хотела замаскировать. Она писала:

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

«В последний вечер вместе [в Сорренто] Вагнер и мой брат совершили прелестную прогулку по побережью и холмам с великолепным видом на море, остров и залив. “Атмосфера прощания”, — сказал Вагнер.

Затем он вдруг начал говорить о “Парсифале” [новой опере с христианскими мотивами рыцарей Святого Грааля, над которой он в то время работал]. Это был первый раз, когда он заговорил об этой работе, и он подчеркивал, что это не художественное творение, а религиозное, христианское переживание... Он начал делиться с братом своими новыми христианскими чувствами — покаянием и искуплением, и все доказывало, что он склоняется к христианским догмам... Он [Ницше] мог трактовать внезапную смену убеждений Вагнера только как попытку примирения с правящими силами в Германии, которые склонялись в то время к благочестию. Итак, теперь для Вагнера значение имел лишь материальный успех. Он продолжал говорить, пока последний луч закатного солнца не исчез в небе, которое окуталось туманной дымкой и потемнело. Тьма наступила и в душе моего брата... Какое разочарование! Мальвида помнит только, что брат весь вечер был сильно подавлен и рано ушел к себе. Он подозревал, что они с Вагнером больше никогда не увидятся» [17].

Все это выдумка с первого до последнего слова, но до 1981 года, когда исследователь Вагнера Мартин Грегор-Деллин выяснил правду, версия Элизабет никем не ставилась под сомнение.

Когда Ницше приехал в Сорренто, Вагнер, обеспокоенный плачевным состоянием его здоровья, написал своему приятелю, врачу Отто Айзеру, который посоветовал Ницше провести полное клиническое обследование. Вернувшись из Италии, Ницше отправился во Франкфурт на осмотр к Айзеру и офтальмологу, доктору Отто Крюгеру. Это было его первое тщательное обследование, которое заняло четыре дня. Были диагностированы изменения во внутренней части глазного яблока — *fundus oculi*, глазном дне, и эти изменения могли иметь сифилитическую природу. Также были обнаружены значительные повреждения сетчатки обоих глаз. Они вызывали страшные головные боли, которые, таким образом, объяснялись не «катаром желудка», а «предрасположением к раздражению центрального органа», а его причиной, в свою очередь, согласно диагнозу, была избыточная мыслительная активность. Ему следовало меньше работать, составить программу отдыха, принимать хинин и носить синие очки. К облегчению Ницше, опухоль головного мозга была исключена.

В то время общепринятым было мнение о том, что глазные болезни вроде тех, которыми страдал Ницше, вызываются мастурбацией, и Вагнер послал доктору Айзеру совершенно неприличное письмо, в котором делился своими подозрениями. «Оценивая состояние Н., я не мог отделаться от мыслей об идентичных или очень похожих случаях с молодыми людьми больших умственных способностей. Когда у них проявились сходные симптомы, я слишком хорошо понимал, что они стали результатом мастурбации. После того как я, руководствуясь своим опытом, пристальнее пригляделся к Н., особенности его темперамента и характерные привычки преобразили мои опасения в уверенность» [18]. Дальнейшее подтверждение своей теории Вагнер находил в совете, который дал Ницше неаполитанский врач: ему следует жениться, то есть перейти к регулярной половой жизни.

Доктор Айзер ответил: «В разговоре о сексуальном поведении Н. не только уверил меня, что никогда не болел сифилисом, но и отрицательно отвечал на мои вопросы о сильном сексуальном возбуждении и ненормальном удовлетворении такового. Однако этого я касался лишь вскользь и, таким образом, не могу придавать слишком большого значения ответам Н. Однако убедительными кажутся сообщения пациента о гонорее в студенческие годы и о том, что в Италии он по врачебному совету несколько раз имел половые сношения. Эти утверждения, оспаривать правдивость которых невозможно, по меньшей мере доказывают, что нашему пациенту не чужда способность удовлетворения сексуального возбуждения обычным способом — черта, не вполне характерная для его ровесников, склонных к мастурбации... Я признаю, что мои возражения далеки от окончательных и могут опровергаться вашим долгим и пристальным изучением нашего друга. Я тем более склонен согласиться с вашим предположением, поскольку многие аспекты поведения и манер Н. его подкрепляют».

Далее Айзер указывал, что известны случаи восстановления невротичных, истеричных пациентов, истощенных мастурбацией, но это едва ли возможно в данном случае, когда глазам причинен такой урон. Восстановить зрение Ницше уже не удастся. Айзер исключал в качестве причины заболевания и сифилис, и хронический нефрит (болезнь почек).

О головных болях он писал так: «Такая патологическая раздражительность нервных центров почти наверняка тесно и напрямую связана с сексуальной сферой, так что разрешение вопроса с мастурбацией окажет самое непосредственное влияние на диагноз. Но, учитывая хорошо

известное упорство в этом грехе, я сомневаюсь, что какой-либо метод лечения принесет здесь успех». Доктор Айзер давал Вагнеру тот же совет, что дал самому Ницше доктор Шрен: есть надежда на некоторое улучшение общего здоровья Ницше (но не состояния его зрения), если он сможет заключить счастливый брак [19].

Причиной окончательного разрыва между двумя людьми, которые так любили и ценили друг друга, было не несогласие по вопросу религиозности либретто «Парсифаля», как писала Элизабет. Разрыв был вызван тем, что Ницше узнал об этой убийственной переписке, пусть и полной самых добрых намерений.

Человеческое, слишком человеческое

Мыслитель, а также художник, лучшее *Я* которого укрылось в его произведении, испытывает почти злобную радость, видя, как его тело и дух медленно подтачиваются и разрушаются временем, как если бы он из-за угла смотрел на вора, взламывающего его денежный шкаф, тогда как он знает, что шкаф этот пуст и что все его сокровища спасены.

*Человеческое, слишком человеческое.
Из души художников и писателей, 209*

«Мальвиде фон Мейзенбург

Лугано, утро воскресенья [13 мая 1877 года]

Человеческое ничтожество в морских путешествиях ужасно и в то же время по сути комично — примерно так, как это мне видится с моей головной болью, которая ничуть не мешает находиться в прямо-таки цветущем физическом состоянии. Словом, сегодня у меня снова настрой “бодрого инвалида”, меж тем как на корабле мной безраздельно владели черные мысли, и касательно самоубийства я раздумывал только о том, где бы найти место поглубже, чтобы меня не выудили тотчас же, вынудив вдобавок уплатить моим спасателям дань благодарности в виде груды золота... Я был в самых сильных очках и с недоверием поглядывал на каждого. Таможенная лодка немедленно приблизилась, но самое главное — надписать багаж для железной дороги — я забыл.

И вот мы уже отправляемся дальше, в мифический отель “Националь”, с двумя мошенниками на козлах, которые изо всех сил пытаются ссадить меня у какой-то жалкой трактирии. Мой багаж при этом все время в чужих руках — передо мной всю дорогу, пытаясь, бежал человек с моим чемоданом...

Прибытие в гостиницу было ужасно: целая свора бездельников желала, чтобы им заплатили... Когда я под сильным дождем проезжал швейцарскую границу, сверкнула яркая молния с громовым раскатом. Я счел это за доброе предзнаменование; не скрою и того, что по мере приближения к горам мое самочувствие становилось все лучше»¹.

Однако он ошибался. В Швейцарии у него было мало поводов смеяться над собой. Мягкий итальянский климат не оказал, как планировалось, волшебного целительного воздействия на его здоровье, и, хотя общество на вилле Рубиначчи было приемлемым и интеллектуально стимулирующим, написать книгу не удалось. Поскольку «Несвоевременные размышления» не только не привели к возрождению германской культуры, но и не продавались (рекордом продаж было около девяноста экземпляров «Рихарда Вагнера в Байрёйте», проданных тысячной аудитории первого Байрёйтского фестиваля), он написал своему издателю Шмайцнеру: «Не посчитать ли нам “Несвоевременные размышления” законченными?» [1] Шмайцнер возражал, но Ницше отказался от исходного и довольно беспорядочного списка тем для «Размышлений» и уже сосредоточился на новой книге, идеи которой оформились в Клингенбрюнне, пока он позволял себе краткую передышку от Байрёйта. Названия «Лемех» и «Свободный ум» были отвергнуты в пользу названия «Человеческое, слишком человеческое» с подзаголовком «Книга для свободных умов». Он называл книгу памятником кризису. Ее предмет — состояние человека. Ее путеводная звезда — разум. Ее язык не жесткий, дидактичный, хвастливый или туманный, но прозрачный, элегантный и доходящий до каждого. Это едва ли не самая любимая его книга.

Повсюду он видел, что ни Просвещение, ни романтизм не способны заполнить брешь, оставшуюся после коллапса традиционного мышления. Необходимо было начать с нуля — без «схем и отшельнической игры в тени». В его случае — без ностальгического прославления культуры Древней Греции, без Шопенгауэра, Вагнера, разделения мира на волю и представление. Книга знаменует его обращение из филолога и культуролога в полемисты. Эта книга написана не для философов, но для вопрошающих душ, желающих рассматривать культурные, общественные, политические, художественные, религиозные, философские, моральные и научные вопросы без предубеждений, аксиом и других фикций, которые на протяжении веков ограничивали подлинную свободу мысли.

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

Он будет исследовать мир феноменов глазами Вольтера, признав, что ноуменальный мир не только недоступен, но и не имеет критического значения для человека. Он станет свободным духом — овладевшим собой наследником Просвещения. Это намерение он подтвердил уже на титульной странице, посвятив книгу Вольтеру. Это был демонстративный акт неповиновения Вагнеру.

Книгу он разделил на несколько частей:

О первых и последних вещах
 К истории моральных чувств
 Религиозная жизнь
 Из души художников и писателей
 Признаки высшей и низшей культуры
 Человек в общении
 Женщина и дитя
 Взгляд на государство
 Человек наедине с собой
 Среди друзей: Эпилог

Каждая часть состояла из пронумерованных афоризмов или афористических абзацев. «О первых и последних вещах» сразу же начинается с указания на врожденный дефект мышления всех философов прошлого: они рассматривали человеческую природу как *aeterna veritas* — вечную истину. Человек казался им неизменным среди всех житейских бурь, надежной мерой всех вещей. «Однако всё, что философ высказывает о человеке, есть, в сущности, не что иное, как свидетельство о человеке *весьма ограниченного* промежутка времени» [2]. Человек развивается. Вечных фактов не существует, как нет и абсолютных истин. Все самое важное в человеческом развитии произошло еще в первобытные времена, задолго до тех 4000 лет, с которыми мы более или менее знакомы. За это время человек, вероятно, не особенно изменился. «Философ же видит “инстинкты” в современном человеке и признает, что они принадлежат к неизменным фактам человеческой жизни и в этом смысле образуют даже ключ к пониманию мира вообще» [3]. Но антропоморфизм и антропоцентричность не помогают понять мир.

«Объекты религиозного, морального и эстетического чувства также принадлежат лишь к поверхности вещей, тогда как человек склонен верить, что по крайней мере здесь он прикасается к сердцу мира; его обманывает то, что эти вещи дают

ему такое глубокое счастье и несчастье, и он обнаруживает здесь, следовательно, ту же гордость, как и в астрологии. Ибо последняя полагает, что звездное небо вращается вокруг судьбы человека; моральный же человек предполагает, что всё, что дорого его сердцу, должно быть также существом и сердцем вещей» [4].

Вся метафизика и культура берут начало во снах. «В эпохи грубой, первоначальной культуры человек полагал, что во сне он узнаёт *другой реальный мир*; здесь лежит начало всей метафизики. Без сна человек не имел бы никакого повода для деления мира на две половины. Деление на душу и тело также связано с самым древним пониманием сна, равно как и допущение воображаемого душевного тела, т. е. происхождение всей веры в духов и, вероятно, также веры в богов» [5].

Метафизические допущения — страстные ошибки самообмана. Однако Ницше готов допустить наличие метафизического мира: «Абсолютная возможность этого вряд ли может быть оспариваема». Однако «если бы существование такого мира было доказано совершенно точно, то все же было бы несомненно, что самое безразличное из всех познаний есть именно его познание; еще более безразличное, чем моряку среди опасностей бури — познание химического анализа воды» [6].

Разделы, посвященные логике и математике, выглядят как месть гуманитария: логика покоится на основаниях, которые ничему в реальном мире не соответствуют [7]. То же относится и к математике, «которая, наверно, не возникла бы, если бы с самого начала знали, что в природе нет точной прямой линии, нет действительного круга и нет абсолютного мерил величины» [8]. Беспощадный вердикт учителя математики Пфорта вспоминается, когда Ницше пишет: «Открытие законов чисел было сделано на почве первоначально уже господствовавшего заблуждения, что существует множество одинаковых вещей (тогда как в действительности нет ничего одинакового)... Допущение множественности всегда уже предполагает, что существует *нечто*, что встречается неоднократно; но именно здесь уже царит заблуждение, уже здесь мы измышляем сущности, единства, которых нет на самом деле... К миру, который *не* есть наше представление, совершенно неприменимы законы чисел: последние имеют значение только для человеческого мира» [9].

Часть «К истории моральных чувств» начинается с предупреждений. Психологическое наблюдение должно быть основой свободной мысли. «Человечество не может избегнуть жестокого зрелища психологической прозекторской с ее скальпелями и щипцами» [10]. Это предупреждение он подкрепляет отсылкой к Ларошфуко: «То, что мы принимаем за добро-

детель, нередко оказывается сочетанием корыстных желаний и поступков, искусно подобранных судьбой или нашей собственной хитростью»¹ [11]. Человек, сверхзверь (*Das Über-Tier*), хочет, чтобы ему лгали. Общественные инстинкты выросли из совместных удовольствий и общей нелюбви к опасности. Мораль — официальная ложь, которая призвана держать сверхзверя в узде. Во «Взгляде на государство» отмечается, что государство, отдавая приказы, угрожает свободе и стоит на грани деспотизма; но когда дело доходит до масс, с этим надо смириться, как с землетрясением. Тут он цитирует Вольтера: «Когда народ начинает думать, все потеряно» [12].

Намерения социализма очевидны, но вся старая культура построена на силе, рабстве, обмане и ошибках. Будучи продуктами и наследниками всего этого прошлого, мы «не можем отменить самих себя и не должны стремиться выделить из себя единичную часть... Не насильственные новые распределения необходимы, а постепенные пересоздания образа мыслей; справедливость должна стать во всех большей, инстинкт насилия должен всюду ослабеть» [13].

О религии он пишет с железобетонной уверенностью. Здесь он вступает на гораздо более твердую почву, чем в отделах о науке, государстве и математике. Его афоризмы по красочности не уступают библейским.

Он берет отдельные стихи из Библии и с наслаждением их опровергает. Например, Евангелие от Луки гласит: «Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Ницше же пишет: «Кто унижает себя самого, тот хочет быть возвышенным» [14].

Вера в «величайшее надувательство», каковым является религия (сюда относится и вера в идеал), может быть подменена слепой верой в науку, которая, обещая точные ответы, возводится в статус религии. Тот, кто желает достичь свободы ума, должен аналитически и критически подходить и к религии, и к науке, и к идеалу. Свободных умов подобного рода еще не существует, но когда-нибудь они появятся: Ницше пишет, как они медленно подходят к нему, возникая из фантазмагорического тумана будущего. Они странствуют по земле, а конечной точки их маршрута еще не существует. Но это не омрачает их жизни: напротив, освобождение кроется в том, чтобы находить удовольствие в неопределенности и мимолетности; они приветствуют тайны каждого нового рассвета, ведь он приносит развитие мышления.

Ницше назвал «Человеческое, слишком человеческое» памятником кризису. И это был не только кризис идеологического разрыва с Вагне-

¹ Пер. Э. Л. Линецкой.

ром, но и кризис недовольства десятью годами душевной академической учености. Оглядываясь назад, он сердился на то, что ему слишком быстро дали место, к которому он не был готов: филология заставила его почувствовать пустоту и голод, которые он смог утолить лишь благодаря наркотическому волшебству Вагнера. Но музыкальный опиум не мог смягчить суровой реальности. «Человеческое, слишком человеческое» знаменует начало философского пути в поисках свободного ума — человека, чей экзистенциальный голод может быть удовлетворен и при отсутствии идеала или божественного начала, несмотря даже на роковое пристрастие к возвышенному в музыке.

«Человеческое, слишком человеческое» — первая книга, написанная в характерном впоследствии для Ницше афористическом стиле с пронумерованными абзацами. Он был вынужден писать в таком рубленном ритме из-за плохого здоровья, но превратил необходимость в преимущество. В процессе творчества он понял, что афоризм — это провокация, трамплин, стимул для более подробных и глубоких изысканий. Книга знаменует начало его становления как подлинно оригинального стилиста и мыслителя.

Ницше послал полный текст первого тома (за ним последовал второй) своему издателю Шмайцнеру в середине января 1878 года. Текст сопровождался подробным списком инструкций. Книга *должна* была выйти в срок к столетию смерти Вольтера — 30 мая. Ее запрещалось как-либо рекламировать. Она должна была выйти под псевдонимом, чтобы партии, которые уже определили свое мнение за Ницше или против него, не испытывали бы предубеждения в пользу книги или наоборот. На обложке следовало поставить имя «Бернхард Крон». Ницше прислал и биографию вымышленного Крона, чтобы она была опубликована вместе с книгой.

«Господин Бернхард Крон, насколько нам известно, немец из русских балтийских провинций, который в последние годы постоянно путешествует. В Италии, где он, помимо всего прочего, отдавался филологическим и антикварным изысканиям, он познакомился с доктором Паулем Рэ. При посредничестве последнего он связался с г-ном Шмайцнером. Поскольку его адрес в последние годы постоянно меняется, письма для г-на Крона следует направлять его издателю. Г-н Шмайцнер никогда не видел его лично» [15].

Шмайцнер ответил решительным отказом. Книга афоризмов господина Бернхарда Крона не привлечет никакого внимания, в то время как

резкая перемена взглядов автора «Рождения трагедии» не может остаться незамеченной. Он ободряюще писал Ницше: «Любой, кто позволяет себе выступать публично, обязан и публично противоречить себе, если решается переменить мнение» [16]. Шмайцнер заказал печать тысячи экземпляров, отменил требование Ницше о запрете рекламы и установил цену в десять марок. Книга стала самой дорогой в его каталоге, что свидетельствовало о больших ожиданиях.

Имя Ницше появилось на титульном листе, но без профессорского звания, которым он некогда так гордился. В конце апреля Ницше разослал 28 бесплатных экземпляров. Экземпляр Пауля Рэ был подписан так: «Все мои друзья подозревают, что книга написана вами или обязана вашему влиянию. Поздравляю вас с новым трудом!.. Да здравствует Рэ-ализм!»

Якобу Буркхардту книга понравилась. Он назвал ее превосходной публикацией, которая повысит уровень независимости во всем мире, но никому больше, кроме Рэ, книга не пришлась по душе. Другие получатели бесплатных экземпляров составляли тот тесный круг, члены которого вместе с Ницше завязли в вагнеровско-шопенгауэровском лабиринте. Они чувствовали себя преданными, озадаченными или отвергнутыми. Роде вопрошал: «Может ли человек взять свою душу и внезапно заменить ее другой? Мог ли Ницше внезапно стать Рэ?» Этот вопрос тревожил всех тех, кто смело поддерживал «Рождение трагедии». «Мне не нужны сторонники» [17], — холодно ответил он, когда ему выразили сомнения.

Анонимный корреспондент прислал ему из Парижа бюст Вольтера с запиской: «Душа Вольтера выражает свое уважение Фридриху Ницше» [18]. Возможно, письмо было отправлено прекрасной Луизой Отт, в которую он влюбился во время фестиваля в Байрёйте. После ее возвращения домой к мужу-банкиру они продолжали вести томную переписку. А может быть, отправку бюста из Парижа организовал Вагнер. Он любил пошутить.

Книга прибыла в Ванфрид 25 апреля. Посвящение Вольтеру сразу же вызвало удивление. Просмотрев книгу, Вагнер решил, что по отношению к автору милосерднее будет ее не читать. А вот Козима прочла. Она заметила в ней «много гнева и угрюмости», а также кое-что похуже влияния Вольтера — следы еврейского заговора по захвату Европы. Пауль Рэ действительно был евреем — она определила это через несколько минут после знакомства в Сорренто. Козима объясняла появление «Человеческого, слишком человеческого» следующим образом: «Наконец вмешался сын Израиля — доктор Рэ, очень скользкий, очень холодный человек, якобы идущий на поводу у Ницше, но на самом деле его пере-

хитривший — таковы отношения Иудеи и Германии в миниатюре!» [19]
И она пошла на драматический жест — сожгла письма Ницше.

Сам Вагнер публично отреагировал на книгу в *Bayreuther Blätter* — пропагандистской газете, которую ему все-таки удалось учредить. Когда Ницше отказался от места редактора, Вагнер пригласил на него Ганса фон Вольцогена. Это был антисемит и второразрядный интеллектual, который ухитрился просочиться в Ванфрид, построив себе неподалеку броскую виллу и осыпав Вагнера лестью. Хотя Ницше, как известно, презирал газетную культуру и сам отказался от поста редактора, он все же ревновал к должности фон Вольцогена. Она предоставляла значительные выгоды.

Статья Вагнера шла в общем русле исследования взаимоотношений между искусством и немецкой публикой. По сути это была защита себя и шопенгауэровского подхода, концепции метафизического, а прежде всего — идеи художественного гения, основным представителем которого в Европе он считал себя. Он сожалел о появлении модели научного знания с акцентом, смещенным в сторону химии и непонятных уравнений. Именно науку он обвинял в распространении интеллектуального скептицизма. Отрицание метафизики привело к тому, что под сомнение попали все присущие человеку качества, в том числе гений. Но отрицать привилегированный доступ гения к мистической внутренней сущности реальности было просто смехотворно. Научное мышление никогда не сможет достичь сравнимой интуитивной связи с человеческим духом [20].

Ницше, который в то время еще не обнаружил страшную тайну переписки Вагнера с его врачом, не ответил в печати. Он просто отметил в частном порядке, что статья полна обвинений, оскорбительна и плохо аргументирована. Он почувствовал себя чемоданом, выставленным из багажного вагона идеального мира. До конца года он испытывал значительное ухудшение самочувствия. Когда он оправился, то опубликовал опровержение, которое должно было появиться в работах «Злая мудрость. Афоризмы и изречения» и «Странник и его тень», составивших вторую часть «Человеческого, слишком человеческого». Писать было сложно и неприятно: «Все, за исключением нескольких строк, сочинено *по пути* и набросано карандашом в 6 маленьких тетрадках; от переписывания мне почти всякий раз становилось дурно. Примерно двум десяткам *пространных* цепочек умозаключений мне пришлось дать ускользнуть, поскольку у меня не нашлось достаточно времени, чтобы выудить их из ужасных карандашных каракулей, как это случалось у меня уже и прошлым летом. Задним числом я уже не

могу восстановить в памяти взаимосвязь мыслей; мне приходится всегда выкраивать минуты и четвертинки часа “мозговой энергии”, о которой Вы говорите, *выкрадывать* их у страдающего мозга»¹ [21].

После года оплаченного отпуска он вернулся в Базель, чтобы вновь попытаться преподавать. Он чувствовал, что не может продолжать жить без сознания того, что приносит какую-то практическую пользу.

В Базеле появился новый врач — Рудольф Массини. Проконсультировавшись с доктором Айзером, он высказал мнение, что не следует сбрасывать со счетов возможность *dementia paralytica*. Он предсказывал наступление слепоты и запретил читать и писать в течение следующих нескольких лет. С тем же успехом он мог бы объявить смертный приговор.

Для Ницше было сравнительно легко преподавать, пока у него были Иоганн Кезелиц, который читал и писал за него, и Элизабет, которая вела хозяйство. Однако Кезелиц уехал в Венецию, чтобы начать карьеру композитора, а Элизабет больше не была на его стороне. Ее шокировали прямые антихристианские выпады в «Человеческом, слишком человеческом». Книга покрыла семью позором. И теперь ее брат заговорил о том, чтобы отказаться от должности профессора, оставшись бедняком без всякого положения в обществе. Это погасило бы яркий свет, проливаемый профессорским статусом на нее и на их мать, и не пошло бы на пользу ее матримониальным перспективам в условиях наумбургского мрачного, патриархального и подверженного стереотипам общества.

Настало время сменить союзников. Свет можно было позаимствовать и из другого источника — у Вагнера и Козимы, чья звезда была в зените. С тех пор как Ницше в Трибшене представил Элизабет Козиме, та сделалась полезной супруге композитора в самых разных отношениях. Обе дамы были до крайности буржуазны и религиозны. Обоих уязвило и оттолкнуло «Человеческое, слишком человеческое». Козима написала Элизабет, откровенно сообщая, что считает книгу интеллектуально незначительной и морально прискорбной. Стиль ее одновременно претенциозен и неряшлив. Козима считала, что на каждой странице видны следы «искусственности и ребячьих уловок». Ницше совершил настоящее предательство. Он оставил их посреди «хорошо укрепленного враждебного лагеря» — то есть в еврейском мире.

Элизабет от всей души разделяла это мнение. Она завязала переписку с ведущим антисемитским агитатором Бернхардом Фёрстером, с которым встречалась в Байрёйте. Его антисемитизм и национализм нравились

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

ей гораздо больше, чем европеизм и Рэ-ализм брата. Она не собиралась освобождать свой ум; напротив, она холила и лелеяла все, что связывало ее с обществом и его условностями. Круг общения ее брата в Базеле практически полностью состоял из холостяков, но с романтической точки зрения все знакомства оказались бесплодными. Настало время вернуться в Наумбург и подумать о замужестве.

Поскольку Элизабет не стала вести хозяйство, Ницше отказался от всего показного. Мебель он продал и переехал в простую квартиру на окраине города рядом с зоологическим садом. Дом на Бахлеттенштрассе, 11, располагался далеко от университета, но он продолжал гордо шествовать туда для выполнения своих преподавательских обязанностей. Он жил один, был «полумертв от боли и истощения», вел тщательные записи расходов и соблюдал распорядок дня, как в Пфорте, который призван был сохранить его интеллектуальные способности и помочь остаться в рамках бюджета в течение ближайших двухсот недель.

2 мая 1879 года он официально отказался от должности профессора, ссылаясь на плохое здоровье. Он возлагал надежды на то, что врачи были правы, утверждая, что именно чтение и письмо являлись виновниками его ужасного самочувствия. Сам же он обвинял еще и сладкозвучных сирен музыки Вагнера. «Мои столь насыщенные проблемами мыслительские и писательские заботы до сих пор всякий раз делали меня больным. До тех пор пока я действительно был *ученым*, я был здоров, но тут на меня свалились расшатывающая нервы музыка с метафизической философией и заботы о тысяче вещей, до которых мне самому нет никакого дела...» [22] Сбросив с себя два тяжелых груза, он надеялся на то, что сможет вернуть утраченное физическое здоровье.

30 июня в университете приняли его отставку, назначив ему пенсию в 3000 швейцарских франков на протяжении шести лет. Он не жил в Швейцарии постоянно в течение восьми лет, так что не мог претендовать на швейцарское гражданство. Отсутствие гражданства он только приветствовал. В таком положении можно было пытаться осознать всеобщую мораль, переосмыслять добро и зло на основе новой оценки жизни, свободной от любого чисто воспринимающего заимствования. Возможно, ему наконец-то удастся стать подлинно свободным умом.

Подумывая о том, чтобы пойти по стопам кумира своего детства Гёльдерлина, он присмотрел себе в Наумбурге старую башню, где можно было весьма дешево жить, работая садовником. Но уже через полтора месяца он понял, что садовнику требуется спина покрепче, не говоря уже о глазах. Так начались годы его странствий.

Странник и его тень

В Альпах, где я один и у меня нет врагов кроме самого себя,
я становлюсь непобедим.

*Письмо Мальвиде фон Мейзенбург,
3 сентября 1877 года*

Ницше продал все пожитки, кроме книг и нескольких картин. Управление финансами он поручил своему испытанному другу Францу Овербеку, а все записи и тетради отправил на хранение Элизабет (грубая ошибка, сделавшая их заложниками судьбы). Он оставил себе лишь два полных сундука книг, без которых не мог обходиться. Они сопровождали его на лечении молоком и свежим воздухом, которое он проходил на альпийских курортах — Давосе, Интерлакене, Розенлаубаде, Шанфере и Санкт-Морице. Он бродил по вершинам, как Прометей, часто по восемь-десять часов в день, уносясь умом к непостижимым целям существования вселенной и достигая удивительной ясности при размышлениях об огромной сфере всего неправильно понимаемого. Он забирался как можно выше по каменистым горным тропам, но до высочайших вершин с вечными снегами не доходил: их сияние ранило его глаза как острый нож, что он упоминал, делая заметки для следующей книги.

«В этой книге выведен житель подземелья за работой — сверлящий, копающий, подкапывающий. Кто имеет глаза, способные рассмотреть работу на громадной глубине, тот может видеть, как он медленно, осторожно, терпеливо продвигается вперед, не чувствуя слишком больших неудобств от продолжительного лишения света и воздуха; можно сказать даже, что он доволен

своей жизнью и работой во мраке. Не увлекает ли его какая-нибудь вера? Не вознаграждает ли его какое-нибудь утешение? Не переносит ли терпеливо он свой мрак, оставаясь непонятым, неясным, загадочным потому, что он надеется иметь *свое* утро, *свое* искупление, свою *утреннюю зарю*?.. Он вернется сюда, но не спрашивайте его, чего он хочет там, внизу: он скажет вам об этом сам, если он снова сделается человеком, этот мнимый Трофоний, этот житель подземелья. Разучиваются молчанию, когда так долго, как он, бывают в одиночестве, живут как кроты...» [1]

Это начало предисловия к «Утренней заре» — автопортрет в «годы странствий», годы запустения, когда полуслепой бывший филолог бродил по горам и берегам Европы, превращаясь в слепого пророка, видящего более обширную картину.

Этот крот вырыл себе уютную нору под сенью деревьев, чей балдахин смягчал дневной свет до терпимого зеленого. Кроме того, они защищали его и от облаков, полных электричества и безжалостно его преследовавших. С тех пор как Бенджамин Франклин в 1752 году извлек из облаков электрическую энергию в ходе эксперимента с воздушным змеем, вполне естественно было считать себя, как и любого человека, проводником электричества, однако сегодня представление о впитывании электричества из атмосферы считается симптомом навязчивого психического расстройства, часто ассоциируемого с шизофренией.

Ницше всегда был особенно чувствителен к магнитным бурям. Еще со времен Пфорты и впоследствии современники отмечали, что самые вдохновенные и экстатические вспышки творческого духа и музыкальных импровизаций случались у него во время гроз. Зевс, отец Диониса, являлся в виде удара грома, и в связи с растущим чувством родства с Дионисом Ницше считал, что он может быть более чувствителен к электрической энергии в облаках, чем любой другой житель Земли. Он подумывал поехать в Париж и предложить себя в качестве экспоната проходящей там электрической выставки, но в итоге посчитал, что электричество еще более разрушительно влияет на его здоровье, чем даже музыка Вагнера.

«Я одна из тех машин, что могут в любой момент взрываться, — писал он. — Электрическая сила облаков и влияние ветра — я уверен, что на 80 % мои страдания проистекают из этого» [2]. Приступы теперь длились по три дня, сопровождалась резкой болью и рвотой; он чувствовал, что наполовину парализован, что у него как будто морская болезнь, трудно было даже говорить. И тем не менее в разреженном

высокогорном воздухе с ним порой случались внезапные приступы чрезвычайного, невероятного счастья, каких он ранее никогда не испытывал. От истощения и болезни ему казалось, что он двигается по ландшафту, как зигзагообразная линия, которую чертит на бумаге высшая сила, пробуя новое перо. Горы он начал оценивать по густоте лесов и их способности скрыть его от всевидящего неба.

Легендарный Тевтобургский лес, место разгрома римских легионов германскими племенами, был самым темным и давал наибольшее удовлетворение. В тени мрачных деревьев он исписал двенадцать тетрадей в своем, как он сам называл это, «треклятом телеграфном стиле» — это был единственный способ записи значительных мыслей в промежутках между приступами головной боли. Издатель, однако, уже написал ему, что рынок телеграфных афоризмов переполнен и ему следует изменить стиль, если он желает приобрести каких-нибудь читателей.

Несмотря на совет, он все же отправил Шмайцнеру два сборника по несколько сотен афоризмов каждый, дополнения к «Человеческому, слишком человеческому» — «Смешанные мнения и изречения» и «Странник и его тень». Кроме того, послал он и совершенно новую книгу, состоящую из 575 афоризмов и озаглавленную «Утренняя заря» с подзаголовком «Мысли о моральных предрассудках». Включенные туда мысли были самыми разными: от того, морально ли гладить собаку, до излюбленных тем Ницше — музыки Вагнера, свободы воли, личной свободы, религии и государства.

«Утренняя заря» была новым шагом на пути к материализму. Она писалась в один из периодов интереса к современным научным рассуждениям, к тому же он с удовольствием открыл для себя Спинозу — еврейского философа XVII века. «Теперь мое одиночество — это одиночество вдвоем! Я в изумлении, более того, в восторге! У меня есть предшественник, и какой!»

Он посвятил поэму Спинозе, который, по его словам, «отрицает свободу воли; целеполагания; нравственное мироустройство; неэгоистическое; зло... и даже если различия громадны, заложены они скорее в разнице эпох, культур, состояния науки»¹ [3].

Он прочел «Механику тепла» Роберта Майера, ознакомился с теорией нематериальных атомов Босковича и «Силой и материей» Людвига Бюхнера, материалиста и доктора медицины — в этой книге, пользовавшейся огромной популярностью, утверждалось, что «открытия

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

и исследования нашего времени больше не позволяют сомневаться в том, что человек и все, чем он обладает, будь то духовное или телесное, представляет собой естественный продукт, как и все остальные органические существа». В «Истории материализма» Ф. А. Ланге (1866) говорилось, что человек — лишь особый предмет универсальной физиологии, а мышление — особое звено физических процессов жизни. Когда Ницше вспоминал и писал о том годе своей жизни в «Ессе Номо» — автобиографии, созданной в 1888 году, когда он лавировал между здоровьем и безумием, то писал, что был тогда совершенно пленен и очарован физиологией, медициной и естествознанием. Это он и хотел исследовать в «Утренней заре» — представление о том, что человек — это всего лишь телесный организм, а его духовные, моральные и религиозные ценности и убеждения можно объяснить с точки зрения физиологии и медицины. В то время общий интерес вызывала идея о том, что человек может контролировать будущее, управляя при помощи диеты своим эволюционным развитием. Наиболее ярко такое отношение выразил философ и антрополог Людвиг Фейербах, который умер всего за несколько лет до того: «Чтобы улучшить породу людей, лучшее питание будет полезнее, чем проповеди против греха. Человек есть то, что он ест» [4].

Однако в «Утренней заре» есть и прямо противоположная идея значимости экзальтации и экстатического безумия для истории этики и морали. Ницше утверждает, что, несмотря на страшное давление, которое оказывают на человека тысячелетние традиции, способ избавиться от них существует, но это «страшное сопутствие»: «Почти всюду дорогу новым мыслям прокладывало сумасшествие; оно же ломало и уважаемые обычаи и суеверия. Понимаете ли вы, почему это должно было быть сумасшествием?» Сумасшествие означало абсолютную свободу. Голосом безумия говорило божество. Даже если безумие и не было подлинным, безумцем нужно было притвориться.

«Всем тем сильным людям, которых неудержимо влекло к тому, чтобы сбросить иго старой нравственности и дать новые законы, ничего не оставалось другого, как сделаться или казаться сумасшедшими, если они не были в действительности такими... Как сделаться сумасшедшим тому, кто на самом деле не сумасшедший и у кого недостает смелости казаться таким?.. “Ах, дайте мне безумие, боги! Безумие, чтобы я уверовал в самого себя! дайте мне конвульсии и бред, сменяйте мгновенно свет и тьму, устрашайте меня холодом и зноем, какого не испытывал еще ни один смертный, устрашайте

меня шумом и блуждающими тенями, заставьте меня выть, визжать, ползать по земле, но только дайте мне веру в себя! Сомнение съедает меня!.. Новый дух, который во мне, — откуда он, если не от вас? Покажите же мне, что я — ваш; только безумие докажет мне это» [5].

Книга оканчивается громким призывом ко всем смелым:

«Мы воздухоплаватели духа... Куда повлечет нас это могучее томление, это томление, которое нам много дороже, нежели любое из удовольствий? Почему именно в этом направлении, именно туда, куда доселе *уходили* все светила человечества? Не скажут ли и о нас когда-нибудь, что и мы тоже, *следуя курсом к западу, надеялись достичь Индии*, — но что нам была судьба потерпеть крушение о вечность? Или, братья мои? Или?..»

Мало у кого достанет смелости на вопросе «или?» завершить книгу.

Болезнь была для Ницше своего рода попыткой достичь Индии, средством потерпеть крушение о вечность. Каждый приступ боли был проверкой на прочность, каждое восстановление было возрождением, утверждающим ценность страдания как цены за откровение. Отдаление от грани смерти (реальной или воображаемой) очень способствовало творчеству: день за днем, совершенно одинокий, он приближался к возрасту, в котором, ослепнув и обезумев, умер от «размягчения мозга» его отец. В этом возрасте, как он предполагал, должен был уйти и он сам.

Вспоминая впоследствии 1879 год, он насчитал 118 дней острой, лишающей трудоспособности боли. А чего он достиг, оказавшись лицом к лицу с Танатосом? Несколько мелких произведений, неудачное профессорство, две книги — «Рождение трагедии», которое не оказало никакого значительного воздействия на культурный мир и только порадовало Вагнера — духовного отца, которого он уже перерос; и «Человеческое, слишком человеческое» — книга, в которой отразились его икарровские представления о том, что дух должен воспарять, даже если на крыльях начнет таять воск. Книга принесла ему трех поклонников и никаких рецензий, разошлась всего в сотне экземпляров и вынудила издателя отсоветовать ему писать книги в той единственной манере, на которую он был физически способен. Он решил, что его духовная изоляция должна полностью отражаться и на его внешней жизни. Он не искал компании и даже не нанимал секретаря. Ничто не должно мешать

интенсивности субъективного опыта. Необходимо было решиться на безумие, ибо оно было необходимым для познания.

Приближалось Рождество, и он с тяжелым чувством вернулся в Наумбург, планируя остаться там в одиночестве в башне у городской стены. Но он был слишком болен. Мать и сестра уложили его в постель в доме его детства на Вайнгартен. Вокруг прикованного к постели свободного духа Ницше исполнялись мелочные раздражающие ритуалы, которые обеспечивали существование старого хода вещей: церковные службы, хвойные ветки, пирожные, церемонные визиты в лучших костюмах, тепловатые чувства, сознательный отказ от рационального анализа. Не очень-то похоже на обновляющее празднество с дионисийским опьянением, умеряемое сладостным аполлоническим разумом, но он не мог отвергать «фальсифицированную *протестантскую* концепцию истории, в которую нас приучили верить»¹ [6], да и вообще занимать какую-то этическую позицию, потому что 24 декабря с ним случился приступ, а через три дня он потерял сознание. Выздоровлению не способствовали настойчивые просьбы матери освежить свой древнегреческий. Он стал признаваться друзьям, что голоса матери и сестры сильно действуют ему на нервы. Когда он был с ними, то *всегда* болел. Он избегал ссор и конфликтов, потому что понимал, как следует вести себя с родными, но все это ему решительно не нравилось.

10 февраля 1880 года он нашел в себе достаточно сил, чтобы бежать из Наумбурга. Он сел на поезд и призвал полезного и преданного Кезелица присоединиться к нему в Риве на озере Гарда. Кезелиц должен был сделать приличный беловик из тех разрозненных заметок, что Ницше нацарапал в своих тетрадах, и превратить их в текст, который Шмайцнер мог бы прочесть и издать.

Любопытно, что Ницше полностью завладел неуверенным в себе композитором, пойдя на экстраординарный шаг — он его переименовал.

Он дал Кезелицу имя Петера Гаста. Кезелиц немедленно согласился и сохранил новое имя до конца жизни. Генеалогия имени загадочна — это удивительная смесь игрового, серьезного и символического начал. «Петер» — в честь главного ученика Христа, святого Петра, про которого Христос сказал: «на сем камне Я создам Церковь Мою»² [7].

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

² Мф. 16:18.

Гаст — по-немецки «гость». Вместе оба слова дают «каменного гостя» — рокового Командора из оперы Моцарта «Дон Жуан». Роль Командора, или Каменного гостя, — это роль Немезиды. Отождествление себя с Дон Жуаном — одна из неосновных, но постоянно повторяющихся тем в творчестве Ницше. Он четко дает понять, что считает себя не Дон Жуаном тысячи соблазнений, но «Дон Жуаном познания» — беспокойным персонажем, который штурмует «самые высокие и отдаленные звезды познания», исследуя запретные миры в готовности пожертвовать своей бессмертной душой и навсегда обречь себя на адские муки, лишь бы получить оккультное откровение. Когда в опере Дон Жуан все-таки переходит все границы, именно Каменный гость низводит его в ад, где тот будет вечно мучиться за свои грехи. Дав Кезелицу имя Петер Гаст, Ницше давал ему и двойную роль — главного ученика и возмездия. Последняя роль кажется особенно неподходящей для кроткого друга, который многие годы состоял при Ницше бесплатным секретарем и доверенным лицом.

Петер Гаст всегда истово верил в гениальность книг Ницше, а тот, в свою очередь, от всего сердца хвалил его музыкальные сочинения. Гаст был таким композитором, которым Ницше не стал сам. Поэтому он воспевал его талант друзьям и требовал у них денег на постановку комической оперы Гаста *Il matrimonio segreto* («Тайный брак»), музыка которой была полностью свободна от смертельного и сладкого метафизического тумана Вагнера. В марте они оба уехали из Ривы в Венецию, где Гаст поселился. Ницше направился в Венецию под предлогом ускорения работы Гаста над оперой, но на деле он только отвлекал друга, который слишком много занимался, как он сам говорил, «самаритянским трудом». Он дважды в день читал Ницше и писал под его диктовку, а также постоянно спасал друга от кучи мелких болезней и неприятностей.

Деньги решали в Венеции многое. Ницше снял себе очень холодную обширную комнату в палаццо Берленди, куда нужно было подниматься по великолепной мраморной лестнице. Вид, открывавшийся из окна, много значил и для поколения Ницше, и для нескольких следующих.

«Я снял комнату с видом на Остров Мертвых» [8], — писал он.

В этом траурном виде, вероятно, было что-то компенсировавшее новому поколению расставание с традиционными иллюзиями. В том же году, когда здесь побывал Ницше, символист Бёклин написал «Остров Мертвых» [9] — картину, репродукция которой висела на стене у Ленина, Стриндберга, Фрейда и Гитлера, да и у любого берлинского

интеллектуала с 1880-х по 1950-е годы, как отмечал Набоков. Вагнер был настолько поражен тем, как Бёклину удалось передать настроение момента, что пригласил его в Байрёйт разрабатывать декорации для своей новой оперы «Парсифаль». Бёклин отказался, и заказ ушел Паулю фон Жуковскому.

Окно Ницше возвышалось над бёклиновским видом: по гладкой, сверкающей воде погребальные лодки перевозили мертвых внутрь стен кладбища на острове. За стенами росли высокие, темные кипарисы, словно персты, указывающие в небо и на тайну, скрытую могилой. Вид вдохновил Ницше на написание «Кладбищенской песни» — одного из лучших его стихотворений, в котором среди захоронений на острове оказываются могилы его юности, могилы удивительных чудес любви и певчих птиц его надежды.

В Венеции становилось все жарче, активизировались комары. Ницше без сожаления оставил город на воде. Петер Гаст с облегчением смог вернуться к собственной работе.

Ницше странствовал два года. В каждом новом месте у него возникала надежда, что он все же нашел свою Аркадию. Многочисленные прекрасные перспективы вызывали у него священный трепет: он боготворил столь изобильную чудесами землю, как будто не было ничего более естественного, как вести жизнь нового древнегреческого героя — идиллическую и героическую одновременно. «*Et in Arcadia ego...*»¹ [10]

Но в каждой новой Аркадии со временем он находил какое-то невыносимое несовершенство: она располагалась то слишком высоко, то слишком низко; здесь было слишком жарко, слишком сыро или слишком холодно; она была неудобно расположена между электрическими облаками и всевидящим небом. Странник всегда находил вескую причину, чтобы двигаться дальше.

Летом он переселялся в прохладные районы Альп, но, когда в горах становилось слишком холодно и яркость первого снегопада начинала угрожать его глазам, он отправлялся в тяжелейшие путешествия на поезде (терял багаж, очки, чувство направления) в тепло Французской Ривьеры или Италии. А в июле 1881 года он нашел новую Аркадию в Зильс-Марии — одной из множества очаровательных деревушек, которыми усеян упоительный пейзаж Верхнего Энгадина близ Санкт-Морица. Зильс-

¹ Здесь и далее «Странник и его тень» цит. в пер. А. А. Заблочки.

Мария похитила его душу так, как это никогда не удавалось Венеции: «Мне бы пришлось отправиться к плоскогорьям Мексики на побережье Тихого океана, чтобы найти нечто подобное (например, Оахаку), там, правда, — еще и тропическая растительность»¹ [11], — без всяких причинно-следственных связей писал он Петеру Гасту. В том же письме он сообщал Гасту, что его секретарские обязанности вскоре подойдут к концу, поскольку он слышал, что какой-то датчанин изобрел особую пишущую машинку, и уже направил изобретателю запрос.

Швейцарский туристический бум только начинался. В Зильс-Марии было несколько скромных отелей, но и они оказались слишком дороги и переполнены обществом. Поэтому Ницше снял по-монашески аскетичную комнату в простом доме Жана Дуриша, главы деревенского самоуправления, который внизу держал бакалейную лавку, а на заднем дворе разводил свиней и цыплят. Обходилась она по франку в день [12]. Под окном спальни Ницше (она же кабинет), выходявшей на восток, росла высокая сосна, которая приглушала дневной свет, обращая его в матово-зеленый. Для его глаз это было сущее благословение.

Зильс-Мария полюбилась ему не потому, что исцеляла его от болезней. Напротив, в июле и затем в сентябре он оказался ближе к смерти, чем когда-либо. «Я в отчаянии. Боль разрушает мою жизнь и волю... Уже пять раз я призывал Доктора Смерть» [13]. Но чем ниже погружение, тем выше подъем: «Меня посетили такие мысли, которые ранее никогда не приходили мне в голову...» Он сравнивал себя с машиной, которая может взорваться в любой момент, и в начале августа ему действительно пришла в голову первая поистине выдающаяся мысль с момента выдвижения противопоставления дионисийского и аполлонического начал. Стоя на берегу озера Сильваплана у монументальной пирамидальной каменной глыбы, которую он впоследствии назовет «Скалой Заратустры», он обдумывал проблему вечного возвращения. В «Веселой науке» Ницше писал:

«Что, если бы днем или ночью подкрался к тебе в твое уединеннейшее одиночество некий демон и сказал бы тебе: “Эту жизнь, как ты ее теперь живешь и жил, должен будешь ты прожить еще раз и еще бесчисленное количество раз; и ничего в ней не будет нового, но каждая боль и каждое удовольствие, каждая мысль и каждый вздох и все несказанно малое и великое в твоей жизни должно будет наново вернуться к тебе, и все в том же порядке и в той же по-

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

следовательности, — также и этот паук, и этот лунный свет между деревьями, также и это вот мгновение, и я сам. Вечные песочные часы бытия переворачиваются все снова и снова — и ты вместе с ними, песчинка из песка!» [14]

Такая идея и впрямь ужасает, и она показалась ему настолько важной, что он нацарапал на клочке бумаги, что эта мысль пришла ему в голову «в 6000 футах над уровнем моря и гораздо выше уровня людей».

Возможно, она была как-то связана с рядом научных книг, которые он к тому времени прочел. Он писал, например:

«Силы в мире не уменьшаются, иначе за бесконечное время они бы ослабели и исчезли. Силы в мире не прекращаются — иначе был бы достигнут предел и часы бытия остановились бы. Какого бы состояния ни *мог* достичь этот мир, он должен был его достичь — и не однажды, но бесчисленное множество раз. Возьмем этот момент: он уже случался однажды и много раз, и он возвратится, когда все силы в мире распределятся так же, как сейчас: он существует наряду с моментом, который дал ему жизнь, и моментом, который им порожден. Человек! Вся твоя жизнь будет раз за разом переворачиваться, как песочные часы, и раз за разом она будет заканчиваться в один продолжительный момент времени, пока в течении мира по кругу не соединятся вновь все условия, которые произвели тебя на свет. Тогда ты снова обретешь все страдания и все наслаждения, всех друзей и всех врагов, все ошибки, все листья травы, все лучи солнечного света — все вещи вместе. Это кольцо, в котором ты — ничтожная песчинка, вращается снова и снова. И в каждом кольце человеческого существования всегда есть час, когда — сначала для одного, затем для многих и, наконец, для всех — появляется самая важная мысль — мысль о вечном возвращении всех вещей: каждый раз этот час становится *полуднем* человечества» [15].

Неудивительно, что идею человеческой жизни он выражает через понятие кольца существования. Вагнер не только написал «Кольцо нибелунга», но и тщательно проработал его структуру как кольцо вечного возвращения, как циклическую историю, в которой песочные часы переворачиваются снова и снова.

В Зильс-Марии Ницше также впервые записывает в своем блокноте имя Заратустры, но только имя. Обеим идеям еще нужно будет несколько лет на созревание.

В октябре 1881 года в Зильс-Марии уже стало холодно. «С энергией сумасшедшего» он бежал в Геную, где поселился на чердаке. «В доме

мне нужно подниматься по ста шестидесяти четырем ступенькам, а ведь и сам дом расположен довольно высоко и на крутой улице с дворцами. Поскольку эта улица очень крутая и заканчивается большой лестницей, она очень тихая и между камнями мостовой даже растет трава. Здоровье мое в *ужасном* беспорядке» [16].

Ему приходилось экономить деньги — иногда он по несколько дней питался одними сушеными фруктами. Порой добрая домохозяйка помогала ему с готовкой. Отапливать комнату у него не доставало средств. За теплом он шел в кафе, где подолгу сидел, но, как только показывалось солнце, он спешил на одинокий утес у моря, где лежал под зонтиком без движения, как ящерица. Это помогало справляться с головными болями.

Обычно Ницше не беспокоился о том, какое впечатление производит на людей. За годы странствий его запомнили человеком тихим, пассивным, с мягким голосом, в бедном, но опрятном платье, с изысканными манерами, которые распространялись на всех, в особенности на женщин. Он казался совершенно невыразительным, поскольку его рот всегда скрывали густые усы, а глаза — синие или зеленые очки, при этом лицо было еще и прикрыто зеленым козырьком. Но при этом он никогда не был тенью, о нем никогда не забывали: аура недотроги делала его присутствие только более значительным. Он сделал открытие, как писал в «Утренней заре»: «Таким образом, самый кроткий и самый справедливый человек, если только у него длинные усы, будет сочтен, на первый взгляд, обладателем длинного уса, т. е. за военного человека, имеющего бурный характер, а иногда способного и на насилие. Сообразно с этим взглядом и начинают относиться к нему» [17].

Пауль Рэ приехал в Геную в феврале 1882 года и привез с собой печатную машинку. «Пишущий шар Маллинга-Хансена» представлял собой хитроумную полусферу, напоминающую медного ежа, каждая игла которого оканчивалась какой-либо буквой. При нажатии пальцем на кнопку игла печатала эту букву на странице. Машина привлекла к себе внимание на выставке в Париже. Надежды Ницше были связаны с тем, что она могла позволить ему писать только руками, освободив от этой обязанности глаза. Успех был достигнут не сразу. «Эта машинка нежна, как маленькая собачка, и причиняет много проблем». По дороге она была повреждена и не работала должным образом, но даже после ремонта оказалось, что его глазам не проще смотреть на клавиши, чем на кончик пера,двигающийся по странице. К счастью, Пауль Рэ тут как раз мог помочь.

Они отправились в театр на «Даму с камелиями» с Сарой Бернар, но с божественной Сарой им повезло не больше, чем с печатной машинкой: в конце первого акта у нее случился приступ. Зрители ждали около часа, пока она вернется, но, когда она вернулась, у нее разорвался кровеносный сосуд. Однако ее скульптурная внешность и величественные манеры пробудили в Ницше теплые воспоминания о Козиме.

В марте Рэ уехал в Рим к Мальвиде фон Мейзенбуг, которая перенесла свою «академию свободных умов» из Сорренто в Рим — теперь она называлась Римским клубом. Однажды вечером Рэ вернулся разоренным и в ужасе: он потерял все свои деньги, проигравшись в Монте-Карло. Вероятно, денег на то, чтобы доехать так далеко, ему ссудил какой-то милосердный официант. Мальвида поспешно вышла заплатить за экипаж, а Рэ присоединился к кругу собравшихся свободных умов и был незамедлительно очарован ошеломляющей Лу Саломе [18] — элегантной и космополитичной девушкой двадцати одного года, наполювину русской, удивительно привлекательной, оригинальной и умной. Лу путешествовала с матерью под предлогом поправки здоровья, но на деле — чтобы получить больше возможностей для развития ума, чем предоставлялось женщинам в России. Отец Лу, русский генерал, скончался, а Лу с матерью уехали из Санкт-Петербурга в Цюрих, чтобы девушка могла получить образование. Она посещала занятия в Цюрихском университете, но начала харкать кровью — сигнал к тому, что пора переезжать на юг. Рекомендательное письмо позволило ей войти в Римский клуб Мальвиды, где Лу, не в первый и не в последний раз, стала вживаться в образ роковой интеллектуалки. За свою долгую жизнь Лу Саломе обворовала множество выдающихся интеллектуалов, в том числе Райнера Марию Рильке и Зигмунда Фрейда.

Рэ и Мальвида произносили имя Ницше в Римском клубе с пие-тетом. Разумеется, после этого Лу выразила горячее желание с ним встретиться. Но Ницше был еще в Генуе, и Лу немедленно завязала тесные отношения с его другом Рэ. Когда в полночь литературный салон Мальвиды закрывал свои двери, Рэ сопровождал Лу домой. Вскоре они уже начали гулять по улицам вокруг Колизея каждую ночь с полуночи до двух. Это, разумеется, шокировало мать Лу. Протестовала даже прогрессивная феминистка Мальвида. «Я с удивлением открыла для себя, до какой степени идеал свободы может подавлять реальную свободу личности»¹ [19], — с разочарованием писала Лу.

¹ Пер. Л. Н. Гармаш.

Она никогда не избегала роли сирены или Цирцеи. По собственным словам, она с самого начала решила, что будет добиваться своего любым способом. Обязанность говорить правду ее тяготила, и она никогда не делала этого в ущерб основной цели. «Дома меня сильно избаловали, так что я чувствовала себя всемогущей. Не видя себя в зеркале, я была бы бездомной», — писала она в мемуарах, где удивительно трезво относилась к себе, но проявляла великолепное пренебрежение к истине во всех остальных отношениях.

Рэ в экстазе писал Ницше об «энергичном, невероятно умном существе с некоторыми качествами девушки, даже ребенка»: «Это русская девушка, с которой ты обязательно должен познакомиться» [20].

Учуяв здесь брачный план Мальвиды, Ницше в шутку отвечал из Генуи, что если речь о браке, то он готов будет терпеть его года два, не больше. Но Ницше не знал, что Лу питала к браку такое же отвращение, как и он сам. Всю жизнь она предпочитала жить с двумя мужчинами сразу. Впрочем, через пять лет она все же выйдет замуж, но только потому, что человек, настойчиво ее добивавшийся, ударил себя ножом в грудь и пригрозил закончить начатое, если она откажет. Они пробыли в браке сорок пять лет, оставаясь очень преданными друг другу, хотя брак так и не состоялся и она была очень довольна тем, что их экономка много лет являлась любовницей ее мужа, а сама Лу ввязывала в брак своих преданных поклонников, первым из которых стал Рэ.

В Генуе Ницше впервые посмотрел «Кармен». Он пошел и на следующее представление, а всего за жизнь видел ее двадцать раз. «Кармен» избавила его от страсти к «Тристану и Изольде». Эта опера на музыку Бизе и с либретто на основе новеллы Проспера Мериме не претендовала на что-то «возвышенное» или даже «чрезвычайное». В отличие от вагнеровских опер здесь не было метаний духа — опера, можно сказать, была материалистической. «Кармен» не требует для исполнения огромного оркестра. Мелодии из оперы легко насвистывать и напевать. Она короткая. Она игнорирует все метафизическое. Она рассказывает не о богах и легендах, не о королях и королевах, а о жареных фактах — страстях представителей низшего класса. Хосе — ничем не примечательный капрал, чья жестко регламентированная, лишенная полета фантазии жизнь сталкивается с дионисийским началом в Кармен — страстной и сексуально ненасытной женщине, работнице сигарной фабрики. Кармен — роковая красотка, которая (подобно Лу Саломе) выбирает себе мужчин на собственных условиях. Непонятный и неконтролируемый всплеск похоти, ревности и собственнического чувства, который Кар-

мен вызывает в Хосе, неизбежно приводит к тому, что он в приступе дионисийской ярости убивает ее.

Выразив желание приехать к Ницше в Геную, Лу рассердилась, услышав, что он не собирается ее там ждать. Он решил уехать в Мессину. С медицинской точки зрения это решение вряд ли было разумным. Если уж мартовская Генуя становилась для него слишком жаркой, то в Мессине было жарко и подавно. Но последние летние сезоны, проведенные в горах, убедили его в том, что если он будет стремиться летом на высокогорье, то это приблизит его к электричеству и облакам и тем самым повредит его состоянию. Поэтому он попробует поехать летом туда, где от небес дальше всего, — к морю. Кроме того, «Кармен» заставила его мечтать о юге. В «Веселой науке» Ницше писал:

«Пошлое во всем том, что нравится на юге Европы... не ускользает от меня, но и не оскорбляет меня, равным образом как и пошлость, с которою встречаешься, прогуливаясь по Помпее и даже, по сути, читая всякую античную книгу: отчего это происходит? Оттого ли, что здесь отсутствует стыд и все пошлое выступает столь же надежно и самоуверенно, как нечто благородное, прелестное и исполненное страсти в аналогичного рода музыке или романе? “Животное, как и человек, имеет свои права; пусть же оно бежит себе на воле, а ты, милый мой сородич, тоже еще животное, несмотря ни на что!” — таковой представляется мне типичная и своеобразная мораль южан» [21].

Кроме того, в Мессину ему хотелось из-за Вагнера, который проводил там зиму вместе с Козимой. Контакт между ними и Ницше не было уже три года, но Ницше часто о них вспоминал. Воспоминания эти были дружеские, приятные и добрые. Он бы охотно вновь с ними увиделся.

Он написал восемь небольших легкомысленных стихотворений под названием «Мессинские идиллии», в основном о лодках, козах и девушках, и с легким сердцем сел на корабль до Мессины. Однако его разбила морская болезнь. Когда он доплыл до Сицилии, то был в ужасном физическом состоянии, а Вагнер и Козима уже уехали. В Палермо у Вагнера начались спазмы в груди, и он поспешил домой. Угнетающий сирокко дул с африканского побережья — хорошо известно, как этот ветер подавляет дух и покрывает все, что можно, мелким и совершенно невыносимым песком. Единственной радостью от не самого приятного путешествия Ницше на Сицилию был вид на

вулкан Стромболи. Связанные с ним легенды о летающих призраках впоследствии появятся в его книге о Заратустре.

От Рэ продолжали приходить письма и открытки, воспевающие ум Лу Саломе. Ницше получил от Мальвиды письмо, которое можно было назвать призывом: «Очень примечательная девушка (думаю, Рэ вам уже о ней писал)... кажется, в философском мышлении она добилась почти таких же успехов, как вы: практический идеализм сочетается в ней со свободой от всяческой метафизики и отказом от объяснения любых метафизических проблем. Мы с Рэ едины во мнении, что вам следует познакомиться с этим удивительным созданием...» [22]

Еще одна ужасная поездка по морю — и он покидает Сицилию. Оправившись, он сел на поезд в Рим.

12

Философия и эрос

Женщины знают это, самые лакомые; немного тучнее, немного худее — о, как часто судьба содержится в столь немногом!

Так говорил Заратустра. Часть III. О духе тяжести, 2

Еще не успев познакомиться с Ницше, Лу решила жить с ним и Рэ в тройственном союзе. Она представляла себе *Heilige Dreieinigkeit* — Святую Троицу философствующих свободных умов, «почти до краев переполненных духовностью и остротой разума».

Ее фантазии обрели плоть за время, предшествующее прибытию Ницше в Рим: она проводила с Рэ миазматические ночи в прогулках вокруг Колизея, когда он рассуждал о философии и изводил ее бесконечными разговорами о своем блестящем друге.

«Сознаюсь честно: я была совершенно убеждена в том, что мой план — настоящее оскорбление общепринятых норм, и, тем не менее, план этот был осуществлен, хотя сначала я увидела все это во сне. Мне приснился замечательный рабочий кабинет с книгами и цветами, где проходили наши беседы, рядом — 2 спальни, а в зале — веселый и одновременно серьезный круг друзей-единомышленников»¹ [1]. Не вполне понятно, правда, как распределялись по двум спальням три человека.

Этот необычный план Лу не скрыла от Мальвиды, которая назвала его бесстыдной фантазией и серьезно обеспокоилась. Слабая мать Лу, постоянно переигрываемая дочерью, узнав об этой схеме, решила вызвать на подмогу ее братьев. Все были против. Даже Рэ, по словам Лу,

¹ Пер. Л. Н. Гармаш.

был «еще растерян», хотя и влюблен по уши. За первые три недели он успел предложить ей руку и сердце, включив в предложение необычное условие — нужно было обходиться без секса, потому что секс вызывал у него отвращение. Лу секс тоже был противен из-за подростковой травмы в Санкт-Петербурге: ее почтенный учитель, пожилой женатый голландский священник с дочерьми ее возраста, внезапно попытался взять ее силой. Предложение *mariage blanc*, сделанное Рэ, пришлось бы ей по вкусу, если бы она заботилась о своей репутации. Респектабельности оно бы ей точно прибавило. Но Лу собственная репутация не беспокоила вовсе. Она прожила долгую жизнь и ничто так не любила, как *эпатирование буржуа*.

20 апреля 1882 года Ницше сел на паром и покинул Мессину, а 23 или 24 апреля прибыл в Рим. Несколько дней он приходил в себя у Мальвиды на роскошной вилле Маттеи, а затем был признан достаточно оправившимся от морского путешествия, чтобы познакомиться с Лу. Все решили, что встретиться лучше всего в соборе Святого Петра — довольно забавный выбор для атеистической компании свободных умов.

Он был в Риме впервые. Никакой путеводитель не мог подготовить его к пути с виллы Мальвиды рядом с Колизеем в собор Святого Петра, где он должен был наконец встретить загадочную девушку. Как Тесей, следовавший за нитью Ариадны по лабиринту Минотавра, он следовал за тенью, отбрасываемой колоссальной Тосканской колонной Бернини. Когда он вошел в темный, окуренный благовониями собор, то никак не мог найти ее глазами. Впоследствии Лу станет роскошной и пышной красоткой, рядящейся в шелка с оборками и меха, но в то время ее неизменная униформа ученицы философа свидетельствовала о монашеской чистоте: темное платье в пол с длинными рукавами и высоким воротником, а под ним тесный корсет, который подчеркивал фигуру в виде песочных часов. Русые волосы были тщательно убраны назад, открывая лицо классической русской красавицы — широкое и с высокими скулами. У нее были голубые глаза, взгляд которых часто описывали как умный, пристальный и страстный. Она сознавала свою красоту и наслаждалась властью, которую она ей придавала. Она рассказывала, что прежде всего ее в Ницше поразила сила его глаз. Они заворовали ее. Казалось, они смотрели больше внутрь, чем наружу. Полуслепой, он не рыскал глазами и не отводил их. Характерное для близоруких людей впечатление тяжелого, пронзающего собеседника взгляда полностью отсутствовало. «Прежде всего его глаза казались

защитниками и привратниками его сокровищ — немых тайн, которые не должны были открываться непрошеному гостю» [2].

Но это заключение, вероятно, было сделано позже. В соборе на нем были темные очки, без которых он просто ничего бы не увидел. А Лу не смогла бы изучить его глаза сквозь толстые стекла, да еще в полумраке собора.

«Направленный внутрь, как будто на расстоянии», — так Лу описывает его взгляд. Это вполне можно принять за автопортрет — описание ее собственных глаз. Другие часто писали, что ее глаза обладали странным качеством — казалось, что они смотрели на дальние горизонты. Приходилось щелкать пальцами, чтобы завладеть ее вниманием, добраться до ее внутреннего мира, заставить увидеть физическую реальность прямо перед нею. Противоречивое сочетание опрометчивой, страстной безрассудности и этих странных взглядов вдаль обеспечило ей исключительный дар добиваться признаний. Она слушала, как зеркало, отражающее мысли говорящего. Говорила она мало, но сама ее пассивность воодушевляла на дальнейшие откровения. Именно ей в свое время сам Зигмунд Фрейд доверил психоанализ своей дочери Анны.

Ницше поприветствовал ее словами, которые явно были отрепетированы: «Какие звезды свели нас вместе?» «Цюрихские», — ответила она, опуская всех на землю [3].

Сначала ее голос с русским акцентом показался Ницше резким. Да и она сначала была разочарована. Ей представлялся человек-водоворот, такой же дерзкий и революционный, как его разум, или по крайней мере человек выдающейся наружности. Перед ней же стоял человек настолько обычный, настолько малопримечательный, что это было попросту смешно. Невысокого роста, спокойного поведения, с тщательно причесанными прямыми каштановыми волосами и в аккуратной одежде: казалось, он поставил себе цель не привлекать ничьего внимания. Он говорил тихо, почти беззвучно. Даже смеялся он тихо. Его задумчивость производила впечатление тщательно продуманной. Когда он говорил, то немного сутулился — казалось, чтобы лучше протолкнуть слова. У нее было неприятное ощущение, что Ницше частично выключен из разговора.

Разве так должен был выглядеть иконоборец, который, по словам Рэ, хвастался, что считает напрасно прожитым день, когда не отказался по меньшей мере от одного из своих убеждений? Его немое одиночество было для нее настоящим вызовом. Ей хотелось узнать, почему он оставляет между своим истинным «я» и миром такую дистанцию. Она

чувствовала, что сбита с толку его «воспитанным, элегантным поведением». Это воспитанное и элегантное поведение, разумеется, было таким же отретпетированным, как и его приветствие, которое мгновенно перенесло их в высший мир судьбы и предначертаний, поместив их встречу в колесо вечного возвращения в соответствии с цитатой из его второго «Несвоевременного размышления», «О пользе и вреде истории для жизни»: «... При одинаковой констелляции небесных тел должны повторяться на земле одинаковые положения вещей вплоть до отдельных, незначительных мелочей; так что всякий раз, как звезды занимали бы известное положение, стоик соединялся бы с эпикурейцем для того, чтобы убить Цезаря, а при другом положении Колумб открывал бы Америку» [4].

Пока Лу и Ницше беседовали в соборе Святого Петра, Рэ скрывался в темноте ближайшей исповедальни — якобы с благочестивым намерением поработать над своими записями, а на деле, конечно, чтобы подслушивать. Лу утверждает, что они с Ницше сразу же пустились в обсуждение своего будущего тройственного существования и места обитания, однако затем она сама противоречит своему сну о «Святой Троице», утверждая, что Ницше предложил изменить уже составленный ею на пару с Рэ план, объявив, что в интеллектуальном партнерстве должны жить лишь они вдвоем. Что бы ни случилось в первую неделю их знакомства в Риме, нет сомнения, что эти трое собирались жить вместе.

Ницше отнесся к предложенной схеме с энтузиазмом. Он хотел снова стать студентом и посещать лекции в Сорбонне, надеясь получить научные доказательства своих идей о вечном возвращении. Лу и Рэ охотно отправились бы в Париж, где могли бы возобновить знакомство с Иваном Тургеневым.

Встреча в соборе так утомила Ницше, что ему пришлось вернуться к постельному режиму на вилле Мальвиды, где его навестили Рэ и Лу. Он охотно читал и декламировал им из книги, которую писал, — «Веселой науки». То был искрометный выплеск неудержимого хорошего настроения, которое пришло к нему на пороге новых приключений. В предисловии он утверждает, что книга написана ради развлечения после долгого отчуждения и бессилия, что она отражает возвращение веры в завтрашний день, выражает предчувствие грядущих вновь открытых берегов. Он начал писать ее в Генуе, как раз в то время, когда был зачарован ничем не усложненной телесностью «Кармен», воплощением в образе Кармен вечной женственности и напряженным ожиданием знакомства с прекрасной умной девушкой Лу Саломе, которая в Риме

только и говорила всем, как мечтает с ним встретиться. И вот они встретились — и замаячила перспектива Парижа.

Несмотря на весь интерес к Ницше, Лу не читала ни одной его книги. Ну и ладно: ее яркость, ум и серьезность произвели на него глубочайшее впечатление.

Ницше имеет репутацию женоненавистника, которая в принципе вполне заслужена. Много раз он отрицательно отзывался о женщинах — в основном в тех случаях, когда его уж очень изводили мать и Элизабет. Но в описываемый период его сочувствие к женщинам и проникновение в женскую психологию были весьма примечательны.

В афоризмах о женщинах из «Веселой науки» заметны доброта и сочувствие. Еще важнее здесь его революционная идея о том, что в парадоксальном воспитании женщин высшего класса есть нечто удивительное и ужасное. Их держали в полнейшем неведении относительно вопросов пола, убеждали, что все, связанное с полом, — зло, которого необходимо стыдиться. И затем их, словно молнию, метали в объятья брака, подвергая ужасам супружеских обязанностей, — и с кем! С человеком, которого они должны были больше всего любить и ценить! Как могли они справиться с неожиданным и шокирующим соседством божества и зверя? «[Женщины] тут действительно завязали себе такой душевный узел, равного которому не сыщешь!» — проницательно заключал он [5].

Таким вполне могло быть описание отношений Лу с ее почтенным пожилым учителем и долговременной травмы, которую нанесло ей его внезапное хищное нападение, обращение божества в зверя.

За неделю, которая прошла после первой встречи в соборе Святого Петра, Лу еще больше увлеклась Ницше. Она считала его человеком, который неуклюже носит свою маску. Ей было очевидно, что он пытается вписаться в мир. Он напоминал божество, вышедшее откуда-то с вершин диких гор и надевшее костюм, чтобы казаться человеком. Бог должен носить маску, иначе люди погибнут, ослепленные его сияющим образом. Это позволило ей думать о том, что сама она никогда не носила маску, — ей никогда не требовалась маска, чтобы ее поняли. Маску Ницше она сочла умиротворяющей, обусловленной его добротой и жалостью к другим. Она цитировала его афоризм: «Всякий глубокий ум нуждается в маске, — более того, вокруг всякого глубокого ума постепенно вырастает маска»¹ [6].

¹ Цит. из «По ту сторону добра и зла», пер. Н. Н. Полилова.

Он предложил ей попытаться жить в соответствии с теми принципами, по которым решил жить он (*Mibi ipsi scripsi* — «Я написал для себя»), и пиндаровским «будь, каков есть — а ты знаешь, каков ты есть». Все это действительно стало ее принципами на всю жизнь.

Лу разработала собственное толкование психологии Ницше, которое постоянно излагала во множестве статей и в книге [7]. Его болезни как источнику творчества она придавала огромное значение. Ему не нужно было проявлять эксцентричность и искать внешние доказательства своего гения, ведь у него была его болезнь. Она позволяла ему проживать множество жизней в течение одной. Лу отметила, что вся жизнь Ницше укладывалась в общую схему. Регулярно повторяющиеся приступы болезни всегда отграничивали один период его жизни от другого. Каждая болезнь была смертью — нисхождением в Аид. Каждое выздоровление было радостным перерождением, регенерацией. Такое существование очень его освежало. Сам он называл это *Neuschmecken* («новым вкусом»). После каждого восстановления мир представлялся ему по-новому. И каждое восстановление знаменовало не только его собственное возрождение, но и возрождение полностью нового мира, с новыми вопросами, которые требовали новых ответов. Этот цикл напоминал ежегодный цикл плодородия, когда божество оказывалось посеянным в почву. Только благодаря этому болезненному процессу ему в голову приходили новые идеи. Но внутри этого крупного цикла великих потрясений был и малый ежедневный цикл. Его мыслительная деятельность напоминала волны, бьющиеся о берег: всегда приливающие, всегда отступающие, в ловушке вечного движения, при котором невозможен покой. «Он заболел из-за мыслей и восстанавливался благодаря мыслям»; Лу не сомневалась, что «он сам — причина собственной болезни» [8].

С самого начала Ницше всерьез воспринял идею тройственного сожительства. Он в шутку переименовал союз в несвятую троицу, но в то же время достаточно серьезно относился к общественным условиям, так что чувствовал необходимость защитить репутацию Лу, предложив ей вступить в брак: «Я считаю себя обязанным защитить вас от людских сплетен и сделать вам предложение...» Передать предложение он попросил Рэ.

Поручение для Рэ было довольно забавное, ведь он сам уже сделал предложение Лу и влюбился в нее только сильнее. Получив предложение и от Ницше, Лу обеспокоилась, что соперничество за ее руку поставит под удар весь интеллектуальный эксперимент. Не было сомнений, что

все предприятие будет, как и должно, зависеть от силы эротической энергии, которая, однако, не должна превращаться в физическую связь. Она попросила Рэ передать отказ от ее имени и объяснить Ницше, что она вообще принципиально не намерена выходить замуж. Кроме того, практично добавляла она, вступив в брак, она потеряет свою пенсию дочери русского дворянина — единственные средства к ее существованию.

В Риме становилось сыро и вредно для здоровья. Ницше уже давно лежал в постели. Для выздоровления ему требовался холодный свежий воздух. Он решил вместе с Рэ уехать на север, в Итальянские Альпы. Лу очень хотелось к ним присоединиться, и она умоляла Рэ это устроить.

«Госпожа Лу, моя повелительница, — отвечал Рэ. — Завтра утром, около одиннадцати, Ницше нанесет визит вашей матери, и я буду его сопровождать, дабы выказать свое уважение... Ницше не может ответить, как он будет чувствовать себя завтра, но он хотел бы непременно представиться вашей матери, прежде чем мы вновь увидимся на озерах».

Мать Лу прямо предостерегла Ницше от общения с ее дочерью. Лу была опасна и неконтролируема, подвержена диким фантазиям. Однако план продолжал разворачиваться. Лу с матерью выехали из Рима 3 мая, а Рэ и Ницше — на следующий день. 5 мая все они воссоединились в Орте, где на следующий день Ницше и Лу ускользнули от остальных и совершили восхождение на Монте-Сакро — гору, укорененную в мифах и символике не меньше, чем Пилатус.

Восхождение на гору вместе с Лу он впоследствии описывал как великолепнейший опыт в своей жизни.

Монте-Сакро — гора средней высоты, мирно возвышающаяся над озером Орта — небольшим водоемом, скромным по сравнению с расположенными рядом более крупными, живописными и куда более знаменитыми Лаго-Маджоре и Луганским озером. Красота этой горы несомненна, а суровое историко-религиозное значение неоспоримо. Она стала местом первого зафиксированного сожжения ведьм в средневековой Италии. Легенда гласит, что вокруг места своей ужасной смерти бродит призрак ведьмы, подобно Пилату. Накануне Тридентского собора (1545–1563), когда Римско-католическая церковь боролась и с протестантской Реформацией, и с неумолимым наступлением ислама, гора Монте-Сакро близ Орты считалась одним из самых священных мест в Европе. Эти новейшие святыни были назначены альтернативными

объектами поклонения после того, как мусульмане в ответ на Крестовые походы закрыли Святую землю для благочестивых паломников.

В 1580 году Монте-Сакро была объявлена «новым Иерусалимом», и ее посещение давало такие же права паломника, как и посещение Иерусалима настоящего. Изменение статуса было оформлено с той же помпой, с какой Ватикан одновременно строил купол Микеланджело над собором Святого Петра. Небольшая гора была переделана в соответствии с барочными ландшафтными представлениями о пути в рай. По склону плавно змеилась дорога — *via sacra* или *via dolorosa*, усаженная священными рощами, чья зелень скрывала или открывала великолепные виды на озеро внизу или на увенчанные снежной шапкой Альпы наверху. Путь на Монте-Сакро был новым вариантом Крестного пути или чтения молитв по четкам. При каждом новом изгибе серпантина зеленая листва открывала новый предмет созерцания. Двадцать одна небольшая часовня в маньеристском духе стояла на обочине пути паломника. Каждая часовня была украшена христианскими знаками и символами: рыбы, морские раковины, солнце и луна, лилии, розы и звезды. Изнутри часовни были украшены фресками и терракотовыми статуями в человеческий рост, иллюстрирующими священные истории о жизни Иисуса и святых.

За триста лет, прошедших с момента создания паломнического маршрута до восхождения на Монте-Сакро Ницше и Лу, гора превратилась в место забытой, увядающей красоты. Буйные заросли стали затруднять задуманный некогда доступ к прекрасным видам. Старые деревья, утопающие в почве, могли символизировать упадок христианской веры, которую Лу и Ницше не оплакивали, и упадок духовности, которую им было жаль.

В процессе восхождения они вели беседу о своем юношеском богословии. Она сочла, что он, подобно ей самой, на самом деле весьма религиозен. Она тоже в раннем возрасте утратила некогда горячую христианскую веру. Оба разговаривали о глубоких и неудовлетворенных религиозных потребностях. Это противопоставляло их Рэ, чей упрямый бездушный материализм казался им даже оскорбительным. Ницше подверг ее своего рода философской проверке — тщательно опросил ее на предмет знаний и верований. Ее ответы, по его словам, он счел такими разумными и созвучными своим идеям, что доверил ей некоторые мысли, которые не поверял еще никому. Правда, что это были за мысли, он не говорит. Возможно, он развивал свою теорию вечного возвращения, которая владела его умом в то время. Мог он упомянуть

и пророка Заратустру, которого рассматривал как возможного будущего выразителя своих взглядов. Мог поделиться и другой своей тайной — идеей смерти Бога, описанной в книге «Веселая наука», которую как раз готовил к публикации.

Впоследствии он писал Лу: «В Орте я задумал план шаг за шагом подвести вас к заключительной идее моей философии — *вас* я посчитал первым человеком, готовым к этому» [9].

Восхождение на Монте-Сакро убедило его, что в Лу он нашел ученицу, которую так долго искал. Она должна стать непоколебимой проповедницей его идей и проводником его мыслей.

Лу предсказывала, что Ницше станет пророком новой религии, а учениками его станут герои. Оба они писали, насколько похоже думали и чувствовали, как подхватывали слова друг друга. Они кормили друг друга словами, как кормят друг друга с ложечки едой. Индивидуальность стиралась: они додумывали мысли друг друга и заканчивали друг за другом предложения. Когда они спустились с горы, он тихо сказал ей: «Благодарю вас за самый великолепный сон в моей жизни».

При виде того, как они спускаются, лучась от счастья, как будто занимались на вершине горы любовью, мать Лу пришла в ярость, а Рэ обезумел от ревности. Он засыпал ее вопросами, а Лу спокойно отбила его мелочные атаки, ответив: «Один лишь его смех — уже деяние».

Прошли годы, между ними произошло много всего, но никто из них не отрицал глубочайшей важности обретенного ими на Монте-Сакро интеллектуального и духовного единения, хотя никто из них и не объяснял его причин.

Лу прожила долгую жизнь, и ее часто спрашивали, целовались ли они с Ницше на Монте-Сакро. В ответ она, устремив глаза куда-то вдаль, говорила: «Целовались ли мы на Монте-Сакро? Я уж и не помню». Ницше же никто не решался задать тот же вопрос.

Из Орты он отправился напрямик в Базель к своим дорогим друзьям Францу и Иде Овербек, которые отметили, что он выглядит загорелым, полным жизни и счастья. Он пробыл у них пять дней. Ни разу у него не случилось нервного припадка, несмотря на два долгих и тяжелых визита к стоматологу. Ида отметила, что страдал он только от мысли о том, что так мало знает и так мало прочел. С каждой публикацией он надеялся, что получит одобрение масс, что публика найдет в нем новую звезду, что у него появятся поклонники и ученики. Пока этого

не случилось, но он был уверен, что рано или поздно это произойдет. Он рассказал Овербекам о том, что, как он надеется, нашел в Лу свое *alter ego*, свою вторую половинку, сестру-близнеца. Теперь, заявил он, он собирается чаще выходить в свет. Он откажется от одиночества, будет более открытым для вещей и людей.

Живя у Овербеков и делясь с ними надеждами на лучшее будущее, он нередко играл на фортепиано. Вечерами он поражал их, задерживаясь допоздна, что было для него совершенно не характерно. Франц и Ида Овербек были рады его очевидному счастью. Они оставались самыми надежными его друзьями. Он поручил Францу вести его финансовые дела, а Ида как могла старалась облегчить его жизнь, что Ницше очень ценил.

В тот же день, когда он приехал к Овербекам, 8 мая, он отправил Рэ короткое послание: «Будущее полностью неизвестно, но не темно. Я обязательно должен снова поговорить с г-й Л. [госпожой Лу] — возможно, в Левенгартене? С бесконечной признательностью, твой друг Н.».

В Левенгартене, что в Люцерне, есть прекрасный скульптурный рельеф на камне — умирающий лев. Он установлен в знак героизма и верности швейцарских гвардейцев, павших во время штурма дворца Тюильри в ходе Французской революции. Надпись на памятнике — *Fidei ac virtuti* («За верность и храбрость») — Ницше мог иметь в виду, назначая Лу свидание там.

Ницше прибыл на вокзал Лютерна 13 мая и был встречен на платформе Лу и Рэ. Им удалось избавиться от Рэ и попасть в Левенгартен вдвоем. По словам Лу, Ницше вновь делал ей предложение и вновь получил отказ. Все, что нам известно по этому поводу от Ницше, — это рисунок, который он сделал в сумасшедшем доме уже в годы душевной болезни. На рисунке хорошо узнаваемый памятник льву и две обнявшиеся фигуры рядом с ним.

Затем они присоединились к Рэ и отправились в фотоателье, где позировали для знаменитой фотографии, которая теперь неразрывно связана с изречением из «Так говорил Заратустра»: «Ты идешь к женщинам? Не забудь плетку!» Возможно, идея легкомысленной фотографии принадлежала Лу, а возможно — и самому Ницше. Но инициатором явно был не Рэ: фотографироваться он ненавидел и выглядит очень неуклюже, стоя рядом с Ницше в своем костюме. Мужчины позируют в образе двух лошадей, впряженных в оглобли деревянной телеги. Лу сидит на повозке с игривым и одновременно решительным видом,

замахнувшись на них кнутом. Кнут она украсила цветами сирени. Ницше выглядит вполне довольным собой — глуповато и проказливо, наслаждаясь выкинутой шуткой.

От студии фотографа до Трибшена идти было недалеко. Они вдвоем опять отделились от Рэ, и Ницше провел ее вокруг своего Острова Блаженных, посвятив в былые таинства. По ее утверждению, он говорил о Вагнере с большим чувством.

Пытаясь управлять жизнью этой поразительной девушки, чья судьба, по его твердому убеждению, должна быть тесно связана с его собственной, он организовал ее с матерью приезд в Базель, где они должны были поселиться у Овербеков. Возможно, смысл идеи состоял в том, чтобы Франц и Ида убедили гостей в чудесном характере Ницше, его верности и добродетелях, но эти обывательские планы не особенно интересовали саму Лу. Проводить время с теологом-домоседом и его женой оказалось далеко не так интересно, как познакомиться с самым известным базельским ученым, Якобом Буркхардтом. По ее поведению во время краткого визита Ида заключила, что, хотя Ницше всецело отдался идее того, что нашел в Лу вторую половинку, сама она вовсе не собиралась «раствориться в Ницше».

Он отправил Лу свою книгу «Человеческое, слишком человеческое», а стихотворение «К скорби» (*An den Schmerz*), написанное Лу, послал в Венецию Петеру Гасту с просьбой положить его на музыку. Сопроводительное письмо гласило:

«Это одна из тех вещей, которые обладают надо мной полной властью, мне еще никогда не удавалось прочесть его без слез; как будто звучит голос, которого я бесконечно ждал с самого детства. Это стихотворение моего друга Лу, о которой Вы еще не слышали. Лу — дочь русского генерала, ей двадцать [*sic*] лет; она зорка, как орел, и храбра, как лев, при этом она еще совершенный ребенок, которому, может быть, не суждено жить долго. <...> ее чуткость к моему способу мыслить и рассуждать поразительна.

Дорогой друг, я уверен, что Вы окажете нам такую честь и исключите понятие влюбленности из наших отношений. Мы *друзья*, и для меня неизменно святыми остаются эта девушка и ее доверие ко мне»¹ [10].

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

13

Ученица философа

Париж все еще намечается, но я как-то опасаюсь шума и хотел бы знать, достаточно ли *спокойное* там небо.

*Письмо Францу Овербеку,
октябрь 1882 года*

Пока Лу с матерью гостили в Базеле у Овербеков, Ницше отправился из Люцерна прямо в Наумбург готовить «Веселую науку» к отправке издателю. Он нанял обанкротившегося торговца, который писал под диктовку Элизабет. В этой рукописи впервые провозглашалась смерть Бога. Вот этот пассаж:

«Слышали ли вы о том безумном человеке, который в светлый полдень зажег фонарь, выбежал на рынок и все время кричал: “Я ишу Бога! Я ишу Бога!” — Поскольку там собрались как раз многие из тех, кто не верил в Бога, вокруг него раздался хохот. Он что, пропал? — сказал один. Он заблудился, как ребенок, — сказал другой. Или спрятался? Боится ли он нас? Пустился ли он в плавание? Эмигрировал? — так кричали и смеялись они вперемешку. Тогда безумец вбежал в толпу и пронзил их своим взглядом. “Где Бог? — воскликнул он. — Я хочу сказать вам это! *Мы его убили* — вы и я! Мы все его убийцы! Но как мы сделали это? Как удалось нам выпить море? Кто дал нам губку, чтобы стереть краску со всего горизонта? Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца? Куда теперь движется она? Куда движемся мы? Прочь от всех солнц? Не падаем ли мы непрерывно? Назад, в сторону, вперед, во всех направлениях? Есть ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы словно в бесконечном Ничто? Не дышит ли на нас пустое пространство? Не стало

ли холоднее? Не наступает ли все сильнее и больше ночь? Не приходится ли среди бела дня зажигать фонарь? Разве мы не слышим еще шума могильщиков, погребавших Бога? Разве не доносится до нас запах божественного тления? — и Боги истлевают! Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц! Самое святое и могущественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами — кто смоет с нас эту кровь? Какой водой можем мы очиститься? Какие искупительные празднества, какие священные игры нужно будет придумать? Разве величие этого дела не слишком велико для нас? Не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться достойными его? Никогда не было совершено дела более великого, и кто родится после нас, будет, благодаря этому деянию, принадлежать к истории высшей, чем вся прежняя история!” — Здесь замолчал безумный человек и снова стал глядеть на своих слушателей; молчали и они, удивленно глядя на него. Наконец он бросил свой фонарь на землю, так что тот разбился вдребезги и погас. “Я пришел слишком рано, — сказал он тогда, — мой час еще не пробил. Это чудовищное событие еще в пути и идет к нам — весть о нем не дошла еще до человеческих ушей. Молнии и грому нужно время, свету звезд нужно время, деяниям нужно время, после того как они уже совершены, чтобы их увидели и услышали. Это деяние пока еще дальше от вас, чем самые отдаленные светила, — *и все-таки вы совершили его!*” — Рассказывают еще, что в тот же день безумный человек ходил по различным церквям и пел в них свой *Requiem aeternam deo*. Его выгоняли и призывали к ответу, а он ладил все одно и то же: “Чем же еще являются эти церкви, если не могилами и надгробиями Бога?”» [1]

Позднее в той же книге у Ницше появляется еще одна идея, которая будет развернута в более поздних его философских работах: после смерти Бога его статую будут много веков показывать в пещере, где она будет отбрасывать на стену огромную, ужасную тень.

Да, Бог мертв. Но Ницше пророчествует, что, учитывая образ действий человечества, он будет еще несколько тысяч лет отбрасывать тень на мораль. Уничтожить эту тень, как и самого Бога, — серьезная работа для аргонавта духа [2].

Обе идеи взолагали тяжелое бремя на плечи рационалистов XIX века (таких, как Рэ), которые, убив Бога, не могли осознать последствий: невозможно сохранить этическое содержание христианства без его теологии. Рациональный материалист должен также решить проблему сопутствующего смерти Бога изменения морали. А последствия этого для человечества могли быть самыми значительными и притом катаст-

рофическими. *Incipit tragoedia*, пророчествовал Ницше в конце пассажа, «трагедия наступает».

А летом 1882 года открывался очередной Байрёйтский фестиваль. На нем должна была состояться премьера «Парсифаля» — оперы, при работе над которой Жюдит Готье узурпировала место музы, отобрав его у Козимы. Будучи одним из членов — основателей байрёйтского *Patronatsverein* (Общества покровителей), Ницше имел право купить билеты.

Лу очень хотела там побывать. Байрёйт стал современным Парнасом — модным местом, где великие и знаменитые люди Европы собирались в июле и августе.

«Парсифаль» — пересказ христианской легенды о Святом Граале — чаше, из которой Христос пил на Тайной вечере. Король Амфортас избран для поиска Грааля, но не достоин этой священной задачи. Он был тяжело ранен в бок копьем, пока его соблазняла колдунья Кундри. (В первом черновике Амфортас был ранен в гениталии, но впоследствии Вагнер решил разместить рану в соответствии с христианскими образцами.) Рана беспрерывно кровоточит. Кто среди рыцарей Грааля достоин остановить священную кровь? Парсифаль! Святой простец, который обрел мудрость благодаря христианскому смирению (эту линию сюжета Ницше, презиравший и глупость, и смирение, едва ли одобрял.) Ницше был уже знаком с либретто и понимал, что не хочет ехать в Байрёйт слушать оперу.

Теперь мы должны перенестись на пять лет назад, когда Ницше жил у Мальвиды на вилле Рубиначчи в Сорренто, а Вагнер отдыхал неподалеку. Именно в то время здоровье Ницше внушило Вагнеру такие опасения, что он впоследствии написал доктору Айзеру с просьбой выяснить, может ли быть причиной состояния Ницше чрезмерное увлечение мастурбацией. Элизабет в свое время сочинила легенду о том, что полный разрыв между ними произошел во время последней совместной прогулки в Сорренто, но, несмотря на охлаждение из-за интеллектуальных разногласий, разрыва все же не произошло, и на рубеже 1877 и 1878 годов Ницше отправил Вагнеру свою новую книгу «Человеческое, слишком человеческое», а Вагнер послал Ницше законченное либретто «Парсифаля». Посылки едва не пересеклись на почте. Ницше уподобил это рапирам, скрестившимся в воздухе.

Либретто не понравилось ему по многим причинам. «Впечатление от первого прочтения: скорее Лист, чем Вагнер, дух контрреформации. Для меня... все это чересчур ограничено христианской эпохой... ника-

кой плоти и чересчур много крови... Речь звучит как перевод с чужого языка»¹ [3].

Вагнеру «Человеческое, слишком человеческое» не понравилось в той же степени. Если Вагнер с возрастом становился более благочестивым, то Ницше мало-помалу освобождался от влияния «философов — тайных священников», в особенности от Шопенгауэра. Вагнер же оставался верным поклонником Шопенгауэра до самой смерти. Пути к интеллектуальному воссоединению не было.

За недели, предшествовавшие фестивалю 1882 года, на котором должна была состояться премьера «Парсифаля», Ницше изучил партитуру. Он нашел ее восхитительной. Байрёйтский волшебник не утратил магической силы. Ницше страстно желал услышать музыку, но гордость мешала ему приехать в Байрёйт без личного приглашения Вагнера. Он согласился бы приехать, только если бы его встретили и доставили в экипаже Вагнера в оперный театр — некогда они так приехали вместе на церемонию закладки первого камня. Он надеялся и ждал, но приглашения не последовало.

Во время подготовки фестиваля Лу наконец-то удалось избавиться от матери, которая вернулась в Санкт-Петербург — судя по всему, с некоторым облегчением. Перед отъездом она формально поручила опеку над своей блудной дочерью матери Рэ. Мать Рэ взяла Лу в роскошный загородный дом их семьи в Штиббе. Туда же приехал и Рэ. Желая безраздельно владеть вниманием Лу, он твердо заявил Ницше, что комнаты для него в огромном особняке не найдется.

Рэ и Лу называли друг друга детскими именами: она была его «маленькой улиточкой» (*Schneckli*), а он — ее «домиком» (*Hüsung*). Вместе они вели «гнездовой журнал» (совместный дневник), куда записывали впечатления от пребывания в «гнезде» — Штиббе. Мать Рэ называла Лу своей приемной дочерью. Но создается впечатление, что произносила она это сквозь зубы.

Ницше не собирался отдавать свои два билета в Байрёйт Лу и Рэ, чтобы они отправились на фестиваль вместе и без него. Он решил отдать билеты Лу и своей сестре Элизабет. Совместный опыт должен был создать между девушками отношения духовного сестринства, которые в дальнейшем могли углубиться и укрепиться. С этой целью он пригласил обеих приехать к нему после фестиваля в живописную деревушку Таутенбург под Дорнбургом. Рэ приглашение не касалось.

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

Пока он ожидал реализации этого великолепного плана, Лу писала ему соблазнительные письма из Штиббе. Она льстила ему, называя его и Рэ «двумя пророками прошлого и будущего»: «Рэ открывает решения богов, а вы разрушаете сумерки богов». Она откровенно писала, что книги, которые он ей послал, лучше всего читаются в постели, а не где-то еще. Его письма к ней постепенно теряют сдержанность. Он признавался, что в одиночестве часто произносит вслух ее имя — просто ради удовольствия еще раз его услышать.

Она согласилась приехать с Элизабет к нему в Таутенбург, и он был вне себя от радости.

«Таутенбург, 2 июля 1882 года

Как ярко небо над моей головой! Вчера днем у меня было ощущение, что настал мой день рождения. *Вы* прислали свое согласие — лучший подарок, который мне сейчас можно было преподнести; моя сестра прислала вишни; Тойбнер прислал гранки первых трех страниц *Die fröhliche Wissenschaft* [«Веселой науки»]; наконец, я как раз закончил последнюю часть рукописи, а с ней и работу шести последних лет (1876–1882) — всего периода моего свободного мышления... Дорогой друг, когда я думаю об этом, я поражаюсь и восхищаюсь и не понимаю, как мне все это *удалось*, — я полон гордости и торжества. Потому что это победа, полная победа — даже мое физическое здоровье восстановилось... сейчас мне часто говорят, что я выгляжу молодо как никогда. Здоровье не давало мне делать глупости — но теперь, что бы вы мне ни посоветовали, я сочту это *хорошим* советом и ничего не стану опасаться...

Искренне *ваш*, Ф. Н.».

Сообщая о хорошем здоровье, он выдавал желаемое за действительное. Заявление о молодом виде кажется тщеславной похвалой тридцатисемилетнего мужчины перед двадцатиоднолетней девушкой после того, как он перехитрил Рэ в борьбе за доминирование в философско-эротическом треугольнике.

Элизабет и Лу встретились в Лейпциге. Каждая стремилась произвести на другую хорошее впечатление. Добравшись до Байрёйта, они уже перешли на «ты». Элизабет заказала для обеих комнаты в одном и том же доме. От интимности было не скрыться.

Каждый вечер в Ванфриде были приемы на 200–300 человек, а в промежутках — вечеринки. Элизабет нравилось считать себя доверенным лицом Козимы, но ей твердо дали понять, что полезность ее в качестве

экономки не дает ей права претендовать на внимание Козимы в высшем обществе. Собственно, никто особенно не интересовался сестрой Ницше.

«Я пока еще видела немногих знакомых, — невесело писала она матери, — но за обедом было очень интересно, хотя и очень дорого. Мы решили шутки ради завтра пообедать за вегетарианским столом» [4].

Напротив, Лу пользовалась всеобщим вниманием. Молодая, прекрасная, аристократичная, жизнерадостная, богатая космополитка, уверенная в себе и раскованная, она считалась одним из «свободных умов» школы Мальвиды. Лу быстро дала понять, что ее свободный ум не только на словах разделял опасную доктрину — она предполагала действительно жить в соответствии с ней. Байрёйт поразился тому, как она открыто заявляла о планах прожить следующую зиму без дуэньи, в обществе Рэ и Ницше, обучаясь и философствуя. Она показывала желающим фотографию, на которой заносит хлыст над спинами обоих своих ручных философов. Это вызвало бурное обсуждение на фестивале, но скандал на этом не закончился. Каким-то образом стало известно содержание переписки Вагнера с врачом Ницше пятилетней давности. Ницше — онанист! Утечка, вероятно, произошла из-за того, что Вагнер, занятой человек, привыкший давать разнообразные поручения, часть переписки с доктором Айзером вел через посредство Ганса фон Вольцогена, издателя *Bayreuther Blätter* [5]. Фон Вольцоген, страстный вагнерианец и не менее страстный антисемит, терпеть не мог Ницше, которого считал предателем маэстро, отрекшимся от домашнего философа (Шопенгауэра) и святыни (Байрёйта) и связавшимся с беспринципной особой (Лу) и «иудеем» сомнительной сексуальной ориентации (Рэ). Сам же Ницше, в свою очередь, никогда не скрывал, что считает фон Вольцогена интеллектуальной посредственностью.

Духовные сестринские отношения между Лу и Элизабет как-то не развивались. Лу разрушала и свое доброе имя, и репутацию Ницше, показывая всем комичную фотографию. Лу была испорченной и избалованной. Она кокетничала со всеми знакомыми мужчинами. А секрет ее чувственной фигуры, несомненно, крылся в «накладной груди».

Кто знает, насколько уязвлена должна была быть Элизабет, когда прежние друзья окатывали ее презрением из-за отвращения или стыда перед якобы имевшимися у ее брата сексуальными привычками. Лу, которую всегда привечали в Ванфриде, рассказывает, что, когда при Вагнере упоминали Ницше, композитор впадал в неистовство и выходил из комнаты, требуя, чтобы это имя не произносилось в его присутствии. Такая реакция может свидетельствовать о чувстве вины.

Обладавшая безошибочным чутьем на интересных людей, Лу затеяла оживленный флирт с Паулем фон Жуковским — занятым тридцатисемилетним художником-геометристом, разрабатывавшим декорации для «Парсифаля». Как и она сама, он был наполовину немцем и наполовину русским. У них вообще было много общего, в том числе интерес к спиритизму. Этот интерес значительно усиливало убеждение Лу в том, что ее жизненный путь определяется различными полтергейстами, которые следуют за ней и выстукивают ей таинственные сообщения.

Своим особым положением в Ванфриде фон Жуковский был обязан поразительно безвкусной картине, изображающей детей Вагнера в виде Святого семейства, которую он написал в предыдущем году. Зигфрид играл роль Иисуса, девочки были Марией и ангелами, а сам художник стал Иосифом. Когда Бёклин отказался от создания декораций к «Парсифалю», назначение фон Жуковского последовало очень быстро. Его декорации в полной мере удовлетворили страсть Вагнера к шелкам, атласу, тысячам цветов и розовому освещению. Декорации были признаны настолько успешными, что их использовали в Байрёйте более чем на двух сотнях последующих постановок оперы, пока в 1934 году они наконец не развалились. Фон Жуковский знал тайну писем. Он ли рассказал об этом Лу или она услышала это где-то еще, мы не знаем, но, учитывая обстоятельства, вряд ли слухи избегли ее ушей.

Еще одним легким трофеем Лу стал Генрих фон Штайн. Именно он вместо Ницше получил должность гувернера юного Зигфрида. Будучи ревностным поклонником Шопенгауэра (иначе он не получил бы назначения), он изначально расходился с Лу по философским вопросам, но эти различия так их сблизили, что в итоге фон Штайн пригласил ее побывать у него в Галле.

Вообще вся неделя в Байрёйте оказалась прекрасной для Лу и разочаровывающей для Элизабет. Гнев, фрустрацию и ревность к Лу сестра Ницше излила в своей единственной новелле [6]. Герои узнавались слишком легко: Лу — польская «г-жа фон Рамштайн», с невероятно тонкой талией и высокой грудью, явно накладной. У нее широко раскрытые глаза, кудрявые волосы и желтоватый цвет лица. Полные красные губы ее хищного рта всегда зовуще приоткрыты. Несмотря на все это, она чертовски привлекательна для мужчин. Это привлекательное уродство очаровывает Георга, героя новеллы, в котором легко опознать Ницше. Невинный и благородный Георг верит приятным речам госпожи фон Рамштайн о любви, философии и свободном мышлении. Он и понятия

не имеет, что предательница уже заводи́ла точно такие же речи и бросала такие же любящие взгляды на «школьного учителя грамматики» (Рэ). К счастью, Георг все успевает понять вовремя. Он устраивает свое счастье с Норой — хорошей девушкой бледной саксонской наружности и с мягким, покладистым характером (конечно, это победоносный портрет самой писательницы).

Новелла, безусловно, не выдающаяся, но нужно сделать скидку на то, что гнев, которым руководствовалась Элизабет во время ее написания, был отчасти оправдан: все время в Байрёйте Лу держала Рэ в курсе происходящего. Он отчаянно ревновал к Ницше и фон Жуковскому. Он предупреждал, что без зазрения совести способен лгать и предавать и Ницше, и любого другого мужчину, который ее возжелает. «Вы узнаете, что я способен на самую смехотворную ревность среди всех ваших знакомых» [7].

Лу была не особенно чувствительна к воздействию музыки, но Ницше очень хотел, чтобы она разделяла его пристрастия. Он настоял, чтобы она осталась и на второе представление «Парсифаля». Ее это вполне устраивало, но еще до дня спектакля Элизабет решила, что нескромность поведения Лу слишком ей надоела. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стал эпизод, когда Лу потребовала от фон Жуковского встать на колени и поправить ей подол платья. Элизабет вышла из себя, отправила Ницше телеграмму и уехала в Таутенбург. Ницше поспешил встретить ее на станции. Он надеялся на восторженные отзывы о Лу, но столкнулся лишь с потоком жалоб.

Фон Жуковский и Генрих фон Штайн были против того, чтобы Лу ехала к Ницше и Элизабет в Таутенбург. Они настаивали, чтобы она оставалась в Байрёйте. Как, кстати, и Мальвида, которая видела в предполагаемом проживании втроем сплошные проблемы. Лу осталась в Байрёйте, написав Ницше, что заболела. Он ответил письмом с пожеланиями скорейшего выздоровления. Поскольку он не упоминал ни об Элизабет, ни о других возможных неприятностях, Лу посчитала безопасным сбросить маску болезни и отправила ему очаровательное письмо, в котором выражала искреннюю благодарность Элизабет за заботу во время пребывания в Байрёйте. Ничто не должно было встать на пути ее предполагаемого трехнедельного философского ученичества.

Элизабет, в свою очередь, должна была продолжать придерживаться плана. Если бы она отказалась, это сорвало бы последний фиговый листок репутации с имени Ницше, полностью ее разрушив.

Ницше, терзаемый противоречиями, просто умолял: «Приезжайте. Я слишком страдаю оттого, что заставляю страдать вас. Вместе мы лучше это перенесем» [8].

6 или 7 августа Лу приехала и была встречена Элизабет. Так вышло, что в купе из Байрёйта Лу ехала с Бернхардом Фёрстером — школьным учителем, за которого Элизабет планировала выйти замуж.

Ревность Элизабет усугубилась — теперь, получается, Лу крада и ее возлюбленного, как раньше украла ее брата. Последовала примечательная сцена. Как Лу может флиртовать с первым встречным? Как она может постоянно втапывать тем самым в грязь честную фамилию Ницше? Лу «безумно захохотала» и ответила: «Кто первым связал наши планы обучения с такими низменными намерениями? Кто предложил дружбу разумов, не в силах дать мне что-то большее? Кто первым задумался о сожительстве? Ваш благородный, чистый в помыслах брат? Мужчинам нужно лишь одно — и это не дружба разумов!»

Элизабет с достоинством ответила, что, возможно, среди каких-то русских это и принято, но в связи с ее чистейшей души братом это звучит смехотворно. Она потребовала, чтобы Лу прекратила этот недостойный разговор. Лу уверила ее, что с Рэ обычно говорит куда более недостойно, и прибавила, что Ницше предлагал: раз уж он не может связать ее узами брака, было бы лучше жить вместе в «диком браке» (*wilde Ehe*). Но если Элизабет думает, что у нее планы на Ницше, то горько ошибается. Лу спокойно может проспать всю ночь в одной с ним комнате и не почувствовать ни малейшего возбуждения. Элизабет была в таком ужасе от этого грубого замечания, что ее вырвало. Ей приложили компрессы [9].

Ницше разместил обеих дам в доме викария в Таутенбурге. Сам же он демонстративно поселился в ближайшем крестьянском доме. Следующим утром после ссоры они встретились втроем. Ницше предъявил Лу обвинения в изменах, о которых ему рассказала Элизабет. Но Лу попросту все отрицала. Ничего не было. Обвинения Элизабет совершенно беспочвенны. Элизабет утверждает, что Ницше попросил Лу удалиться, но та сказалась больной и отправилась в постель.

Чтобы продемонстрировать свое превосходство, Элизабет работала для себя программу увлекательных прогулок по прекрасным лесам, где «чудесные резвящиеся белки» помогли ей восстановить душевное равновесие. Тем временем Ницше носился взад-вперед по расшатанной деревянной лестнице дома викария, и ее скрип вызывал у Лу мысли о полтергейсте. В комнату она его не допускала, так что он подсовывал

ей под дверь записки. В конце концов он был допущен до утешения своей «шаловливой» Лу и получил право поцеловать ей руку. Вскоре она уже достаточно оправилась и встала с постели. В последующие три недели Элизабет сновала вокруг, дулась, восторгалась белками и жаловалась корреспондентам, что все ее жертвы высмеиваются, брат находит ее жалкой, а Лу заняла ее место. Эти же двое ходили на долгие бодрящие прогулки в тихом полумраке Таутенбургского леса. Он принимал двойные меры предосторожности — брал зонтик и надевал зеленый козырек, она же была в шляпе и красном шарфе. Когда они возвращались в его комнату в крестьянском доме, она обматывала шарф вокруг абажура лампы, чтобы смягчить ее свет ради его бедных глаз. Они говорили до полуночи и даже дольше. Квартирный хозяин Ницше очень злился, поскольку на нем лежала обязанность сопровождать Лу до дома викария. А ведь на рассвете надо было доить коров.

Оба описывали, как говорили по десять часов кряду. Ницше все больше убеждался, что нашел свою вторую половину, свою подлинную сестру. Отличались они только литературным стилем. Лу все еще писала в избыточной манере восторженной школьницы, в то время как стиль Ницше сочетал точность и краткость с шокирующей, вакхической жизненной силой. Он справедливо считал себя одним из трех величайших стилистов в истории немецкого языка наряду с Лютером и Гёте.

Он сочинил для нее стилистическое руководство:

Стиль должен быть живым.

Точно знайте, что вы хотите сказать, прежде чем начать писать.

Стиль должен соответствовать читателю.

Длинные предложения — признак аффектации. Длинные предложения должны использовать только люди, для которых естественно подолгу задерживать дыхание.

«Не вполне прилично и умно лишать своего читателя наиболее очевидных возражений. Очень прилично и *очень умно* оставлять их читателю, дабы он самостоятельно высказал квинтэссенцию нашей мудрости» [10].

Рассказывая об их диалогах за эти три недели в Таутенбурге, Лу пишет, что они почти все время разговаривали только о Боге. Она заключает, что безбожие сделало Ницше еще более религиозным. Боль от утраты Бога руководила его философией. Все его интеллектуальное развитие было вызвано потерей веры и эмоциями от смерти Бога. Желание найти какую-то замену потерянному Богу полностью им овладело.

Он говорил о дарвинизме. Раньше, объяснял он, чувство величия в человеке обуславливалось его божественной природой. Теперь же эта возможность закрыта, поскольку «у ее ворот, в числе других ужасных животных, стоит обезьяна и злобно скалит зубы, словно говоря: ни шагу больше!»! И поэтому человечество беспрестанно ищет новые пути и возможности для доказательства своего величия [11]. Человек ценит человеческое величие как защиту от животного начала. Цель этих поисков — перестать считать себя животным. Или хотя бы быть животным высшим — диалектическим и разумным [12].

Возможно, излишний интеллектуализм человека мешает ему обрести счастье. Возможно даже, что человечество пострадает от своей тяги к знаниям. Но кто бы не предпочел падение человечества упадку знаний? [13]

Он объяснял ей, что хочет исследовать недостатки антропоцентризма и указать на них. Природные явления не следует рассматривать лишь в человеческой перспективе — это слишком близорукая и узкая точка зрения. Поэтому он решил, что посвятит ближайшие несколько лет — хотя бы даже и десять — изучению естественных наук в университете, например в Вене или Париже. Теперь его философские заключения должны были основываться на эмпирических наблюдениях и экспериментах.

Говорили они и о вечном возвращении. Он сказал ей, что хочет научиться видеть прекрасное в том, что необходимо. В «Веселой науке» Ницше пишет:

«Я хочу все больше учиться смотреть на необходимое в вещах, как на прекрасное: так, буду я одним из тех, кто делает вещи прекрасными. *Amor fati*: пусть это будет отныне моей любовью! Я не хочу вести никакой войны против безобразного. Я не хочу обвинять, я не хочу даже обвинителей. *Отводить взор* — таково да будет мое единственное отрицание! А во всем вместе взятом я хочу однажды быть только утвердителем!» [14]

Чтобы возлюбить судьбу и принять ее, нужно было возлюбить и принять доктрину вечного возвращения. Это не означало, как ехидно настаивал он, примириться с суеверной астрологической пассивностью или лежащим восточным фатализмом. Нет — если человек познает себя и станет самим собой, он должен будет принять судьбу. Если у человека есть характер, у него есть и типичный опыт, постоянно повторяющийся и возвращающийся. Если жизнь — это длинная линия, вытянутая из

прошлого в будущее, и человек стоит на какой-то точке этой линии, то он сам ответствен за это. Это значит, что сознательный человек должен ответить согласием на этот момент и быть готовым к тому, что в колесе времени он будет повторяться снова и снова. Человек должен быть легок на ногу; он должен танцевать. Жизнь не проста. Если человек когда-нибудь решится создать архитектурное повторение природы своей души, он должен взять в качестве модели лабиринт. Чтобы породить танцующую звезду, человек должен обратиться к хаосу внутри себя. Необходимы непоследовательность, постоянные изменения своего мнения и блуждания в темноте. Неизменное мнение — мертвое мнение, оно стоит меньше какого-нибудь насекомого; его надо бросить на землю и тщательно затоптать.

Наблюдения Лу относительно этих трех недель, проведенных вместе, очень ценны, хотя и нужно делать скидку на то, что записаны они через двенадцать лет. Никто больше не проводил целых трех недель, проходя обучение его философии. Да и Лу к концу срока понимала, что больше уже не вынесет. 26 августа Ницше проводил ее на вокзал. На прощание Лу подарила ему стихотворение «Молитва к жизни» (*Gebet an das Leben*). Он положил его на музыку и выразил надежду, что это один из способов остаться вдвоем в памяти потомства — впрочем, есть и другие.

Проявив больше возбуждения, чем здравого смысла, Ницше поручил Луизе Отт — женщине, в которую он влюбился во время первого Байрёйтского фестиваля, — подыскать всей троице жилье в Париже. Он представлял себе, что все они сойдутся в Париже и будут слушать, как Луиза своим соловьиным голосом поет «Молитву к жизни» Лу, переложенную им на музыку.

Лу бежала из Таутенбурга прямо в Штиббе к Рэ. Все время она держала его в курсе дела, внося добавления в «гнездовой журнал». В заключение она писала, что заглянула в субъективную бездну Ницше и нашла там христианский религиозный мистицизм, переименованный в дионисийство и придуманный для прикрытия телесной похоти. «Как христианский (и любой другой) мистицизм достигает грубой религиозной чувственности в своих высших проявлениях, так самая идеальная форма любви всегда возвращается к чувственности». Она предполагала, что это может быть своеобразной мстью духовной стороне человека со стороны его животной природы и что именно это отвращало ее от Ницше в пользу Рэ, который не представлял сексуальной угрозы.

В воскресенье после отъезда Лу Ницше сел на поезд и уехал к матери в Наумбург. Элизабет отказалась составить ему компанию, заявив, что

глаза у нее так опухли от слез, что она не хочет огорчать мать своим видом.

Он стал играть роль преданного сына. Все было спокойно, пока не пришло письмо от Элизабет, где рассказывалось все. В результате вспыхнула громкая ссора, в ходе которой Франциска назвала его лжецом и трусом. Он опозорил имя своего отца; он обесчестил его могилу. Эти слова вызвали у него первобытный страх материнского проклятия. Он так и не забыл их.

Он бежал в Лейпциг, с горечью размышляя над тем, что все еще страдает от «оков» — эмоциональной привязанности, которая мешает человеку стать самим собой. «Сперва нужно освободиться от своих цепей, но в итоге нужно освободиться и от этого своего освобождения! Каждому из нас, пусть и самыми разными путями, предстоит потрудиться над нажитой в цепях болезнью, даже после того, как он разбил эти цепи»¹ [15].

Встретив Лу и Рэ в Лейпциге, он организовал посещение спиритического сеанса. Оба они очень интересовались подобными вещами. После сеанса он планировал поразить их впечатляющим опровержением спиритической чуши. Но медиум оказался настолько некомпетентен, что метать хорошо отрепетированные громы и молнии было просто не в кого.

Следующие несколько недель троица провела в полной апатии. Они сходили на несколько концертов, но большую часть времени сидели и сочиняли блестящие афоризмы. Ницше продолжал корректировать и редактировать стиль Лу, который, впрочем, не терял — и так и не потерял — склонности к расплывчатой гиперболизации и излишней цветистости. В заметках на полях ее рукописей он теперь храбро обращался к ней, используя самолично придуманное прозвище Мэрхен (Märchen — «сказка» или же «сочинительница небылиц»).

Все трое составляли афоризмы, описывающие друг друга. Афоризм о Лу гласил: «Женщина не умирает от любви, но гаснет от ее жажды». О Рэ было написано следующее: «Самая сильная боль — ненависть к себе». О Ницше: «Слабость Ницше — в чрезмерной уязвимости». О всей троице: «Лучше всего разделить двух друзей может третий» [16].

Шопенгауэр писал о республике гениев, которая образует своеобразный мост над бурным потоком становления, но никто из них даже не пытался этот мост перейти. Никто не действовал честно, не

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

говорил открыто. «Становление» каждого выбивало почву из-под ног двоих других, и все они только глубже погружались в притворство. Несвятая троица превратилась в бесчестный треугольник, в котором никто не вел себя как подлинно свободный ум.

В том году Ницше уже говорил Овербекам, что намерен больше выходить в мир и чаще бывать с людьми. Однако в результате он только убедился в том, что даже такое малое объединение идеалистов, как троица предположительно свободных умов, приводит лишь к тому, что его участников сковывают новые цепи из чувств, неприязни и обязательств. Любые привязанности только увеличивают эту скованность.

5 ноября Лу и Рэ просто исчезли. Ницше не знал, что случилось и почему это произошло. Он бродил вокруг почтового ящика, не понимая, что делать дальше, но никаких писем не приходило. Через десять дней он сам сорвался в Базель, где обещал быть на сорокапятилетию своего дорогого друга Франца Овербека. Но и тут центром его мира стал почтовый ящик. Он постоянно спрашивал Иду Овербек: не приходили ли письма? Не могла ли она их куда-то не туда положить? Может быть, что-то потерялось? Или она что-то от него скрывает? Когда настало время его отъезда, ее поразило отчаяние, сквозившее в его прощальных словах: «Я еду в полное одиночество».

Через несколько недель коварный Рэ отправил Ницше открытку с извинениями, лицемерно упрекая его за то, что он их оставил. Всегда готовый простить, Ницше ответил Лу — эта «высокая душа» всегда была выше всяких обвинений и упреков. Он желал ей продолжать «подметать небеса», хотя и чувствовал, что теперь вся его достойная жизнь поставлена под сомнение ее поведением.

С ноября по февраль он написал ей множество писем. Некоторые он отправил, другие остались лишь в черновиках. В разное время письма были полны любви, ненависти, унижений, обвинений, прощений, упреков и оскорблений. У нее была «хищная жажда удовольствий, как у кошки». Сама она писала в ответ в стиле мстительной школьницы. Она была просто чудовищем — мозг сочетался лишь с зачатками души. Учитывая ее энергию, волю и оригинальность мышления, можно было предположить, что ей предстояло нечто великое; учитывая же ее мораль, она должна была закончить свои дни в тюрьме или сумасшедшем доме.

Он никогда больше не видел ни Лу, ни Рэ. Они не поехали в Париж, как он думал. Они спрятались от него на несколько дней в Лейпциге, а потом отправились в Берлин. Здесь они сняли апартаменты, спроектированные именно так, как он представлял для «Святой Троицы»:

две спальни и гостиная между ними. Лу учредила литературный салон в подражание Мальвиде. Литературного значения он не имел, зато был полон сексуального напряжения. Рэ продолжал бороться со своим пристрастием к азартным играм и опасным встречам с молодыми людьми на улицах после полуночи. К Лу в салоне обращались «ваше превосходительство». Рэ же звали «фрейлиной».

С собой в Берлин Лу взяла свой экземпляр «Человеческого, слишком человеческого», на титульном листе которого Ницше написал ей стихотворение:

— Подруги! — говорил Колумб, — зазря
 Вы гемуэцам сердце доверяли!
 Их взгляд нацелен в дальние моря,
 Дороже дев им — голубые дали.
 И мне всего дороже — странствий даль,
 А говор Генуи — всё тише и всё глуше.
 Холодным сердце будь! Рука, держи штурвал!
 Пред нами море — берег? — это суша?
 Мы на ногах уверенно стоим
 И не отступим в буре и ненастье,
 Приветствуют издалика огни
 Победы, смерти, славы или счастья¹ [17].

¹ Пер. А. Равиковича.

Мой отец Вагнер умер, мой сын Заратустра родился

Что осталось бы созидать, если бы боги — были здесь!

Ессе Ното. Так говорил Заратустра, 8

В ноябре 1882 года Ницше уехал из Базеля в Геную — родной город Колумба, отправившегося по неисследованным океанам в поисках совершенно нового мира. Интересно, что Колумб понятия не имел, где найдет землю. Как, кстати, и Ницше, который делал броские заявления о поездке в Индию по следам Александра и Диониса. Учитывая его хроническую морскую болезнь, Ницше говорил просто о метафорическом путешествии к *terra incognita* внутреннего мира человека.

Его здоровье за зиму 1882/83 года сильно ухудшилось. Этому способствовало и то, что он в больших дозах принимал опиум, чтобы избавиться от бессонницы и приглушить эмоциональную боль «последней мучительной агонии» от потери Лу. В середине сентября он в поисках внимания написал письмо Лу и Рэ сразу, рассказывая, что принял огромную дозу опиума: «...Даже если я однажды, пойдя на поводу у аффекта, случайно лишу себя жизни — даже и тут не о чем особенно будет сожалеть...»¹ [1]

Письма с упоминанием передозировки опиума и возможного самоубийства были также отправлены Овербеку и Петеру Гасту: «Дуло

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

пистолета для меня сейчас — источник почти что приятных мыслей»¹ и т. д. [2] Его старые друзья давно знали, что возможность самоубийства всегда стоило рассматривать всерьез и что никакое вмешательство не сможет оказать влияния на исход.

Приехав в Геную, этот новый Колумб обнаружил, что пансион, который так ему нравился, переполнен, поэтому он устроился в Рапалло, сняв небольшой дешевый номер на постоялом дворе. Однако на его творческое воображение это никак не повлияло. Аргонавт духа может считать себя Колумбом, отправляющимся в Америку, или Дионисом и Александром, путешествующими в Индию, и из Рапалло — этот городок заместил в его воображении и Геную, и Древнюю Грецию.

«Вообразите себе остров *греческого* архипелага с прихотливо разбросанными по нему лесами и горами, который по воле случая причалил однажды к материку и уже не может вернуться назад. Слева от меня открывается Генуэзский залив с маяком. В нем есть что-то греческое, несомненно; с другой стороны, нечто пиратское, внезапное, скрытое, опасное... Никогда я еще не проводил столько времени просто лежа на земле, в настоящей робинзоновской оторванности и забвении» [3]. Постоялый двор был чистым, но кухня — ужасной. Ему так и не подали ни куска приличного мяса.

Он пробыл в Рапалло два месяца, и тут мать прислала ему рождественское письмо. Оно было настолько обильно приправлено рассуждениями о прелестях Наумбурга, что он набрался смелости и ответил, что все следующие письма будет возвращать нераспечатанными. Пора избавиться от цепей. Да и Элизабет это тоже касалось. Он написал друзьям, чтобы те не открывали его новый адрес его родственникам. «Я не могу уже их больше выносить. Надо было порвать с ними раньше!»

В Рождество он остался один. Возможно, его воодушевил день символического рождения и перерождения, и он написал свое первое письмо в будущее. Оно было адресовано Овербеку. «Мое недоверие сейчас очень велико, — признавался он. — Если мне не удастся алхимический фокус, как превратить все это дерьмо в золото, я пропал. Тут-то мне и предоставился самый удобный случай доказать, что для меня “все переживания полезны, все дни святы и все люди божественны”!!!!» [4]

¹ Эта и следующая цитаты, а также отрывок из письма Овербеку — пер. И. А. Эбаноидзе.

Этот алхимический фокус мог осуществить только одинокий аргонавт, готовый разбиться о вечность. В «Ессе Номо» Ницше писал: «У одиночества семь шкур; ничто не проникает сквозь них...» [5] В результате появилась книга «Так говорил Заратустра» — экстатическая, поэтическая, пророческая духовная одиссея по миру современной морали. Подобно путешествиям Гулливера, Синдбада или Одиссея, это развернутая притча, стремящаяся рассмотреть проблемы своего времени. Древнеперсидский пророк Заратустра сходит с горы после осознания смерти Бога, чтобы указать: если человечество может восстать, то мораль может существовать и в мире после Бога, если найдутся честность, последовательность и храбрость, чтобы отскрести стены пещеры, на которых все еще видны следы надписей о вере в сверхъестественное.

«Так говорил Заратустра» — не первое появление персидского пророка в произведениях Ницше. Предыдущая его книга, «Веселая наука», заканчивалась длинным афористичным абзацем под названием *Incipit tragoedia* («Начинается трагедия») [6], где, в частности, фигурирует персонаж Заратустра, до того в книге вообще не упомянутый. «Когда Заратустре исполнилось тридцать лет, покинул он свою родину и озеро Урми и пошел в горы», — начинался последний раздел «Веселой науки». Что еще за озеро Урми? О каких горах речь? Кто такой Заратустра? «Здесь, — продолжается повествование, — наслаждался он своим духом и своим одиночеством и в течение десяти лет не утомлялся счастьем своим. Но наконец изменилось сердце его — и однажды утром поднялся он с зарею, встал перед солнцем и так говорил к нему: “Ты, великое светило! К чему свелось бы твое счастье, если б не было у тебя тех, кому ты светишь! Десять лет восходило ты сюда к моей пещере: ты пресытился бы своим светом и этой дорогою, если б не было меня, моего орла и моей змеи; но мы каждое утро поджидали тебя, принимали от тебя преизбыток твой и благословляли тебя за это. Взгляни! Я пресытился своей мудростью, как пчела, собравшая слишком много меду; мне нужны руки, простертые ко мне; я хотел бы одарять и наделять до тех пор, пока мудрые среди людей не стали бы опять радоваться безумству своему, а бедные — богатству своему. Для этого я должен спуститься вниз: как делаешь ты каждый вечер, окунаясь в море и неся свет свой на другую сторону мира, ты, богатейшее светило! — я должен, подобно тебе, *закатиться*, как называют это люди, к которым хочу я спуститься”».

Этот «спуск» относится к собственному «спуску» Ницше во время написания «Веселой науки», когда он с радостью сошел с высот одиночества, чтобы поделиться своими многочисленными идеями с Лу, через

которую его «мед» (то есть мудрость) и должен был распространяться. Когда он писал эти строки, то думал еще, что обрел свою первую ученицу.

Абзац завершался так: «“Так благослови же меня, ты, спокойное око, без зависти взирающее даже на чрезмерно большое счастье! Благослови чашу, готовую пролиться, чтобы золотистая влага текла из нее и несла всюду отблеск твоей отрады! Взгляни! Эта чаша хочет опять стать пустою, и Заратустра хочет опять стать человеком”. — Так начался закат Заратустры».

На этом заканчивалась «Веселая наука» в издании 1882 года.

В современном виде книга включает в себя правки 1887 года — новое предисловие, пятый раздел, в котором содержится еще 39 афоризмов, и довольно много стихотворений. Но когда в 1883 году он писал первую часть «Так говорил Заратустра», книга начиналась ровно на том месте, где заканчивалась вышедшая годом ранее «Веселая наука». Между этими двумя книгами он потерял Лу, а в ее лице — избранную ученицу. За неимением лучшего, ее роль посредника в передаче его посмертного наследия пришлось отдать Заратустре. Ницше часто называет Заратустру своим сыном (но не в этой книге).

Почему Ницше выбрал Заратустру? Персидский пророк Заратустра, иногда именуемый также Зороастром, вероятно, жил где-то между XII и VI веками до Рождества Христова. Священный текст Заратустры «Авеста» [7] объясняет, что боги, которым поклонялись древние персы, были злыми. Тем самым Заратустра нашел ключ к проблеме зла, которая не получила разрешения в иудаизме, христианстве и исламе, где всемогущие боги были также и выразителями абсолютного добра. В зороастризме существует бог света и блага — Ахурамазда, или Ормузд. Он находится в постоянном конфликте с богом тьмы и зла — Ангра-Майнью, или Ариманом, и его *дэвами*. В конце времен Ахурамазда одержит окончательную победу, но до тех пор он не контролирует события в мире. Тем самым зороастризм, в отличие от трех великих авраамических религий, избегает парадокса существования всемогущего Бога, который несет ответ за то, что многим людям кажется ненужным злом [8]. Десять лет одиночества Заратустры в горах в возрасте с тридцати до сорока лет, возможно, соответствуют послебазельскому периоду свободного мышления Ницше, проведенному преимущественно в Альпах. Заратустре сорок лет, как и его автору Ницше, когда он спускается, чтобы быть «среди людей». Он приносит с собой огонь, подобно Прометею, который дал людям огонь, преобразовав культуры и цивилизации, и Святому Духу, который ниспослал языки пламени в Пятидесятницу.

Огонь дает избранным (просветленным) дар «говорить языками», то есть общепонятными словами. Это синоним мудрости и откровения. Огонь Заратустры обладает особой возможностью придавать значение бессмысленности жизни после смерти Бога. Уста пророка (благодаря Ницше) впервые заговорят о нигилизме, отчаянии и снижении морали, которые достигли критической отметки в условиях материализма XIX века.

Все боги мертвы, утверждает Заратустра. Теперь нам нужен сверхчеловек. Я учу вас о сверхчеловеке. «Человек есть нечто, что должно превзойти» [9].

Что есть человек? Помесь растения и призрака. Что есть сверхчеловек? Смысл земли, который остается верным земле. Он не верит тем, кто сулит надежду за земными пределами: все они презирают жизнь и умирают, отравленные собственным ядом.

Сверхчеловек знает: все, что кажется случайным, жестоким или катастрофическим, — это не наказание, ниспосланное грешнику каким-то вечным пауком-разумом. Нет никакого паука-разума и его паутины. Жизнь — это место танцев для божественных случайностей [10]. Смысл жизни в том, чтобы сказать «да» этим божественным случайностям.

Заратустра учит селян, что человек есть мост, а не цель. В этом слава человека. Человек стоит между животным и сверхчеловеком, как канат, натянутый над бездной.

Услышав это, от толпы отделяется первый ученик Заратустры — канатный плясун, который пытается пройти над бездной по реальному канату. Какой-то шут вскакивает на канат, прыгает через плясуна и толкает его — тот падает на землю и умирает. Заратустра уносит тело своего первого ученика, канатного плясуна, чтобы похоронить его. Толпа высмеивает его. Однако он все равно показывает им радужный мост, который ведет не к Вальхалле, дому богов, как считал Вагнер, но к сверхчеловеческому состоянию.

Он дарует им восемнадцать заповедей блаженства. Это не жесткие требования — они окутаны мистической дымкой. Первая гласит: «Я люблю тех, кто не умеет жить иначе, как чтобы погибнуть, ибо идут они по мосту». Последняя: «Я люблю всех тех, кто являются тяжелыми каплями, падающими одна за другой из темной тучи, нависшей над человеком: молния приближается, возвещают они и гибнут, как провозвестники» [11].

Наступает полдень, и он проводит время со своими животными. Орел — «самое гордое животное, какое есть под солнцем», а змея, об-

вившая своими кольцами шею орла, — «животное самое умное, какое есть под солнцем». Под орлом Ницше часто понимал самого себя, а под змеей — Лу (слово «змея» женского рода, и он использует одно и то же слово *kliigste*, описывая мудрость Лу и мудрость змеи). Итак, вдвоем эти животные значили для него очень много. Они вызывают в памяти множество символов, в том числе роковое предзнаменование, провозгласившее падение Трои (которое может, в свою очередь, символизировать падение любой доктрины или цивилизации), когда Аполлон посредством змеи проклял Кассандру, наделенную, как и Ницше, даром предвидения будущего. Проклятие Кассандры, как и самого Ницше, состояло в том, что ее словам и ее предсказаниям никто не верил.

Ницше отказывается от сквозного сюжета и предлагает двадцать две афористические речи, посвященные самым разным темам — личной добродетели, предпосылкам преступления, достойной смерти. Вот полный список:

- О трех превращениях
- О кафедрах добродетели
- О потусторонниках
- О презирующих тело
- О радостях и страстях
- О бледном преступнике
- О чтении и письме
- О дереве на горе
- О проповедниках смерти
- О войне и воинах
- О новом кумире
- О базарных мухах
- О целомудрии
- О друге
- О тысяче и одной цели
- О любви к ближнему
- О пути созидającego
- О старых и молодых бабенках
- Об укусе змеи
- О ребенке и браке
- О свободной смерти
- О дарящей добродетели

Эти речи содержат идеи Ницше по соответствующим вопросам, изложенные архаичным, библейским языком его *alter ego* Заратустры.

Учитывая его недавний опыт, неудивительно, что женщины подвергаются очень суровой критике, что резко контрастирует с его пронизательным пониманием женской души в «Веселой науке». Разве не лучше попасть в руки убийцы, чем к распутной женщине? — спрашивает он. И знаменитое: «Ты идешь к женщинам? Не забудь плетку!» [12]

Раздел «О свободной смерти», вероятно, самый революционный для своего времени. Христианство учит, что добровольно лишиться себя жизни — непростительный грех. Самоубийц хоронили в неосвященной земле за стенами кладбища, что символизировало вечное изгнание их душ из рая. Но Ницше предлагает возможность добровольной эвтаназии для тех, кто страдает от невыносимой боли, тех, кто чувствует, что качество их жизни упало, или тех, кто просто считает, что их час настал. Он предлагает позволить им добровольно свести счеты с жизнью и не считать это преступлением, достойным вечного проклятия.

В каждой из двадцати двух речей моделируется честная и искренняя жизнь в соответствии с идеалом сверхчеловека — нерелигиозного, независимого, дисциплинированного и созидającego. Каждая заканчивается словами «Так говорил Заратустра». Книга завершается на оптимистической, восторженной и, что весьма характерно, малопонятной ноте:

«Великий полдень — когда человек стоит посреди своего пути между животным и сверхчеловеком и празднует свой путь к закату как свою высушенную надежду: ибо это есть путь к новому утру.

И тогда заходящий сам благословит себя за то, что был он переходящий; и солнце его познания будет стоять у него на полдне.

“Умерли все боги; теперь мы хотим, чтобы жил сверхчеловек” — такова должна быть в великий полдень наша последняя воля!

Так говорил Заратустра».

Это очень короткая книга — около сотни страниц. Ее фразы поэтичны и гипнотически повторяются, они кратки и динамичны. Ницше говорил, что написал книгу — или она написала его — за десять дней экстатического вдохновения и откровения. На самом же деле, вероятно, ему потребовалось на это несколько больше времени — около месяца.

14 февраля 1883 года он отправил книгу своему издателю Шмайцнеру, назвав ее в приложенном письме «пятым евангелием». Чтобы послать почтовое отправление, он поехал из Рапалло в Геную — возможно, хотел

отправить его из подходящего места своего символического путешествия, а может быть, просто решил, что из Генуи оно дойдет быстрее. В Генуе из газет он узнал, что днем ранее умер Вагнер. Он посчитал это знамением, сверхъестественной связью: вновь рапиры скрестились в воздухе. Несколько искажая правду, он отметил, что последний раздел книги был окончен ровно в то же время, когда Рихард Вагнер умирал в Венеции.

Душа Вагнера отправилась на встречу с другими аргонавтами духа. Вагнер некогда тоже носил семь шкур одиночества пророка-визионера. Теперь, мертвым, он мог вернуться к своему более раннему истинному «я». Ницше посчитал «Так говорил Заратустра» новым «Кольцом нибелунга». Его отец Вагнер умер; его сын Заратустра родился.

Великодушие и благоразумие Ницше проявилось в том, что, как он написал Францу Овербеку через неделю после смерти Вагнера, он уже некоторое время знал о недостойной переписке Вагнера с его врачами: «Вагнер был, безусловно, самым *завершенным* человеком из тех, кого я знал, и в *этом* отношении мне пришлось от многого отказываться в течение шести лет. Но между нами возникла угроза едва ли не смертельная; проживи он дольше, могло бы случиться что-то страшное» [13]. Более открыто он высказывался 21 апреля в письме к музыканту Петеру Гасту: «У Вагнера было много зловредных идей, но что вы скажете, узнав, что он обменивался письмами (даже с моими врачами), чтобы выразить свое *убеждение* в том, что мои изменившиеся взгляды — следствие противоестественных излишеств и намеков на педерастию?» Через несколько месяцев, в июле, он писал Иде Овербек об «ужасном, мстительном предательстве», слухи о котором дошли до него годом ранее.

Ужасное предательство и публичное унижение подстерегали его не только со стороны Вагнера, но и со стороны Лу и Рэ.

Получив «Заратустру», издатель вовсе не посчитал книгу пятым евангелием. Более того, он не проявлял вообще признаков того, что собирается книгу издать. На запрос Ницше Шмайцнер глухо упомянул какие-то задержки в типографии. Ницше саркастически ответил, что у Шмайцнера нашлись бы деньги на оплату печати, если бы он не растратил их на антисемитские памфлеты. Желаемого результата это, конечно, не принесло.

Ницше был разочарован, истощен и одинок. Кроме того, он, вероятно, плохо питался, поскольку покупал себе самую дешевую еду в городе, а также явно злоупотреблял медикаментами. Он пил опасные лекарства,

выписывая самостоятельно рецепты и подписываясь «доктор Ницше». Итальянские аптекари выдавали ему все по первому требованию.

Он чувствовал резкое отвращение к себе: «Так у меня еще до сих пор стоит перед глазами та сцена, когда мать говорила, что я позорю своим существованием память об отце... Вся моя жизнь подорвана в моих глазах: вся эта жуткая, сокровенная жизнь, которая все эти шесть лет делает один-единственный шаг и не желает ничего, кроме этого шага — в то время как во всем прочем, во всех человеческих проявлениях люди имеют дело с моей маской, я же сам и впредь должен оставаться жертвой того, что моя жизнь спрятана куда-то под спуд. Я всегда был жертвой самых жестоких обстоятельств — или, точнее, я сам делал обстоятельства жестокими... Я на дурном пути. Вокруг меня вечная ночь. Я лишь чувствую, как будто только что ударила молния... Я неизбежно погибну, если что-то не произойдет, — но понятия не имею, *что именно*»¹ [14].

Он не видел смысла жить, но чувствовал себя обязанным восстать и бороться, как старый Лаокоон со своими змеями. Но если уж остаться жить, то не иметь ничего общего с людьми. Даже на маленьком постоялом дворе или в крестьянском доме компания была для него избыточна: «Насколько же тихо и высоко и одиноко должно быть вокруг меня, чтобы я смог расслышать самые сокровенные свои голоса! Мне хотелось бы иметь достаточно денег, чтобы построить здесь своего рода идеальную конуру: я имею в виду деревянный домик с двумя помещениями, и притом на вдающемся в Зильзерзее полуострове, где некогда стояла римская крепость» [15].

По ночам он то потел, то трясся от холода, бился в лихорадке и постоянно страдал от хронического истощения; у него не было аппетита и воли к жизни. «Старые головные боли» мучили его с семи утра до одиннадцати вечера. Не сумев найти средств для обогрева комнаты в Рапалло, Ницше вернулся в Геную. Он питал смутные надежды, что кто-то вывезет его из Европы, географию и климат которой он обвинял во всех своих физических и психических расстройствах. Себя он, как обычно, считал «жертвой волнений *природы*» и винил вулкан Этну в проблемах, которые ранее приписывал электричеству в облаках. Поток энергии от вулкана, который постоянно бурлил и угрожал извергнуться, был причиной его расшатанного здоровья [16]. В этой мысли Ницше находил утешение: теперь можно было не обвинять в своих несчастьях людей.

¹ Эта и следующая цитаты — пер. И. А. Эбаноидзе.

В таком ослабленном психическом и физическом состоянии он пошел навстречу неуклюжим попыткам Элизабет примириться. Вскоре она убедила его в собственной, весьма лестной для него версии событий недавнего прошлого. Он был совершенно невинной жертвой русской гадюки и «этого еврея Рэ». Он писал ей, что готов «привести в порядок свои отношения с людьми, несколько пошатнувшиеся в последнее время», и начать с нее: «Что же до печатной машинки, то она неисправна, как и все, к чему прикасаются слабые люди, будь то механизмы или Лу» [17].

Он все еще надеялся, что Шмайцнер издаст «Заратустру», и попросил Элизабет вмешаться. Она достигла успеха там, где сам он не смог. Возможно, дело было в том, что Шмайцнер, сам антисемит, знал о ее антисемитизме. В свою очередь, Элизабет убедила Ницше присоединиться к ней в довольно грязном деле написания писем властям с целью изгнать Лу из Германии и выслать в Россию за аморальность. Кампания привела к непредвиденным результатам, превратив Лу в писательницу. Она поняла, что если на нее навесят ярлык аморальности, то у нее могут отобрать русскую пенсию. Поскольку это был единственный источник ее доходов, она занялась писательством, создав автобиографический роман под названием «В борьбе за Бога» (Im Kampf um Gott). Персонаж, прототипом которого стал Ницше, — аскет, поборник целомудрия, снедаемый страстью к проституткам. Сама Лу — куртизанка высшего класса и «рабыня своей несдержанной низменной натуры». Рэ — ее защитник, «граф». Книга заканчивается тем, что героиня Лу травит себя. Пикантное повествование оттеняется философскими попытками всех персонажей найти какой-то религиозный или нерелигиозный смысл в жизни. Через два года Ницше прочитал книгу и опознал «сотни отголосков наших таутенбургских разговоров»¹ [18]. Она даже назвала свою героиню Мэрхен — именем, которым Ницше называл саму Лу.

Элизабет не удалось добиться депортации Лу. Не расстроившись, она занялась изоляцией брата от «еврея Рэ». От Рэ-ализма в своей философии Ницше отошел уже давно. Манеру писать афоризмами он перенял у Рэ, но от его материализма отказался. В то время Рэ казался ему человеком без идеалов, целей, обязательств и инстинктов, согласный быть лишь компаньоном Лу, а то и ее слугой.

Элизабет старалась усугубить разлад, рассказывая, что именно Рэ заявил Лу, что все планы Ницше на создание Троицы всегда имели низкую, распутную цель «дикого брака». Ницше поверил ей, и с тех пор его

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

мучила мысль, что Рэ предал их дружбу, высмеяв его философию перед Лу и настроив ее против него. Его переполняли подозрения и жалость к себе. Он написал Рэ, называя его раболепным, вероломным, низким человеком, а Лу — ужасной выразительницей его идей. Лу была просто катастрофой — бесплодной, грязной, дурно пахнущей змеей с накладной грудью. (По упоминанию накладной груди легко вычислить руку Элизабет.) Чудовищные обвинения Ницше привели к угрозе иска за клевету со стороны брата Рэ Георга, который к тому же вызвал его на дуэль. К счастью, дело как-то удалось замять.

«Я никогда доселе никого не ненавидел, — писал он Элизабет, — даже Вагнера, чье вероломство было гораздо сильнее всего, что сделала Лу. Но лишь сейчас я чувствую настоящее унижение» [19].

Только там, где есть могилы, возможно воскресение

Во второй части [«Заратустры»] я развлекался и паясничал, как цирковой акробат. В книге невероятно много личного опыта и страдания, которое понятно только мне — от некоторых страниц я плакал кровью.

*Письмо Петеру Гасту из Зильс-Марии,
конец августа 1883 года*

Какой бы сторонницей свободного духа ни была Мальвида, она не могла простить Лу ее поведения. Взяв сторону Ницше против своей бывшей протекции, она пригласила его в Рим оправиться от удара. Он собрал свой тяжелый сундук с книгами — теперь он весил 104 кило и носил прозвище «косолапая стопа». Он приехал 4 мая 1883 года и встретился с Элизабет, которая продолжала работать над тем, чтобы упрочить отношения с братом. Элизабет и Мальвида никогда не считали друг друга соперницами. Их коллективная забота в течение следующего месяца так утешила Ницше, что он перестал принимать хлоралгидрат в качестве снотворного. Деньги Мальвиды уходили на оздоровительные прогулки по весенним окрестностям Рима с их полевыми цветами, крестьянскими домами и живописными руинами. Когда экипаж примчал их обратно к музеям Рима, Ницше из всех экспонатов больше всего был тронут двумя мужественными бюстами Брута и Эпикура и тремя пейзажами Клода Лоррена [1], вызывавшими в памяти золотой век. Картины были вдохновлены поездками художника по римским полям.

Абсурдность ситуации, при которой автор, объявивший о смерти Бога, находит духовное утешение в оплоте католической церкви, не укрылась от Ницше. Он приводил в ужас своих спутниц, периодически называя себя Антихристом. Он содрогался от отвращения, видя, как люди на коленях карабкаются по ступенькам собора Святого Петра, и использовал эту картину в качестве символа религиозного оглушения, когда писал следующую часть «Заратустры» [2].

Наступил июнь. В Риме началась монотонная удушающая жара. Он подумывал провести лето на острове Искья, по примеру древних римлян; но вместо этого они с Элизабет отправились в Милан, где расстались: он поехал в Зильс-Марию. Это было удачное изменение планов: через месяц на Искье случилось землетрясение — погибло более двух тысяч человек.

Лучше всего у Ницше получалось думать на открытом воздухе. При этом место имело огромное значение. Вернувшись в любимую альпийскую деревушку, он в тот же день поприветствовал ее: «Здесь живут мои музы... с этой местностью я ощущаю “более чем кровное родство”»¹ [3]. Эти эмоции побудили его описать процесс вдохновения, который для него был тесно связан с чувством места:

«Есть ли у кого-нибудь в конце девятнадцатого столетия ясное понятие о том, что поэты сильных эпох называли инспирацией? В противном случае я хочу это описать. — При самом малом остатке суеверия действительно трудно защититься от представления, что ты только инкарнация, только рупор, только медиум сверхмощных сил. Понятие откровения в том смысле, что нечто внезапно с несказанной уверенностью и точностью становится видимым, слышимым и до самой глубины потрясает и опрокидывает человека, есть просто описание фактического состояния. Слышишь без поисков; берешь, не спрашивая, кто здесь дает; как молния, вспыхивает мысль, с необходимостью, в форме, не допускающей колебаний, — у меня никогда не было выбора. Восторг, огромное напряжение которого разрешается порою в потоках слез, при котором шаги невольно становятся то бурными, то медленными; частичная невменяемость с предельно ясным сознанием бесчисленного множества тонких дрожаний до самых пальцев ног... Все происходит в высшей степени произвольно, но как бы в потоке чувства свободы, безусловности, силы, божественности... Это мой опыт инспирации; я не сомневаюсь, что надо вернуться на тысячелетия назад, чтобы найти кого-нибудь, кто вправе мне сказать: “это и мой опыт”» [4].

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

Вторая часть «Заратустры» обдумывалась им в течение десяти дней — с 28 июня по 8 июля 1883 года: «Все сочинялось на ходу, во время долгих дальних прогулок; абсолютная уверенность, как если б каждая фраза была мне громко и явственно продиктована»¹ [5].

Как и первая часть, она разбита на небольшие, очень сжатые разделы, которые он мог сформулировать в ходе четырех- или шестичасовых прогулок и перенести в блокноты без посторонней помощи. Прогулки, столь его вдохновлявшие, совершались вокруг двух небольших озер Сильваплана и Зильзерзее, в чьих ярко-бирюзовых водах, блистая, отражались крутые горы, увенчанные вечными снегами. То был полностью замкнутый в себе мир, и отсюда Ницше продолжал рассказывать историю Заратустры, который от озера Урми направился в одиночестве в горы, а свои афористические изречения называл пиками, то есть горными вершинами.

На страницах второй части «Заратустры» Ницше едва ли воплощает собственный идеал человека, говорящего жизни «да» и сумевшего отказаться от ревности и мести, превратив «это было» в «я хотел, чтобы было так». Вторая часть Заратустры полна аллюзий на историю с Лу и Рэ. Она приправлена внезапными яростными вспышками гнева, обвинениями врагов в его убийстве. Если рассматривать их в контексте книги, то они совершенно бессмысленны.

В разделе «О тарантулах» Лу и Рэ прямо названы тарантулами с символом треугольника на спине. «Прекрасно и с божественной самоуверенностью» тарантул кусает его и заставляет кружиться его душу «в вихре мести» [6].

В тексте есть три стихотворения. Первое — «Ночную песнь» — он написал еще в Риме. Поездки в экипаже по идиллическим ландшафтам Кампании возбудили в нем сожаление по поводу того, что век героев так далек, грусть по прошлому и жажду любви.

Во втором стихотворении — «Танцевальной песни» — Заратустра видит, как на лугу танцуют молодые девушки. Он будит спящего Купидона, который начинает танцевать вместе с ними. Сама жизнь — это олицетворение Лу, просто женщина, и к тому же вовсе не добродетельная. Женщина дика, ветрена и переменчива, говорит она, и в этом находит свое наслаждение. Но мужчины ищут в женщинах глубины, верности и загадки, наделяя женский пол собственными добродетелями и желая того, что они себе навоображали.

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

Он упрекает ее, что, когда доверил ей свою величайшую тайну, она ее не оценила. «Так обстоит дело между нами тремя... Изменчива она и упряма; часто я видел, как кусала она себе губы и путала гребнем свои волосы. Быть может, она зла и лукава, и во всем она женщина; но когда она дурно говорит о себе самой, тогда именно увлекает она всего больше».

Третье, и последнее, стихотворение — «Надгробная песнь» — открывается описанием вида из его окна в Венеции на Остров Мертвых. В этих могилах погребена его молодость, вместе с «милыми чудесами» любви и «певчими птицами... надежд».

Он проклинает врагов, которые оборвали его вечность и украли его ночи, обрекая его на пытку бессонницей.

Окончив книгу, он поразился тому, насколько автобиографичной она вышла. Для него стало неожиданностью, что со страниц будто капала его кровь, но он был уверен, что заметит это он один [7]. В следующей книге он собирался изучить идею о том, что вся философия (а не только его собственная) есть автобиография.

Лу хотела устроить встречу, но не осмеливалась написать об этом прямо. Зная, что Ницше в Зильс-Мариин, они с Рэ приехали в деревушку Селерина неподалеку. Они путешествовали со своим сравнительно новым знакомым — молодым человеком по имени Фердинанд Тённис, который охотно согласился стать третьим членом Троицы. Со временем Тённиса назовут отцом-основателем немецкой социологии, но пока что все его книги и слава были впереди и он был всего лишь эмоциональным мальчиком, испытывающим восторг от того, что его пригласили занять третью комнату в гостинице.

Ницше никогда не встречался с Тённисом, так что Лу и Рэ отправили того в Зильс-Марию с оливковой ветвью. Но, когда он увидел Ницше на прогулке, как обычно вооруженного всеми защитными средствами против солнечного света и электричества в облаках, окутанного «лазурным одиночеством», которым он рисует «вокруг себя круги» и возводит «священные границы», он не рискнул подойти. Так что лето прошло без примирения.

Однако время уже смягчило ненависть Ницше к Лу. Он открывал ей двери. Он показывал ей канат. Она даже почти набралась мужества, чтобы пройти по нему. Хотя она не решилась окончательно, но приблизилась к пониманию больше всех других, так что оставалась самым разумным животным из всех его знакомых. Если следовать идее вечного возвращения, которая требовала, чтобы человек, оглядываясь в прошлое,

превращал каждое «это было» в «я хотел, чтобы было так», он должен сказать «да» этому почти-ученичеству Лу и продолжать его ценить.

Если бы Ницше жил в соответствии с собственным идеалом и говорил «да», принимая свою судьбу, он должен был признать и собственную роль в боевых действиях между Элизабет и Лу. Озлобление и неприязнь, которые он чувствовал к Лу, превратились теперь в ненависть к Элизабет: он понял, как ловко она им манипулировала. Ее злоба, ложь и измышления заставили его вести долгую и бесчестную кампанию мести против Лу и Рэ. Еще хуже, чем дурацкие письма, которые она побудила его написать, и фальшивки, которым она заставила его верить, было то, что Элизабет преуспела в отторжении Ницше от его «я». Он снова оказался прикованным к эмоциям и ошибочно проявил верность бесчестному прошлому.

Теперь он возмущался тем, как Элизабет поддерживала в нем состояние постоянной ненависти именно в то время, когда его глубочайшим желанием было отказаться от любой зависти, ревности, мести и наказания, а вместо этого перейти к утверждению и принятию, стать тем, кто не желает ничего другого, кроме реальности. Собственная ненависть Элизабет, ее ревность, расплываясь, как чернила каракатицы, окутали туманом его мозг:

«[Я не мог] избавиться от дурных черных мыслей, — в том числе и от настоящей ненависти к моей сестре. Целый год своим молчанием — всегда не ко времени — и своими речами, которые тоже всякий раз были не ко времени, она умудрялась лишить меня всего, что я достигал путем самопреодоления, так что под конец я стал жертвой беспощадной мстительности, меж тем как в самом средоточии моего образа мыслей заложен отказ от всякого отмщения и наказания. Этот конфликт шаг за шагом приближает меня к *безумию*, — я ощущаю это с ужасающей силой... Возможно, что самым роковым шагом во всей этой истории было мое примирение с ней — я вижу *сейчас*, что *из-за этого* она решила, будто ей теперь дано право мстить фройляйн Саломе. Простите меня!»¹ [8]

Элизабет отправила ему радостное, ликующее письмо, рассказывая, как она наслаждается этой «остроумной и веселой войной». На это он сухо ответил, что не рожден быть ничьим врагом, даже самой Элизабет. До того он уже обрывал все связи с матерью и Элизабет. Если он по-

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

ступит так снова, это будет очередной акт отрицания, он снова скажет «нет». Вместо этого он будет продолжать поддерживать нейтральные контакты, описывать в письмах свои проблемы с прачечной и заказывать небольшие посылки — например, сосиски. Так он скажет «да». Он сохранит целостность своей личности и вместе с тем поддержит иллюзию связи.

Но этот удобный компромисс вскоре оказался разрушен. В сентябре он получил срочное сообщение от Франциски, которая призывала его вернуться в Наумбург. Элизабет, упорная Лама, собиралась отправиться в Парагвай и разделить судьбу с антисемитским агитатором Бернхардом Фёрстером.

Франциска не хотела терять дочь и экономку. Да и Ницше был потрясен тем, что Элизабет намерена вручить свое будущее явному демагогу, чьи моральные и политические взгляды внушали ему отвращение. Кроме того, это добавляло лицемерия стремлению Элизабет примириться с ним в течение последнего года: в Риме и даже позже она скрывала от него, что переписывается с твердолобым расистом, которого Ницше, как она хорошо знала, презирал. «Я не разделяю его энтузиазма по поводу “истинного германства” и тем более по поводу сохранения *чистоты* этой “славной” расы. Напротив, напротив...» [9]

Бернхард Фёрстер был на год старше Ницше. Это был импозантный патриот, с военной выправкой и в безупречном костюме. Он был весьма космат: исключительно густые каштановые волосы ниспадали с высокого, V-образного лба. Его брови выступали вперед, тонкие усики составляли идеальную горизонтальную линию. Подбородок обрамляла длинная, кудрявая каштановая борода ветхозаветного пророка, хотя это семитское сравнение не пришлось бы ему по вкусу. Глаза его постоянно бегали, их радужная оболочка была почти прозрачной — цвет льда с альпийских ледников. Взгляд идеалиста устремлялся куда-то вдаль. Он был фанатичным проповедником прогулок на свежем воздухе, вегетарианства, оздоравливающих свойств гимнастики, отказа от алкоголя и вивисекции. Будучи человеком скорее твердых убеждений, чем большого ума, он, подобно Ницше и Вагнеру, мечтал о преобразовании Германии, но если эти двое собирались совершить его культурными методами, то Фёрстер исповедовал расовый подход. Еврейская раса паразитировала на теле германского народа. Необходимо было восстановить чистоту крови.

Фёрстер и Элизабет несколько лет были весьма отдаленно знакомы друг с другом через матерей — вдов и столпов церкви. Элизабет не имела причин устанавливать более близкое знакомство, пока не стало ясно,

что ее жизнь экономки при брате в Базеле подошла к концу и что она не может рассчитывать ни на будущее при нем, ни на брак с кем-то из его круга. Перед ней вырисовывалась мрачная перспектива заботиться о своей престарелой матери. Старые девы, при всей их добродетели, не могли рассчитывать в Наумбурге ни на власть, ни на достойный социальный статус. Ей нужно было срочно найти мужа.

Она встретила Фёрстера на Байрёйтском фестивале в 1876 году. Затем в Наумбурге она решила очаровать его. Она написала ему письмо, где подчеркивала, что считает себя ревностной сторонницей его взглядов. «Все мои знания — лишь слабое отражение вашего мощного ума. Таланты мои носят практический характер. Вот почему все ваши планы и величественные идеи меня возбуждают: их легко преобразовать в действия» [10].

Забавно следить по их переписке, как быстро она в своих письмах входит в образ веселой, любезной, безрассудной девушки, все больше увлекающейся Фёрстером и его политикой. Он оставался корректным, отстраненным и удивительно близоруким к тому, что происходило. В итоге ей пришлось привлечь его внимание, прислав денег на дело антисемитизма и рассказав о своем состоянии. Но даже после этого прошло довольно много времени, прежде чем он понял, что ему предлагают невесту с достаточным доходом для осуществления его мечты.

В мае 1880 года Фёрстер послал ей копию антисемитской петиции, которую он собирался подать Бисмарку. Он просил ее собрать подписи, и она охотно согласилась. Петиция призывала лишить евреев, которые «разрушают Германию», права голоса, права заниматься врачебной и юридической практикой, а также остановить дальнейшую иммиграцию евреев и изгнать всех ненатурализованных во имя очищения и возрождения человеческой расы и сохранения человеческой культуры. Всего было собрано 267 тысяч подписей. Петицию торжественно провезли по Берлину в конном экипаже и вручили Бисмарку, который, однако, отказался выполнить просьбу. Через год разъяренный и выведенный из равновесия Фёрстер в берлинском трамвае произнес антисемитскую тираду, которая привела к кровавой кулачной потасовке. В результате он потерял место учителя в гимназии, но стал одним из основателей *Deutscher Volksverein* (Германской народной партии) — полубандитской расистской организации, чьи идеи зиждились на национализме и ложно понятой теории эволюции.

Германская почва навсегда загрязнена сынами Авраама и почитателями золотого тельца. Народная партия создаст Новую Германию — колонию

чистокровных арийцев на земле, которая никогда не была подвергнута расовому загрязнению. Два года он провел в Южной Америке в поисках идеального места.

Элизабет регулярно писала ему. Когда он рассказал ей, что за пять тысяч марок в Парагвае можно купить прекрасный участок земли, она предложила выслать ему необходимую сумму, с напускной скромностью извиняясь за то, что это предложение денег может его обидеть. Пораженная тяготами его жизни в Парагвае, она предложила ему еще восемьсот марок, чтобы он мог хотя бы нанять себе слугу.

«В Средние века люди жертвовали десятую часть своих имений церкви в знак уважения к высшим идеалам. Почему же вам отказываться от моего подарка?» Далее она намекнула ему, что ее состояние равняется 28 тысячам марок. На тот случай, если он вновь ничего не поймет, она описывала себя как очень практичную женщину и прекрасную домохозяйку — как раз такую подругу, в которой отчаянно нуждаются смелые первопроходцы. Она правильно его оценила. Ее денег было недостаточно, чтобы финансировать все предприятие, но все же их было куда больше, чем предлагали другие уверовавшие.

Фёрстер вернулся в Германию. Он набирал колонистов. Он писал статьи. Он предпринимал турне по стране. Он выступал с речами, записи которых, как записи речей всех демагогов, включают слова «Аплодисменты!» или «Бурные аплодисменты!» в соответствующих местах.

Вагнер в 1880 году отказался подписать петицию Фёрстера. Хотя у композитора были свои антисемитские предрассудки, он с неприязнью относился к самому Фёрстеру, считая его утомительным, некультурным и не особенно умным. Но в Байрёйте эту точку зрения разделяли не все. Старый враг Ницше Ганс фон Вольцоген, редактор *Bayreuther Blätter*, с удовольствием предоставил Фёрстеру платформу для публикации его смехотворных статей (в одной говорилось, что в первый же день, когда его партия придет к власти, полиция закроет все существующие школы для девочек).

Газета открывала важный доступ к Обществам покровителей Байрёйта по всей Германии. Они стали основной сетью работы Фёрстера — именно они поставляли аудиторию для речей, сопровождавшихся аплодисментами.

Сентябрь 1883 года выдался в Наумбурге неудачным. Хотя Ницше и его мать были едины в попытках отговорить Элизабет от устройства своей судьбы с Фёрстером, Элизабет объединилась с матерью, чтобы заставить Ницше прекратить заниматься своей кощунственной фило-

софией, остепениться и вернуться преподавать в университет. А может, еще и перестать якшаться с «не самыми милыми» людьми.

Франциска и Элизабет давили на него, сам он не мог оказать никакого влияния на решение Ламы выйти замуж за омерзительного Фёрстера и весь месяц вынужден был терпеть ее невыносимый расизм и твердое ощущение собственной правоты. Пора было уезжать.

5 октября он уехал в Базель, где мог всегда рассчитывать на разумные советы Овербеков по поводу Элизабет и финансовых дел. Несколько придя в себя, к зиме он отправился на море. Все еще считая себя Колумбом, способным открыть новые миры, в Геную он, однако, заехал лишь для порядка, а затем двинулся дальше. В качестве причины он называл (как всегда, кривя при этом душой), что уже слишком хорошо знаком с городом, чтобы наслаждаться здесь «лазурным одиночеством», необходимым для творчества.

Он поселился в Ницце, где нанял маленькую комнатку в скромном «Пансион де Женев» на улочке Сент-Этьен. Он любил холмы за городом за дующий там сильный ветер. Ветер он считал избавителем от земного притяжения. Иногда он ехал по побережью на поезде или на трамвае через Сен-Жан-Кап-Ферра и Вильфранш и там забирался на холмы, где видел (или воображал, что видит) на горизонте темную кляксу Корсики на блистающем горизонте моря. Он придавал большое значение тому факту, что его пульс бьется с той же частотой, что и у Наполеона: медленные, безжалостные шестьдесят ударов в минуту. Посреди этого яркого пейзажа, с Наполеоном вместо Колумба на месте аргонавта духа, он вновь закружился в вихре вдохновения. Третью часть «Заратустры» он снова написал всего за десять дней.

Заратустра плывет на корабле с Островов Блаженных по морю. Со временем он попадает в тот самый город, который посетил в первой книге, но там прислушиваются к нему ничуть не больше, чем в начале пути. Он возвращается в свою пещеру, где разрабатывает идею вечного возвращения как великого утверждения жизни, достаточного, чтобы достичь огромной радости в настоящем и победить нигилизм. Он заканчивает книгу (которая должна была стать последним произведением о Заратустре) богохульной пародией на последнюю книгу Нового Завета — Откровение Иоанна Богослова. Ницше дает ей название «Семь печатей», она содержит восторженную и мистическую поэму из семи частей, описывающую его венчание с Вечностью кольцом вечного возвращения. Каждая из семи частей заканчивается одними и теми же словами:

«Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, о Вечность!

Ибо я люблю тебя, о Вечность!»

Он закончил книгу 18 января. За две недели до этого в пансионе его посетил доктор Юлиус Панет, молодой венский зоолог еврейского происхождения. Панет знал книги Ницше и решил отдать дань уважения автору. Панет ожидал увидеть пророка, духовидца, грозного и пламенного оратора и был, как и Лу, поражен, узрев перед собой необычайно мягкого человека, весьма дружелюбного и простого в общении. В нем не было ничего пророческого. Они проговорили шесть часов, Ницше держался естественно, говорил тихо, был безобидным и вовсе не самоуверенным. Хотя он был серьезен и держался с достоинством, он шутил и смеялся шуткам собеседника. Их разговор начался с какого-то удивительно банального обмена репликами о погоде и пансионе. Когда беседа свернула в сторону его мыслей и книг, манера Ницше никак не изменилась — он продолжал говорить тихо и вежливо. Он рассказал Панету, что всегда чувствовал перед собой какую-то задачу и что, закрыв глаза, он может видеть очень яркие и постоянно меняющиеся образы. Они дарили ему вдохновение, но физический дискомфорт — например, болезни — превращал эти образы в уродливые, устрашающие и неприятные [11].

Ницше завел еще одно знакомство буквально через пару месяцев после того, как окончил третью часть «Заратустры». Эта знакомая, Реза фон Ширнхофер [12], подтверждает, что он вел себя так же безыскусно, как и с Юлиусом Панетом. Это была состоятельная двадцатидевятилетняя феминистка, которая приехала в Ниццу по окончании первого семестра обучения в Цюрихском университете — одном из первых, где начали принимать на обучение женщин. Впоследствии Реза напишет докторскую диссертацию по сравнению философских систем Шеллинга и Спинозы. Она приехала в Ниццу по предложению Мальвиды фон Мейзенбуг, которая еще не оставила надежд подыскать Ницше невесту.

Реза согласилась на предложение Мальвиды со смешанными чувствами. Она восхищалась «Рождением трагедии», но видела знаменитую фотографию, на которой Ницше и Рэ запряжены в повозку Лу. Та сама показывала Резе, наряду со многими, эту карточку на Байрёйтском фестивале 1882 года, и мнение относительно фотографии смущало Резу в ожидании грядущего знакомства с Ницше. Однако ее сомнения почти сразу рассеялись при виде его «серьезной профессорской внешности» и несомненной искренности в речах.

Те десять дней, что она пробыла на Ривьере (3–13 апреля 1884 года), они в основном провели вместе. К тому моменту третья часть «Заратустры» уже была закончена и отправлена в типографию. Возможно, предполагалось, что Ницше будет говорить только о себе и своей работе, но вместо этого он живо заинтересовался ее программой чтения. Он рекомендовал многих французских авторов: братьев Гонкур, Сен-Симона об истории, Тэна о Французской революции и «Красное и черное» Стендаля. Он говорил, что Стендаль был «совершенно уверен» в том, что через сорок лет станет знаменитым, и Ницше с полным правом может сказать то же и о самом себе.

Несмотря на значительную разницу в уровне между философом и студенткой, она сочла его прежде всего добрым, естественным, забавным и очень человечным. Он был человеком исключительно чувствительным, нежным и вежливым. Его манеры отличались утонченностью в общении с кем угодно, но прежде всего с дамами — молодыми и пожилыми. Это принесло ему популярность в «Пансион де Женев», где его называли «милым полуслепым профессором» и рады были услужить ему по мелочи, чтобы как-то облегчить жизнь. Реза вскоре почувствовала себя с ним так свободно, что стала болтать обо всем. Когда она рассказала, что иногда у нее бывают интересные сны, он серьезно предложил ей класть у изголовья бумагу и карандаш, как поступал и он сам. Он придавал значение снам и большую важность ночным мыслям: «Ночью нас посещают редкие мысли, и мы должны сразу по пробуждении ночью их записывать, потому что утром мы их обычно уже не помним — они унесены ночной темнотой» [13]. Несмотря на очевидную приязнь, их чувства так и не переросли во что-то большее. Страсть Ницше не была воспламенена так, как это было с Лу. Реза и Ницше не спорили как равные. Это был союз, но не родство душ. Она пробудила в нем учителя, которому так нравилось воспитывать юные умы в Педагогичуме. Он говорил с нею серьезно, но осторожно, боясь ее перегрузить. Рассуждая об объективности, он предупреждал, что полностью избавиться от предрассудков невозможно и об этом всегда нужно помнить. Отбрасывая одни предрассудки, мы сразу же поддаемся новым.

Он подарил ей три части «Заратустры» с подписью *In nova fert animus* («Дух уносит к новому»). Он взял ее на прогулку к горе Борон — одну из тех, что вдохновляли его при создании третьей части «Заратустры». Но и тут он не разыгрывал из себя мистика или законоучителя. Из ароматного чабреца под их ногами выпархивали целые облака бабочек. Под ними зеленая бухта Ангелов, на берегу которой стоит Ницца,

блистала белыми корпусами кораблей. Он предложил отправиться вместе на Корсику.

Когда они почти забрались наверх, им преградили дорогу французские караульные и велели возвращаться. Путешественники ступили на запретную почву, попав в форт Монт-Альбан — древнее укрепление, с которого Франция и Италия следили за территориальными претензиями друг друга уже три сотни лет. Ницше очень обрадовался такой встрече с безобидными солдатами. Его настроение еще поднялось, когда внезапно налетел мистраль. Ветер разогнал облака с их электричеством, и небо стало чистым и голубым. Ницше повел спутницу в небольшое кафе, где познакомил ее с вермутом. Пока она, морща носик, прихлебывала напиток, он сопровождал это экстравагантными комментариями, в рифмующихся виршах повествуя об их путешествии по смешному окружающему миру, начиная с *bewachte Berg* — тщательно охраняемой горы.

Он пригласил Резу сходить с ним в Ницце на бой быков. У нее было предубеждение, но Ницше уверил ее, что коррида проводится по официальным правилам, которые запрещают использование лошадей и убийство быков. Шесть быков, сменявших друг друга на арене, похоже, знали правила не хуже матадоров. Вскоре схватки стали казаться настолько абсурдными, что обоих охватил приступ неконтролируемого смеха. Когда примитивный оркестр заиграл музыку из «Кармен», это произвело на Ницше самый возбуждающий эффект. Он за секунду перешел от истерического смеха к восторгу. Он обратил ее внимание на пульсирующие ритмы, и она поняла, какую власть имеет над ним музыка. Ее кровь тоже забурлила в жилах, и она писала, что ей вдруг захотелось, несмотря на любовь к животным, увидеть настоящую корриду во всей ее стилизованной жестокости и диком, дионисийском прославлении героической смерти.

Он прочел ей «Надгробную песнь» и попросил прочесть ему «Танцевальную песнь», которую исполняет Заратустра, пока Купидон и девушка танцуют на лугу. Она увидела в ней «прозрачную паутину, сплетенную из нитей меланхолии; она, дрожа, висит над темной бездной желания смерти».

После этого он долго и печально молчал.

Они провели вместе десять дней. Через неделю после того, как Реза уехала из Ниццы, Ницше направился в Венецию. Здесь Генрих Кезелиц (он же Петер Гаст) продолжал, с неумелой помощью Ницше, попытки написать оперу, несмотря на весьма скромный музыкальный талант. Прочитав партитуру, Ницше подверг ее почти такой же суровой критике, как

некогда фон Бюлов — его музыкальные потуги, но Петер Гаст воспринял критику с большей кротостью. Он даже сменил по предложению Ницше название оперы и изменил язык либретто. Итальянский *Il matrimonio segreto* («Тайный брак») стал немецким *Der Löwe von Venedig* («Венецианский лев»). Такое необязательное проявление власти над беспомощным Гастом могло быть свидетельством кризиса уверенности самого Ницше, последовавшего за публикацией первых трех книг «Заратустры».

Издатель не питал энтузиазма по поводу всех частей. И даже Якоб Буркхардт, понявший и высоко оценивший первые две части, испытал явное замешательство, когда его спросили по поводу третьей. Он уклонился от ответа, поинтересовавшись, не думает ли Ницше, что ему стоит попробовать свои силы в драматургии.

За лето здоровье Ницше резко ухудшилось. У него сильно болели глаза, приступы рвоты могли длиться по несколько дней. Врачи не находили способов вылечить ни глаза, ни пришедший в негодность желудок, ни бессонницу. И он вновь перешел на самолечение, в значительной степени полагаясь на порошок хлоралгидрата — сильное снотворное и седативное средство, облегчающее бессонницу и снимающее раздражительность. При передозировке это лекарство вызывает головокружение, рвоту, галлюцинации, дезориентацию, нарушения дыхания и сердечной деятельности, то есть всех симптомов, с которыми Ницше и пытался бороться хлоралгидратом.

В отчаянии он вновь уехал в любимую Зильс-Марию, где окончательно освоился в комнате Жана Дуриша, велел оклеить ее обоями по своему вкусу — с цветочным орнаментом, в успокаивающих сине-коричнево-зеленых тонах [14]. Комната была настолько проста и мала, насколько только можно вообразить. Низкий потолок, маленькое окно, узкая кровать, деревянный столик перед окном и приспособление для снятия сапог, в котором в бытность Ницше нередко торчал собственно сапог.

Места для «косолапного» сундука со 104 килограммами книг практически не было.

Реза фон Ширнхофер навестила его в Зильс-Марии в середине августа. Ее летний семестр в университете подошел к концу, и она вместе с однокурсницей направлялась из Цюриха в родную Австрию. Реза была поражена, увидев такие резкие изменения в Ницше — как физические, так и в его манерах — со времен совместного пребывания в Ницце.

Большую часть ее визита он проболел, но однажды все же оправился настолько, что сводил ее на прогулку к камню Заратустры в сорока пяти

минутах от дома Жана Дуриша. Спокойствия его как не бывало. Он говорил яростно и настойчиво, извергая «потoki идей и образов в дифирамбических изречениях». Реза подчеркивает, однако, что, несмотря на значительные изменения в манере общения, Ницше не проявлял признаков мании величия или просто хвастливости. Он говорил с наивным и безграничным удивлением, словно бы сам был ошеломлен потоком своих мыслей и не мог держать его в узде. Он признавался, что из-за этих мыслей все его существо дрожит от беспокойства.

Когда они возвращались от камня Заратустры домой через лес, к ним стало приближаться спускающееся с холмов стадо коров. Реза боялась коров и попыталась убежать. Ницше же просто нацелил на них зонтик, бывший его постоянным спутником, и стал им размахивать. Это обратило коров в бегство. Он засмеялся, и Реза устыдилась своей трусости. Она объяснила, что, когда ей было пять лет, на них с матерью напал бык, так что им едва удалось убежать. После этого Ницше посерьезнел и стал рассуждать о том, какой эффект оказывает пережитый в раннем детстве нервный шок на всю жизнь.

Реза не увидела с ним на следующий день — он был вновь прикован к постели. Через полтора дня она посетила дом Жана Дуриша, чтобы осведомиться о здоровье Ницше. Ее ввели в низкую гостиную с сосновыми панелями и предложили подождать.

Внезапно открылась дверь, и вошел Ницше. Он выглядел усталым, бледным и рассеянным. Прислонясь для опоры к дверному косяку, он сразу же завел речь о своем невыносимом состоянии. Он жаловался, что не может обрести покой. Стоит ему закрыть глаза — и он видит отвратительные, быстро растущие джунгли постоянно меняющихся форм, невероятное изобилие фантастических цветов, постоянно раскачивающихся и сплетающихся в ускоренном цикле роста и отвратительного гниения. Реза читала Бодлера, поэтому подумала, что Ницше, возможно, принимает опиум или гашиш. Все еще стоя у двери, он слабым голосом и с нервной настойчивостью спросил: «Вы не думаете, что это симптом подступающего безумия? Мой отец умер от размягчения мозга».

Она была слишком напугана и смущена, чтобы дать ответ. Он находился в состоянии почти неконтролируемого возбуждения и требовательно повторил вопрос.

Парализованная страхом, она не проронила ни слова.

Он подстерег меня в засаде!

Кстати, «Заратустра» — это взрыв сил, которые собирались десятилетиями. И тот, кто затеял эти взрывы, может легко погореться и сам. Я часто хочу так и сделать.

*Письмо Францу Овербеку,
8 февраля 1884 года*

Ницше твердо верил в «Заратустру», хотя продажи были малы, а его самые верные почитатели, Овербек и Петер Гаст, разделяли мнение издателя. Все были едины в том, что хватит уже «Заратустры» и книг в афористическом стиле. На них нет спроса. Но Заратустра не оставлял его в покое. Ницше продолжал делать записи и выписки. Становилось уже традицией то, что вдохновение посещало его на Рождество и Новый год. Четвертый том он писал с декабря 1884 по апрель 1885 года — ровно через год после третьей части. Для него стало шоком, когда Шмайцнер попросту отказался от публикации. Политические и идеологические разногласия между Ницше и Шмайцнером значительно углубились за время написания и публикации первых частей. Недоверие между автором и издателем все росло, и каждую новую часть публиковать было все сложнее.

Ницше несколько позабавило, когда издание первой части было отложено из-за необходимости напечатать полмиллиона церковных гимнов, но, когда он узнал, что Шмайцнер издает журнал *Antisemitische Blätter* («Антисемитские записки») и что это отражает его собственные политические взгляды, это было уже совсем другое дело.

Третья часть «Заратустры» стала одиннадцатой книгой Ницше, опубликованной Шмайцнером. Дохода не принесла ни одна: Шмайцнер

давал тираж в тысячу экземпляров, а книги о Заратустре расходились менее чем в сотне. Неудивительно, что он решил не продолжать. Со времени ухода из Базельского университета Ницше отличался почти полным пренебрежением к своим финансам. Эта его наивность приводила к путанице в издательских делах. Основным источником его дохода была пенсия от Базельского университета — 3000 швейцарских франков (2400 немецких марок) в год. В 1879 году в порыве энтузиазма Ницше доверил своему издателю вложить его сбережения, отложенные от жалованья и пенсии, — около 1600 марок. Также он получил небольшие деньги в наследство от бабушки Эрдмута, тети Розалии и сводного брата его отца. Все они были переведены в надежные долгосрочные инвестиции под присмотром его матери. Франц Овербек в Швейцарии тоже скопил для него кое-какую сумму. Поиздержавшись, Ницше иногда просил Овербека прислать ему франки, иногда обращался к Шмайцнеру за марками. Порой он писал Овербеку, чтобы тот выслал деньги Шмайцнеру. Лишь в крайнем случае он обращался за деньгами к матери, и тогда перевод сопровождался тирадами против расточительности и суровыми предостережениями о возможном финансовом крахе.

Шмайцнер честно платил Ницше все авторские гонорары, но после третьей части «Заратустры» Ницше потребовалось пятьсот франков, чтобы заплатить долги — в основном букинисту. Шмайцнер обещал заплатить к 1 апреля 1884 года. Этот день настал и прошел. Ницше встревожился. У Шмайцнера оставалось 5000 или 5600 марок Ницше — сумма достаточно крупная. Университетская пенсия была рассчитана лишь на шесть лет, и в июне 1885 года ее выплата должна была прекратиться. У Ницше имелись все основания переживать по поводу того, на что он будет жить. Шмайцнер писал: «Я прошу прощения за денежные затруднения, но есть большая разница между человеком обедневшим и человеком с состоянием, который, однако, вынужден много лет заниматься недвижимостью и издательским делом, поскольку эти активы неликвидны...» [1]

Он предложил распродать невостребованные остатки тиража Ницше за двадцать тысяч марок и из этой суммы произвести выплаты, если Ницше действительно срочно нуждается в деньгах. Это, конечно, не могло не насторожить: ни одному автору не понравится, когда тираж его книги распродают за бесценок.

Тем более что никто так и не купил оставшиеся 9723 экземпляра. Наступил новый, 1885 год, а Шмайцнер даже не обещал выплатить деньги. Ницше задействовал «очень умного юриста» — дальнего род-

ственника его матери Бернарда Дэкслея. Тот не проявлял оптимизма. Шмайцнер обещал деньги в июне, но у него снова не получилось. В августе Ницше вбил себе в голову, что надо устроить аукцион и выкупить нужные ему книги, чтобы переиздать их в новом формате. Он хотел только «Человеческое, слишком человеческое» и приложение к нему — «Злую мудрость», а также «Странника и его тень» и первые три части «Заратустры».

Позднее в августе он попросил своего юриста потребовать принудительной продажи всего издательского дома Шмайцнера с аукциона. Перспектива лишиться всего имущества напугала Шмайцнера в достаточной степени, и в октябре он все же выплатил Ницше 5600 марок. Таким образом, Шмайцнеру не пришлось продавать ни издательство, ни запас книг Ницше. Для издателя это был хороший исход, а вот для Ницше — нет: теперь его книги, по его словам, были навсегда погребены в этой «антисемитской яме» [2]. Он заплатил долг букинисту в Лейпциге и выступил в роли музыкального мецената, организовав особое частное представление увертюры «Венецианского льва» своего протеже Петера Гаста. Он также порадовал свою мать, заплатив за новое прекрасное мраморное надгробие на могилу отца. Насколько мы знаем, Ницше же заказывал и надпись. Она жестко следует традиционному христианскому образцу: «Здесь почит в Бозе Карл Людвиг Ницше, пастор Рекена, Михлица и Ботфельда, родился 11 октября 1813 года, умер 30 июля 1849 года. За ним последовал в Вечность его младший сын Людвиг Йозеф, родился 27 февраля 1848 года, умер 4 января 1850 года. Любовь никогда не перестает. 1 Кор. 13:8».

Он написал Карлу фон Герсдорфу с просьбой профинансировать печать четвертой части «Заратустры» небольшим тиражом около 20 экземпляров [3]. Тот даже не ответил. К счастью, Базельский университет постановил продлить выплату Ницше пенсии еще на год, и он решил издать книгу на свои средства.

Четвертая часть «Заратустры» кажется развернутой фантазией мщения всем, кто беспокоил его всю жизнь, — от Бога до пиявок, которых врачи прикладывали ему к голове для кровопусканий.

Заратустра живет в своей пещере с животными, которые побуждают его взойти на вершину горы. Совершив восхождение, он ведет разговоры с «высшими людьми», доселе возглавлявшими культуру. Это короли, папа римский, Шопенгауэр, Дарвин, Вагнер и даже сам Ницше.

Заратустра посылает их одного за другим к себе в пещеру, где они обретут мудрость. Спустившись к себе в пещеру сам, он обнаруживает,

что они воздают почести ослу. В отсутствие богов человечество будет обожествлять кого угодно. Заратустра проводит с ними Тайную вечерю, во время которой проповедует им (довольно длинно) о высшем человеке — сверхчеловеке. Он советует им рассчитывать на свои силы, а не на то, что он исправит все, что они сделают плохо. Он отказывается отвести от них молнию. Он дирижирует *Dies Irae* — гневным Судным днем. Он торжествует над всеми.

Вагнер, «старый чародей, чья музыка сладостно воспекает опасность, отказ от инстинктов, веры и совести», хватается арфу и пытается завоевать учеников Заратустры, затянув песню. Тень Странника отбирает у него арфу и возражает длинной и очень странной песней, полной напыщенных образов. Там и кошечки, полные недобрых предчувствий, и львиноголовые чудовища со светлыми гривами, и другие странные гибриды и фантазмагории, которые больше всего в литературе напоминают, вероятно, творчество Сэмюэла Тейлора Колриджа под воздействием лауданума. Можно до бесконечности спорить о том, насколько этот фрагмент обязан своим существованием снотворным порошкам Ницше, а насколько служит открытой пародией на Откровение Иоанна Богослова. Некоторые даже видят в этом отсылку к его посещению борделя в Кельне.

Повествователь именуется здесь первым европейцем под пальмами. Он проповедует дочерям пустыни мораль, аки лев рыкающий. Проявляя обычную для Запада сложность реакции на мир Востока, он теряется от восхищения перед пальмами, покачивающимися на ветру и «сгибающимися стройный стан». Позавидовав им, он пытается это повторить и в процессе теряет ногу. Не расстроившись, он продолжает реветь, стоя на одной ноге и испивая чистейший воздух ноздрями, раскрытыми, как кубок. В какой-то момент из пещеры выходит Заратустра, «сияющий и сильный, словно утреннее солнце, выходящее из-за темных гор», и на этом заканчивается то, что он назвал «невероятным дерзновением всей этой песни морехода».

Сам Ницше считал «Так говорил Заратустра» своим важнейшим произведением, и, несмотря на всю его мистическую сложность (или благодаря ей), оно стало самой популярной его вещью, хотя и не принесло ни малейшего успеха при жизни. В «Заратустре» содержатся ключевые темы всей его зрелой философии: вечное возвращение, самопреодоление и становление сверхчеловека благодаря ярким, хотя и опасным видениям, которые побуждают нас мыслить.

Одна из самых раздражающих особенностей работ Ницше состоит в том, что из-за нежелания вмешиваться в нашу свободу мысли он не

показывает нам способа стать сверхчеловеком и даже не объясняет, что такое вообще сверхчеловек. Мы знаем, что сверхчеловек для Ницше — это сильный человек будущего, противоядие от морального и культурного пигмейства, вызванного столетиями европейского упадка и господства церкви. Это фигура, которая, несмотря на смерть Бога, не поддается скепсису и нигилизму; свобода от верований делает его жизнь лучше. Отсутствие религиозных убеждений сочетается в нем с отсутствием склонности переносить слепую веру на науку. Сверхчеловеку не нужны верования, чтобы мир вокруг него казался стабильнее.

Как сверхчеловек достигает этого состояния? Ницше так и не говорит нам этого. Там, где он снисходит до описаний, эти описания неизбежно слишком широкие и раздражающе абстрактные. В «Ессе Номо» утверждается, что сверхчеловек вырезан из дерева — одновременно твердого, мягкого и ароматного. Он всегда борется с причиненным вредом, использует несчастья себе во благо и умеет забывать. Он достаточно силен, чтобы все обратить к лучшему; все, что его не убивает, делает его сильнее [4]. В «Человеческом, слишком человеческом» сверхчеловек считает себя путешественником в несуществующие страны. Но это не омрачает его жизнь; напротив, его освобождение кроется в том, что он находит удовольствие в неопределенности и мимолетности. Он приветствует каждый новый рассвет, поскольку тот несет с собой эволюцию мысли. Его экзистенциальные муки можно облегчить, несмотря на отсутствие какого-либо божественного идеала [5].

Обычно Ницше в подобных пассажах просто побуждает читателя возвыситься, не устанавливая каких-либо законов. Ницше любил называть себя аргонавтом духа и философом «может быть»; он не ставит перед собой задачи разрешить какую-то конкретную проблему состояния человечества — его туманное описание сверхчеловека побуждает каждого искать собственное решение.

Заказ на печать в частном порядке сорока экземпляров в лейпцигской типографии Константина Науманна стоил ему 284 марки 40 пфеннигов. Когда в мае 1885 года тираж был готов, он прижал его к себе и скрывал от всех, кто мог бы написать на книгу рецензию и вообще предать ее публичности. Он объяснял, что слова «публичность» и «публичный» в его понимании синонимичны словам «бордель» и «потаскушка» [6]. Он разослал лишь семь дарственных экземпляров: фон Герсдорфу, Овербеку, Петеру Гасту и Паулю Видеманну — другу Гаста, который сопровождал его в Базеле в начале знакомства с Ницше; получил экземпляр и срав-

нительно новый поклонник Пауль Лански. Лански предлагал написать о Ницше книгу, но очень раздражал его тем, что выглядел как сапожник и постоянно вздыхал. Буркхардту экземпляр послан не был. Один был направлен Элизабет, а еще один, как ни странно, Бернхарду Фёрстеру.

Ницше держался от Наумбурга подальше. Элизабет было уже почти тридцать девять, и она предложила Фёрстеру вернуться в Германию в марте 1885 года, чтобы они смогли пожениться 22 мая — в день рождения Вагнера. Это не прошло незамеченным в Байрёйте, где Козима приняла управление фестивалем и прочими делами. Антисемитизм Козимы всегда был более явственным, чем у Вагнера. Когда она овдовела, эти убеждения расцвели пышным цветом, и сеть Вагнеровских обществ стала служить для пропаганды расовых предрассудков по всей Германии.

Ницше выслушал новости о том, что Элизабет готовится к свадьбе, весьма спокойно и отстраненно. Он четко дал понять, что на церемонии не появится и вообще не намерен встречаться с будущим зятем. Элизабет попросила в качестве свадебного подарка гравюру Дюрера «Рыцарь, смерть и дьявол». Он любил эту картину и подарил одну копию Вагнеру еще в Трибшене. Тогда они считали, что рыцарь символизирует их обоих, скачущих спасти германскую культуру. Его собственная гравюра осталась одной из немногих вещей, не проданных после отъезда из Базеля: в годы странствий он вручил ее Овербеку: она была слишком дорогой и хрупкой, чтобы трястись в сундуке с книгами. И сейчас он попросил Овербека послать ее Элизабет в Наумбург, когда придет время свадьбы. Пара так истово благодарила его, что он посчитал, что превзошел обычные границы щедрости подарка по такому случаю. Он выразил пожелание, чтобы будущее молодой пары было повеселее, чем то, что изображено на картине.

Его письма домой были тактичными и не содержали критики, но порой он все же не мог совладать с собой и не подразнить Ламу по мелочи. Фёрстер называл Элизабет уменьшительно-ласкательным Эли. Понимали ли они, что это «мой Бог» в переводе с древнееврейского? Мог ли, спрашивал Ницше, такой убежденный вегетарианец, как Фёрстер, успешно основать колонию? Лучше всего это удавалось англичанам, и их успех был основан главным образом на флегматичности и ростбифе. Он отмечал, что трезвость и вегетарианство ведут к раздражению и унынию, а это вовсе не то, что в таких случаях необходимо. В его диету входили главным образом мясо, яичные желтки, рис, ревень, чай, коньяк и грог. Он рекомендовал их как самые эффективные средства для получения наибольшей энергии с наименьшими затратами.

Однако при всей шутливости тона вскоре он написал Элизабет самое серьезное письмо с тех пор, как обратился к ней из школы с рассуждениями по вопросам веры. Он назвал письмо «своего рода очерком своей жизни» и отмечал, что сейчас его жизнь представляется ему чередой утомительных попыток вписаться в неподходящую среду:

«Почти все мои взаимоотношения с людьми вызваны приступами чувства одиночества... Моя память обременена тысячью постыдных воспоминаний о таких моментах слабости, когда я совершенно не мог больше выносить одиночества... во сне есть что-то такое далекое и чужое, что мои слова, кажется, даже имеют иной цвет, чем у других... все, что я написал до сих пор, — это лишь подступы; для меня самое важное начинается там, где текст заканчивается... для восстановления мне важно найти убежище, где можно немного посидеть.

Так что, дорогая Лама, не считай меня безумцем и прости меня в особенности за то, что я не приеду к тебе на свадьбу — такой “больной” философ не годится для того, чтобы выдавать замуж невесту! С тысячей наилучших пожеланий, твой Ф.» [7].

Сам день свадьбы он провел в Венеции, в Лидо, купаясь в море со знакомой семьей из Базеля. Его задумчивое, глубокое письмо, наряду с очевидным эмоциональным спокойствием во время свадебных приготовлений, кажется, наносит решительный и заключительный удар по упорным слухам о его неподобающих отношениях с сестрой.

Особенно важна его просьба: «Не считай меня безумцем». В Зильс-Мари, общаясь с Резой фон Ширнхофер, он пребывал в ужасе из-за грозившего наследственного безумия. В разговорах с Резой он привлек ее внимание к книге Фрэнсиса Гальтона, двоюродного брата Дарвина и основателя евгеники, — «Исследование человеческих способностей и их развитие» (*Inquiries into Human Faculty and Its Development*, 1883).

В 1850-е годы, когда Ницше был еще ребенком, были сделаны первые шаги к пониманию передачи наследственных болезней. Появилась идея о наследственной «дегенеративной», или «дурной», крови. Так как его отец и множество более дальних родственников в разной степени страдали от безумия, Ницше едва ли мог избежать влияния этой идеи, которая в квазинаучной мысли того времени шла в комплекте с идеей моральной дегенерации. Эта концепция была популярна на протяжении всей жизни Ницше и достигла пика своего развития после опубликова-

ния в 1892 году бестселлера Макса Нордау «Вырождение» — отчаянно расистской книги, апеллировавшей к характерной для человечества жажде уверенности, утверждая, что существует неотвратимый рок, который определяется кровью. Ницше обращался к этой мысли и в «Заратустре», указывая, что нужно противостоять не только призракам мертвых идей и верований, но и тому, что мы унаследовали от своих родителей и что находится у нас в крови. Только так можно раскрыть собственный потенциал и стать собой.

В том же разговоре с Резой фон Ширнхофер Ницше подчеркивал, что наследственность не обязательно влечет за собой неотвратимый рок. Эмпатия к чужим культурам и понимание «другого» может сыграть свою роль в том, как сложится жизнь. Реза ответила в ответ, что ни по внешности, ни по своему духовному миру он не кажется ей типичным немцем. Форма его черепа напомнила ей о портрете, который она видела в галерее в Вене. То была работа Яна Матейко — польского художника, наиболее известного героическими полотнами на тему национальной истории.

Ницше с удовольствием ухватился за эту идею. С того времени он часто говорил, что на самом деле он не немец, а поляк и происходит из польского аристократического рода Ницких. Будучи филологом по образованию, он особенно обрадовался предполагаемой этимологии своей фамилии, которая, по его словам, на польском означает «нигилист».

Эту маску было очень удобно носить. Он вмиг превратился в настоящего европейца как по крови, так и по культуре. Маска дистанцировала его от наумбургских добродетелей и германского национализма, который повсюду проповедовал его новообретенный зять.

Новобрачные не сразу отбыли выполнять свою миссию в Парагвае: Франциска предложила, чтобы, пока все не устроится, Фёрстер занял место гувернера внуков одной из тех трех альтенбургских принцесс, которые когда-то недолго учились у отца Элизабет. Основные надежды Франциска возлагала на принцессу Александру, которая ныне была супругой русского великого князя Константина Николаевича. Ее дочь была королевой Греции и матерью семерых сыновей, которых, конечно, надо было учить. Франциска очень хотела получить для Фёрстера это место и предложила подергать за нужные ниточки, хотя и признавала, что на пути могут встать языковые сложности, а также, как мрачно добавлял Фёрстер, растущее влияние евреев.

Предложение Элизабет было более практичным: гораздо разумнее, если ее возлюбленный будет собирать средства для проекта и вербовать колонистов в Германии, а не по переписке из Парагвая. Это было безусловно верно, так что Фёрстер провел девять месяцев со дня их свадьбы до отъезда в Парагвай, колеся по стране и выступая не только в Вагнеровских обществах, члены которых были слишком утонченными, чтобы стать первой волной колонистов, но и в менее значительных организациях крестьян, плотников и других квалифицированных ремесленников, которые не считали ниже своего достоинства встать в авангарде.

Ему удалось добиться согласия двадцати семей. Каждая семья должна была внести от тысячи до десяти тысяч марок. Когда будет достигнута сумма в сто тысяч, удастся выкупить достаточное количество земли и каждая семья получит свой надел. Доставшийся им участок колонисты могут обрабатывать по собственному усмотрению и передавать по наследству, но не могут продавать. Неудивительно, что набор шел туго. Большинство квалифицированных ремесленников, желавших уехать, могли отправиться в Северную Америку — это было гораздо проще и дешевле и не предусматривало никаких особых условий. Фёрстер печалился: «Когда немец становится янки, человечество несет утрату».

Пока Фёрстер произносил напыщенные речи, Элизабет охотно превращала дом своей матери в Наумбурге в центр пропаганды предприятия своего мужа. Наконец-то она нашла приложение своим значительным организаторским талантам и уму. Она бомбардировала всех подряд письмами с информацией о блестящих возможностях инвестиций в Парагвай. Она помогала готовить к публикации книгу своего мужа «Немецкие колонии в Верхней Ла-Плате и в особенности Парагвай: результаты тщательного анализа, практической работы и путешествий 1883–1885 годов» (*Deutsche Colonien im oberen Laplata-Gebiete mit besonderer Berücksichtigung von Paraguay: Ergebnisse eingehender Prüfungen, praktischer Arbeiten und Reisen 1883–1885*). В книге давалась совершенно ложная картина Парагвая как земного рая, где глубокая, красная, удивительно плодородная почва почти не нуждается в обработке, а сразу приносит изобильные плоды. Иными словами, утверждалось, что это место было таким же совершенным физически и духовно, как Германия в старые добрые времена, прежде чем приехали иностранцы и заразили страну своим вырождением, так что Германия стала не землей отцов, а землей отчимов. Автор считал, что прежняя Германия

может восстать на парагвайской почве, и это обязательно произойдет: якобы сотня расово чистых колонистов, не загрязненных чужой кровью и идеями, должны получить возможность передать потомкам германские ценности и германскую добродетель.

Готовя книгу к публикации, Элизабет вышла за рамки покорности супругу. Она отредактировала тяжеловесный стиль своего мужа и переписала введение. Это ему не понравилось. Еще меньше ему понравилось, когда она привлекла в консультанты своего брата.

Для фронтисписа книги Фёрстер избрал отличную собственную фотографию, на которой он позировал с решительным видом — все это сопровождалось девизом «Несмотря на препятствия, стой на своем!». Ницше сказал Элизабет, что это смехотворное тщеславие. Фёрстер пришел в ярость: ведь фотография была необходима как иллюстрация его пригодности для руководства людьми, которым предстоит проделать путь через полмира. Последовал гневный обмен письмами. Элизабет упрекнула Фёрстера в том, что он ни во что не ставит ее мнение. Он обвинил ее в предательстве за то, что она занимает сторону брата и выступает против него. Это была их первая ссора. Книга вышла в неизменном виде — с фотографией и девизом.

Элизабет очень хотела, чтобы ее муж и брат встретились до того, как семейство уедет в Парагвай. Ницше выбрал для встречи свой сорок первый день рождения — 15 октября 1885 года, решив, что матери и сестре доставит удовольствие увидеться с ним в этот день. В Наумбурге он провел два дня, и мужчины встретились в первый, и единственный, раз в жизни. Они пожали друг другу руки, выпили за здоровье друг друга и пожелали друг другу удачи. Ницше с облегчением отметил, что Фёрстер менее отвратителен, чем он ожидал. Лично он показался Ницше не таким уж неприятным. Кроме того, Ницше убедился, что Фёрстер попросту достаточно здоров, чтобы вынести все предприятие, что было важно для Ламы.

Через два дня после встречи с Фёрстером он написал Францу Овербеку и сообщил, что все время в Наумбурге чувствовал себя больным, но затрудняется ответить, чем именно вызвано это ощущение. Он выразил надежду, что малоприятный день рождения станет его последним визитом в Наумбург, но, конечно, не мог не понимать, что это невозможно. После отъезда Ламы в дальние страны прикованность к дому будет распространяться на него одного, так что цепи станут только тяжелее. О встрече же с Фёрстером Ницше писал Овербеку, что описание его зятя в лондонской *The Times* было необыкновенно

точным. Газета писала: «Как и многие из его соотечественников, это человек единственной идеи, и эта идея состоит в том, что Германия для немцев, а не для евреев» [8].

Ницше подтверждал, что Фёрстер действительно помешан на антисемитизме. Это он уже знал и не собирался пытаться что-то изменить, выступив против него, поэтому решил извлечь из встречи хоть что-то полезное — оценить разум Фёрстера. В итоге Ницше заключил, что разума Фёрстеру недостает: он не только крайне предубежден, но и склонен к поспешным выводам и недостаточно образован. Фёрстер, в свою очередь, тоже счел Ницше достойным лишь презрения: типичный профессор, витающий в облаках, представитель физически слабой породы людей. Совсем не такие люди были нужны ему в колонии, и он обрадовался, когда Ницше отклонил приглашение Элизабет присоединиться к ним и поехать в Парагвай.

Речи в пустоту

Философия, как я ее до сих пор понимал и переживал, есть добровольное пребывание среди льдов и горных высот, искание всего странного и загадочного в существовании, всего, что было до сих пор гонимого моралью.

Ессе Ното. Предисловие, 3

В последующие два года Ницше все больше погружался в себя — любовался самыми прекрасными пейзажами Европы, жил в дешевых пансионах и отелях. Он был тих, вежлив, сутул, его одежда была все более убогой — такого человека окружающие легко могли игнорировать. Пожелав ему доброго утра или приятного аппетита, они отказывались от дальнейшего общения, что было ему только на руку. В общих обеденных залах он дистанцировался от гурманов и обжор, придерживаясь скудного и специфического рациона — слабого чая, яиц и мяса; иногда, впрочем, он просто ел фрукты и пил молоко. Он надеялся, что такое самоотречение спасет его от атак собственного организма, но ничто не могло уберечь его от безжалостных приступов рвоты, колик, адской боли и диареи, которая могла длиться неделю кряду. Прикованный к постели в каком-нибудь пансионе, он полностью зависел от доброты чужих людей.

Несмотря на ужасное здоровье, летом он часами карабкался на альпийские вершины, постоянно что-то записывая в блокноте. Зимой он на поезде разъезжал между курортами по рельефным побережьям Франции и Италии в постоянных поисках сухого воздуха и солнечного света, который согреет ему кости, но не ослепит его своим сиянием.

Флоренция ненадолго прельстила его своим «тонким, сухим воздухом, напоминающим о Макиавелли», но вскоре он уже жаловался на шум кофеварки или стук по брусчатке.

В Ницце все шло хорошо до 23 февраля 1887 года, когда его чернильница зажала собственной жизнью и начала прыгать по столу, как блоха в блошином цирке. Дом загремел и задрожал. Другие дома вообще начали падать. На улицы хлынули полуодетые люди. Никогда еще ему не доводилось видеть такой массовой паники. Всеобщему ужасу не поддавалась лишь одна пожилая и очень благочестивая дама, уверенная, что Господь не может причинить ей никакого вреда.

Землетрясение разрушило комнату в «Пансион де Женев», где он написал третью и четвертую части «Заратустры». Это заставило его еще больше задуматься о бренности вещей, которая теперь подтверждалась его собственным примером [1].

Он составил список своих пожитков. Среди них были несколько пар брюк, рубашки, два пальто, тапочки и ботинки, бритвенный и письменный приборы, сундук с книгами и сковородка, которую ему как-то прислала Элизабет и с которой он так и не разобрался. Он опубликовал пятнадцать книг. Последняя разошлась в сотне экземпляров. Его существование зависело от пенсии, которую платил христианский университет. Учитывая, что антихристианские настроения в его книгах все усиливались, он полагал, что в любой момент пенсию могут отменить.

По собственной оценке, он ослеп на семь восьмых. Яркий свет все время причинял ему сильнейшую боль. Общая расплывчатость очертаний и пляшущие яркие пятна перед глазами заставляли его ежедневно ставить под сомнение природу того, что мы принимаем за реальность.

На вид жизнь Ницше в 1886–1887 годах кажется тихой и безобидной, но именно в это время он, со всей яростью отвергнутого пророка, изучал основы наших моральных и интеллектуальных традиций и возносил над ними карающий молот своей зрелой философии.

Утверждающая часть его философии была готова. «Заратустра» расставил метки на жизненном пути человека, который говорит миру «да», — пострелигиозного человека, готового взять на себя ответственность за сомнения, непоследовательность и ужасы этого мира. Но крик Заратустры не был услышан. Задачей новых книг было достижение максимальной ясности — Заратустру надо было упростить.

На этот раз Ницше не будет излагать свои мысли в пародийно-библейском стиле или писать героико-эпическую легенду. Не собирается он и хоронить новую книгу. Поскольку ни один издатель не проявил

ни малейшего интереса к публикации его работы, он издаст ее сам. Он закажет 600 экземпляров за свой счет. Если ему удастся продать триста, то он отобьет деньги. Это ведь вполне возможно?

Книга «По ту сторону добра и зла» (1886) получила подзаголовок «Прелюдия к философии будущего». В отличие от «Заратустры» это сравнительно толстая книга — около двухсот страниц. Но он все равно чувствовал потребность написать следующую книгу — чтобы объяснить эту, написанную для объяснения «Заратустры». И на следующий год появилась новая книга — «К генеалогии морали» с подзаголовком «Полемическое сочинение» и комментарием «Приложено в качестве дополнения и пояснения к недавно опубликованному сочинению “По ту сторону добра и зла”».

Входя в роль философа «может быть» и пещерного минотавра сове-сти, он поставил себя в яростную оппозицию к праздной, добродушной моральной апатии общества, которое придерживается иудеохристианского морального кодекса, не имея притом веры в саму религию. Это лицемерие и ложь! Нельзя жить как христиане на три четверти!

Через сотню лет после смерти Бога, предсказывал Ницше, его тень по-прежнему будет видна на стенах пещеры. Пещерный минотавр исследует опасные возможности, чтобы отчистить стены, заново определить понятия добра и зла — если только добро и зло вообще существуют. Это исследование требовало критики самой цивилизации, критики оснований современности, современной науки, искусства и политики. По его словам, это было «отрицание» вырождения общества. Но отрицание было действительным, только если начать его с исследования истины.

«Предположив, что истина есть женщина, — начинается предисловие «По ту сторону добра и зла», сразу же приковывая к себе внимание, — как? разве мы не вправе подозревать, что все философы, поскольку они были догматиками, плохо понимали женщин?» [2]

Что мы считаем истиной? Величественные здания европейской мысли. Но их краугольные камни заложены догматиками, которые с незапамятных времен основывали свои теории на смеси народных суеверий — например, суеверия о душе — и дерзких обобщений своего человеческого, слишком человеческого опыта.

Без такой неправды человек не может обходиться. Он не может вынести жизни, не измеряемой при помощи изобретенных с нуля вымышленных систем — философии, астрологии и религии. Эти три чудовища на протяжении многих веков вращают землю, и в их образе

мы воплотили все наши суеверия. Человек некогда был свободен, но ударился в предрассудки и стал бешено строить зороастрийские обсерватории, греческие и римские храмы, египетские погребальные пирамиды и христианские соборы. Он предпочитал архитектуру страха и ужаса, основанием которой служила боязнь того, что смерть может повлечь за собой лишь забвение. Мы дали себя поработить жрецам, астрологам и философам. Их влияние прискорбно и опасно для психологии человека.

Мы должны поставить под сомнение наше представление о добре и зле как вечных абсолютных истинах, а не изменяющихся условностях. И начать надо с человека, который убедил всех в своей смехотворной идее существования абсолютной истины, то есть с Платона.

Из всех ошибок за последние две тысячи лет дольше всего существует изобретение Платоном чистого духа. Этим изобретением Платон набросил серую, бледную, холодную сеть идей на пестрый водоворот чувств — на сброд чувств, как он говорил [3].

Действительно ли природа чувств находится в знаменитой пещере Платона, где люди, прикованные к стене, не могут повернуть голову и понять, что все, что они видят на стенах, — лишь тени реальных объектов, которые отбрасывает на стену огонь позади них? Обманутые, они принимают игру теней за реальность, «истину». Так Платон обременил нас своей идеей различий между миром кажущимся и миром реальным. Его теория формы исходила из того, что для каждой вещи существует идеальная форма: форма красного цвета, форма правосудия — вероятно, существует недостижимый и непознаваемый идеал каждого объекта и качества. Шопенгауэр использовал теорию форм Платона в своей собственной теории воли и представления — теории полностью изобретенного мира, которую Ницше уже опроверг в «Человеческом, слишком человеческом», схватив яркий вольтеровский факел разума и осветив его четким светом мрачные стены пещеры [4].

Философы — это «пронырливые ходатаи своих предрассудков» [5], хитрые проповедники своих идей, которые выдают за «истины». Философы — это коммивояжеры, продающие душу. Их доктрины — это указы, налагающие цепи на человеческую природу. Философия всегда творит мир по своему образу и подобию; иначе она не может. Философия — это прославление универсализации. Это притворство. Она хочет, чтобы все существующее существовало лишь по ее образу; «философия сама есть этот тиранический инстинкт, духовная воля к власти, к “сотворению мира”, к *causa prima*» [6].

С наукой дело обстоит не лучше. Заключение, сделанные после исследований под микроскопом, обещают не больше истины, чем философские. Наука — это не религия. Но наука каким-то образом становится заменой религии. Современный мир ошибочно принимает научные выводы за моральную догму.

«Быть может, в пяти-шести головах и брезжит нынче мысль, что физика тоже есть лишь толкование и упорядочение мира (по нашей мерке! — с позволения сказать), а *не* объяснение мира; но, опираясь на веру в чувства, она считается за нечто большее и еще долго в будущем должна считаться за большее, именно за объяснение. За нее стоят глаза и руки, очевидность и осязательность: на век, наделенный плебейскими вкусами, это действует чарующе, убеждающе, *убедительно* — ведь он инстинктивно следует канону истины извечно народного сенсуализма. Что ясно, что “объясняет”? Только то, что можно видеть и ощупывать» [7].

Толкование мира «дарвинистами и антителеологами» заставляет Ницше отказаться от прежних обвинений платоновской теории идеала. По крайней мере, она предлагала нам некоторое «наслаждение», в то время как ученые стремятся с «максимальной затратой глупости» и «минимальной затратой силы» понравиться «грубому, трудолюбивому поколению машинистов и мостостроителей будущего» [8].

Хотя люди восторженно воспевают естественные законы, на самом деле все, что им нужно, — это погреть теорию естественного. «Жить — разве это не значит как раз желать быть чем-то другим, нежели природа? Разве жизнь не состоит в желании оценивать, предпочитать, быть несправедливым, быть ограниченным, быть отличным от прочего?» [9]

Сея тревожные сомнения повсюду, он отмечает, что философ опасного «может быть» находит идею неправды столь же интересной, как и идею истины. Почему не попытаться изучить истину с нескольких ракурсов? Например, с лягушачьей перспективы? [10] Учитывая, что истина, как он нам уже говорил, столь же таинственна, как и женская природа, он возвращается к мнению о том, что вечная женственность не способна на истину, потому что «какое дело женщине до истины! Прежде всего ничто не может быть в женщине страннее, неприятнее, противнее, нежели истина — ее великое искусство есть ложь, ее главная забота — иллюзия и красота» [11].

Любая истина — это лишь частное толкование. Мы есть не что иное, как память и ментальные состояния, существующие в обществе,

в котором мы возвращаемся. И последнее предложение предыдущего абзаца этот факт только подтверждает. Поздняя философия Ницше полна мстительного женоненавистничества. Лу, которая отвергла его предложение руки и сердца на том основании, что она, как свободный ум, никогда не выйдет замуж, нанесла ему еще один мощный удар, объявив о помолвке с Фридрихом Андреасом. Ницше не ответил на ее письмо. Помимо не очень откровенного письма Мальвиде, где он презрительно отмечал, что «никто не знает, кто такой этот Андреас», он держал свои мысли и чувства при себе [12].

Исследовав природу истины, «По ту сторону добра и зла» переходит к анализу природы собственного «я». Ницше достигает этого, изучая продолжения утверждения «Мыслю» в бравурном пассаже, который расшатывает самые основы западного мышления, деконструируя декартовское знаменитое «следовательно, существую».

«Говорили, “я” есть условие; “мыслю” — предикат и обусловлено, — мышление есть деятельность, к которой *должен* быть примыслен субъект в качестве причины. И вот стали пробовать с упорством и хитростью, достойными удивления, нельзя ли выбраться из этой сети, — не истинно ли, быть может, обратное: “мыслю” — условие, “я” — обусловлено; “я” — стало быть, только синтез, *делаемый* при посредстве самого мышления» [13].

Нельзя быть уверенным в существовании думающего «я», невозможно знать, что существует вообще что-то или кто-то мыслящее, что мышление — это деятельность, воспринимаемая как причина. Невозможно знать, что «мышление» уже каким-то образом определено — что я *знаю*, что такое мышление. Может ли «я» не быть просто синтезом, созданным мышлением?

«Кто отважится тотчас же ответить на эти метафизические вопросы, ссылаясь на некоторого рода *интуицию* познания, как делает тот, кто говорит: “я мыслю и знаю, что это по меньшей мере истинно, действительно, достоверно”, — тому нынче философ ответит улыбкой и парой вопросительных знаков. “Милостивый государь, — скажет ему, быть может, философ, — это невероятно, чтобы вы не ошибались, но зачем же нужна непременно истина?”» [14]

То, что мы переживаем во сне, становится достоянием наших душ в той же мере, как и все, что мы испытали на самом деле. Психология, а не догма — ключ к познанию мира [15].

Поставив под вопрос природу «я» и объявив объективную истину невозможной, он тут же ехидно отмечает, что заявлять, будто объективная истина невозможна, — значит делать утверждение объективно истинное, что само по себе невозможно.

И нам остается лишь наблюдать через бесконечное количество увеличительных стекол — но за чем? За истиной и головокружительной перспективой бесконечного «может быть»? Нам предоставляется решить эту проблему самостоятельно. Не доверяя всем создателям систем, Ницше упорно отказывается строить свою собственную систему. Он любит противоречить сам себе в царстве идей, заставляя нас занимать позицию свободных, независимых от него умов.

Чтобы подтвердить свою готовность к независимости, человек не должен держаться ни за что, даже за чувство собственного одиночества. Но такая независимость доступна лишь немногим. Это привилегия канатных плясунов, которые могут позволить себе беспечность.

Завершив рассуждения о свободном духе, Ницше переходит к религии и начинает рассказ о ней со своего обычного бодрого и сразу же привлекающего внимание вступления. Он воинственно заявляет, что на протяжении почти двух последних тысячелетий можно было наблюдать самоубийство разума, сознательно налагающего на себя религиозную доктрину. Благодаря собственному опыту конфликта между самореализацией и самоотречением ради религиозной доктрины Ницше чувствует себя вправе заключить, что первая жертва, которую человек приносит в угоду религии, — это жертва собственным «я».

Как вышло так, что мы добровольно приняли иудеохристианские ценности, превратившие нас в покорный скот? Почему мы восприняли то, что Ницше называет рабской моралью? Этот термин Ницше связывает с тем, что исторически евреи и христиане были рабами — сначала первые в Вавилоне, а затем и те и другие в Римской империи. Не способные навязать миру свою волю, но рвущиеся к власти, рабы ненавидели своих господ. И они придумали единственный доступный им способ мести — поставить с ног на голову ценности, внедрить свои печали в религию, которая прославляла их плачевное и страдающее состояние [16].

Чувственность и жажда власти демонизировались. Слова «богатые» и «власть имущие» стали синонимами зла. Христианство — это отрицание воли к жизни, ставшее религией. Христианство ненавидело жизнь и ненавидело человеческую природу; оно отравило мир, отри-

чая реалии человеческой природы и превращая все в конфликт между «должен» и «есть».

Мораль, рожденная в рабстве, увековечивала рабство и придавала непреходящий смысл нигилизму павших и униженных.

Ницше в оригинале специально использует в описании основ рабской морали французское слово *ressentiment*. Оно обладает более широким значением, чем ревность или отвращение. Это невроз — необходимость причинять боль себе и другим. Ресентимент отражает позицию тех униженных и оскорбленных, которые не могут (или не хотят) выразить свою ненависть посредством мести. Поэтому ресентимент побудил рабов обратить свою слабость в силу, «восточный раб мстил таким образом Риму и его благородной и фривольной терпимости», отвергая прежнюю мораль власти и превосходства и замещая ее моральным превосходством жертвенности и прославлением павших.

Блаженный Августин отмечал, что обида сродни принятию яда в надежде, что умрет другой.

Как произошла эта странная переоценка ценностей? Как аскетизм победил жизнеутверждающий подход?

Хотя Ницше поднял эти вопросы в «По ту сторону добра и зла» и частично сам на них ответил, он вовсе не считал проблему разрешенной. В июне 1887 года он начал писать «К генеалогии морали». Это название явно отсылает к модному в то время постдарвиновскому увлечению вопросами происхождения. Как обычно, он писал очень быстро — закончил недели за четыре. Книга состоит из трех длинных эссе, которые имеют целью докопаться до самых корней генеалогического древа морали, дойдя даже глубже иудеохристианских времен. Исследованию подвергалась та эпоха, когда человек вышел из моря и стал ходить на двух ногах. Ницше делает предположение, что в какой-то момент первобытной истории возникла некая практика, оказавшаяся дурной для общины. Она привела к наложению наказания. Именно тогда и появилась мораль; наши инстинкты впервые были обузданы обществом. Со временем наказание привело к появлению рефлексии, а рефлексия вызвала к жизни совесть.

Итак, совесть — это цена создания структуры общества, это штраф, который накладывается на душу, когда иудеохристианская аскетическая традиция с ее «не делай того-то» погребает наши самые естественные инстинкты под смертельным бременем вины. Инстинкты, которые не разряжаются вовне, обращаются вовнутрь. Обремененные угрызе-

ниями совести, мы становимся несчастными и преисполняемся презрения к себе, что выражается в мифе о первородном грехе и аскетизме, который проповедуют священники. Концепция экзистенциального невроза появится позже, но, безусловно, именно это и имел в виду Ницше, когда в «К генеалогии морали» рисовал картину современного человека, «который, за отсутствием внешних врагов и препятствий, втиснутый в гнетущую тесноту и регулярность обычая, нетерпеливо терзал, преследовал, грыз, изнурял, истязал самого себя, этот бьющийся до крови о решетки своей клетки зверь» [17]. Как мы можем вырваться из клетки угрызений совести и отвращения к себе, построенной аскетами-священниками? Противоядие от рабской морали — это мораль сверхчеловека, свободного, всеутверждающего, независимого ума. Мораль этого высшего человека определяется его жизненной силой, его волей к власти. Хотя Ницше считал, что эволюционная теория описывает лишь сохранение жизни, не имеющее отношения к морали, его идея «воли к власти» явно во многом обязана дарвиновской концепции выживания наиболее приспособленных, но Ницше развивает тему. Ницшеанская воля к власти — это и символ потенциала человека, и притча о важности преодоления себя. Органическая жизнь не может быть статичной. Мы с детства стремимся к власти. Вся органическая жизнь постоянно находится в динамичном и хаотическом состоянии творения и упадка: преодолеваем мы, преодолевают нас. Корни дерева, которые прорастают через камни, — это воля к власти. Лед, ломающий скалы и меняющий береговую линию, — это воля к власти. Она проявляется в микроскопических спорах мха на черепитчатой крыше дворца, когда они вырастают в большую зеленую губку, из-за чего лакеи вынуждены в панике бегать вокруг, ведь это может привести к обрушению крыши и всего режима. Воля к власти всегда подвижна. Непрерывная динамика чувствуется во всех личных отношениях, отношениях между группами и странами.

Он пишет, что воля к власти — это эмоция, желание управлять. То, что именуют свободой воли, — это превосходство, умеряемое уважением к соблюдению каких-то правил. Но эти правила могут и не быть чем-то внешним по отношению к нам самим. Ницше в «По ту сторону добра и зла» говорит и об умении владеть собой: «Хотящий присоединяет к чувству удовольствия повелевающего еще чувства удовольствия исполняющих, успешно действующих орудий, служебных “под-воль” или под-душ, — ведь наше тело есть только общественный строй многих душ» [18].

Человек, овладевший собой, готов противостоять неопределенности многих «может быть». Если набраться смелости и отказаться от абсолютных истин, тем самым мы откажемся и от понятия «результата» или «заключения». Поэтому «высший человек», или «сверхчеловек», или «свободный ум», или «уберменш», или «философ будущего», или «философ “может быть”», или «аргонавт духа» — называйте его как хотите — склонен играть. Жизнь перестает быть сводом законов. Это танец под музыку «а что, если». Понимание собственного «я» и понимание окружающего мира зависят от представления о том, что мы не можем одновременно понимать себя и мир. Если долго смотреть в бездну, бездна посмотрит в тебя. Это не очень-то приятно. Но позор вам, если вам не хватило духа жить в соответствии с принципом «а что, если», потому что тогда вы относитесь к «последним людям», христианам на три четверти, которые наслаждаются комфортной религией, твердо придерживаясь устарелых ценностей.

Истинно, что нет такой вещи, как истина, — может быть.

В книге «К генеалогии морали» на сцену выходит знаменитая белокурая бестия (*die blonde Bestie*). Вероятно, именно этот образ снискал Ницше сомнительную репутацию: «белокурую бестию» стали считать попыткой расовой классификации и орудием политической борьбы, ницшеанским арийским сверхчеловеком, предшественником гитлеровских расовых законов 1935 года о германской чести и германской крови. Но это потрясающее недопонимание. В произведениях Ницше пять раз упоминается «белокурая бестия» и есть три посвященных ей пассажа, и ни разу речь не идет о какой-либо расовой классификации, не говоря уже об идее высшей расы.

В первом фрагменте Ницше рассказывает о том, как представления о хорошем, плохом и злом впервые возникли в ранних цивилизациях. Он описывает зарождение первых форм государства из доисторического тумана. Он не поясняет, о каком историческом периоде и даже о каком уголке земного шара он говорит, но не остается сомнений, что та белокурая бестия, которая захватывает власть и создает первые государства, — это наш дикий предок, общий для всех рас:

«В основе всех этих благородных рас просматривается хищный зверь, роскошная, похотливо блуждающая в поисках добычи и победы белокурая бестия; этой скрытой основе время от времени потребна разрядка, зверь должен наново выходить наружу, наново возвращаться в заросли — римская,

арабская, германская, японская знать, гомеровские герои, скандинавские викинги — в этой потребности все они схожи друг с другом. Благородные расы, именно они всюду, где только ни ступала их нога, оставили за собою следы понятия “варвар”; еще и на высших ступенях их культуры обнаруживается сознание этого и даже надмевание» [19].

Включение в перечень арабов, греков и японцев заставляет предположить, что Ницше просто нравилось звучание словосочетания «белокурой бестии», а точное описание расовых типов мало его занимало. Более того, тот же пассаж продолжается:

«Глубокое ледяное недоверие, еще и теперь возбуждаемое немцем, стоит только ему прийти к власти, — является все еще неким рецидивом того неизгладимого ужаса, с которым Европа на протяжении столетий взирает на свирепства белокурой германской бестии... Может быть, совершенно правы те, кто не перестает страшиться белокурой бестии, таящейся в глубинах всех благородных рас, и держит перед нею ухо остро, — но кто бы не предпочел стократный страх, при условии, что здесь в то же время есть чем восхищаться, просто *отсутствию* страха, окупаемому невозможностью избавиться от гадливого лицемерия всего неудачливого, измельченного, чахлого, отравленного? <... > избытка неудачливости, болезненности, усталости, изжитости, которым начинает нынче смердеть Европа...» [20]

Второе упоминание белокурой бестии находится во втором эссе книги, где он снова размышляет об образовании первых государств в истории.

«Я употребил слово “государство”; нетрудно понять, кто подразумевается под этим — какая-то стая белокурых хищников, раса покорителей и господ, которая, обладая военной организованностью и организаторской способностью, без малейших колебаний налагала свои страшные лапы на, должно быть, чудовищно превосходящее ее по численности, но все еще бесформенное, все еще бродяжное население. Так вот и затевается “государство” на земле» [21].

Эта хищная орда покорителей и господ не имела никакого понятия о морали и долге. Чувство вины по отношению к покоренным народам, ответственности за них — все это было для них так же бессмысленно, как и, например, идея соблюдения договоров.

Сознательно или нет, но описание философом психологии Древнего мира, когда правили подобные львам белокурые бестии, восходит к тому мифическому миру, который изображает в «Кольце нибелунга» Вагнер, и к морали и психологии богов и героев этого мира. Вагнеровские боги и герои рыскали по девственным лесам точь-в-точь как белокурые бестии Ницше: нарушая законы и договоры, грабя и насилая. Боги Вагнера правили без каких-то моральных ограничений, без общественной или личной совести. Но в ходе тетралогии Вагнер показывает, что, даже оставаясь в пределах узких личных интересов, всевластная толпа белокурых бестий обнаруживает, что действия неизбежно ведут к последствиям, последствия — к сводам законов, а своды законов — к наказанию, хотя ни Вагнер, ни боги и герои «Кольца» так и не дошли ни до соблюдения договора, ни до развития совести.

Третье, и последнее, упоминание о белокурой бестии содержится в одной из последних книг Ницше — «Сумерки идолов» (1889). В яростном эссе под названием «“Исправители” человечества» он снова неистово обличает священников и философов за то, что они проповедуют несуществующее. Их мораль противоестественна, их доктрины — лишь инструменты для укрощения и приручения примитивного человека — белокурой бестии, — который может цивилизоваться лишь слишком дорогой ценой.

«Называть укрощение животного его “улучшением” — это звучит для нашего уха почти как шутка. Кто знает, что происходит в зверинцах, тот сомневается в том, чтобы зверя там “улучшали”. Его ослабляют, делают менее вредным, он становится благодаря депрессивному аффекту страха, боли, ранам, голоду *болезненным* зверем. — Не иначе обстоит и с укрощенным человеком, которого “исправил” жрец. В начале Средних веков, когда церковь действительно была прежде всего зверинцем, всюду охотились за прекраснейшими экземплярами “белокурых бестий”, — “исправляли”, например, знатных германцев. Но как выглядел вслед за тем такой “исправленный”, завлеченный в монастырь германец? Как карикатура на человека, как выродок: он сделался “грешником”, он сидел в клетке, его заперли в круг сплошных ужасных понятий... И вот он лежал там больной, жалкий, озлобленный на самого себя; полный ненависти к позывам к жизни, полный подозрений ко всему, что было еще сильным и счастливым. Словом, “христианин”... Это поняла церковь: она *испортила* человека, она ослабила его, — но она заявила претензию на то, что “исправила” его»¹ [22].

¹ Здесь и далее «Сумерки идолов» цит. в пер. Н. Н. Полилова.

Вот и все упоминания белокурой бестии в трудах, опубликованных самим Ницше. Они далеки от заявлений о том, что белокурые бестии — это представители высшей германской расы, которые, подпитываясь волей к власти, должны повергнуть человечество к своим стопам. Однако нет сомнений, что здесь содержатся довольно неприятные элементы, которые легко могли развиться далее в расизм и тоталитаризм. Было бы наивно просто игнорировать их, отказываясь считать точкой отсчета для националистической заразы.

Именно это и привлекло в свое время внимание литературного критика и редактора издания *Der Bund* Йозефа Виктора Видманна [23], который написал на «По ту сторону добра и зла» пророческую рецензию под названием «Опасная книга Ницше»:

«Динамитные шашки, использовавшиеся при строительстве Сен-Готардского тоннеля, были отмечены черным флагом, означавшим смертельную опасность. Именно в этом смысле мы и называем опасной новую книгу философа Ницше. Такая характеристика не свидетельствует об упреке автору или его труду, как и черный флаг был поставлен не для обвинения взрывчатых веществ. Меньше всего мы хотели бы отнести одинокого мыслителя к стервятникам лекционных залов и разбойникам кафедр, отмечая опасность его книги. Интеллектуальные взрывчатые вещества, как и собственно динамит, могут служить для очень полезных целей; совершенно необязательно использовать их для совершения преступлений. Однако всегда там, где хранятся такие вещества, должна быть предупреждающая надпись: “Осторожно, динамит!” Ницше — первый человек, нашедший выход, но выход настолько устрашающий, что от чтения становится не по себе...» [24]

Ницше был очень рад, что его наконец заметили и охарактеризовали как мощного и опасного мыслителя. В течение недели Ницше скопировал рецензию (процесс очень трудоемкий, учитывая состояние его зрения) и отправил ее Мальвиде. Это была первая за долгое время рецензия на его книги, и его триумфу не мог помешать тот факт, что продать удалось всего 114 экземпляров.

Ламаланд

Моя сестра... мстительная антисемитская гусыня...¹

*Письмо Мальвиде фон Мейзенбург,
начало мая 1884 года*

В феврале 1886 года Элизабет и Бернхард Фёрстер и их небольшой отряд чистокровных патриотов-антисемитов отплыли из Гамбурга в Парагвай на корабле «Уругвай». Ницше так больше и не увиделся с зятем с момента знакомства. Перед отъездом Элизабет дала Ницше кольцо с выгравированными на нем инициалами — ее и мужа — и настоятельно рекомендовала вложиться в колониальное предприятие. В этом случае она готова назвать в его честь какой-нибудь участок земли. Он сухо посоветовал ей лучше выбрать название Ламаланд [1].

Он считал, что принципы, на которых должна быть основана Новая Германия, выражают рабскую ментальность в современном варианте. Фатерландизм, сверхпатриотизм и антисемитизм просто маскировали ревнивый, мстительный ресентимент импотента. Странно, что Ницше вообще решил послать свои последние книги Элизабет, учитывая их содержание.

Свой сорок третий день рождения, 15 октября 1887 года, философ встретил в Венеции, куда приехал на месяц ради музыки и восстановления в обществе преданного, как всегда, Петера Гаста. Зрение Ницше еще ухудшилось, и его почерк превратился в иероглифы. И теперь только Гаст мог расшифровать его и передать в типографию. В городе,

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

где умер Вагнер после ссоры с Козимой по поводу увлечения молодой англичанкой-сопрано, Ницше делал записи о Дионисе и Ариадне, вспоминая о трибшенской идиллии и временах, когда он сочинял «Рождение трагедии». Теперь он фактически писал сатировскую драму.

Возвращаясь мыслями к настоящему, он делал записи и по психологии. Он составил список преобразующих состояний, которые укрепляют жажду жизни. Возглавляло список сексуальное влечение, за которым следовали опьянение, насыщение после приема пищи и ощущение весны. В своем блокноте он признавал, что нигилизм — нормальная позиция после того, как цели (например, рая) больше не существует, а высшие ценности девальвировались [2]. Он отметил сильные опасения и по поводу морали господ: «К величию прилагается дурной нрав; пусть никто не думает иначе» [3].

На день рождения он получил поздравления только от матери. В ответ он сообщил новость, которая должна была порадовать Франциску: письмо пришло ему в тот момент, когда он как раз писал «весточку южноамериканской Ламе»¹ [4]. В посланиях домой Элизабет рисовала радужную картину процветания колонии, и он радовался успехам сестры, хотя и не мог разделить ее идеи.

Перед отъездом в Парагвай Фёрстер при всем своем рвении смог завербовать лишь четырнадцать семейств. Большинство из них были родом из Саксонии — провинции, которая породила как Рихарда Вагнера, так и Элизабет Ницше. Среди понурых добровольцев ностальгия по крови и почве древнего отечества была так развита, что они могли служить образцовым примером того, что Ницше писал о ressentimentе в основе рабской морали. Маленькая группка яростных националистов состояла из крестьян, ремесленников и мелких торговцев, которые чувствовали, что их бросили, а их жизнь обесценилась из-за безжалостного экономического, социального и политического прогресса. Ни одного художника или интеллектуала среди них не было.

Месячное плавание в Южную Америку на самом дешевом корабле было тяжелым и отвратительным. За ним последовал неприятнейший подъем вверх по реке Парагвай, когда пришлось вверить себя безразличным индейцам с бронзовой кожей. Простые, сельские немецкие колонисты не понимали ни языка, звучащего вокруг, ни звезд в южном небе, им чужды были листья на местных деревьях и трава на земле. Среди этой странной растительности мелькали странные существа, что еще

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

больше смущало новоприбывших. Они страдали от неведомых доселе болезней. У них были галлюцинации. Их мучили палящее солнце и укусы насекомых. Умер ребенок — маленькая девочка. Они похоронили ее в кое-как вырытой на берегу реки могиле и поплыли дальше.

Наконец они прибыли в Асунсьон — столицу Парагвая. Для немцев слово «столица» означало каменный оплот порядка и власти.

Но здесь улицы были из грязи, дома — из того же материала, а многочисленное население, корыстолюбивое и беспринципное, тоже не отличалось чистоплотностью. За долгие годы войны в редких каменных зданиях появились дыры и разломы. Президентский дворец и здание таможи приобрели вид совершенно нелепый. Прямо из полов бальных залов росли высокие деревья. Повсюду расплодился плющ, закрывавший орнаменты на лепнине.

В 1886 году Парагвай все еще отходил от долгой войны Тройственного альянса (1864–1870), в которой страна героически, но безуспешно сражалась против объединенных сил Бразилии, Аргентины и Уругвая. Согласно источнику того времени, перед войной население Парагвая составляло 1 337 439 человек. После войны осталось 221 079 [5].

За шесть лет до приезда Элизабет к власти в стране пришел Бернардино Кабальеро, герой войны. Международный долг Парагвая в то время составлял около 5 миллионов фунтов стерлингов [6], и колонисты были важным источником денег и ресурсом для заселения опустевших земель.

15 марта 1886 года тридцатидевятилетняя Элизабет сошла с корабля, как будто прибыла на церковный пикник в Наумбурге. Хотя стояла жара, как в парнике, на ней было длинное черное платье, капор на высокой прическе и очки на носу. (Косоглазие у Элизабет всегда было более выраженным, чем у Ницше, но глаза у нее никогда не болели так, как у брата.) За ней шли потеющие пеоны, с трудом неся ее фортепиано по узким ребристым сходам. За женой шествовал и сам герой-завоеватель: высокий крахмальный воротничок, черный сюртук, торчащая борода, сверкающие драгоценности на груди. Весь вид Фёрстера говорил о стремлении стать вождем — как и та фотография на фронтисписе книги, которую Ницше высмеял как признак авторского тщеславия. За великолепной парой и их фортепиано тащилась усталая кучка воинов культуры — потных, худых и отечных, страдающих от многих месяцев специфических условий судовой гигиены.

Никто точно не знал, где, собственно, находится Новая Германия. Фёрстеры привезли соотечественников не на землю, а на идею, на фикцию — в никуда.

Ни Фёрстер, ни Элизабет ни разу в жизни не имели опыта сделок, когда познакомились с неким предприимчивым персонажем по имени Сирилио Солалинде, который заявил, что владеет Кампо-Кассасией — участком площадью около 600 квадратных километров примерно в 400 километрах от Асунсьона. Солалинде утверждал, что на участке есть деловой лес и много великолепной плодородной земли для сельского хозяйства. Высока и транспортная доступность — вверх по реке Парагвай. Он предложил им купить землю за 175 тысяч марок. Таких денег у них не было и близко, и Солалинде предложил другой вариант. Он продал участок правительству по дешевке — за 80 тысяч марок, а правительство уже давало Фёрстеру право на его колонизацию всего за 2000 марок. Если Фёрстеру удастся к августу 1889 года поселить там 140 семей, он получит право на землю. Если же нет — право на колонизацию отзовут. Условия договора никогда не становились достоянием общественности: Элизабет и Фёрстер всегда называли себя владельцами или правителями Новой Германии. Элизабет два года провела в Асунсьоне, пока колонисты строили для нее дом. Наконец, 5 марта 1888 года все было готово.

«Мы прибыли на нашу новую родину как короли», — писала она в длинном ликующем письме матери. Далее она описывала, как ее, словно норвежскую богиню, везли в упряжке шесть волов. По ее триумфальному маршруту у своих глинобитных домов стояли празднично одетые колонисты и издавали «крики радости». Ее прибытие вызвало приступ патриотического полурелигиозного восторга. Ей поднесли цветы и сигары. К ней привели детей для благословения. Внезапно, как из-под земли, откуда-то появились восемь великолепно одетых конюхов, ведущих любимую лошадь Фёрстера, украшенную розетками в национальных цветах — красном, белом и черном. Фёрстер проворно запрыгнул в седло. За королевской четой — Элизабет в запряженной волами повозке и Фёрстером на жеребце с патриотическим чепраком — сформировалась процессия. За ними трусили всадники, а замыкала шествие «длинная вереница людей». Несмотря на всю торжественность встречи, как честно, но с сожалением пишет Элизабет, их не приветствовали пушечным салютом, зато было произведено много «радостных выстрелов из пистолетов».

«Милый экипажик» теперь был обильно украшен пальмовыми ветвями, а посреди стоял красный трон, на который она и взошла. Все это кажется Байрёйтской постановкой какой-то оперы Вагнера в сценографии фон Жуковского.

Процессия направилась к Фёрстерреде. Это название они дали поселению, которое должно было стать столицей. Здесь главный колонист, некий господин Эрк, произнес торжественную приветственную речь, после чего все переместились на предполагаемую главную площадь будущего города, где уже была установлена триумфальная арка. Прекрасные девушки преподнесли Элизабет цветы. Последовали речи, уверяющие в благодарности и верности. Раздались крики: «Да здравствует мать колонии!» Ее обрадовало, что колонисты оказались галантными и произнесли здравицу сначала ей, а уж потом Фёрстеру. Торжественно спев припев *Deutschland, Deutschland über Alles*, они проследовали через вторую триумфальную арку, воздвигнутую перед Фёрстерхофом — величественным особняком, который должен был стать новым домом для нее и Фёрстера. Снова речи. Снова девушки с цветами. Элизабет признавала, что снаружи особняк выглядел довольно уродливо (что подтверждает и фотография), но без конца описывала величие интерьеров: высокие потолки, широкие двери, задрапированные шторами, мягкие кресла, удобные кушетки и, конечно, ее пианино. Кроме того, как она писала, ей принадлежало «пять небольших ранчо и три средних», сотни голов скота, восемь лошадей, магазин с товарами на тысячи марок. Было у них и двадцать слуг, которым они могли положить хорошее жалованье. Она не упустила случая благочестиво посетовать, что имеет слишком много земных благ.

Франциска наслаждалась: пусть Козима Вагнер — королева Байрёйта, но Элизабет — королева целой колонии! Как чудесное положение Элизабет в мире контрастировало с полной незначительностью ее брата! Как затмевали его ее владения! В Наумбурге не утихали слухи, что Фёрстер почти наверняка станет следующим президентом Парагвая.

Элизабет продолжала уговаривать Ницше вложиться в предприятие. Зачем держать скучные, безопасные, отжившие свое ценные бумаги, когда можно получить невероятный доход из ее Нового Света? Овербек не советовал. Это, наряду с мнением Овербека о Лу, было еще одной причиной, по которой Элизабет навсегда затаила злобу против него и его жены. Ницше пытался смягчить свой отказ шуткой и писал, что не может поддержать «Ламу, которая ускакала» от него «к антисемитам». Это едва ли ее позабавило. Зато ей удалось выманить деньги у верной старой служанки Франциски — Альвины. Этих денег старушка потом так и не увидела, а ведь они вряд ли были для нее лишними.

К июлю 1888 года переехало лишь сорок семей, а некоторые уже успели собрать вещи и направиться домой. Превышение кредита вы-

шло за всякие рамки. Процентные ставки продолжали расти. Капитал Элизабет и взносы колонистов были потрачены. Не велось никакого строительства, ничего не было сделано для дорожной инфраструктуры и гигиены, не хватало элементарной чистой воды.

Элизабет знала условия сделки. Со дня переезда в Фёрстерхоф у нее оставалось восемнадцать месяцев на то, чтобы довести число колонистов до 140 семей. Она писала всем знакомым и многим незнакомым. Письма и заявления летели в различные колониальные общества в Германии, основанные для организации и поддержки подобных предприятий. Но главным ее делом стала газетная кампания в *Bayreuther Blätter*. Благодаря этому она открыла в себе способности популиста. Газета просветила ее, как работает пресса и как легко создать легенду посредством дезинформации. Легенда о Новой Германии оказалась отличной репетицией перед созданием впоследствии легенды о знаменитом брате.

Завлекательные, как пение сирен, статьи Элизабет рисовали безмятежное Эльдorado, где яркие гамаки свисают с деревьев. Она признавала, что гамаки приходится покрывать москитными сетками, но утверждала, что в основном сетки нужны от обильной ночной росы, а не от немногочисленных, очень немногочисленных, кусающих насекомых. Местные жители называются «пеонами». Расистам нечего их бояться. «Пеоны» — великолепные слуги: счастливые, покорные и энергичные. Когда хозяин заходит домой, они соревнуются в том, чтобы первыми исполнить его повеления. Они любят подарки, как дети. Несколько сигар или свежесдобитый хлеб — и они будут биться за то, чтобы удовлетворить любую прихоть господина. В Новой Германии ведут жизнь лотофагов. На завтрак колонисты пьют вкуснейший кофе и едят хлеб со сладким сиропом. Затем они надзирают за выращиванием фруктов и овощей, которые почти без человеческой помощи так и выскакивают из земли, ведь здешняя благодатная почва необыкновенно плодородна. «Сотни голов скота», о которых писала Элизабет, были тем, что осталось от довоенных стад, одичавших после смерти хозяев в войне Тройственного альянса. Вновь приручив коров, колонисты получали от них молоко, масло и сыр, но блуждающие дикие быки по-прежнему представляли значительную угрозу.

Отмщение явилось Элизабет в марте 1888 года в облике портного из крестьян по имени Юлиус Клингбайль. Он от всей души поверил в дело колонии и заплатил пять тысяч марок, чтобы последовать за своим героем Бернхардом Фёрстером.

Вскоре по прибытии Клингбайль обнаружил, что на самом деле все обстоит совсем не так, как расписывала в своих статьях Элизабет. Климат был суров, москиты — безжалостны. Тропические насекомые переносили неизвестные, но тяжелые заболевания. Столь расхваливаемая почва была вовсе не плодородна, обрабатывать ее оказалось невероятно сложно. Парагвайские слуги были ленивы, мрачны, озлоблены, своенравны и больше всего на свете любили бездельничать и потягивать мате. Каждый колонист заплатил за клочок земли, отделенный от соседнего расстоянием примерно в милю. Они страдали от одиночества, скуки, депрессии, болезней и плохого питания. Из их жизни исчез смысл. Многие приходили в уныние от монотонности и страха, пытаясь начать новую жизнь под наводящие ужас крики, рычание и вой ягуаров, пум, тапиров, диких кабанов, диких быков, обезьян-ревунов и других неизвестных животных. С деревьев свисали боа-констрикторы. За колонистами тучами следовали злобные москиты, привлеченные запахом пота. Реки кишели аллигаторами, неизвестными зубастыми рыбами, по берегам роилось еще больше москитов, а где-то на дне обитала водяная змея длиной якобы в семьдесят метров [7]. Чтобы добыть чистую воду, нужно было рыть колодцы, иногда очень глубоко. Тропические ливни превращали дороги в джунглях в грязевые потоки, а только что убранные поля — в шоколадного цвета озера. Всем заправляли Фёрстеры. Каждый колонист должен был подписать обязательство не вести дел вне колонии. Любая торговля, любое ремесло, будь то продажа масла, сыра или резьбы по дереву, должны были проходить через магазин Фёрстеров. Кроме того, только там можно было купить необходимые продукты и медикаменты. Когда они эмигрировали, то считали, что их взнос вернут, если они пожелают вернуться в Германию. Но этого Фёрстер допустить не мог. Они были бессильны и не могли добиться справедливости: их мольбы не принимались во внимание четой тиранов, совместно управлявших колонией.

Как и всех новых колонистов, Клингбайля вызвали в Фёрстерхоф, где он предстал перед обожаемым вождем и где его стали убеждать действительно приобрести тот участок земли, на который ему давали права его пять тысяч марок. Клингбайль надеялся увидеть арийского героя с фронτισписа с суровым лицом и благородным рисунком бровей. Вместо этого он увидел дрожащую, напуганную оболочку человека. Фёрстер не мог сидеть спокойно. Он постоянно ерзал, являя собой живой пример человека с нечистой совестью, который не может смот-

реть прямо в глаза [8]. Он говорил бессвязно, уклонялся от ответов, не мог сосредоточиться на одной мысли и поддерживать нить разговора. Клингбайль разочаровался немедленно и бесповоротно. Он понял: то, что говорили ему другие колонисты, — правда. Настоящая хозяйка колонии — Элизабет.

Элегантно одетая, непринужденная, излучающая уверенность, Элизабет села за стол и открыла перед Клингбайлем карту. Вся Новая Германия там была разделена на участки. На каждом участке, кроме его собственного, значилось чье-то имя. Она попыталась обмануть его, заявив, что все участки, кроме одного, проданы. И если он сразу же выложит соответствующую сумму, то может застолбить оставшийся участок за собой. Но Клингбайль был осторожен. Ему не составило труда узнать, что у Фёрстеров не было юридических прав на землю, которой они торговали.

Клингбайль незамедлительно вернулся в Германию и стал методично разрушать репутацию нечестной парочки. Вскоре он опубликовал двухсотстраничную книгу «Откровения о парагвайской колонии доктора Бернхарда Фёрстера Новая Германия» [9]. В ней Фёрстеры разоблачались как мошенники, лжецы, шарлатаны и тираны. Клингбайль недвусмысленно писал, что именно Элизабет управляет и колонией, и бесхребетным мужем, которого подчинила собственной власти. Колонистам приходилось хуже, чем самым бедным чернорабочим на родине. Они надрывались и страдали, пока надменная парочка восседала на европейской мебели, пила алкоголь и даже, несмотря на все вегетарианские принципы колонии, вкушала мясо за прекрасно отполированным обеденным столом.

Элизабет никогда не боялась конфликтов. Она находила в них наслаждение. Она сразу же ринулась отвечать в печати. Именно Клингбайль — предатель и лжец. Его подкупили иезуиты, чтобы разрушить колонию. Ее муж — славный вождь, гений-идеалист, непреклонно и самоотверженно идущий к своей мечте во имя счастья всего человечества. Они с Фёрстером пожертвовали всем для своих верных и неутомимых работников.

Фон Вольцоген продолжал печатать ее в *Bayreuther Blätter*, но для остальных это было уже слишком. Элизабет была дискредитирована. Даже Колониальное общество Хемница перестало публиковать ее опровержения.

В Парагвае Фёрстер чувствовал себя полностью разбитым. Большую часть времени он проводил в гостинице в Сан-Бернардино в обнимку

с бутылкой, оставив будущее колонии в руках своей исключительно компетентной супруги.

«Осмелюсь поделиться, что в Парагвае дела обстоят хуже некуда. Завлеченные туда немцы возмущены, хотят получить свои деньги назад, а денег нет. Уже были беспорядки, я опасаюсь самого худшего»¹ [10], — писал Ницше Францу Овербеку на Рождество 1888 года. Но способность Элизабет к самообману была исключительной. В письмах домой она продолжала кичиться перед братом своей славой и властью по сравнению с его печальной участью.

Он понимал, что в случае с Новой Германией она ведет себя точно так же, как с Лу.

Франциска продолжала верить в Элизабет. Ницше же считал, что преодоление сострадания — одна из важнейших добродетелей, как и преодоление привязанности. Он называл жалость своим внутренним врагом. Но, несмотря на это, ему не хотелось развенчивать иллюзии матери. В том же письме Овербеку он сообщал: «Моя мать до сих пор ничего об этом не знает — это *моя* заслуга» [11].

¹ Пер. И. В. Эбаноидзе.

Я — динамит!

Мое честолюбие заключается в том, чтобы сказать в десяти предложениях то, что всякий другой говорит в целой книге, — чего всякий другой *не* скажет в целой книге...

Сумерки идолов.

Набег Нисвоевременного, 51

Зимой 1887/88 года Ницше вернулся в Ниццу, где «Пансион де Женев» оправился от землетрясения. Он был в детском восторге оттого, что ему позволили выбрать обои для «его» комнаты. Он предпочел красно-коричневые бумажные обои в крапинку и в полоску. Наряду с кроватью ему предоставили шезлонг. Он знал, что с «дорогостоящего профессора» берут по пять с половиной франков в день, в то время как другие гости платили от восьми до десяти. Это была «пытка для гордости», но что же было делать? И эти деньги ему удавалось платить с трудом. Он финансировал выход собственных книг и слишком часто обращался к Овербеку за авансом в счет пенсии и инвестиций.

Погода в Ницце той зимой стояла хуже некуда. Десять дней подряд шел настоящий ливень, было холодно. Комната, выходящая на юг, была бы теплее, но он не мог себе ее позволить. Приходилось дрожать от холода, пальцы синели, и он боялся, что его почерк смогут расшифровать только те, кто может расшифровать его мысли. На помощь ему поспешили Гаст и Франциска. Гаст послал ему теплый халат, а Франциска — небольшую печку, так что пальцы вновь порозовели. Он называл печь богом огня и двигался вокруг нее в ритуальном языческом танце,

чтобы восстановить циркуляцию крови. Теперь печка и центнер топлива для нее будут сопровождать его и сундук с книгами в путешествиях.

Он написал музыку для стихотворения Лу «Молитва жизни», которое переименовал в «Гимн жизни» [1], и Петер Гаст переложил его для хора с оркестром. Это единственные опубликованные ноты авторства Ницше: он заплатил Фрицшу, чтобы их издали как можно лучше — красивым шрифтом и с разными другими украшениями. Они с Гастом послали ноты всем знакомым дирижерам, в том числе — какая храбрость! — Гансу фон Бюлову. Но никто не хотел исполнять произведение. Однако Ницше был доволен уже тем, что оно было напечатано. Он выражал надежду, что когда-нибудь оно будет исполнено в его честь. Под «когда-нибудь» он, похоже, подразумевал свои похороны. Несколько раз он подчеркивал, что хотя бы так они с Лу воссоединятся для потомков.

После выхода рецензии Видманна, где тот характеризовал «По ту сторону добра и зла» как динамит, Ницше наконец-то обрел оптимизм в отношении того, что его книги могут остаться в памяти потомков. Воодушевившись, он разослал около 66 дарственных экземпляров — огромное число по сравнению с семью дарственными экземплярами предыдущей книги — четвертой части «Заратустры». Да и те семь сопровождалось параноидальными инструкциями: получатели должны были держать в секрете мудрость, которую почерпнут из книги, потому что она слишком драгоценна, чтобы стать достоянием общественности. Теперь же он более всего хотел, чтобы его слова были услышаны.

Видманн также обрадовал его сообщением о том, что композитор Иоганнес Брамс очень заинтересовался «По ту сторону добра и зла» и теперь обратил внимание на «Веселую науку». Усмотрев в этом возможность, Ницше послал ему ноты «Гимна жизни». Он надеялся также заинтересовать его злополучной оперой Петера Гаста «Венецианский лев», но Брамс был слишком опытен в подобных делах. В ответ он послал лишь формальное подтверждение получения.

Якоб Буркхардт получил «По ту сторону добра и зла» с дурными предчувствиями. Его очень смутила последняя часть «Заратустры». Что еще может выкинуть этот Ницше? Буркхардт — тихий человек, живший над пекарней, всегда был склонен к осторожному несогласию; поэтому вполне понятно, что свой ответ на книгу он начал с того, что плохо разбирается в философии. Однако после этого он стал хвалить аргументацию Ницше и его концепцию вырождения современного общества — стада, которому священники-аскеты навязали рабскую мораль.

У Буркхардта не было времени на демократию. Описание Ницше сильного человека, который должен создать будущее, отлично вязалось с некогда нарисованной Буркхардтом картиной эгоизма, жадности и жестокости итальянских князей, благодаря чьей воле к власти Средние века сменились эпохой Возрождения. Забавно, что именно это дало дорогу пяти векам либерального гуманизма.

Ницше также послал последние книги Ипполиту Тэну, французскому историку и литературному критику, которого интересовало истолкование истории через факторы окружающей среды. Как и Ницше с Буркхардтом, Тэн горько осуждал Французскую революцию. Тэн горячо отозвался на письмо, сообщив, что «Заратустра» лежит у него на прикроватном столике и он постоянно читает книгу на ночь [2].

Тогда только что вышел второй номер *Journal des Goncourt*, в котором братья Гонкур освещали жизнь парижских бульваров и регулярные театральные вечеринки и обеды, где собирались, по словам Ницше (в которых явно слышится зависть), «лучшие и самые скептические умы» Парижа. Тэн был среди этих блестящих умов, как и литературный критик Сент-Бёв, романист Флобер и Теофиль Готье. Иногда к ним присоединялся и Тургенев. Ницше завидовал этим утонченным собраниям, на которых сочетались «ярый пессимизм, цинизм, нигилизм с долей распушенности и хорошего юмора»¹ [3]. Там бы он пришелся ко двору, отмечал он. Если бы в его жизни было что-то подобное!

Не имея возможности обедать в кругу равных себе, он поехал к Эрвину Роде, старому другу по Лейпцигскому университету. Роде теперь был профессором философии; вскоре он станет вице-канцлером Гейдельбергского университета. Встреча прошла неудовлетворительно с точки зрения обеих сторон. Ницше сетовал, что Роде не сказал ни единого умного слова. Роде же писал, что почувствовал в Ницше какую-то неопишемую странность, нечто необъяснимое, как будто бы он приехал из страны, где больше никто не живет. Роде первым ощутил настоящую опасность. На него не произвели впечатления новые пафосные заявления Ницше о том, что ему выпало великое предназначение, что он — первый философ нового века — «нечто решающее и роковое, стоящее между двумя тысячелетиями» [4]. Это показалось Роде проявлением мании величия, и он решил самоустраниться. Он перестал отвечать на письма Ницше и не подтверждал получения новых книг, которые

¹ Эта и следующая цитаты – пер. И. А. Эбаноидзе.

Ницше продолжал ему присылать сразу после выхода. Эти двое больше никогда не встречались.

Приятным сюрпризом стало письмо из Дании от Георга Брандеса, писателя и литературного критика [5]. Ницше посылал ему «Человеческое, слишком человеческое» и «По ту сторону добра и зла». Наконец, получив в ноябре 1887 года «К генеалогии морали», Брандес откликнулся быстро и с большим энтузиазмом.

Георг Брандес был ведущим литературным критиком в Северной Европе. Будучи радикалом в политическом и религиозном отношении, он придумал термин *indignationslitteratur* («литература негодования», или «литература протеста») для книг, которые уважаемые мужчины в 1880-е годы таили от жен и дочерей, которые подвергались критике епископов с кафедр и часто становились жертвой цензурных искажений или даже запретов. Брандес отстаивал «опасных» свободных мыслителей, таких как Кьеркегор, Ибсен, Стриндберг, Кнут Гамсун, Бальзак, Бодлер, Золя, Достоевский и Толстой. Стоящие у власти политики и клирики считали его развратником и даже прямо называли Антихристом.

В Англии Брандес дружил с Джорджем Бернардом Шоу и Джоном Стюартом Миллем. Его перевод на датский язык эссе Милля «Подчиненность женщины» [6] в 1869 году оказал значительное влияние на феминистское движение в Скандинавии, что отразилось в пьесах Ибсена (жена Ибсена Сюзанна была рьяной феминисткой). В России Брандес был другом революционера Кропоткина [7] и многое сделал для того, чтобы Пушкина, Достоевского и Толстого лучше знали за пределами их страны. Его книга «Главные течения европейской литературы XIX века» разрослась до девяти томов и завоевала ему широкое международное признание. Он читал лекции на Балканах, в Польше и в Финляндии. Приехав в Грецию, он остановился в апартаментах премьер-министра. Во время триумфального лекционного турне по Соединенным Штатам его постоянно увенчивали лавровым венком. Писатели изводили его своими произведениями. Порой он получал в день по тридцать-сорок писем. Для диссидента или просто неизвестного автора быть замеченным Брандесом означало редкую удачу.

Брандес встречал Пауля Рэ и Лу Саломе, когда в 1877–1883 годах жил в Берлине. Они наверняка говорили о Ницше, но в то время Брандес ничего о нем не написал. Ему не нравилось направление, которое обрел стиль Ницше в «Заратустре». Архаический язык псалмов и религиозный мистицизм никак не соответствовали его принципам освобождения и осовременивания литературы. Но «Человеческое, слишком челове-

ческое» и «К генеалогии морали» оказались совсем другими книгами. 26 ноября он написал Ницше: «Духом новизны и самобытности веет от Ваших книг. Я не совсем еще понимаю то, что я прочел, мне не всегда ясно, к чему Вы стремитесь. Однако многое согласуется с моими собственными мыслями и симпатиями — пренебрежение к аскетическим идеалам и глубокое неприятие демократической усредненности, Ваш аристократический радикализм»¹.

Аристократический радикализм! 2 декабря Ницше ответил в восторженном и довольно хаотическом письме, что это самое пронизательное замечание, которое он когда-либо слышал о себе. Он рассказывал Брандесу о своей изоляции и цитировал слова Овидия, высеченные на могиле Декарта: *Bene vixit qui bene latuit* («Благо тому, кто живет в благодатном укрытьи»²). И тут же он сам себя опровергал, сообщая, что охотно как-нибудь встретился бы с Брандесом. Подписавшись, он нерешительно добавил: «N. В. Я на три четверти слеп»³ [8].

Брандес должен попасть в его пещеру! Он велел Фриццу отправить Брандесу последние издания всех его работ, к которым он написал новые предисловия. А Петера Гаста он просил послать Брандесу экземпляр из скромного тиража четвертой части «Заратустры».

Брандес предложил организовать ближайшей весной курс лекций по Ницше в Университете Копенгагена. Это вызвало поток писем, знакомящих Брандеса с фактами, лежавшими в основе каждой книги: некоторые из них были действительно полезны, некоторые — невероятно никчемны. «Человеческое, слишком человеческое»: «Все задумано во время утомительных прогулок, великолепный пример человеческого вдохновения». «Рождение трагедии»: «Закончено в Лугано, где я жил с семейством фельдмаршала Мольтке». В конце письма он приложил весьма эксцентричную автобиографию.

«Я родился 15 октября 1844 года на поле битвы под *Лютценом*. Первое услышанное мною имя было Густав Адольф [9]. Мои предки были польские дворяне Ницкие; кажется, этот тип хорошо сохранился, несмотря на три поколения немецких матерей. За границей меня обычно принимают за поляка, еще этой зимой меня обозначили в ниццком списке иностранцев *comme polonais* [как поляка]. Говорят, что моя голова подошла бы для картин

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

² Пер. Н. Д. Вольпина.

³ Пер. И. А. Эбаноидзе.

Матейко... Зимой 1868–1869-го Базельский университет предложил мне профессию; я не был еще даже доктором. С Пасхи 1869 года и по 1878-й я был в Базеле; мне пришлось отказаться от немецких прав гражданства, иначе я как офицер (“*конный артиллерист*”) слишком часто призывался бы в армию, что мешало бы моей академической деятельности. Тем не менее я знаю толк в двух видах оружия — саблях и пушках... я с самого начала моего базельского существования оказался в неописуемо близкой дружеской связи с Рихардом и Козимой *Вагнер*, которые жили в то время в своем поместье Трибшен под Люцерном, как на острове, словно порвав все свои связи. В течение нескольких лет мы были вместе и в великом, и в малом; это было доверие без границ... Те отношения принесли мне знакомство с большим кругом интересных людей (*и “людеек”*) — в сущности, почти со всем, что произрастает между Парижем и Петербургом. К 1876 году мое здоровье ухудшилось... это выросло в состояние такой *хронической* болезненности, что в году у меня тогда бывало по 200 дней боли. У этого недуга должны быть сугубо *локальные* причины — для него нет никаких невропатологических оснований. У меня никогда не бывало симптомов умственного расстройства: даже лихорадки или обмороков. Мой пульс был тогда столь же ровным, как у Наполеона I (= 60). Распространили слух, будто бы я был в сумасшедшем доме (или даже умер там). Нельзя представить себе большего заблуждения. Напротив, именно в это ужасное время мой дух стал *зрелым*... я — животное смелое, даже воинственное... Философ ли я? Но что это меняет?»¹ [10]

Брандес использовал эту автобиографию для представления Ницше аудитории на двух лекциях, которые он прочитал в апреле 1888 года в Копенгагенском университете на тему «Фридрих Ницше, вопросы аристократического радикализма» (Friedrich Nietzsche, En Afhandling om aristokratisk Radikalisme). Лекции были открыты для широкой публики. Авторитет и репутация Брандеса были настолько высоки, что послушать его рассуждения о безвестном философе пришло более трехсот человек. «Главная причина, по которой я решил привлечь к нему внимание, состоит в том, что скандинавская литература, по-видимому, уже довольно долго живет идеями, которые вышли на передний план и широко обсуждаются в последнее десятилетие, — говорилось в конце последней лекции. — Немного дарвинизма, немного женской эмансипации, немного морали счастья, немного свободной мысли, немного почитания демократии и так далее. Великое искусство требует умов,

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

которые стоят на одном уровне с самыми выдающимися представителями современной мысли — по независимости, по исключительности, по непокорности и по аристократическому ощущению собственного превосходства».

Аудитория взорвалась овациями. И аплодировали вовсе не Брандесу, как сам он писал Ницше. Это было чрезвычайно приятно. Ницше задумался над тем, не связано ли понимание датчанами идеи морали господ с их знакомством с исландскими сагами.

Он написал всем друзьям, рассказывая о своем успехе. Отправил он письмо и Элизабет, которая ответила из Парагвая с величайшим презрением, что, как она и подозревала, ее брат слишком хотел сравняться с нею в славе. Что ж, теперь он этого добился, но славой он обязан такому еврейскому отребью, как Георг Брандес, известному тем, что он «в каждой бочке затычка»¹ [11].

Своим безошибочным чутьем она верно определила, что Георг Брандес действительно еврей. Его семья, как и многие в Дании, сменила фамилию Коэн на более датскую — Брандес. Жить с такой было несколько проще.

Ницше в ответ написал Элизабет, что, прочитав ее письмо несколько раз, чувствует себя обязанным навсегда разорвать с нею отношения. Письмо было болезненным и мучительным, но не горьким. Он пытался объяснить, какая тяжелая задача перед ним стоит, какое ужасное предназначение ему выпало, какая мощная металлическая музыка звучит в его ушах, успешно отделяя его от вульгарности и посредственности. И не его личный выбор, а рок побуждает его бросать вызов человечеству, выдвигая ужасные обвинения. «Рок тяготеет надо мною непереносимо». В конце он просил Элизабет все равно любить его. Письмо он подписал: «Твой брат». Он так его и не отправил — сохранился черновик [12].

Внимание, которое уделили его книгам Видманн, Тэн, Буркхардт и Брандес, побуждало его к борьбе, о чем он и писал в письме Элизабет. Роде был прав: он действительно чувствовал себя так, будто приехал из страны, где не было больше ни одного жителя. Тем летом у него было странное ощущение. Часы его организма совершенно сбились. Всю жизнь остававшийся человеком железной дисциплины в отношении распорядка дня и питания (благодаря этим строгим режимам ему удалось

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

сохранять какой-то контроль над своими болезнями), он внезапно стал вставать, одеваться и работать посреди ночи. Он писал об эпохальных изменениях, которые происходили с ним по мере того, как он готовился к выполнению монументальной задачи — победы в бескомпромиссной подпольной борьбе против всего, что ценили и любили до того человеческие существа. Он должен написать несколько книг — возможно, четыре. Вместе они завершат переоценку всех ценностей, которую он начал в «Человеческом, слишком человеческом» и «К генеалогии морали». Он подумывал о названии «Воля к власти: Опыт переоценки всех ценностей». На этот раз он сровняет с землей все здание, а не только какую-то его часть. Он уничтожит всех философов, всех учителей, все религии.

Но сначала надо найти место для работы. Он снова столкнулся с ежегодной проблемой — куда поехать весной, когда солнце невыносимо ярко светит на Французской и Итальянской Ривьере, а в любимых горах по-прежнему слишком холодно. Он посоветовался с Петером Гастом, который все еще жил в Венеции. И тот, возможно из чувства самосохранения, предложил Турин.

Доехать поездом из Ниццы в Турин было сравнительно просто. В Савоне требовалось сделать пересадку, но носильщики могли помочь с багажом. Так он и сделал, и, когда багаж был успешно перегружен на новый поезд, он спокойно решил пройтись и осмотреться. Затем он вернулся в поезд, но это был другой поезд — не тот, который ехал в Турин с его багажом. Этот состав направлялся в Геную — в противоположном Турину направлении. Чтобы оправиться от катастрофы, Ницше пришлось два дня отдыхать в постели в гостинице, отсылая потоки телеграмм. В итоге все разрешилось, 5 апреля он наконец добрался до Турина и воссоединился с багажом.

Слова Георга Брандеса об «аристократическом радикализме» очень прилипли ему по вкусу. Город Турин полностью соответствовал этому описанию. Он производил впечатление элегантности, достоинства и серьезности. Турин служил резиденцией правящего Савойского дома. Это был размеренный, любезный и полностью «европейский» город. В нем не было ничего яркого и спонтанного, характерного для большинства итальянских городов. Город словно предназначался для жительства Ницше — «несвоевременное» место в том смысле, который вкладывал он: место вне времени. В Турине для Ницше сошлись воедино благородство, спокойствие и близость. Он восхвалял дружелюбие и целостность города, которые распространялись даже на цвет его

зданий — гармоничные тона от бледно-желтого и терракотового до его любимого коричнево-красного. В центре каждой торжественной, удивительно чистой площади располагался какой-нибудь журчащий фонтан или благородный бронзовый герой, увековеченный в суровом классическом стиле.

К северо-западу от города горизонт закрывали белые пики его любимых гор, покрытых снежными шапками. Он был убежден, что даже на таком расстоянии горы делают воздух сухим, как в Зильс-Мариин. Это подходило его конституции и стимулировало работу мозга. Если в Зильс-Мариин были тенистые и тихие леса, приглушавшие свет для защиты его глаз, то в Турине были галереи общей длиной, как он насчитал, 10 020 метров. В них был идеальный уровень освещенности для полуслеплого крота, вышедшего в солнечный день прогуляться, поразмышлять и зафиксировать свои мысли в блокноте. Если шел дождь, он мог ходить по галереям часами и его блокноты не намокали. Турин устраивал его как место, где можно укрыться в межсезонье. Он решил, что Турин станет его третьим домом на земле — после Ниццы и Зильс-Мариин.

В тот год его периодически охватывала настоящая эйфория, и его первое знакомство с Туринем вызвало сходный прилив энтузиазма. В своих письмах он постоянно утверждает, что в Турине все самое лучшее — от *джелато* до качества воздуха. Кафе здесь самые прекрасные из всех, что он встречал, а мороженое — самое вкусное, что он едал. Пища великолепно переваривается. Все без исключения маленькие туринские *траттории* предлагают самую дешевую и лучшую еду в мире! Его пищеварительная система справится здесь с чем угодно.

Он нашел жилье в центре города — на третьем этаже дома 6 на Виа Карло Альберто. Из его окна открывался замечательный вид на величественную площадь, на бело-розовый барочный фасад палаццо Кариньяно, где родился король Виктор Эммануил II. Ницше нравилось сообщать об этом факте множеству своих корреспондентов.

Рядом с квартирой Ницше находилась Галерея Субальпина — огромное сооружение из стекла и кованого железа, построенное лет за десять до того, когда весь мир охватила страсть возводить хрустальные дворцы. Она напоминала железнодорожный вокзал, но без утомительного шума приходящих и уходящих поездов. Насчитывая пятьдесят метров в длину и три этажа в высоту, Субальпина была туринским конкурентом венецианской площади Святого Марка за звание самой большой гостиной Европы. Под остекленными сводами размещалось

все, чего только могли пожелать скучающие буржуа. Здесь были пальмы в горшках, оркестры, кафе, где можно было сидеть с джелато и стаканом воды столько, сколько пожелаешь, букинистические магазины, в которых можно было блуждать вечно. Но больше всего Ницше радовал концертный зал. Достаточно было просто открыть окно — и до него совершенно бесплатно доносились звуки «Севильского цирюльника». Он только мечтал, чтобы наконец поставили «Кармен».

Готовое публичное зрелище, которое являл собой Турин, позволяло ему оставаться в благословенной и удобной изоляции. Рядом с ним не было Петера Гаста, который хлопотал над ним в Венеции. Ему не мешало дружелюбие летних толп, которые носились с ним в Зильс-Мариин. Здесь не было добрых людей, которые делали бы скидку на его расстроенные финансы или плохое зрение, как в Ницце. В Турине он мог быть свободен от бремени чужого сострадания.

Всю жизнь Ницше терзали противоречия. Он признался и Францу Овербеку, и Петеру Гасту, что в своих суждениях становится слишком резким и суровым, что свою собственную хроническую уязвимость он преодолевает лишь ценой жесткости. Он боялся, что такое отношение затянет его в ловушку ресентимента. Однако выхода не было — переоценка ценностей и должна была быть суровой. Как и в случае с более ранней, хотя и менее амбициозной концепцией, тоже связанной с моральной переоценкой, — «Несвоевременными размышлениями», план задуманной работы вновь был полон новых идей, но фундаментальная переоценка была связана с темами, уже раскрытыми в работах «По ту сторону добра и зла» и «К генеалогии морали». Вступление Европы в трагическую эпоху являлось идеей, которая уже неоднократно встречалась в его блокнотах. Теперь нужно было связать ее с идеей вечного возвращения.

Сначала, однако, требовалось написать еще кое-что о Вагнере. Композитор был уже пять лет как мертв, но Ницше никак не мог оставить его в покое. За несколько недель он написал «Казус Вагнер: Проблема музыканта».

Эта небольшая — страниц на тридцать — работа кажется свидетельством постоянной и все-таки безнадежной борьбы против того волшебного влияния, которое Вагнер оказывал на его чувства. Ее вряд ли можно назвать внятным возражением. Вся она говорит о возмущении автора тем, как музыка Вагнера способна манипулировать его эмоциями, и о том, как он пытается уберечь свою свободную волю от ее мощного воздействия.

«Казус Вагнер» начинается со славословий в адрес «Кармен» Бизе. Ницше объявляет эту оперу совершенной. Он утверждает, что каждый раз, когда слышит ее, кажется себе более философом. После этого он переходит к прямой атаке на немецкий романтизм в целом и на Рихарда Вагнера в частности.

Великолепные способности Вагнера манипулировать аудиторией, вгоняя ее в чрезмерно эмоциональные состояния, никак нельзя назвать здоровыми. Это декадентство. Иногда это декадентство квазирелигиозное, как в «Парсифале», иногда националистическое («Нюрнбергские мейстерзингеры»). Вагнер — художник упадка. Человек ли Вагнер вообще? Может быть, он скорее болезнь? Не сделала ли его музыка человечество больным? Став учеником Вагнера, можно заплатить за это чрезмерную цену. Нужно признать, что вся современная музыка больна. Упадок повсюду [13]. Наконец он все-таки констатирует, что все остальные современные музыканты по сравнению с Вагнером ничто [14], хотя Байрёйтский фестиваль — это искажение идей его основателя и вообще полный идиотизм.

Эссе отличается любопытным построением. Ницше помещает в конце два прибавления и в них наконец-то признается в своем восхищении «Парсифалем». Это величайший шедевр Вагнера: «Я удивляюсь этому творению, я хотел бы быть его автором» [15].

5 июня он уехал из Турина на лето в Зильс-Марию, где снял все ту же комнату в доме Жана Дуриша. Лето в Швейцарии было ненастное, дождливое и холодное. Погода менялась каждые три часа, а с нею и его настроение. Иногда даже падал снег, что, однако, не мешало явиться обычным толпам туристов, среди которых выделялись группки «синих чулок». В этом году приехало также несколько великолепных музыкантов. Ницше столовался в гостинице «Альпенрозе» — через мост от его дома. По утрам, когда погода была совсем уж невозможной, он ходил в «переговорную комнату» гостиницы послушать музыку и поговорить о ней.

В том году Реза фон Ширнхофер не приехала, но он все же нашел себе приятную женскую компанию в лице Меты фон Залис-Маршлинс [16], с которой познакомился в Цюрихе за четыре года до того. Красивая аристократическая брюнетка, Мета была последней в богатой и знатной швейцарской семье Маршлинсов. Однако ее решительность и разум превосходили даже ее высокое происхождение. Она была на десять лет младше Ницше и являла собой образец «новых женщин» — тех

феминисток, которые по примеру Мальвиды фон Мейзенбуг решили жить независимой интеллектуальной жизнью. Она изучала право и философию в Цюрихском университете и за год до описываемых событий стала первой швейцаркой — доктором наук. Мета писала стихи и книги и выступала за равные возможности для женщин — но не для всех женщин. Ее избирательный феминизм на самом деле можно было назвать аристократическим радикализмом. Ее вовсе не интересовало счастье толпы (*Herdenglück*) — расширенные гражданские права следовало предоставить женщинам врожденного благородства и ума вне зависимости от их происхождения. Это должно было сделать мир не более демократичным, но более аристократичным. Тот же принцип, что и к женщинам, она применяла к мужчинам. Ницше она относила к категории *Elitemensch* — тех, чей благородный разум перевешивал скромное происхождение.

Они говорили о Достоевском, которого Мета открывала для себя по совету Натальи Герцен (той самой Натальи Герцен, которая, по словам Ницше, сгодилась бы ему в невесты, если бы была богата). Ницше наткнулся на Достоевского случайно — в книжном магазине ему попался французский перевод «Записок из подполья». Как и случайное знакомство с Шопенгауэром в двадцать один и со Стендалем в тридцать пять, встреча с книгами Достоевского произвела на него неизгладимое впечатление. Слова Достоевского были настоящей музыкой, «очень диковинной, очень не-немецкой»¹, а его психологизм отличал настоящего гения [17]. Первая книга заставила Ницше срочно искать остальные. Он продолжил «Записками из Мертвого дома», вновь во французском переводе. Трогательное и беспощадное описание Достоевским времени, проведенного им в Сибири на каторге и в ссылке, оказало на Ницше большое воздействие. «Стройте свои дома у Везувия», — кричал некогда Ницше, а Достоевский именно так и поступил. Он был демоном истины, демоном откровенности, настоящим дикарем, аргонавтом духа, человеком, чьи страдания равнялись страданиям самого Ницше. Высшее унижение Достоевского за долгие годы заключения соответствовало постоянным унижениям Ницше за долгие годы болезни и литературной неизвестности.

У Достоевского было очень много общего с Ницше — вплоть до глубокого знания Евангелий, в котором Достоевский не уступал немецкому философу. Он представлял первое христианство, прахристианство, священное религиозное состояние до того, как его невинность была

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

поругана последующими вмешательствами и толкованиями. Достоевский был святым анархистом. Он понимал, что на самом деле психология Искупителя не имеет ничего общего со священниками, государственной религией и благопристойностью. Она не отличалась мстительностью, характерной для рабской морали. Попытки ее «научного» истолкования были обречены на неудачу. Все это лишь искажало христианство. Ницше считал, что они с Достоевским оба разделяют мнение о том, что подлинное христианство было лишь засорено религией. Это было вызвано необходимостью жить в мире, которая не могла не превратить Спасителя в святого шута.

Ницше и Мета фон Залис-Маршлинс вечерами гуляли вокруг озера к камню Заратустры, и впоследствии она писала, что, когда Ницше говорил о «Записках из Мертвого дома», его глаза наполнялись слезами. Он рассказывал ей, что книга заставила его порицать в себе множество сильных чувств, и не потому, что у него их не было, но потому, что он ощущал их чрезмерность и понимал опасность этого. Мета не говорит нам, что это были за чувства, но предположительно он имел в виду опасный ослабляющий эффект жалости и ее бессмысленность с практической точки зрения. Вскоре он написал об этом подробнее. Жалость — признак упадка. Она характерна для нигилизма. Жалость отрицает жизнь. Она призывает людей уверовать в ничто, хотя это «ничто» так не называется. Называется оно «иной мир», или Бог, или «истинная жизнь», или нирвана, или спасение. Это понимал Аристотель. Известно, что он охарактеризовал жалость как опасную патологию, которую необходимо регулярно выводить из организма. И очистительным средством здесь служила греческая трагедия [18].

Мета научила Ницше грести на озере, и они отправлялись в лодочные походы, во время которых он много рассказывал о детстве, школьных днях и матери. Он называл себя странным ребенком. У его матери были прекрасные глаза. Мета заметила тогда в нем печаль и усталость, каких раньше не было.

Однако прежняя склонность к проказам еще не окончательно покинула Ницше. На прекрасном горном курорте всегда найдутся художники-любители, которые расположатся со своими мольбертами на пленэре и попытаются себя обессмертить. Когда он встретил молодую ирландку, зарисовывающую цветы, то посоветовал ей поместить на картину что-то уродливое, отчего красота цветов только выиграет. Через несколько дней он поймал жабу, посадил ее себе в карман брюк и принес художнице. В обмен она поймала несколько кузнечиков и посадила

их в бонбоньерку, зная, что он очень любит сладкое. Когда он открыл крышку, кузнечики выпрыгнули наружу. Ближний круг летних туристов посчитал эту историю великолепным обменом розыгрышами [19].

В середине июля он закончил писать «Казус Вагнер». 17 июля он отправил рукопись почтой издателю Науманну, который должен был ее опубликовать. Однако Науманн, ознакомившись с рукописью, счел ее совершенно нечитаемой и отправил обратно. Ницше переслал ее вечно готовому прийти на помощь Петеру Гасту, который, как обычно, отложил в сторону собственные дела и стал решать проблемы Ницше. Книга была напечатана и опубликована уже в сентябре.

Ницше подсчитал, что выход каждой книги будет стоить ему тысячу франков. Вся же его пенсия от Базельского университета составляла три тысячи. Мета все поняла и тактично вручила ему тысячу франков на издательские расходы. В июле он получил в дар на те же нужды две тысячи от Пауля Дойссена. В сопроводительной записке тот указывал, что пересылает анонимный подарок «нескольких людей, которые хотели бы загладить грехи Человечества перед вами». Ницше подозревал, что деньги поступили от самого Дойссена или от Рэ, который в то время тоже находился в Берлине. Он подсчитал, что ежегодные издательские расходы составили в 1885 году 285 марок, в 1886 году — 881 марку, а в 1887 году — 1235 марок. Подарки друзей дали ему возможность продолжить и даже ускорить печать своих работ без страха вылететь при этом в трубу.

Он работал над «Сумерками идолов». Название недвусмысленно бросало вызов Вагнеру, чья четвертая и последняя опера из цикла «Кольцо нибелунга» именовалась «Сумерки богов» (*Götterdämmerung*). Книга должна была стать первой частью великой переоценки ценностей. Подзаголовок «Как философствуют молотом» свидетельствовал о его желании ударить молотом по всем существующим ценностям, чтобы проверить, не пусты ли они внутри. Если они окажутся истинными, пусть остаются.

Однако начало книги не имеет с этим ничего общего. Она начинается с «Изречений и стрел» — сорока четырех афоризмов, среди которых самые известные изречения Ницше:

«Как? разве человек только промах Бога? Или Бог только промах человека?» (7)

«Что не убивает меня, то делает меня сильнее» (8).

«Если имеешь свое *почему* жизни, то мирисься почти со всяким *как*. —

Человек стремится *не* к счастью; только англичанин делает это» (12).

«Совершенная женщина занимается литературой так же, как совершает маленький грех: для опыта, мимоходом, оглядываясь, замечает ли это кто-нибудь, и *чтобы* это кто-нибудь заметил...» (20)

«Ища начал, делаешься раком. Историк смотрит вспясть; в конце концов он и *верит* тоже вспясть» (24).

«Довольство предохраняет даже от простуды. Разве когда-нибудь простудилась женщина, умевшая хорошо одеться?» (25)

«Я не доверяю всем систематикам и сторонюсь их. Воля к системе есть недостаток честности» (26).

«Как мало нужно для счастья! Звук волынки. — Без музыки жизнь была бы заблуждением. Немец представляет себе даже Бога распеваящим песни» (33).

Якобы случайные, простые, местами даже фривольные, эти остроумные «Изречения и стрелы» убаюкивают читателя, прежде чем Ницше достает молот и начинает крушить идолов, которые служат мишенью этой книги. Сократ, Платон, Германия, свободная воля, «улучшение» человечества — всем достается с одинаковой яростью, но самые мощные удары молотом припасены для «больных пауков-ткачей» — священников и философов.

В «Сумерках идолов» Ницше, по собственному убеждению, замыкает кольцо. Он прошел полный цикл, что и признает в последнем предложении книги: «Но тут я снова соприкасаюсь с тем пунктом, из которого некогда вышел, — “Рождение трагедии” было моей первой переоценкой всех ценностей: тут я снова возвращаюсь на ту почву, из которой растет мое хотение, моя *мочь*, — я, последний ученик философа Диониса, — я, учитель вечного возвращения...» [20]

Сумерки в Турине

Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя.

*По ту сторону добра и зла.
Часть IV, 146*

2 сентября 1888 года Ницше закончил «Сумерки идолов». Это была его вторая написанная за тот год книга. Но на следующий же день он начал еще одну.

Еще в августе он считал, что следующей крупной работой станет «Воля к власти». За предыдущие месяцы он сделал множество заметок к ней, но буквально 4 сентября, в тот же день, когда он начал писать новую книгу, он передумал и набросал то, что назвал окончательным планом переоценки всех ценностей. Эта переоценка должна была потрясти самые основы мысли и отразиться в четырех книгах.

Первая книга должна была называться «Антихрист. Попытка критики христианства».

Вторая — «Свободный ум. Критика философии как нигилистического движения».

Третья — «Имморалист. Критика морали — худшей формы невежества».

Четвертая — «Дионис. Философия вечного возвращения».

Ницше находился в стабильном состоянии нестабильности, хорошего настроения, удовлетворения собой и целостностью мира. Он даже не обращал внимания на атмосферные явления, которые ранее правили им,

как небесный диктатор, руководя его настроением и возможностями. Погода в Зильс-Мариин в конце лета 1888 года была метеорологическим кошмаром. С неба лилась вода в каких-то немыслимых количествах. Когда ему удавалось урвать время от главной задачи — создания книги — и написать письмо кому-то из своих обычных корреспондентов, он почти с отцовской гордостью и исключительной точностью непременно включал статистику выпавших осадков. Озера, которые определяли местный ландшафт все семь лет, что он сюда приезжал, теперь изменили форму, расплываясь, как амебы. Они впитывали в себя пространство, качественно меняя уровень света, который был так для него важен. Его обычные прогулки стали испытанием. С листьев на деревьях ему на голову сыпались дождевые капли. Ноги увязали в хлюпающей, размокшей растительности, что было очень опасно для человека полуслепого. Скала Заратустры, которая служила ранее знаком символической границы между двумя стихиями, поскольку находилась с одной стороны в озере, а с другой — на берегу, теперь была полностью окружена водой. Полуостров Шасте, на котором он подумывал построить себе хижину отшельника, теперь уже стал островом. Да и сам он тоже.

Мета фон Залис-Маршлинс закончила свой летний визит в Зильс-Марию. Разделявший его страсть к музыке аббат фон Хольтен тоже уехал. Настал конец разговорам о Вагнере, к тому же добрый аббат взял на себя труд разучить ряд музыкальных произведений Петера Гаста, чтобы доставить Ницше удовольствие слушать музыку друга. На несколько недель Ницше полностью посвятил себя выявлению различий между древним метрическим ритмом поэзии, который он называл «ритмом-временем», и более поздним метрическим ритмом, корни которого уходили в «варварский» мир и который он характеризовал как «ритмику аффекта». Он отстаивал идею о том, что «ритм-время» древнего классического мира использовался как «своего рода масляная пленка на воде» — средство обуздания эмоций, овладения страстями и в какой-то степени их устранения. «Ритмика аффекта»¹ же имела истоки в первобытном сознании. В сочетании с церковной музыкой она превратилась в германский варварский ритм, который использовался как раз для усиления эмоций [1].

20 сентября он уехал из Зильс-Мариин в Турин. Поездка не обошлась без происшествий: в районе озера Комо было масштабное наводнение, и дорогу поезду через один деревянный мост освещали факелами. Обычно

¹ Эта и следующая цитаты — пер. И. А. Эбаноидзе.

этого было бы достаточно, чтобы причинить хроническому инвалиду ужасные боли на много дней вперед, но сейчас ему казалось, что силы воды освободили его. Водная стихия выпустила его волю к власти.

Во время предыдущего визита Турин произвел на него впечатление масштаба, свободы и величия; тогда у Ницше значительно улучшилось здоровье и произошел небывалый творческий подъем. Сейчас, вернувшись, он почувствовал, что этот город еще лучше, чем ему казалось изначально. Гуляя по тенистым галереям и роскошной набережной, он опьянялся чувством, что здесь он наконец-то обрел всеутверждающее духовное состояние *сверхчеловека*. Если бы вся его жизнь протекала именно в этом настоящем, он готов был сказать «да» всему кругу вечного возвращения — тому, что происходило раньше, и тому, что еще произойдет. «Я сейчас самый благодарный человек на свете; настала пора моей большой *жатвы*. Все мне легко...» [2]

В его письмах той поры, как и прежде, описывается, что Турин превосходит все, с чем он имел дело до этого, но сейчас благородный характер города еще ярче проявился во время празднования бракосочетания принца Амадео, герцога Аосты и бывшего короля Испании, с его племянницей, на двадцать один год его младше, — принцессой Марией Летицией, дочерью Наполеона Жерома Бонапарта и правнучкой императора Наполеона. Повседневная реальность Турина стала напоминать Байрёйт во время фестиваля. Члены королевских домов — Савойского и Бонапартов — шествовали между величайшими дворцами города. По мостовым прогуливались знатные, в позументах военные, никогда не нюхавшие порошу, и их дамы в шелках и атласе будуаровых тонов, напоминавших о самых интимных вкусах Вагнера. Город превратился в огромный театр, который необыкновенно подходил человеку, чье сознание собственного «я» медленно переходило в манию величия.

Сразу же после подробнейшего отчета о королевской свадьбе в газете того времени без малейшей иронии поместили статью «Санитарный брак», в которой говорилось, что в Соединенных Штатах Америки «посредством сочетания многих пород выводится совершенно новая раса. Наши иммигранты, вступая в брак со своими предшественниками, порождают наследников с более быстрым и агрессивным мыслительным типом, чем их собственный, и Дарвин отметил, что тела и конечности этих наследников заметно длиннее, чем у их предков... Вскоре мы будем применять для брака принцип естественного отбора...» [3] Утверждалось даже, что существуют молодые девушки и юноши, которым, вследствие их недостаточного здоровья, никогда не следует жениться.

В воздухе витала евгеника. Через семь лет Альфред Плётц опубликует свою первую работу по «расовой гигиене», в которой ради доказательства собственных биологических теорий отбора сочетает превратное истолкование ницшеанской концепции сверхчеловека и дарвиновского принципа выживания наиболее приспособленных [4].

Ницше вернулся в свою прежнюю квартиру в Турине — на третьем этаже на Виа Карло Альберто, 6, напротив мощного палаццо Кариньяно, в котором царил суета в ожидании прибытия знатных новобрачных. Ницше находился в великолепном настроении и не преминул отметить, с какой теплотой его встретил квартирный хозяин Давиде Фино, а также его жена и дети. У Фино на первом этаже того же дома был небольшой газетный киоск, где он продавал также канцелярские принадлежности и почтовые открытки. За комнату он брал всего двадцать пять франков в месяц, включая чистку обуви. Это было гораздо дешевле, чем в Ницце, где Ницше приходилось платить по пять с половиной франков в день с пансионом, но обед в маленькой туринской траттории обходился ему всего в один франк пятнадцать сантимов. А всего за двадцать сантимов можно было купить чашечку кофе, и это был лучший кофе в мире! Милые, душевные владельцы маленьких местных кафе ничем не напоминали жадных обирал из Ниццы и Венеции. Они обращали его внимание на лучшие пункты меню, и он с большой охотой принимал их почтительные предложения. Чаевых никто не ожидал, поэтому он всегда их давал. Десять сантимов на чай — и с ним обращались как с королем.

Великолепны были и туринские пейзажи. Величественные деревья вдоль прекрасных набережных реки По отливали золотом на фоне неба цвета ляпис-лазури. Каким дураком он был со своей верностью Ницце! Как можно было любить тот известковый, безлесный, дурацкий кусок Ривьеры? Здесь можно было жить вне времени — несвоевременный человек в окружении классической античности, вечный обитатель идиллической картины Клода Лоррена. А воздух! Нигде больше не было такого великолепного, чистого воздуха. День за днем — все то же безграничное совершенство и изобилие солнца. (На самом деле в Турине неважный климат — дождь в среднем идет 117 дней в году, чаще всего в октябре и ноябре, то есть как раз в те месяцы, когда Ницше рисовал эту идиллическую картинку своим корреспондентам.) Виа Карло Альберто представляет собой довольно унылую улицу, однообразную, как автомобильная покрывка. Но все дело в восприятии, и он действительно чувствовал себя в лучшем месте на свете, о чем и писал.

И действительно, с ним происходили чрезвычайные перемены. Головные боли и головокружение внезапно прошли. У него развился гигантский аппетит. Он мог переварить что угодно. Никогда он не спал так хорошо. С ним происходил своеобразный апофеоз.

К его окончательному удовлетворению, в доме Давиде Фино было фортепиано, и по вечерам он играл на нем часами. Дочь Фино, разбивавшаяся в музыке, говорила, что музыка, которая доносилась из-за стены, была похожа на вагнеровскую.

В Турине у него не было ни компаньонов, ни даже посетителей. Целыми днями он яростно, в чрезвычайно быстром темпе, работал над книгой, которую начал в Зильс-Марии.

«Антихристианин» с подзаголовком «Проклятие христианству» — короткое, злобное произведение, кишащее оскорблениями в адрес христианства. Слово *Antichrist* в немецком языке может означать как Антихриста, так и антихристианина. Ницше сохраняет, однако, уважение к личности Иисуса Христа, но клеймит религию, которая выросла вокруг Его имени¹.

Во многом книга посвящена тому же, о чем он уже говорил в «Сумерках идолов» и «К генеалогии морали». Он повторяет мысли о том, что христианство бесчестно занижает ценность земной жизни по сравнению с новой, гипотетической. Это ошибочное предпочтение вечной жизни на ватных облаках за счет повседневной реальности подпитывало ресентимент — мстительный, ревнивый, полный морального превосходства образ мыслей, используемый священниками для подчинения целых народов, которым им удалось навязать рабскую мораль.

Весь вымышленный мир религии основан на ненависти к природе и глубокой боязни реальности. Поэтому вся мораль христианского мира не имеет отношения к действительности, ибо она основана на воображаемых причинно-следственных связях. Пренебрежение реальностью, характерное для христианства, попросту невероятно. Идея природы, с точки зрения этой религии, враждебна идее Бога, так что и весь мир природы считался достойным осуждения, в том числе и человеческая природа, которая без улучшения обрекается на вечные муки.

¹ Существует два известных варианта перевода названия этого произведения на русский язык — «Антихристианин» (пер. В. Михайлова) и «Антихрист» (пер. В. Флеровой). Вслед за С. Прайдо мы будем использовать первый вариант, в том числе при цитировании перевода В. Флеровой. — *Прим. ред.*

Ницше прямо дает понять, что обвиняет церковь и священников, а не основателя религии Иисуса Христа, которого он почитает и которым восхищается.

Явно отсылая к Достоевскому, он предполагает, что Христос, святой анархист, который выступил во главе униженных, изгоев и грешников против правящих кругов, сейчас был бы сослан в Сибирь. Христос погиб скорее из-за политики, чем из-за религии. Доказательством может служить надпись на Кресте. Слова «Царь Иудейский» были динамитом. Этот титул всегда будет подвергать угрозе своего обладателя, пока евреи не обретут собственной территории.

Христос, «несущий благие вести», умер так, как жил и как учил, — не ради спасения человечества, а чтобы показать, как следует жить. Он оставил человечеству опыт, продемонстрированный Им перед судьями, перед стражей, перед лицом насмешек и оскорблений и, наконец, во время Несения Креста. Не противостоять злу и несправедливости, а даже возлюбить их — это отсутствие ressentiment в высшей степени. Это *amor fati*, вечное утверждение и принятие.

Христианская церковь была основана Его второстепенным толкователем апостолом Павлом. Именно он превратил жизнь Христа в легенду о саможертвоприношении в самой отвратительной и варварской форме. Кровавое жертвоприношение невинного человека за грехи виновных — какое омерзительное язычество! Именно Павел стал возбуждать ненависть к миру и к плоти. Именно он пользовался любой возможностью, чтобы вызвать ressentiment. Павел придумал, как при помощи небольшого сектантского движения раздуть мировой пожар, как объединить под знаком Бога на кресте всех униженных, всех, кто тайно мечтает восстать; как вовлечь все скрытые анархические движения в Римской империи и сотворить из них могущественную силу, которая стала христианской церковью [5].

Это перевод христианства в область политики, который удался бы лучше без последнего раздела книги, где Ницше берет на себя роль Бога и произносит итоговый приговор. Во многих его работах этого времени невозможно отличить сатиру в свифтовском духе от чрезвычайной серьезности; можно также предположить, что это просто отметка на графике его психического состояния, сигнализирующая о нестабильности.

Раздел озаглавлен «Приговор христианству. Издан в День Спасения, первый день Первого Года (30 сентября 1888 г. по ложному летоисчислению)».

«Смертельная война пороку: порок же есть христианство.

Против священников нужны не доводы, а тюрьмы.

Всякое участие в богослужении есть покушение на общественную нравственность.

Проклятые места, где христианство высиживало яйца своих василисков-базилик [Израиль? Иерусалим?], надлежит сравнять с землей. Как *безумные* места Земли они должны стать страшным назиданием для потомков. Там следует разводить ядовитых гадов.

Проповедь целомудрия есть публичное подстрекательство к противоестественности.

Священник... должен быть вне закона, его следует морить голодом, гнать во всевозможные пустыни.

Словами “бог”, “спасение”, “спаситель”, “святой” следует пользоваться как бранными словами, как клеймом преступника.

Прочее следует из вышеизложенного»¹.

Это последняя страница книги, которой он дал название «Анти-христианин».

День, когда он окончил «Антихристианина», Ницше называл днем великой победы, седьмым днем (отсылка к Библии: Бог сотворил мир за шесть дней и на седьмой день отдыхал). Он и провел день, «как Бог на отдыхе», гуляя под позолоченными солнцем тополями по набережной великой реки По.

Прибыли напечатанные экземпляры «Казуса Вагнер». Он переслал их всем подряд. С тех пор как Георг Брандес дал в Копенгагене ряд посвященных ему лекций, Ницше стал считать себя фигурой международного масштаба. Он хвастался тем, что к нему проявляют интерес в Америке. Его аудиторией стал целый мир. Он перестал сдерживать себя, размышляя о том, кому бы послать новую книгу и о чем их попросить.

Он послал книгу вдове Бизе, которая вроде бы умела читать по-немецки. Он послал ее в Парагвай, чем привел в ужас зятя, который основывал все предприятие по созданию Новой Германии на культе Вагнера и поддержке круга Вагнера. Столь же оскорблена была и Элизабет, которая ничего бы не добилась без покровительства Козимы. Георг Брандес откликнулся с большим энтузиазмом, приложив адреса

¹ Пер. А. В. Михайлова, И. А. Эбаноидзе.

известных ему высокородных радикалов из Санкт-Петербурга. Некоторые книги Ницше были в России запрещены, в том числе «Человеческое, слишком человеческое», «Смешанные мнения и изречения» и «Странник и его тень», во многом из-за нападок на христианство (запрет был отменен только в 1906 году). Брандес рекомендовал князя Урусова и княгиню Анну Дмитриевну Тенишеву как «замечательных ценителей», которые помогут распространить его работы в среде радикальной русской интеллигенции. Это был весьма проницательный совет: с этого момента и в течение всех 1890-х годов интерес к Ницше в России был значительно выше, чем в любой другой европейской стране, если судить по числу рецензий на его работы, вышедших в то время [6].

Ницше отправил экземпляр и Якобу Буркхардту с выстраданной просьбой хоть как-то отозваться. Мнение Буркхардта всегда значило для Ницше больше, чем мнение Ницше для Буркхардта. Спрятавшись в раковину тщательно выстроенного одиночества в тесном мирке Базельского университета, Буркхардт так и не нашел ни единого слова и предпочел промолчать.

Еще один экземпляр был отправлен Ипполиту Тэну в надежде на то, что он поможет «открыть великий Панамский канал во Францию». Ключом к такому каналу был перевод на французский, который сам Ницше оплатить не мог. Прося Тэна о переводе, он параллельно отправил три экземпляра Мальвиде фон Мейзенбут с тем же расчетом.

В римской квартире Мальвиды на видном месте стоял огромный бюст Вагнера, который взирал на всех входящих с высокого пьедестала. Она преспокойно поддерживала Ницше, одновременно оставаясь преданной поклонницей композитора. Мальвида имела богатый опыт балансирования на краю пропасти: ей как-то удавалось десятилетиями жить в привилегированных и комфортабельных условиях, входя в высшее общество, и одновременно поддерживать репутацию анархистки. Символом ее жизни можно было считать посещение яхты Гарибальди, куда ее внесли в мягком кресле — воплощении уюта буржуазной гостиной. В противостоянии Ницше и Вагнера Мальвида всегда ухитрялась оставаться в обоих лагерях, но получение «Казуса Вагнер» потребовало от нее отказаться от тактичного нейтралитета. Ее письмо Ницше, в котором она подчеркивала несвоевременность нападок, ныне утрачено, но сама она впоследствии называла его «пределно тактичным». В это легко можно поверить, учитывая ее обычную склонность сглаживать углы.

Ницше в ответ взорвался: «Высокочитимая подруга, это не те вещи, относительно которых я допускаю возражения. <...> Я — высшая инстанция, какая есть на свете»¹ [7].

В его письмах появились новые нотки. Тексты становятся все более агрессивными, воинственными и безапелляционными. То и дело попадают намеки на его божественность. Он начал прямо заявлять о своем статусе и своей власти. Он утверждал, что никогда еще не было более важного для мировой истории момента. Человечество было неизлечимо безответственно, неизлечимо рассеянно; оно и понятия не имело, какие важные вопросы переоценки ценностей он в одиночку ставит и решает.

Эта переоценка впервые за много веков вернет мир на правильный путь. Его физическое состояние дало ему неопровержимые доказательства того, что он способен это сделать. Глядя на себя в зеркало, он видел молодого человека в прекрасной форме. Никогда еще он не выглядел таким здоровым и ухоженным. Он казался себе человеком на десять лет моложе, в самом расцвете сил.

Последний раз отражение в зеркале говорило ему то же самое на пике его влюбленности в Лу, когда он пребывал в полной уверенности относительно их совместного будущего.

Был октябрь 1888 года, и он ожидал своего дня рождения. Он чувствовал полную гармонию с моментом, с осенью, с собой и с окружающим миром. Виноград в виноградниках под Турином обрел тот коричневый цвет, от которого во рту рождается сладость. Таковую же сладость у него во рту порождали и собственные слова. Он стал зрелым человеком. Все было в порядке.

15 октября он с радостью встретил свой сорок четвертый день рождения.

Несомненно, это был лучший день, чтобы начать еще одну книгу! Этот день рождения заслуживал автобиографии — на благо всего мира. Он снова откладывал великую переоценку ценностей, но не придавал этому никакого значения. Времени впереди достаточно. Он собирался изложить в автобиографии все: свои книги, свои взгляды, случаи из жизни, свою психологию. Миру будет дозволено проследить за тем, как он преображал любое «так было» в «я хотел, чтобы так было». Человечество, которое не уделяло ему достаточно внимания, наконец-то поймет свою удачу, когда он полностью выразит себя [8].

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

Заявляя себя в качестве наследника мертвого бога, он назвал автобиографию «Ессе Номо». Название взято из Библии — это роковые слова, которые в Евангелии от Иоанна произносит Понтий Пилат, римский прокуратор Иудеи, обрекая Христа на смерть [9], после чего предположительно бежит и топится из-за угрызений совести в маленьком черном озере под горой Пилатус близ Трибшена. «Ессе Номо [“Се человек”]»¹, — объявил Пилат, выдавая своего узника Иисуса Христа, подвергнутого бичеванию и истекающего кровью, на суд людей, которые обрекли живого Бога на казнь через распятие.

В «Ессе Номо» Ницше продолжает состязаться с Христом или претендовать на то, чтобы стать вторым Христом, еще одним живым богом, приговоренным к смерти. В случае Ницше это смерть через неизвестность, через забвение, через отсутствие интереса к его идеям. «Ессе Номо» содержит огромное количество отсылок к Библии, в том числе пародийных, начиная с первого же предложения: «В предвидении, что не далек тот день, когда я должен буду подвергнуть человечество испытанию более тяжкому, чем все те, каким оно подвергалось когда-либо, я считаю необходимым сказать, *кто я*» [10].

Все в этой книге — флирт, загадка, головоломка, танец, а прежде всего — провокация.

«Мне буквально приходится нести на себе судьбы человечества, и если в то же самое время мне удастся быть шутком, сатиром... Глубочайший ум должен быть одновременно и флиртом — это, если хотите, формула моей философии»² [11].

Герой-трикстер проявляется не только в общем названии книги, но и в вызывающих смех заголовках отдельных частей: «Почему я так мудр», «Почему я так умен», «Почему я пишу такие хорошие книги», «Почему являюсь я роком». И в главах действительно говорится о том, почему он так мудр, умен и т. д. В них также высмеивается сам жанр автобиографии. Книга подтверждает тот факт, что, как бы ни старались авторы, автобиография — едва ли не самый ужасный акт самодовольства. В «Ессе Номо» он отказывается от условного сокрытия авторского тщеславия под маской показной скромности, самоуничтожения и невинных оправданий в виде сохранения исторической памяти. Раз уж проводить

¹ Ин. 19:5.

² Пер. И. А. Эбаноидзе.

переоценку всех ценностей, почему бы не переоценить и жанр автобиографии? Почему не использовать автобиографию для хвастовства и надувательства, для преувеличения и маниакального самовосхваления, смешав то, что происходило, и то, чего не было, и добавив разные точки зрения? Ведь фактов не существует — есть только интерпретации.

Первую главу — «Почему я так мудр» — он начинает с загадки: «Я умер уже в качестве моего отца, но в качестве моей матери я еще живу и старею». Он находится в обоих мирах. Кто же он? Не святой, не призрак — просто ученик Диониса. Он предпочитает быть сатиром, а не святым; разрушать идолов, а не устанавливать их. Последнее, что ему хочется, — «улучшать» человечество. Он предлагает взглянуть на его ноги и убедиться, что они сделаны из глины.

Он продолжает настаивать на своем безупречном здоровье. Если воспринимать все это буквально, то это полный вымысел, медицинские фантазии. Уже кое-что зная о его жизни, мы можем увидеть в этом описании попытки опровергнуть мнение, которое в тот век сифилитической паранойи неминуемо складывалось о любом мужчине, страдавшем от необъяснимых проблем со здоровьем, особенно если его отец умер от «разжижения мозга». Он с болезненным жаром доказывает нам, насколько он физически крепок. Да, у него есть проблемы со здоровьем, но это просто результат «небольшой местной дегенерации». Эта небольшая местная дегенерация привела к общему истощению и слабости желудочно-кишечного тракта, который, как он признается, уже давно подвергает серьезным испытаниям его физическую и психическую системы. В результате он обучился навыкам и знаниям, чтобы смотреть на мир с другой стороны. Он сравнивает себя с раненым хирургом, который обращает собственную боль на благо обществу. Только он, раненый хирург культуры, способен на переоценку всех ценностей.

Мы подозреваем, что он на полном серьезе снова говорит нам, что рецепт человеческого величия — это *amor fati*, нежелание что-либо изменять ни в прошлом, ни в будущем, ни в вечности [12]. Продолжая, он говорит, что уже его мать и сестра пробуждают в нем глубочайшее сомнение в *amor fati* и вечном возвращении:

«Когда я ищу глубочайшую противоположность себе, неописуемую заурядность инстинктов, то всякий раз обнаруживаю свою мать и сестру — верить, что я в родстве с такими *канальями*, было бы святотатством по отношению к моей божественности. Обращение, которое мне приходится терпеть со стороны моей матери и сестры, вплоть даже до этого момента, внушает мне

несказанный ужас: здесь работает совершенная адская машина... совершенно нету сил на то, чтобы обороняться от ядовитого отродья... Но я признаюсь, что глубочайшим возражением против “вечного возвращения”, моей по-настоящему *бездонной* мысли, всегда были мать и сестра... Человек *менее всего* состоит в родстве со своими родителями: было бы крайним признаком заурядности быть сродни своим родителям» [13].

Далее он высказывает поразительную чушь о том, что является чистокровным польским дворянином и что в нем нет ни капли «дурной» немецкой крови. При этом Ницше не предполагает, что Франциска и Элизабет тоже имеют польское происхождение, но продолжает называть их «моя мать» и «моя сестра». Чему же верить, когда он всерьез утверждает, что достоин доверия больше, чем любой другой мыслитель?

Следующее эссе — «Почему я так умен» — развивает тему легких и желудка как самую важную для его философских упражнений. Он выступает как гуру в области диеты и спорта. Если избегать кофе и жить в сухом климате, то вы достигнете такого же здоровья, как и он сам. Довольно странно, что он отвергает кофе и одновременно восхищается лучшим в мире туринским кофе. Он советует жить в Париже, Провансе, Флоренции, Иерусалиме или Афинах. Но прежде всего не надо жить в Германии, где климат вредит внутренним органам, какими бы здоровыми они ни были изначально [14]. Крепкий желудок — вот что самое важное для философа.

Никогда не доверяйте идеям, которые пришли вам в голову не на свежем воздухе. Освободите свой разум от всех великих императивов и не пытайтесь познать самих себя.

Противореча всему, что он только что советовал, он без тени иронии утверждает, что необходимое условие для того, чтобы стать собой, — не иметь ни малейшего понятия о том, кто ты.

«Мы, которые в болотном воздухе пятидесятых годов были детьми, мы необходимо являемся пессимистами для понятия “немецкое”», потому что как может существовать цивилизованная мысль в государстве, где господствует лицемер? Ницше верит лишь во французскую культуру. А раз уж он касается вопросов культуры, то не упускает шанса снова высказаться по поводу Вагнера, который некогда стал для него первой возможностью вдохнуть полной грудью. Он признается, что с тех пор, как впервые услышал «Тристана и Изольду», всегда ищет во всех искусствах той же грозной и сладкой бесконечности. Козима Вагнер обладает самой благородной натурой в Германии, а также самым ценным голосом

в вопросах вкуса. Дни, проведенные в Трибшене, он ни за что не хотел бы вычеркнуть из своей жизни.

В «Почему я пишу такие хорошие книги» дается обзор всех его опубликованных произведений. Как он писал издателю, с тем же успехом он мог бы писать рецензии сам на себя — больше-то этого никто не делал.

Раздел «Почему являюсь я роком» начинается так:

«Я знаю свой жребий. Когда-нибудь с моим именем будет связываться воспоминание о чем-то чудовищном — о кризисе, какого никогда не было на земле, о самой глубокой коллизии совести, о решении, предпринятом *против* всего, во что до сих пор верили, чего требовали, что считали священным. Я не человек, я динамит».

Эти слова часто принимают за некое пророчество о Третьем рейхе, даже за благословение такого развития событий. Но из остальной части «Почему являюсь я роком» — не самого короткого раздела — становится совершенно ясно, что он имеет в виду не какие-то будущие апокалиптические события, но поставленную самому себе задачу бросить вызов всей морали прошлого.

Последнее предложение книги гласит: «Поняли ли меня? — Дионис против Распятого...» Книга завершается многоточием, как и многие другие его произведения.

Он закончил «Ессе Ното» 4 ноября — за три недели. Все это время он находился в полном одиночестве в городе, где никого не знал. Едва ли кто-то замечал его маленькую фигурку, гуляющую по улицам в легком пальто с синей оторочкой и в огромных английских перчатках. Теперь он постоянно держал голову под углом, проходя по длинным каменным галереям Турина с их стробоскопической сменой света и тени. Когда он окончил книгу, уже подступала зима, и горы, вид на которые открывался из города, надели белые парики, а небо стало выцветать.

Турин снова стал ареной мероприятия государственного масштаба. Место королевской свадьбы заняли государственные похороны, место белого атласа — черные ленты, место праздничной помпезности — мрачная меланхолия. Те же властные и привилегированные гости заполнили Турин, на сей раз они приехали на торжественные похороны графа Робиланта. Из-за любви к всяческой пышности Ницше сделал Робиланта сыном короля Карла Альберта, хотя на самом деле граф был просто его адъютантом.

Ницше отправил рукопись «Ессе Номо» своему типографу Науманну 6 ноября. В сопроводительном письме в самых серьезных тонах говорилось, что книга была вдохновлена ощущением невероятного здоровья, возникшего впервые в жизни философа. Науманн должен немедленно ее напечатать.

В то время Науманн еще не превратился в издателя, которым он станет несколько позже. Его работа состояла не в том, чтобы редактировать книгу, — он должен был просто напечатать ее по запросу автора, оплачивающего расходы. Ницше настаивал, чтобы Науманн выпустил «Ессе Номо» до «Антихристианина», которого следовало придержать. «Ессе Номо» была книгой-вестником. Она, как Иоанн Креститель, должна была прокладывать путь. Текст не нужно было заключать в рамку, а строки надо было сделать шире. Науманн предложил взять бумагу подешевле. Ницше пришел от этого в ужас.

Выслав Науманну инструкции, Ницше тут же начал вносить в книгу изменения. Он добавил несколько абзацев, потребовал рукопись назад, вновь отправил ее в типографию в декабре 1888 года, «готовую к печати», потом добавил стихи, передумал, снова передумал. Его занимало множество дел, но среди них не было места новой книге о великой переоценке ценностей. Он собрал девять стихотворений, которые сочинил в 1883–1888 годах, и сделал беловые варианты для публикации. После нескольких неудач он остановился на названии «Дионисовы дифирамбы» (Dionysos-Dithyramben).

Исходное значение слова «дифирамб» — греческий хоровой гимн Дионису, но со временем термин стал обозначать любой дионисийский или вакхический гимн или стихотворение.

В «Рождении трагедии» Ницше называл дионисийским экстатическое начало, в противовес прозрачному и контролируемому аполлоническому творческому импульсу. С развитием его философии дионисийские мистерии стали означать фундаментальную волю к жизни. В «Сумерках идолов» Ницше писал: «*Что* гарантировал себе эллин этими Мистериями? *Вечную* жизнь, вечное возвращение жизни; будущее, обетованное и освященное в прошедшем; торжествующее Да по отношению к жизни наперекор смерти и изменению; *истинную* жизнь как общее продолжение жизни через соитие, через мистерии половой жизни» [15].

Наиболее очевидно связанное с дионисийским началом стихотворение — «Жалоба Ариадны»¹. В нем описывается, как Ариадна, остав-

¹ Далее цит. в пер. Ю. М. Антоновского.

ленная Тесеем на острове Наксос, оплакивает свою судьбу и ее посещает бог Дионис. Впервые Ницше напечатал стихотворение в четвертой части «Так говорил Заратустра», в главе «Чародей», где Заратустра повергает старого волшебника Вагнера.

В дни Трибшена принято было считать Вагнера Дионисом при Козиме-Ариадне, а роль Тесея исполняли Ницше и фон Бюлов, но теперь Ницше постоянно и открыто сам принимает имя Диониса, а Козима-Ариадна все чаще появляется в его писаниях.

Самозванный Дионис перестал сдерживать себя ограничениями, которые существовали для него в молодости. Эротизм начинает преобладать. «Жалоба Ариадны» — ничем не сдерживаемая фантазия, в начале которой Ариадна, раскинув руки, дрожит и молит бога. Дионис, «безжалостный охотник», разит ее молнией. Она признает в нем бога. Трепеща под его острыми холодными стрелами, она склоняется перед ним, извивается в муках, покоряясь, и сдается на милость вечного охотника — незнакомого бога. Он слишком сильно давит на нее; он забирается в ее мысли. Она покоряется, катаясь по земле от восторга. Бог-палач мучает ее. «Возвращайся же, мой неизвестный Бог! Моя боль! Мое последнее счастье!» — кричит она. Он является во вспышке молнии. Заканчивается стихотворение словами «Я — твой лабиринт». До того было вполне понятно, кому из влюбленных — Дионису или Ариадне — какая строчка принадлежит, но для строчки «Я — твой лабиринт» такой ясности нет. Вероятно — обоим.

Хотя Ницше редко кому-то посвящал свои книги, «Дифирамбы» посвящены «творцу “Изолины”». Это Катюль Мендес — та самая «лилия в моче», писатель, что сопровождал в Трибшен Жюдит Готье.

Мендес написал либретто оперы Андре Мессаже «Изолина» — сказки с Титанией, Обероном и драконами, премьера которой состоится в Париже в следующем месяце — в декабре 1888 года. Со времен Трибшена не видно никакой связи, даже в голове у Ницше, между ним и Мендесом. Не собирался ли Ницше с помощью этого лестного посвящения убедить Мендеса перевести его книги на французский? Мальвида фон Мейзенбург отказала. Ипполит Тэн заявил, что его немецкий недостаточно хорош, и передал задачу Жану Бурдо, который отговорился недостатком времени. Панамский канал во Францию никак не желал открываться.

Воспользовавшись связями с Георгом Брандесом, Ницше написал шведскому драматургу Августу Стриндбергу, прося его перевести «Ессе Ното» на французский. Представляясь Стриндбергу, Ницше

сделал уже обычные для того времени заявления о своих польских корнях, безупречном физическом здоровье, всемирной славе и совершенстве, до которого он довел немецкий язык: «Я говорю на языке правителей мира». Он также обещал Стриндбергу, что первые экземпляры книги получат князь Бисмарк и молодой кайзер «с письменным объявлением войны... на это военные не осмелятся ответить полицейскими мерами»¹ [16]. Сам Стриндберг в то время переживал не лучший период в жизни. У него не было денег, разваливался первый брак с обожаемой женой, а жили они в крыле разрушенного замка, облюбованного павлинами и бродячими собаками и управляемого самозваной графиней и ее сожителем — шантажистом, алхимиком, магом и вором. Это невероятное стечение обстоятельств и дало импульс к написанию величайшей пьесы Стриндберга «Фрекен Юлия». Но даже посреди окружавшего его хаоса Стриндберг понял, что с Ницше что-то не так, и спросил у Брандеса, не сошел ли немец с ума. Этим вопросом Стриндбергу пришлось задаваться еще не раз, поскольку в следующих письмах Ницше чувствовался патологический интерес к паре преступников, чьи ужасные деяния неоднократно описывались в наиболее скандальных европейских газетах, в том числе тех, которые Ницше читал в Турине, а Стриндберг — в Швеции. Первым преступником был таинственный Прадо — испанец, скрывавшийся под именем Линска де Кастильон. Растратив в Перу состояние своей первой жены, которое, по слухам, составляло 1,2 миллиона франков, он бежал во Францию, где совершил несколько ограблений и убил проститутку.

Вторым был Генри Хембидж, студент-юрист, убивший англичанку — жену француза, живущего в Алжире. Ницше настаивал, что криминальный гений Хембиджа поразителен. Этот человек был «выше своих судей, даже своих адвокатов, по хитрости и самообладанию, по великолепию духа» и т. п. Стриндберг, вынужденный жить на хлебах подобного же преступного типа, не разделял точки зрения Ницше. Через месяц, когда Ницше написал письмо Якобу Буркхардту, оба преступника заняли свои места среди его все множасьихся личностей. Теперь он был не только Дионис и Антихристианин, но также Генри Хембидж и Прадо — и даже отец Прадо [17].

Он стал терять контроль над своим поведением и писал об этом Петеру Гасту с восторгом. Это не имело никакого значения! Не о чем

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

беспокоиться! Он так много времени потратил зря! На концертах музыка трогала его так сильно, что он не мог контролировать выражение своего лица. Он разражался слезами. Он ухмылялся. Порой он по полчаса стоял на оживленной улице и только и делал, что строил рожи. Четыре дня подряд — с 21 по 25 ноября — он вообще не мог придать лицу серьезное выражение. Он заключал, что человек, который достиг такого состояния, готов стать спасителем мира. Пройдет два месяца — и его имя станет славнейшим на земле. Самым замечательным в Турине было то, что люди всех сословий были им полностью очарованы. Все изменялись в лице, когда он заходил в большой магазин или какое-нибудь публичное место. Ему не нужны были ни имя, ни титул, ни звание — для людей он всегда и во всем был безусловно первым [18]. На него всегда смотрели как на принца. С чрезвычайным достоинством окружающие открывали перед ним двери. Элегантные и светящиеся от счастья официанты подавали ему еду так, словно обслуживали короля. Он мысленно отмечал всех, кто узнал его в этот период неизвестности. Было вполне возможно, что, например, его будущий повар уже служит ему сейчас. Никто не принимал его за немца [19].

Четыре книги, посвященные великой переоценке ценностей, должны были вскоре появиться — об этом он писал Овербеку. Он уже разворачивал орудия. Как и подобает старому артиллеристу, он собирался выстрелить по истории человечества дуплетом, разделив каждый выстрел надвое. Это был весьма *хладнокровный* план, как отмечал он не без остроумия, имея в виду наступление зимы. Но прежде всего необходимо было успеть еще раз выстрелить в Вагнера до 20 ноября — даты, на которую он наметил отъезд из Турина в Ниццу или на Корсику [20].

Однако план поездки в Ниццу или на Корсику отменился почти сразу. Ехать на Корсику не имело смысла: там уже было покончено и со всеми бандитами, и со всеми королями и императорами [21].

Мысли, как и планы поездок, приходили и уходили. Огромные горы бумаги в его комнате становились все выше. Его текущие и прошлые бумаги, словно снежинки, слетали со стола на пол; он писал множество писем и сводил вместе фрагменты предыдущих книг для работы «Ницше contra Вагнер» — четвертой книги за год, а если включить сюда «Дифирамбы», то и пятой; также это была вторая книга с именем Вагнера в названии.

Тем временем из Ниццы доставили «косопалый» сундук. Наконец-то Ницше мог прочесть собственные книги. Они были великолепны. Его охватило восхищение собственным величием. Просто невероятно, какую силу над событиями имели его мысли. Никаких совпадений больше не существовало. Достаточно было подумать о человеке — и письмо от него тотчас прибывало прямо под дверь. Когда он представлял себе те великие свершения, что удались ему в период с 3 сентября по 4 ноября, ему казалось, что вскоре в Турине может вообще случиться землетрясение.

15 декабря он отправил Науманну тоненькую рукопись «Ницше contra Вагнер» и «Дионисовы дифирамбы». Печать других книг может подождать. Науманн должен бросить все и печатать «Ницше contra Вагнер». Через два дня это распоряжение было отменено, и Науманн получил телеграмму: *Ecce vorwärts* («Вперед с “Ессе Номо”»). «Ессе Номо» «переходит границы литературы... Для этой книги нет параллелей и в самой природе; она буквально надвое разрывает историю человечества — это *динамит* в высшей степени».

Наступало Рождество, а с ним и пора писать рождественские послания. Матери он писал следующее:

«Теперь твой старый сын невероятно знаменит, хотя и не в Германии: немцы слишком глупы и вульгарны, чтобы понять величие моего разума, и вечно на меня клеветают, — но во всех других странах. Мои почитатели — очень *избирательные* люди, все они знамениты и влиятельны... весьма привлекательные дамы, включая сюда, разумеется, и г-жу княгиню Тенишеву! Среди моих поклонников есть настоящие гении — сейчас нет такого имени, которое произносилось бы с таким почтением и уважением, как мое... К счастью, сейчас я готов ко всему, что могут потребовать от меня мои задачи...

Твой старый сын» [22].

Письмо Элизабет:

«Сестра моя... Я вынужден распрощаться с тобою навсегда. Теперь, когда судьба моя ясна, любые твои слова кажутся мне десятикратно резкими; ты не имеешь и отдаленного понятия о том, каково быть так тесно связанным с человеком-судьбой, в котором решаются тысячелетние вопросы человеческого существования — я буквально держу в своей ладони будущее всего человечества...» [23]

Письмо Петеру Гасту:

«Дорогой друг, я хотел бы вернуть себе все экземпляры четвертой части “Заратустры”... любой ценой. (Я читал ее все эти дни и чуть не умер от переживаний.) Если я опубликую ее позже, через несколько десятилетий войн и мировых кризисов, тогда время будет более подходящим.

Чудеса! Привет от Феникса» [24].

Петеру Гасту:

«Только что умер князь фон Кариньяно; у нас будут отличные похороны» [25].

Карлу Фуксу:

«... В следующие несколько лет мир будет стоять на голове; старый Бог отрекся от престола, и теперь миром буду править я...» [26]

Францу Овербеку:

«Дорогой друг! <... > Через два месяца мое имя станет известно всему миру...

Я как раз работаю над меморандумом для дворов европейских держав с целью создания антинемецкой лиги. Я хочу надеть на “рейх” смирительную рубашку и спровоцировать его на безнадежную войну. Я не успокоюсь до тех пор, пока молодой кайзер и иже с ним не будут у меня в руках. Между нами! *Только* между нами. — Полный штиль в душе! Десять часов беспробудного сна! Н.»¹ [27].

Мете фон Залис-Маршлинс:

«Уважаемая фройляйн! Наверное, никто из смертных не получал еще таких писем, как я... От высшего петербургского общества. И от французского!.. Самое примечательное в Турине — восхищение, которое я внушаю людям всех сословий... Мои книги печатают почти с религиозным рвением. Г-жа Ковалевская в Стокгольме (она происходит из рода древнего венгерского короля Матьяша Корвина)... считается единственным живущим математическим гением.

Ваш Н.» [28].

¹ Пер. И. А. Эбаноидзе.

Петеру Гасту:

«... Когда пришла ваша открытка, что я делал?.. это был знаменитый Рубикон. Я больше не знаю своего адреса: предположим, что вскоре им будет Квиринальский дворец.

Н.» [29].

Августу Стриндбергу:

«Я повелел созвать в Рим правителей, я хочу расстрелять молодого кайзера...

Une seule condition: *Divorçons*¹...

*Ницше Цезарь*² [30]

Августу Стриндбергу:

«Не *Divorçons* в итоге?

Распятый» [31]

Петеру Гасту:

«Спой мне новую песню: мир просиял и все небеса радуются.

Распятый» [32].

Георгу Брандесу:

«После того как ты меня открыл, найти меня было не чудом; трудность теперь в том, чтобы меня потерять...

Распятый» [33].

Якобу Буркхардту:

«Я оправдываю свою скуку тем, что сотворил мир. Вы — наш великий, величайший учитель; мне и Ариадне необходимо лишь найти идеальное равновесие всех вещей.

Дионис» [34].

¹ Единственное условие: разведемся (*фр.*).

² Это и следующие шесть писем цит. в пер. И. А. Эбаноидзе.

Козиме Вагнер:

«Ариадна, я люблю тебя,
Дионис» [35].

Якобу Буркхардту:

«Дорогой господин профессор,
в конечном счете меня гораздо больше устроило бы оставаться базельским профессором, чем Богом; однако я не посмел заходить так далеко в своем личном эгоизме, чтобы ради него поступиться сотворением мира. Видите, приходится чем-то жертвовать, чем бы и когда бы ни жил. Все же я снял себе студенческую комнатку напротив дворца Кариньяно (где я родился Виктором Эммануилом), в которой, сидя за рабочим столом, я могу слышать прекрасную музыку из галереи Субальпина подо мною. Я плачу за все вместе с обслугой 25 франков, сам покупаю себе чай и все, что нужно, мучаюсь с дырявыми сапогами... Поскольку предстоящую вечность я осужден перебиваться скверными анекдотами, то я занимаюсь тут писаниной, лучше которой и не придумаешь, очень милой и совершенно необременительной...

Не слишком переживайте по поводу Прадо. Я — Прадо, я также — отец Прадо, осмелюсь сказать, что и Лессепс [французский дипломат, занимавшийся строительством Панамского канала] — тоже я.. Я хотел дать моим любимым парижанам совершенно новое представление — представление о порядочном преступнике. Хембидж — это тоже я: еще один порядочный преступник...

С детьми, которых я произвел на свет, дело обстоит так, что я с некоторым недоверием вопрошаю себя: не из Бога ли и вышли все, кто внидет в «царство Божие»? Этой осенью, одетый самым жалким образом, я дважды присутствовал на своих похоронах — в первый раз будучи князем Робилантом (нет, это мой сын, поскольку я в силу своей природы — Карло Альберто), но Антонелли был я сам. Дорогой господин профессор, Вам бы увидеть все это сооружение; поскольку я ужасно неопытен в том, что создаю сам, Вам пристала любая критика... Я разгуливаю повсюду в своей студенческой куртке, то и дело хлопаю кого-нибудь по плечу и говорю: *Siamo contenti? Sono dio, ha fatto questa caricature* [Мы довольны? Я Бог, эту пародию сотворил я]...

Завтра приезжает мой сын Умберто с милой Маргаритой, которую я тоже лишь здесь буду встречать в одной рубашке. Остальное — для фрау Козимы... Ариадна... Время от времени ее околдовывают...

Я заковал Каиафу [еврейский первосвященник, который потворствовал казни Христа] в кандалы. А еще в прошлом году меня долго и методично распинали и немецкие врачи.

Прикончил Вильгельма, Бисмарка и всех антисемитов.

Можете использовать это письмо любым образом, который не роняет меня в глазах базельцев.

С искренней любовью Ваш Ницше» [36].

Письмо было проштамповано 5 января. Буркхардт получил его на следующий день и сразу же показал Овербеку. Овербек немедленно написал Ницше, настаивая на его возвращении в Базель. На следующий день Овербек получил письмо за подписью «Дионис» с фразой: «Я прикажу сейчас расстрелять всех антисемитов...»

Овербек поспешил в базельскую психиатрическую клинику, чтобы показать письма ее директору профессору Вилле и спросить, что же делать.

Пещерный минотавр

Может ли *осёл* быть трагичным? — Что гибнешь под тяжестью, которой не можешь ни нести, ни сбросить?.. Случай философа.

*Сумерки идилов.
Изречения и стрелы, 11*

Неизвестно, что именно случилось утром 3 января 1889 года. Видели, что Ницше, как обычно, выходил из углового дома Давиде Фино на Виа Карло Альберто. Одинокая фигура, погруженная в печальные думы, привычно брела в книжный магазин. Ницше часами просиживал там, уткнувшись в книгу, но никогда ничего не покупал. На площади в ожидании седоков толпились двуколки и кэбы, запряженные измученными лошадьми. Жалкие клячи поникли между оглоблями, заставить их двинуться мог только хлыст. Увидев, как извозчик безжалостно избивает лошадь, Ницше не выдержал. Он бросился к животному, плача от сострадания, обнял его за шею, пытаясь защитить от побоев, и потерял сознание. По крайней мере, так говорили. Подобные происшествия быстро забываются, а свидетели часто утверждают совершенно противоположные вещи.

Скорее всего, кто-то знал, где Ницше живет, так что позвали не только полицию, но и Давиде Фино. Если бы не Фино, Ницше бы наверняка уехали в итальянскую лечебницу для умалишенных и он бы навеки затерялся в ее мрачных лабиринтах. Но Фино отвел его домой.

Очутившись в своей комнате на третьем этаже, Ницше заперся изнутри. Несколько суток, днем и ночью, он кричал, распевал фальце-

том, бредил и невнятно разговаривал сам с собой. Домочадцы Фино в тревоге прислушивались, выглядывая на лестницу. Ницше передавал им послания, которые надлежало отправить королю и королеве Италии, а также свои последние, бредовые письма к Буркхардту и Овербеку. С невероятной силой его влекло к роялю, он в исступлении исполнял свои подражания Вагнеру, колотил и барабанил по клавишам. Домочадцы Фино со страхом косились на потолок, откуда доносились то крадущиеся шаги, то топот и прыжки Ницше. Закончив с роялем, тот принимался танцевать, и, обнаженный, скакал по комнате в священном угаре дионисийских оргий.

Фино обращался к немецкому консулу, ходил в полицию, советовался с врачом. Наконец вечером 8 января приехал Овербек.

По словам Овербека, «это было совершенно ужасно». Однако он застал Ницше в один из относительно спокойных периодов. В следующие несколько дней ситуация ухудшилась.

Войдя в комнату Ницше, Овербек обнаружил своего друга забившимся в угол дивана. Скорчившись, тот изображал, что вычитывает черновики «Ницше contra Вагнер». Философ буквально уткнулся носом в отпечатанные страницы, словно ребенок, который делает вид, что читает. Он знал, что должен держать бумагу на определенном расстоянии от носа и пробегать ее взглядом слева направо и обратно, но было видно, что напечатанное не имеет для него ни малейшего смысла.

Как только Овербек вошел, Ницше бросился к нему и неистово обнял, разразившись рыданиями. После чего опустился обратно на диван, дергаясь, стелая и дрожа мелкой дрожью. Овербек был спокойным, сдержанным человеком, редко показывающим свое волнение. Но увидев, в каком состоянии находится его друг, он покачнулся, едва удержавшись на ногах, и чуть не упал.

К счастью, Фино с домочадцами уже был тут. Туринский психиатр, профессор Карло Турина, к которому Давиде обращался за консультацией, рекомендовал в случае перевозбуждения давать пациенту капли брома [1]. На столе наготове стоял стакан воды, и они без лишней суеты напоили Ницше лекарством. Тот прекратил бредить и высокомерно начал описывать грандиозный прием, ожидающийся вечером в его честь. Однако эта мирная интерлюдия длилась недолго. Вскоре Ницше разразился потоком несвязных слов и обрывками предложений, которые перемежались кривляниями и конвульсиями, непристойными ругательствами и дикими аккор-

дами на рояле, прыжками и неистовыми танцами. Хорошо зная, о чем обычно размышлял его друг, Овербек был способен угадать сменяющиеся друг друга ассоциации. Ницше говорил о себе как о наследнике мертвого бога, шуте всех бесконечностей, растерзанном Дионисе. Он дергался и извивался всем телом в оргиастической инсценировке святого безумия. Несмотря ни на что, в происходящем было нечто невинное. Конвульсии Ницше не вызывали ни страха, ни отвращения, только бесконечную жалость. К тому самому Ницше, который так часто повторял, что преодоление жалости — одна из благородных добродетелей.

Когда Овербек поспешил с письмами Ницше в клинику Базеля, доктор Вилле ни минуты не сомневался, что Ницше надо немедленно поместить в психиатрическую лечебницу. Он предупредил Овербека, что это может быть непросто и тот не справится в одиночку. Необходимо, чтобы Ницше сопровождал человек, умеющий ладить с помешанными и успокаивать их. Для этого наняли одного немецкого дантиста, поднаторевшего в подобных вещах.

Во время своего недолгого пребывания в Турине, перед тем как отправиться в Базель, Овербек запаковал бумаги и книги Ницше, с тем чтобы Давиде Фино их переслал. Ницше отказывался покидать кровать. Больного с трудом выманили из постели, сыграв на его мании величия. Дантист описывал ему застывших в ожидании королевских особ, приемы, торжества и представления, которые готовились в городе в его честь. Ницше отказывался куда-либо отправляться без ночного колпака Давиде Фино, который он где-то стянул и водрузил на голову наподобие короны.

На шумных улицах Турина и в битком набитом атриуме вокзала было достаточно народу, чтобы поддержать иллюзию встречи королевской особы. Ницше удалось заманить в поезд.

Проблемы начались на подъезде к Новаре, где им пришлось три часа ждать пересадки. Ницше желал обратиться к толпе с речью и заключить в объятия своих верноподданных, но умудренный опытом дантист сумел убедить его, что такому великому человеку пристало сохранять инкогнито.

Пока его бреду подыгрывали, Ницше был кроток, как младенец, но даже в этом случае ход его мыслей внезапно мог измениться, после чего какой-нибудь бессвязный обрывок ассоциаций прорывался наружу. Если сопровождающие не догадывались, о чем идет речь, больной приходил в ярость. Чтобы успокоить Ницше, на ночь ему пришлось дать хлорала.

Поезд разрывал темноту тоннеля Сен-Готард под Альпами, и Овербек слышал голос Ницше, чисто и внятно декламирующий «Венецию» — стихотворение, включенное в обе последние книги, «Ессе Номо» и «Ницше contra Вагнер»:

Звуками теми втайне задеты,
струны души зазвенели,
и гондольеру запела,
дрогнув от яркого счастья, душа.
— Слышал ли кто ее песнь?¹ [2]

В Базеле их ждал экипаж. В лучшие дни, до болезни, Ницше бывал во Фридматте, психиатрическом госпитале Базельского университета, и был знаком с его директором, профессором Вилле. Но, зайдя внутрь, он не выказал ни малейших признаков узнавания. Овербек не представил мужчин друг другу, опасаясь, что Ницше поймет, что его обманом заманили в лечебницу. Тем не менее Ницше царственно поинтересовался, кто этот человек. То, что их не представили, показалось ему непристойным. После того как больному сообщили имя профессора, Ницше приветствовал его с большой учтивостью, без малейшего усилия прекратил разыгрывать из себя королевскую особу и углубился в ясные и детальные воспоминания о беседе, которую они несколько лет назад вели о религиозном фанатике Адольфе Фишере.

За этим профессиональным разговором Ницше совершенно позабыл об Овербеке. Для того попросту не осталось места в обсуждении деталей медицинского обследования и психиатрической экспертизы.

Когда Ницше уводили, он пообещал: «Завтра, добрые люди, я ради вас позабочусь о самой прекрасной погоде».

На завтрак он набросился с голодной яростью. В записях отмечено, что ему очень понравилась ванна. Ницше провел в клинике восемь дней, пока его обследовали для постановки диагноза.

«У пациента здоровое, хорошо развитое тело. Мускулистый. Широкогрудый. Сердцебиение не ускоренное, в норме. Средний пульс 70 ударов в минуту. Диспаратность зрачков, правый расширен сильнее, чем левый, реакция на свет замедленна. Язык сильно обложен. Коленный рефлекс преувеличен. Моча чистая, кислая, белок и сахар не обнаружены.

¹ Пер. Ю. М. Антоновского.

Пациент часто интересуется женщинами. Заявляет, что всю прошлую неделю проболел и нередко страдает от серьезных мигреней. Кроме того, пациент сообщил, что несколько раз с ним случались приступы, во время которых он чувствовал себя исключительно хорошо, находился в экзальтированном состоянии. Во время этих приступов ему хотелось обнимать и целовать каждого встречного, карабкаться на стены. Привлечь внимание пациента к конкретным вещам очень сложно: на вопросы он или не отвечает вовсе, или его ответы фрагментарны и обрывочны.

Тремора и нарушений речи не наблюдается. Речь непрерывная, спутанная, без логической связи, не останавливается даже ночью. Пациент часто пребывает в состоянии маниакального возбуждения, заиклен на приапическом контексте. Видит галлюцинации, что в его комнате находятся проститутки.

Иногда больной способен общаться нормально, но все быстро скатывается в шутовство, танцы, сумбур и галлюцинации. Периодически начинает петь, исполнять йодли и просто вопить.

11 января 1889 года. Всю ночь пациент провел без сна, непрерывно разговаривая, несколько раз вставал, чтобы почистить зубы и т. д. К утру был полностью истощен. Вечером, на прогулке, находился в состоянии постоянного моторного возбуждения, швырял шляпу и периодически бросался на землю. Речь спутанная, регулярно обвиняет себя в том, что разрушил чьи-то судьбы.

12 января 1889 года. После введения сульфонала пациент проспал четыре или пять часов, периодически просыпаясь. Когда его спросили о самочувствии, ответил, что чувствует себя настолько великолепно, что может выразить это только в музыке».

Через восемь дней наблюдения за пациентом удалось установить некую закономерность. Если больной соблюдал постельный режим, то постепенно успокаивался. Разрешение вставать усиливало маниакальное, буйное, разрушительное поведение. В помещении больной изливал свою ярость словесно: *aggravato fortissimo*. На улице это состояние приобретало более выраженные физические проявления: пациент начинал рвать на себе одежду и бросаться на землю.

Профессор Вилле считался экспертом в изучении сифилиса. В его клинике было много пациентов с сифилитическими поражениями мозга, возникающими на поздних стадиях заболевания. В подтверждение этого диагноза высказывался и сам Ницше: «Я заражался дважды». Кроме того, на пенисе у него был шрам (след возможного шанкра). В клинике решили, что речь идет именно о сифилисе. У обследовавших Ницше

врачей не было доступа к его истории болезни, иначе они бы узнали, что ранее пациент обращался к доктору Айзеру, который установил факт двукратного заражения гонореей.

Через восемь дней Вилле с уверенностью подтвердил диагноз *paralysis progressive*, или прогрессивный паралич, — психотическое расстройство, проявляющееся на последних стадиях развития сифилиса. Перед Овербеком встала нелегкая задача сообщить матери Ницше, что все это время ее сын находился в психиатрической лечебнице.

Получив эту новость, Франциска немедленно покинула Наумбург и 13 января прибыла в Базель. Она переночевала у Овербеков и на следующее же утро отправилась в клинику. Перед тем как пропустить ее к сыну, врачи подвергли Франциску настоящему допросу. Они пытались получить у нее как можно более полные сведения о семейной истории и истории болезни Ницше. «Мать производит впечатление весьма ограниченного человека, — говорится в заключении. — Отец пациента, сельский священник, страдал от поражения мозга после падения с лестницы... Один из братьев матери умер в санатории для нервных больных. Сестра отца отличалась эксцентричностью и слыла истеричкой. Беременность и роды протекали нормально» [3].

Единственным желанием Франциски было ухаживать за сыном, и она не сомневалась, что ее долг заключается именно в этом. Однако ей не позволили. Франциска Ницше была маленькой, тщедушной женщиной, разменявшей седьмой десяток, и благопристойно-бездеятельный образ жизни, который она вела, не способствовал развитию какой-либо физической силы. Ее сорокачетырехлетний сын, напротив, обладал крепкой конституцией, развитой мускулатурой, при этом был лишен всякого здравого смысла, непредсказуем и временами впадал в ярость.

Было ясно, что ему требуется нечто большее, чем обычная материнская забота. Франциска не рискнула послушаться совета, данного мужчиной, тем более профессионалом. Однако небольшую победу ей все же удалось одержать, добившись перевода Ницше в клинику при психиатрическом институте в Йене, которая находилась гораздо ближе к ее дому в Наумбурге.

И снова было решено, что Ницше должен сопровождать профессиональный эскорт. Выбор пал на молодого врача по имени Эрнст Мели, с которым к тому же отправился один из служителей больницы. Мели был одним из базельских студентов Ницше: «Скрытный и безмолвный адепт, исполненный тайного уважения к дьявольскому вестнику переоценки всех ценностей, создателю “По ту сторону добра и зла”» [4].

Кроме того, Мели был знаком с Отто Бинсвангером, руководителем Йенской клиники по уходу и лечению душевнобольных. Вне всякого сомнения, трудно было найти лучшего проводника для предстоящего путешествия. Мели предстояло разобрать значение обрывочных высказываний Ницше и нащупать закономерность, которая помогла бы профессору Бинсвангеру решить стоящую перед ним непростую задачу. В качестве примечания к этому эпизоду следует отметить, что впоследствии Эрнст Мели внезапно совершил самоубийство, а его отец до конца своей жизни обвинял в случившемся Ницше.

Вечером 17 января 1889 года Ницше снова собрали в дорогу на поезд, который должен был доставить его в лечебницу. В этот раз Овербек с ним не поехал, но очень хотел попрощаться с другом перед отъездом. Наблюдая, как небольшая группа в скорбном молчании пробирается по залу ожидания, Овербек пережил «ужасный, незабываемый момент». Ницше передвигался на негнущихся ногах, словно механическая кукла. Было девять часов утра, и жесткий искусственный свет станции падал на лица, превращая их в зловещие призрачные маски.

Когда нелепая, негнущаяся фигура забралась с платформы в поезд, Овербек поднялся в тамбур вслед за ним, чтобы попрощаться. Едва увидев своего друга, Ницше издал ревущий стон и конвульсивно сжал его в объятиях, несколько раз повторив, как тот ему дорог. После этого Овербеку пришлось покинуть больного.

Спустя три дня Овербек писал Петеру Гасту, что его терзает ужасное чувство, будто бы он причинил своему другу непоправимое зло. Еще в Турине он понял, что все кончено. Нельзя было так коварно вводить в заблуждение своего лучшего друга. Теперь, до конца жизни, ему придется нести тяжкий груз осознания, что это он обрек Ницше на лечебницу для умалишенных. Лучше было бы убить его там же, в Турине.

Для кроткого профессора теологии, считавшего убийство тягчайшим смертным грехом, это было из ряда вон выходящее заявление. Моральная дилемма стала еще сложнее, когда обоим друзьям пришла в голову мысль, что, может быть, Ницше только симулировал безумие. И Гаст, и Овербек знали о его склонности отрицать общепринятые представления о реальности, интерес к помешанным и помешательству, который он испытывал всю жизнь, и тягу к священному безумию разнужданных дионисийских культов. Следуя от Эмпедокла к Гёльдерлину и далее к безумцу, с фонарем ищущему бога в «Заратустре», Ницше часто обращался к идее, что только утлая ладя безумия способна пронести человеческий разум через Рубикон, за которым его ждет от-

кровение. Помешательство было ценой, которую следовало заплатить. Только безумие могло быть движущей силой, способной преодолеть обывательскую мораль. «Ужасный спутник» был маской и рупором божества. Платон писал, что всеми благими вещами Греция обязана исключительно безумию, но Ницше следовал еще дальше. Все лучшие люди, движимые непреодолимым желанием сбросить хомут навязанной им морали, если не безумны, то не имеют другого выбора, кроме как притворяться сумасшедшими.

«И я был в подземном царстве, как Одиссей, и стану бывать там; чтобы побеседовать с некоторыми из мертвых, я не только принес в жертву барана, но и не пожалел собственной крови, — писал Ницше. — Пусть живые простят мне, но они иногда кажутся мне теньями...»¹ [5]

Мысль о друге, который скрылся под маской безумия, чтобы погрузиться в преисподнюю и преодолеть ее, потрясла Гаста и Овербека. Однако те четырнадцать месяцев, что Ницше провел в клинике в Йене, развеяли все подозрения. Это была не маска, не дионисийская хитрость, не мусическая одержимость, не таинственная мистерия разума. Не оставалось никаких сомнений, что они наблюдают последние всплески ускользающего сознания.

В первый раз Ницше соприкоснулся с Йенской лечебницей, когда ему было пятнадцать лет. Он увидел это огромное здание во время летних каникул 1859 года. Резкий, мрачный силуэт навевал на Ницше унылые, тяжкие мысли, которые он записал в своем дневнике. Если клиника в Базеле напоминала добротный мещанский особняк, по архитектурному стилю схожий с Ванффридом, то Йенская лечебница представляла собой огромное, беспорядочное нагромождение башен и стен из кирпича ярко-оранжевого и черного цвета. Внутри здания в изобилии встречались замки, засовы, обитые войлоком стены и решетки на окнах.

Ницше поступил как пациент «второго класса». Формально решение было принято Франциской, но, вне всякого сомнения, она обратилась к Овербеку, который посоветовал ей быть бережливой. Пособие от Базельского университета было значительно урезано — с трех до двух тысяч франков в год. Никто не представлял, сколько времени Ницше проведет в лечебнице. В таких условиях оплата обслуживания по второму классу казалась благоразумной.

Директор института, профессор Отто Бинсвангер, изучал невропатологию в Вене и Геттингене. Пост директора Йенского института он

¹ Здесь и далее «Смешанные мнения и изречения» цит. в пер. В. М. Бакусева.

получил очень рано — ему не было и тридцати; кроме того, он занимал должность профессора психиатрии в Йенском университете. Бинсвангер написал множество статей о сифилитическом поражении мозга и *dementia paralytica* (паралитическом слабоумии). Это был человек, с головой погруженный в психиатрию и невропатологию и унаследовавший свои научные интересы от отца. Не было никаких сомнений, что Ницше попал в одну из ведущих клиник, специализирующихся на подобных состояниях. К сожалению, при поступлении Ницше осматривал не Бинсвангер. Ему записали тот же диагноз, что и в базельской клинике, — *paresis* и *dementia paralytica*, слабоумие и прогрессивный паралич в результате третичного сифилиса.

Сифилис больше не считался божьим наказанием, посланным за грех внебрачных связей. Сумасшедших перестали запирают в переполненных домах скорби, где с ними обращались, как с животными в зоопарке. Лекарства еще не изобрели, но отношение к больным стало гуманнее. Покой, покой и еще раз покой был краеугольным камнем бинсвангеровской терапии. Все четырнадцать месяцев, что Ницше провел в Йенской лечебнице, он получал успокоительные и массаж со ртутной мазью — старое доброе лекарственное средство столетней давности. Вопрос об исцелении не стоял, его случай был признан безнадежным. Оставалось только ждать смерти пациента. Ожидалось, что это произойдет сравнительно быстро, — через год или два.

Тот факт, что Ницше прожил еще одиннадцать лет, а также отсутствие ряда симптомов третичного сифилиса, вроде выпадения волос и провала носа, заставляет пожалеть о том, что для подтверждения диагноза Ницше осматривал не Бинсвангер [6].

На протяжении месяцев Ницше все так же оставался в состоянии психоза, галлюцинаций, возбуждения и спутанности. Он кривлялся, невнятно вопил безо всякого повода. Мания величия прогрессировала: больной отдавал приказы советникам, послам, министрам и слугам. Кроме того, у него развилась мания преследования. Однажды он увидел в окне нацеленное на него ружье и изрезал руку, пытаясь схватить его через разбитое стекло. Недоброжелатели осыпали его по ночам проклятиями, проявляя дьявольскую изобретательность. Периодически больного атаковали ужасные механизмы. Продолжались и эротические галлюцинации. Однажды утром Ницше сообщил, что провел ночь с двадцатью четырьмя шлюхами. Главного зрителя Ницше неизменно называл «князь Бисмарк». Самого себя он именовал то герцогом Камберлендским, то кайзером. По словам больного, в последнее время

он был Фридрихом Вильгельмом IV, которого в лечебницу заточила его жена, Козима Вагнер. Часто Ницше умолял, чтобы его перестали мучить по ночам. Он не мог спать на кровати и ложился рядом с ней на полу. Он дергался, кривил шею, склоняя голову к плечу, невероятно много ел. К октябрю Ницше набрал шесть килограммов. Как-то он разбил стакан, защищаясь острым осколком от тех, кто пытался к нему приблизиться. Постоянно пачкал лицо, пытался пить свою мочу, болтал без умолку, вопил или мычал. Ночью его крики были слышны издалека. С правой стороны у него начали сесть усы.

Когда Бинсвангер приводил практикантов, Ницше пытался их поучать. Он не воспринимал как унижение тот факт, что его кому-то демонстрировали. Не понимая толком, какую роль он во всем этом играет, Ницше явно чувствовал свою значимость. С медицинским персоналом он держался вежливо, много раз выказывал свою признательность, обращаясь с ними так, как милостивый господин обращался бы с верными слугами. Неоднократно благодарил за оказанный ему роскошный прием. Пытался снова и снова пожимать руку врачу. Где-то в глубине его сознания все еще теплилась мысль, что доктор обладает равным ему высоким социальным статусом.

Когда Бинсвангер желал продемонстрировать на нем нарушение походки, Ницше начинал двигаться так медленно и вяло, что симптомы было невозможно рассмотреть. «Ну же, господин профессор, — бранил его Бинсвангер, — бывалый солдат вроде вас еще может маршировать!» После чего Ницше начинал ходить по лекционному залу твердым шагом [7].

В периоды затишья он излучал трогательное обаяние, с улыбкой прося докторов «вернуть ему немного здоровья».

Ницше не имел ни малейшего представления о том, где находится. Иногда он считал, что в Наумбурге, иногда — что в Турине. С другими пациентами он почти не общался. Крал книги, чтобы написать свое имя на измятых страницах. После чего принимался читать написанное вслух, повторяя по многу раз: «профессор Фридрих Ницше».

Как в Турине Ницше привязался к ночному колпаку Давиде Фино, так и здесь он стал одержим одной из шляп лечебницы. Он носил ее днем и ночью, и никто не осмеливался ее отобрать. Судя по всему, эта шляпа заменяла ему корону. Когда у него после прогулки проверяли карманы (он любил наполнять их камешками и другими подобными маленькими сокровищами), это раздражало его и приводило в волнение.

Через полгода лечения успокоительными средствами поведение больного стало поддаваться контролю, и матери разрешили его навещать. Она приехала 29 июля. Было решено, что им лучше не встречаться в его комнате или в саду лечебницы, где он обычно проводил дневное время. Встреча произошла в комнате для посетителей. Ницше сообщил матери, что в этой аудитории он читает лекции для избранной публики. На столе лежали бумага и карандаш. Ницше засунул их в карман, прошептав матери таинственно, но весьма весело: «Теперь мне будет чем заняться в своей пещере» [8].

Следующие шесть месяцев прошли без особых изменений. Но в декабре с Франциской связался один назойливый шарлатан по имени Юлиус Лангбен. Лангбен был убежден, что способен вылечить ее сына. Однако лечение должно было проходить под его полным контролем, поэтому он намеревался оформить над Ницше законную опеку. У Лангбена недавно вышла книга, которая пользовалась большим успехом. В ней он рассуждал, как удержать немецкую культуру от краха. Книга называлась «Рембрандт как воспитатель» — прямая отсылка к названию одного из «Несвоевременных размышлений» Ницше «Шопенгауэр как воспитатель». Преодоление кризиса в Германии, по Лангбену, заключалось в возвращении к исконному христианству, запечатленному на полотнах Рембрандта, где тот изображал чистые, праведные, истинно германские крестьянские души. Тот факт, что Рембрандт был голландцем, Лангбена особо не смущал.

Детально изучив Германию, Лангбен заключил, что проблема ее населения — в чрезмерной образованности. Пора было перестать преклоняться перед профессорами и учеными с их так называемой эрудицией. Только тогда — это так же верно, как то, что ночь сменяет день, — начнется духовное возрождение Германии, движимое праведной по своей сути немецкой душой. Мудрость следует искать в корнях, атмосфере и простоте немецких сердец. Чужеродное влияние (особенно еврейское) должно быть устранено безо всяких раздумий. В 1890 году книга Лангбена в буквальном смысле слова стала сенсацией. Она была переиздана двадцать девять раз в первый же год после публикации. Позже автор добавил еще два обширных раздела, в которых воспевал главные жупелы Ницше — антисемитизм и католицизм. Помимо этого, Лангбен писал стихи, считая себя более выдающимся поэтом, чем Гёте. Он мнил себя «тайным императором», чья целительная сила духовно возродит Германскую империю. Несколько раз Лангбена принимал Бисмарк.

«Исцеление» Ницше, самопровозглашенного Антихриста, могло стать особым предметом гордости Лангбена. Он придерживался точки зрения, что и «атеисты» вроде Шелли, и «антихристиане» вроде Ницше — просто заблудшие овцы, которых нужно вернуть обратно в стадо [9]. Он приготовил на подпись Франциске официальный документ: «Я, нижеподписавшаяся, настоящим документом передаю официальную опеку над моим сыном Фридрихом Ницше... и т. д.». Он планировал увезти Ницше в Дрезден, где можно было потакать его королевским фантазиям. Там бы его окружили эскортом и свитой и обращались как с королем — и как с ребенком. Лангбен считал, что сможет раздобыть солидную сумму для оплаты подходящего особняка и соответствующей обстановки, убранства, королевского облачения и костюмов придворных (роль которых исполнял бы медицинский и обслуживающий персонал), чтобы поддерживать этот спектакль. Франциске с крайней неохотой позволялось остаться на положении сиделки, если она будет неукоснительно соблюдать поставленные Лангбеном условия.

Судя по всему, Бинсвангер был так же ослеплен знаменитым националистом и популистом, как и вся остальная страна. Он разрешил Лангбену ежедневные прогулки с Ницше. Попытки обращения в свою веру и проведения обряда изгнания бесов в конце концов настолько разозлили пациента, что он опрокинул на Лангбена стол и замахнулся на него кулаком. При поддержке Овербека Франциска, собрав всю свою смелость, отказалась подписывать документ о передаче опеки.

После этого происшествия осторожность Лангбена взяла верх над его амбициями. Он отказался от борьбы и вернулся в Дрезден писать порнографические поэмы, за непристойность которых впоследствии был привлечен к суду. Но ставший бестселлером «Рембрандт как воспитатель» оказался одним из краеугольных камней в идеологическом фундаменте Третьего рейха. В личной библиотеке Гитлера был экземпляр этой книги [10].

В феврале 1890 года апатичность и уступчивость Ницше дошли до такого уровня, что ему позволили в лучшие дни проводить по несколько часов с матерью. Она сняла меблированные комнаты в Йене. Каждый день в девять утра Франциска отправлялась в лечебницу. Она была убеждена, что если бы ей позволили заботиться о ее дорогом послушном сыне, то к нему бы вернулся рассудок. На нижнем этаже меблированных комнат располагалась спальня, где поочередно останавливались поддерживавшие Франциску Франц Овербек и Петер Гаст.

Четырех- или пятичасовая ежедневная прогулка всегда была важнейшей частью распорядка дня Ницше. Несомненно, именно она оказала влияние на крепость мышц и скелета, которые обе клиники отметили в медицинском заключении. Франциска никогда не была заправским ходоком, но такую цену она была готова платить. Во время прогулки она брала сына под руку, или же он шел немного позади, изредка останавливаясь, чтобы нарисовать что-нибудь тростью или засунуть в карман ценную находку. Пока Франциска радовалась послушанию Ницше, оба его друга были напуганы этой детской пассивностью. Правда, во время прогулки Ницше обязательно что-нибудь да выкидывал. Мог начать что-то выкрикивать, пытался ударить бродячую собаку или прохожих. Мог броситься пожимать руку людям, которые каким-то неведомым образом его привлекли. Женщин это пугало.

Они часто проходили мимо особняка, принадлежавшего семье Гельцер-Турнейзен. Подойдя к дверям, Франциска предлагала Ницше снять шляпу и войти внутрь. Он стыдливо переминался в дверях гостиной, в то время как она садилась за рояль. Привлеченный музыкой, он медленно приближался, пока наконец не касался рояля. Он начинал играть еще стоя. Мать усаживала его на табурет, после чего он продолжал. Франциска знала, что в это время его, увлеченного музыкой, можно было без опаски оставить в одиночестве. Пока раздавались звуки рояля, ей не нужно было находиться в той же комнате и присматривать за ним.

24 марта 1890 года Франциске позволили забрать сына. Шесть недель они провели в меблированных комнатах, которые Франциска снимала в Йене, а затем Ницше удалось улизнуть. Он выбрался на улицу голышом, судя по всему, решив пойти искупаться, и был задержан полицейским, который вернул его матери. Это происшествие привело Франциску в ужас: она испугалась, что сына снова заберут в лечебницу. Франциска подговорила одного из молодых Гельцеров помочь ей тайком провести Ницше на железнодорожную станцию, откуда они отправились в Наумбург. Альвина, верная служанка, встретила «профессора» с радостью. Так Ницше вернулся в дом своего детства на Вайнгартен, 18.

Двухэтажный домик идеально подходил для присмотра за непредсказуемым пациентом: задний двор был небольшим, с оградой и запирающейся калиткой. Окна нижнего этажа закрывались крепкими жалюзи. Одной стороной дом выходил на виноградник, вторая упиралась в стену церкви Святого Иакова.

Франциска сохраняла оптимизм по поводу целительной силы прогулок. Обычно Ницше спокойно следовал за ней. Заметив, что к ним

приближается прохожий, Франциска брала сына за руку, разворачивала в противоположную сторону и отвлекала открывшимся видом. Когда угроза счастливо миновала, она поворачивала его обратно. Если они встречали знакомого и Франциска останавливалась поговорить, то она требовала от Ницше снять шляпу. Пока она беседовала, он с отрешенным видом стоял со шляпой в руках. Если обращались к нему, он приходил в недоумение. Закончив разговор, Франциска разрешала сыну надеть шляпу, и они отправлялись дальше.

В детстве Ницше гордился своим умением плавать в Заале «как кит». Этот вид отдыха всегда приносил ему огромное удовольствие. Франциска предположила, что память тела может улучшить процесс выздоровления, но после нескольких попыток от плавания пришлось отказаться. Этот процесс слишком возбуждал Ницше: он терял над собой контроль.

В те дни, когда «дорогой мальчик» вел себя более шумно или неуправляемо, чем обычно, она оставляла его дома. Вокруг было не так много соседей, которым могли бы помешать его вопли и крики. Если он кричал слишком громко и становился слишком беспокойным, Франциска просто-напросто клала ему в рот что-нибудь сладкое, вроде мелко нарезанных фруктов. Когда ему удавалось все это прожевать и проглотить, его внимание переключалось и яростные вопли сменялись гораздо менее шумным мычанием. Ел он невероятно много. Франциска утверждала, что не дает ему ни хлорала, ни других успокоительных. Если это правда, то болезнь и правда сдала позиции, а мать обрела полный контроль над своим обожаемым, несдержанным, но послушным мальчиком.

Пустой жилец меблированных комнат

Я ужасно боюсь, чтобы меня не объявили когда-нибудь святым. Я не хочу быть святым, скорее шутом... Может быть, я и есмь шут...

Ессе Ното. Почему являюсь я роком, 1

Элизабет, жившая в Парагвае, получила известие о болезни брата в начале 1889 года, как раз тогда, когда вышла в свет книга Клингбайля, в которой разгневанный колонист называл ее с мужем авантюристами, основавшими потемкинскую деревню [1]. Ей даже в голову не пришло вернуться в Германию. Она была занята борьбой за колонию, посылая опровержение за опровержением в *Bayreuther Blätter*, и сражаться ей приходилось в одиночку.

Сам ее брак превратился в поле боя. Фёрстер был занят добычей денег, мотаясь из одного конца Парагвая в другой, из Сан-Педро в Сан-Бернардино, из Сан-Бернардино в Асунсьон. Пытаясь отсрочить неизбежное банкротство, он влезал в новые долги, чтобы отдать уже имеющиеся, под проценты, от которых волосы вставали дыбом. Пока муж все больше запутывал финансовые дела, возмущенная его некомпетентностью Элизабет оставалась в Новой Германии, используя все свои немалые способности и связи для привлечения новых колонистов. Квоту, согласованную с правительством Парагвая, нужно было выбрать до августа этого года — или свернуть колонию. Получив известие о помешательстве Ницше, Элизабет больше жалела себя, чем его. Да, она пренебрегала своим долгом по отношению к брату. Если бы она осталась в Германии, с ним, бедняжкой, этого бы не случилось.

Однако если говорить без ложной скромности, без Элизабет основание колонии превратилось бы в сомнительную и ненадежную авантюру. Несмотря ни на что, она всегда оставалась примерной женой, тогда как Бернхард думал только о себе, взваливая на нее всю работу и не проявляя ни малейшего сострадания [2].

Обвинения Клингбайля легли на душу Фёрстера тяжким грузом. День за днем, бродя по краю финансовой пропасти, он заливал совесть вином. В конце концов, 3 июня он сдался и покончил жизнь самоубийством в номере отеля в Сан-Бернардино, проглотив смесь морфина со стрихнином.

Когда Элизабет приехала в Сан-Бернардино, в газетах уже появилось сообщение, что ее муж отравился стрихнином. Она собиралась его опровергнуть. Элизабет не имела ни малейшего понятия о предсмертной записке Фёрстера, которую тот отправил Максу Шуберту, директору Колониального общества Хемница: «Пожалуйста, исполните мою последнюю просьбу: не оставляйте стараний, вкладывая свои незаурядные способности, силу и юношеский энтузиазм в служение основанному мной благородному делу. Возможно, без меня оно будет процветать больше, чем со мной» [3].

Когда-то Элизабет удалось создать легенду о смерти отца, который якобы погиб, отважно сражаясь с деревенским пожаром. Вот и сейчас она направила все силы, чтобы убедить местных докторов в том, что ее муж не покончил с собой, а погиб от разрыва сердца в результате ложных обвинений и враждебных происков.

В следующем месяце она писала матери: «Какая жалость, что в это ужасное время меня не было рядом с моим возлюбленным мужем. Компрессы и ночные ванны, которые я обычно делала ему, спасли бы его от сердечного приступа» [4]. Трудно представить, что она сама верила в эффективность подобных мер.

Для болезни брата Элизабет тоже быстро придумала объяснение: тот употреблял некий таинственный и безымянный яванский наркотик, вызвавший апоплексический удар.

«Я помню, как в 1884 году Ницше познакомился с одним голландцем, который посоветовал ему попробовать некий наркотик с Явы и подарил довольно большую бутылку. На вкус вещество было похоже на крепкий алкоголь, странно пахло и как-то необычно называлось, впрочем, я забыла как, потому что мы всегда называли его “яванский наркотик”. Голландец утверждал, что нужно добавить всего лишь несколько капель на стакан воды. <... > Позже,

осенью 1885 года брат признался, что однажды накапал слишком много, после чего внезапно свалился на пол в припадке истерического смеха. В одном из писем к Гасту он упоминал о своих припадках, что тоже могло относиться к приступам искусственного смеха, вызванного наркотиком. Наконец, из его оговорок можно было понять, что моя догадка верна. В самом начале болезни он несколько раз доверительно сообщал матери, что “принял двадцать капель” (не уточняя, чего именно), и поэтому “его мозг сошел с рельсов”. Возможно, из-за своей близорукости брат накапал слишком много, и это привело к ужасным последствиям» [5].

Расплатившись по счетам своего покойного мужа с отелем в Сан-Бернардино бумагами на не принадлежавшую ей землю, Элизабет занялась организацией похорон, которые были бы достойны этого героического воина, возносящегося в Вальхаллу. Отправленное матери письмо напоминает ее ранние письма, где она описывала триумфальный въезд в колонию. «Шестьдесят конников следовали за гробом и отдали прощальный салют над его могилой» [6]. Ложный слух о самоубийстве был распушен еврейскими писаками.

Элизабет осталась в Парагвае, изо всех сил пытаясь добыть деньги, чтобы сохранить контроль над колонией, пока в 1890 году не потерпела окончательное поражение. Колония перешла в собственность колониального общества «Новая Германия в Парагвае». В декабре Элизабет приехала в Наумбург, чтобы добиться поддержки и вернуть колонию под эгиду Германии. Франциска была уверена, что Элизабет вернулась заботиться о брате.

Элизабет прибыла за несколько дней до Рождества. Мать с братом встречали ее на станции. Франциска вела Ницше за руку, как ребенка. Он шествовал чопорно, как прусский солдат на параде, сжимая в руке букет красных роз. Франциске пришлось напомнить ему, что цветы надо отдать Элизабет. Передавая ей цветы, он узнал ее и назвал старым прозвищем Лама. Вечером, когда Ницше уложили в постель, мать и дочь сели поговорить. Звериный вой, доносившийся из комнаты брата, шокировал Элизабет.

Элизабет осталась жить в семейном доме. Она отправляла бесконечные петиции в колониальные общества, писала официальным властям и бранила антисемитские организации за отсутствие поддержки. Подписывалась она теперь не «Эли Фёрстер», а «Фрау доктор Фёрстер». Ей удалось издать свою первую книгу, «Колония Новая Германия доктора Бернхарда Фёрстера в Парагвае» (Dr Bernhard Förster's Kolonie

Neu-Germania in Paraguay) [7]. В ней Элизабет опровергала обвинения Клингбайля и призывала соотечественников поддержать слабую вдову с разбитым сердцем — основать компанию, которая бы выкупила колонию у грязных иностранцев. После публикации книги поздней весной 1891 года настоящие колонисты Новой Германии пришли в полную ярость: Элизабет повторила печально известные и заведомо ложные заявления своего мужа о том, что земля колонии невероятно плодородна и в изобилии снабжается пресной водой.

Пока Элизабет шесть месяцев возилась со своей книгой, возник вопрос, что делать с неопубликованными работами ее брата — теми, что были в спешке дописаны в Турине. В конце марта издатель Науманн напечатал четвертую часть «Заратустры», и теперь та была готова к отправке в книжные магазины.

Один экземпляр прислали Франциске. Она и ее брат Эдмунд Элер, ничем не примечательный клирик, были назначены официальными опекунами Ницше. Однако Франциска ни на что не претендовала, неформально предоставив Гасту и Овербеку право заниматься издательскими делами. Те были убеждены в важности неопубликованных рукописей и побуждали Науманна к их изданию. Однако, получив экземпляр четвертой части «Заратустры», Франциска и Элизабет были шокированы очевидным богохульством. Элизабет запугала мать, что, если книга попадет в магазины, на них могут подать в суд. Франциска и Элер отказались давать согласие на продажу. Науманн был в ярости: весь заграничный авангард, подверженный новым веяниям, активно интересовался работами Ницше.

В 1888 году глубоким девяностолетним стариком скончался кайзер Вильгельм. Семнадцать лет назад в Зеркальной галерее Версаля на его голову возложили корону Германии, к великому ужасу Ницше, тревожившегося за равновесие сил в Европе. Все эти годы кайзер и его «железный канцлер» Бисмарк ковали свой знаменитый сверхконсервативный Второй рейх из индустриализации, капитализма, бессовестной экспансии, протестантизма, цензуры и косности в искусстве. В итоге их усилия породили единую, огромную, воинственную, косную, националистическую, репрессивную, авторитарную мировую силу, как того и боялся Ницше. Страх перед Вторым рейхом не покидал его, несмотря на распадающееся сознание. Последние туринские приступы мании величия Ницше отражали его представления о силе, которой обладали кайзер, Бисмарк и антисемитская партия.

Последней декаде столетия надлежало стать временем оптимизма, эрой инноваций в искусстве, как это было во Франции. Но рассвет правления нового императора, Вильгельма II, не сумел осветить немецкие горизонты. Даже армейские офицеры, которые в 1914 году последовали за Вильгельмом в котел Первой мировой войны, в 1891 году с глазу на глаз говорили о новом кайзере как о «слишком непостоянном, слишком капризном, особенно в мелочах, слишком неосторожном в замечаниях... Сам не знает, чего хочет. Ходят слухи о его помешательстве» [8].

Политическая нестабильность усиливала нервное напряжение, которое всегда проявляется на сломе столетия. Где же искать революционера-иконоборца, вопрошал граф Гарри Кесслер, когда учился в Лейпцигском университете: «В нас пробуждалось тайное мессианство. Пустыня, нужная каждому мессии, была в наших сердцах, и в ней внезапно, словно метеор, появился Ницше» [9]. Именно Кесслеру, в его бытность студентом, старые, разочаровавшиеся вояки поведали о своем отношении к умственным способностям и характеру нового кайзера.

Гарри Кесслер вращался в высших политических и военных кругах Европы. Его семья была богата, мать — ослепительно прекрасна собой. Говорили, что Гарри — сын самого кайзера Вильгельма I. Это было неверное предположение — время рождения Гарри никак не могло ему соответствовать, однако оно тоже работало в его пользу. Даже Бисмарк с кайзером, со своей стороны, относились к нему как к молодому, подающему надежды фавориту. В годы Первой мировой войны Гарри Кесслер станет офицером спецслужбы, потом отправится в Варшаву немецким послом, но всегда останется страстным поклонником искусства, меценатом и попечителем музеев. Он окажется в одной машине с Нижинским в первый вечер постановки «Весны священной» и повторно закроет глаза Ницше, когда выяснится, что тот лежит в гробу с открытыми глазами. Кесслер был абсолютным космополитом. Если бы Ницше еще мог что-то осознавать, он бы наверняка одобрил Кесслера в роли основателя и одного из членов правления своего архива.

В 1891 году двадцатитрехлетний студент Кесслер, элегантный и тонкий, как борзая, эрудит и полиглот, прирожденный аристократ без капли снобизма, учуял в воздухе запах будущего ницшеанства. Следующие сорок лет он продвигал эту философию в театрах, издательских домах, художественных студиях и светских гостиных Европы, пока в 1933 году

ему не пришлось покинуть Германию. Нацисты начали набирать силу, и на страницах исторических книг развернулось совсем другое повествование.

Студенческие годы Гарри Кесслера пришлось на конец 1880-х — начало 1890-х годов, так что его можно отнести к «поколению Раскольникова» — молодежи, на которую оказал огромное влияние роман Достоевского «Преступление и наказание». Кесслер был свидетелем на суде над однокурсником-аристократом, который застрелил свою любовницу простого происхождения и попытался застрелиться сам, но плохо прицелился [10]. Этот акт нигилизма был вдохновлен книгой Достоевского, произведшей неизгладимое впечатление на первое поколение отчаявшихся, которые отказались от христианства. Вспышка подобных убийств, совершаемых студентами, исполненными «великого отвращения» и стремящимися к небытию, получила название «эффекта Раскольникова» в честь отрицательного персонажа книги Достоевского [11].

Кесслер пишет, что в конце этого столетия, когда настроения были исполнены нигилизма, шопенгауэровского пессимизма, нравственного отчаяния и сомнений в ценности чего-либо, за что стоило бы бороться, Ницше оказал влияние на умы, по силе и глубине сравнимое с Байроном, властителем дум предыдущего поколения.

Потерпевшее кораблекрушение души, безнадежно лавирующее между скептицизмом и жадой покоя современное поколение вцепилось в провозглашенную Ницше спасительную идею: смысл состоит не в чем-то иллюзорном, ожидающем после жизни, а в жизни самой по себе. Оно возвеличило Ницше как истинно свободного духом, склонилось перед его одиноким голосом, прославляющим индивидуализм — альтернативу как упадку веры, так и постоянным нападкам науки на антропоморфную ограниченность человеческого «я». По мнению Иоганна Фихте, Ницше создал «неодушевленный предмет домашнего обихода, который при нужде можно было или подобрать, или выкинуть обратно». Если вера умерла, то философия продолжала приносить пользу, давая смысл существования человеку, который принял и перестроил ее.

Сильнее всего на Кесслера повлияла книга «По ту сторону добра и зла», где аргонавт духа плывет неисследованными морями в поисках нового способа познания мира, новых нравственных законов, соответствующих современным обстоятельствам. Бог должен умереть, его место займет сверхчеловек. Сверхчеловек возникает в результате

метафизической борьбы личности, воли к власти, которая существует во всем и в каждом, — через борьбу, которая не обязательно проявляется в сражении с другими, но в сражениях с собственными мелкими эмоциями, вроде зависти и обиды.

Концепция сверхчеловека даже больше, чем идея «воли к власти», сделала «Заратустру» культовым текстом конца столетия. Эта авангардная, новаторская книга предлагала выход из тупика декаданса. Она освящала землю без оглядки на оправдание со стороны ада или небес. Ницше противопоставлял зависимость от церкви, из-за которой европейский христианин деградировал до покорного стадного животного, радостному танцу эллинских богов. Любовь к судьбе (*amor fati*) перекидывала мост через бездну отрицания, через столетия зависти и озлобленности, низводивших человека до уровня недочеловека.

Гарри Кесслер писал: «Мы должны не жалеть собратьев, а стремиться к радости, к ее наибольшему увеличению в мире, — а следовательно, к увеличению жизненной силы... Эта мысль — краеугольный камень философии Ницше» [12]. Через три года после окончания университета Кесслер добавил: «Сегодня в Германии не найдется двадцати- или тридцатилетнего сносно образованного человека, который не был бы обязан Ницше частью своего мировоззрения или хоть немного не находился бы под его влиянием» [13].

Не желая упускать выгоду от возросшего внимания к философии Ницше, Науманн в 1891 году переиздал «По ту сторону добра и зла», «Казус Вагнер» и «К генеалогии морали». Элизабет пригрозила ему судебным разбирательством. Она все еще оставалась в Наумбурге, помогая матери ухаживать за Ницше, и откладывала свое возвращение в Парагвай, пока Науманн не предложил ей хороший куш — 3500 марок за публикацию оставшихся работ. Понимая, что только Петер Гаст способен расшифровать рукописи и превратить их в книги, Элизабет пригласила его на должность редактора и заключила предварительный договор на весьма недорогую редактуру собрания сочинений. После чего в июле 1892 года отчалила в Парагвай по своим делам.

Возвращение Элизабет в колонию, а также возмутительные заявления, которые она сделала в своей книге, настолько разозлили колонистов, что они обратились к Максу Шуберту, директору Колониального общества Хемница (тому самому, которому Фёрстер адресовал предсмертную записку). В письме колонисты холодно уведомляли Шуберта, что пребывание на родине никак не излечило Элизабет от мании величия.

Напротив, она сделалась еще более кичливой и высокомерной, чем прежде.

В Новой Германии сложилась тупиковая ситуация. Элизабет с поваром и слугами поселилась в своем поместье Фёрстерхоф и обменивалась с колонистами колкими письмами через третьих лиц и колонки газет, пока в апреле следующего года ей не удалось продать поместье барону фон Франкенберг-Лютвицу. Таким образом она вернула часть приданого, потерянного в парагвайской аванюре. Убедившись, что деньги в безопасности, Элизабет велела Франциске прислать ей телеграмму, в которой бы говорилось, что ее присутствие срочно необходимо для ухода за больным братом.

Газета Colonial News опубликовала сообщение, которое можно было принять за требование высылки: «Первое, что нужно сделать для улучшения ситуации в Новой Германии, — выдворить отсюда фрау доктор Фёрстер». Правда, к тому времени, как сообщение увидело свет, Элизабет, благодаря телеграмме матери, уже покинула колонию под предлогом сестринского милосердия.

Она возвратилась из Парагвая в Наумбург в сентябре 1893 года, превратившись из фрау доктор Элизабет Фёрстер в Элизабет Фёрстер-Ницше. То был знаменательный год, когда произведения Ницше всколыхнули авангард творческих кругов Парижа и Берлина, отразившись в живописи, театральных постановках, музыке и поэзии. Их порыв поддержали скандинавы: датский литературный критик Георг Брандес разжег искру своими лекциями, познакомив шведского драматурга Августа Стриндберга с произведениями Ницше в 1888 году. В результате Стриндберг еще до конца года написал пьесу «Фрекен Юлия», которая заработала славу самой скандальной в Европе и США, превзойдя более раннее произведение Ибсена «Привидения». Пьеса была разрешена цензурой к постановке только на экспериментальной сцене и в частных театральных клубах.

Если «Привидения» всего лишь выставляли на всеобщее обозрение тему сифилиса, то «Фрекен Юлия», история про аристократку и камердинера ее отца, приводила в гораздо большее возмущение. Эта пьеса не фокусировалась на физических проблемах типа сифилиса, но являла собой ницшеанскую психологическую драму, где с криминалистической беспощадностью разоблачались невидимые стены подчинения и контроля, выстроенные взаимной неприязнью и противоборством воли к власти между сверхчеловеком и недочеловеком, выраженными через дионисийский сексуальный порыв.

В 1892–1893 годах Стриндберг жил в Берлине, распространяя идеи Ницше в шумном космополитическом богемном кружке «Черный поросенок», названном в честь забегаловки, где любили собираться его члены. Одним из членов кружка был норвежский живописец Эдвард Мунк. Стриндберг познакомил его с творчеством Ницше, и это оказало на художника настолько сильный эффект, что тот написал знаменитый «Крик». Эта картина как нельзя лучше отражала дух времени (*zeitgeist*): Мунк запечатлел характерный образ экзистенциального ужаса, вызванного осознанием смерти Бога и последующей ответственности самого человека за смысл и значимость своей жизни. Многочисленные литографии и оттиски этой картины быстро заполнили картинные галереи и магазины Франции и Германии.

Четвертой личностью, значительно способствовавшей распространению славы Ницше, была Лу Саломе. В 1889 году Отто Брам открыл свой экспериментальный театр «Свободная сцена» в Берлине, а спустя год начал выпускать журнал *Die freie Bühne für modernes Leben* («Свободная сцена в современной жизни») [14]. Лу, к тому времени сама ставшая знаменитостью, жила в соседнем доме и писала многочисленные статьи, посвященные Ницше, которые впервые были опубликованы как раз в журнале Брама. Ее статьи подогрели интерес к Ницше, и в 1894 году она опубликовала одно из основных исследований его биографии и библиографии — «Фридрих Ницше в своих произведениях» (*Friedrich Nietzsche in seinen Werken*).

Даже форма, в которую Ницше облакал свои мысли, немедленно оказала значительное влияние на искусство 1890-х годов. Его стиль сформировался под воздействием болезни, однако короткие, афористичные, непоследовательные выплески, которые на первый взгляд казались хаотичными и незаконченными, были восприняты как последнее слово в литературе. Пьесы Стриндберга известны тем, что классические театральные представления о единстве времени, места и действия в них выбрасываются за борт, а хронология непонятна из-за отсутствия логического развития сюжета, но именно поэтому они так потрясают зрителей. На картинах Мунка видны нарочитые брызги и потеки краски, а целые области холста он оставлял пустыми и незакрашенными. Это был живописный аналог мимолетного, но поразительно сильного, пробуждающего размышления афоризма, формой которого Ницше впервые овладел в Сорренто. Используя эту форму, он выстроил мощную и необычайно современную стратегию «философа “может быть”», которая давала ему возможность закончить

афоризм, нить рассуждений или даже целую книгу многоточием, предоставляя читателю самому делать выводы и в то же время признавая, что человек не способен постигнуть абсолютную истину, а стремление к ней — всего лишь иллюзия.

Вернувшись в 1893 году в Наумбург, Элизабет обнаружила, что работы ее брата создали необычайную какофонию мнений во всем мире. В первую очередь она занялась разбором огромного количества принадлежавших Ницше бумаг. Франциска с беззаветной преданностью хранила все письма и записи своего сына. К этому добавился материал, тщательно систематизированный Овербеком и отправленный Франциске из Турина после того, как Ницше был помещен в лечебницу. Любовно собираемый матерью архив разросся до колоссальных размеров и включал в себя бумаги, которые Ницше долгие годы возил с собой: блокноты, отдельные записи, давно забытые черновики произведений, полученные письма, черновики отправленных и неотправленных писем.

Элизабет приказала разобрать стену на первом этаже материнского дома. Значительно расширенную комнату она украсила изображениями животных из «Заратустры»: змеи, льва и орла. Последний верноподданнически напоминал птицу с имперского герба. Элизабет назвала это помещение архивом Ницше и бросила все силы на создание новой легенды, по сравнению с которой провозглашение Фёрстера пророком героической мужественности было лишь жалкой репетицией.

Она написала всем адресатам Ницше, требуя предоставить письма и прочие материалы и утверждая, что право собственности принадлежит архиву. Не пошли на уступки только Козима Вагнер и Франц Овербек. Козима хорошо представляла, на что способна Элизабет. Вряд ли ее взгляд на отношения Козимы и Ницше совпал бы со взглядом последней. Архив Ницше не получил от нее никакой помощи. Элизабет объясняла это женской мелочной мстительностью, а также нежеланием поддержать конкурента — Козима продолжала работать над своим весьма успешным архивом Вагнера в Байрёйте.

Что касается Овербека, то у него не было никаких причин отдавать Элизабет свои письма. Слишком долго Ницше поверял ему тревоги относительно подкрадывавшейся к нему болезни и изливал ненависть и презрение к сестре.

Отказ Овербека усугубил давнюю злобу, которую питала к нему Элизабет. Это чувство зародилось еще в ту пору, когда Франц отказался поддерживать ее нападки на Лу, и только усилилось после того, как он

отговорил Ницше вложиться в Новую Германию. Овербек сделался злейшим врагом. Элизабет не исключала, что он и сам был евреем. Это они с Франциской довели Ницше до теперешнего состояния. Элизабет подчеркивала, что никогда не одобряла их действия в самом начале болезни брата. Ницше надо было отправить в обычную больницу, а не в лечебницу для умалишенных. Дантист, которого Овербек нанял для сопровождения Ницше из Турина в Базель, оказался мошенником и евреем (тот действительно был наполовину евреем). Элизабет списалась с Юлиусом Лангбеном и объединилась с ним против матери. Если бы Овербек и Франциска обеспечили лечение брата «по первому классу», все бы обернулось иначе.

Еще одним человеком, слишком много знавшим о прошлом, был Петер Гаст. Он имел глупость поделиться с Элизабет желанием написать биографию Ницше. Она жестко заявила ему, что, кроме нее, на это никто не способен, и отстранила его от работы над архивом. Место Гаста занял Фриц Кегель [15], филолог и музыкант на четырнадцать лет младше Элизабет, во флирте с которым она как-то провела вечер. Кегель был салонным вертопрахом романтического вида, с дико взлохмаченной шевелюрой. Разобрать почерк Ницше он был не в состоянии, но для Элизабет это не имело значения. Первые несколько лет своего существования архив служил салоном, где Элизабет устраивала приемы, а обязанности главного редактора заключались в том, чтобы говорить ей комплименты, флиртовать с нею, а также развлекать гостей пением и очаровательной игрой на рояле. Над роялем висела фотография Ницше, портрет рыцаря кисти Ван Дейка и гравюра Дюрера «Рыцарь, смерть и дьявол». Атмосферу культурной утонченности, царившую в салоне, время от времени нарушал звериный рев, доносившийся со второго этажа.

Прогрессивный паралич пожирал мозг и тело Ницше, и припадки стали слишком яростными и непредсказуемыми, чтобы Франциска могла продолжать свои терапевтические прогулки на свежем воздухе. Ее сын, так любивший бродить по горам, теперь был заперт в двух комнатах с небольшой закрытой верандой на втором этаже дома. Но даже на веранду его все чаще приходилось выводить, поскольку он был не способен найти дорогу самостоятельно. Ницше мог только метаться, как зверь в клетке. Он взад и вперед мерил шагами веранду, которую густо засадили цветами, чтобы скрыть его существование от внешнего мира. Франциска панически боялась, что ее дорогой безумный сын привлечет внимание властей и те силой разлучат их.

Ницше спал допоздна. После того как его мыли и одевали, он проводил остаток дня в соседней комнате, часами просиживая неподвижно, погрузившись в себя. Иногда он играл с куклами и другими игрушками. Мать читала ему вслух, пока хватало голоса. Ницше не понимал ни слова, но ему нравилось звучание речи. Посетителей он не любил. Он яростно сопротивлялся парикмахеру, приходившему подстричь его быстро растущие бороду и усы, и массажисту, который разминал его атрофирующиеся от бездействия мышцы. Тот и другой появлялись регулярно, но Ницше все равно казалось, что они хотят причинить ему зло.

Пытаясь отвлечь сына и дать мастерам закончить свою работу, Франциска поглаживала его и клала ему в рот что-нибудь вкусненькое. Время от времени она читала ему детские стишки. Подчас он даже припоминал что-то и продолжал за ней.

Во время приступов Ницше становился таким буйным, что Франциска и ее верная экономка Альвина с трудом могли его успокоить, и это начинало их пугать. Однако страх потерять его пересиливал.

Франциска периодически записывала «разговоры своего дорогого больного сына». В 1891 году он все еще помнил фруктовый сад рядом с домом своего детства в Рекене. Мог назвать разные породы плодовых деревьев. Кроме того, он помнил библиотеку в конце коридора и взрыв пороха, который вышиб окна. Вспомнив об этом, он долго смеялся, после чего серьезно заметил: «Ладно, Лизхен, твой ненаглядный купающийся мальчик спасся. Он у меня в кармане штанов». Однако после этого случая нерегулярные записи Франциски иллюстрируют, как с каждым следующим годом тонкая нить памяти изнашивается и рвется. В 1895 году Ницше больше не вспоминает детство, хотя четыре года назад мог назвать разные породы деревьев, растущих в саду. Связное мышление нарушается. Франциска описывает типичный случай, когда на вопрос, хочет ли он есть, Ницше отвечает: «А у меня есть рот? Что я должен есть? Мой рот, говорю, я хочу есть... что это? Ухо. А это что? Нос. А тут что? Руки... нет, не хочу». Иногда из лабиринтов его памяти всплывали даже не воспоминания, но смутная тень представлений о том, кем он когда-то был. Он называл книгой любой предмет, который ему нравился или казался красивым, и все время возвращался к вопросу о собственной глупости. Франциска писала: «Нет, дорогой сын, — отвечала я ему. — Ты не дурак, твои книги заставляют содрогаться мир». — «Нет, я дурак».

К счастью, это был самый большой проблеск осознания утраченного достоинства, на который Ницше оставался способен.

15 октября 1894 года ему исполнилось пятьдесят лет. Науманн перевел на его счет пятнадцать тысяч марок. Книги Ницше наконец широко расходились — но он сам не имел об этом ни малейшего представления.

Старые друзья пришли его поздравить, но он не узнал их. В эти дни он узнавал только мать, сестру и преданную Альвину. Овербек описывал, что Ницше не выглядел ни счастливым, ни несчастным — казалось, он пугающим образом находится где-то не здесь. Пауль Дойссен принес в подарок большой букет. На минуту цветы привлекли внимание Ницше, но потом он о них забыл. Дойссен поздравил Ницше с пятидесятилетием, но для того это прозвучало лишенным всякого смысла. Он оживился только при виде торта.

На следующий год приступы ужасного возбуждения, с рычанием и криками, чередовались с периодами совершенной прострации. Овербек, приехавший с визитом, застал Ницше во втором состоянии. Тот скорчился в углу дивана, как когда-то в Турине. Глаза его были безжизненны. Овербеку показалось, что он видит перед собой смертельно раненное животное, забившееся в угол в ожидании смерти.

Это был последний раз, когда Овербек видел своего друга. Элизабет обвинила Франца в краже части неопубликованных работ. Истинной причиной обвинения послужил отказ отдать письма — Элизабет знала, что в них содержатся весьма нелестные отзывы о ее персоне, которые совсем не совпадают с ее точкой зрения на события. В итоге в 1907–1908 годах эти письма все-таки были опубликованы, но только после того, как Элизабет в судебном порядке добилась, чтобы из них были вымараны спорные эпизоды. Такая цензура не лучшим образом сказалась на ее репутации.

Отношения между матерью и дочерью становились все более напряженными. Контраст между верхним этажом, где Франциска с Альвиной ухаживали за находящимся в ступоре Ницше, и изысканным музыкальным салоном Элизабет выглядел невыносимым.

Элизабет написала десятистраничное письмо, где обвиняла мать в неспособности заботиться о Ницше. Она сама хотела стать опекуницей и перевезти Ницше ближе к его архиву, к его работам, однако семейный доктор отказался поддерживать эти претензии. Франциска, понятное дело, была потрясена. Однако первый том биографии «Жизнь Ницше», который Элизабет выпустила в 1895 году, потряс ее еще больше. Книга привела Франциску в полное недоумение. Она жаловалась, что едва может понять, где там правда. Однако, как это отметил еще Бинсвангер в Йенской клинике, Франциска была малограмотной и у нее не имелось

никакой возможности опровергнуть измышления дочери. Кроме того, Франциска никогда не умела обзаводиться нужными связями, которые можно было привлечь в свою защиту. Ее поддерживал Овербек, но к этому времени он самоустранился из развернувшейся пошлой потасовки, передав письма Ницше, которые жаждала заполучить Элизабет, Базельскому университету. Овербек считал, что будущее всех рассудит.

В декабре 1895 года Элизабет составила контракт, по которому авторские права на рукописи и бумаги Ницше переходили ей одной. За все это, включая авторские отчисления, она предложила матери тридцать тысяч марок. Франциска с неохотой согласилась. Ей не хотелось отдавать дочери всю власть над литературным наследием сына, но этих денег было достаточно, чтобы гарантировать ему безопасное будущее. Сумма была сравнительно небольшой, если учитывать, что только в прошлом году они заработали на продаже книг почти половину. Преклонение перед работами Ницше выросло настолько, что Элизабет не составляло никакого труда на них зарабатывать. Суммой для передачи матери ее снабдили трое богатых поклонников Ницше: его старая подруга Мета фон Залис-Маршлинс, еврейский банкир Роберт фон Мендельсон (когда речь шла о деньгах, Элизабет была готова на время забыть про свой антисемитизм) и граф Гарри Кесслер. Благодаря состоявшейся сделке Элизабет до самой смерти в 1935 году контролировала авторские права, а также доступ к публикациям и редакции всего наследия Ницше, включая написанные или полученные им письма. Она делала что хотела, изменяя произведения своего брата и переписывая историю его жизни, и получала авторские отчисления с любых работ, которые позволяла опубликовать.

В апреле 1897 года отношения «бури и натиска» между матерью и дочерью наконец-то утихли. Франциска умерла в возрасте семидесяти одного года, усталая и несчастная, скорее всего от рака шейки матки. Элизабет обрела полный контроль не только над произведениями брата, но и над ним самим. Первым делом Элизабет решила перевезти и архив, и его самого в более подходящее место. Наумбург казался ей провинциальным болотом. Она решила переехать в Веймар, где Ницше наконец смог бы занять подобающее ему место в пантеоне немецкой культуры.

Гёте, приехавший в Веймар в 1775 году, сделал город немецкой обителью муз. В золотой век великие писатели — Фихте, Гердер, фон Гумбольдт, Шеллинг, Шиллер и Виланд — завершили превращение Веймара в «немецкие Афины». В 1848 году культурную эстафету подхватил Лист,

который положил начало серебряному веку, создав Нововеймарский союз и дирижируя постановками ранних опер Вагнера в Королевском театре. В Веймаре находились архивы Шиллера и Гёте, и Элизабет посчитала, что такое блистательное соседство повысит шансы архива Ницше сравняться с вагнеровским в Байрёйте, за которым (а также за Козимой Вагнер) она уже давно наблюдала с завистью и восхищением. Чтобы продать небольшой домик в Наумбурге и купить большой в Веймаре, понадобились деньги. К счастью, Мета фон Залис-Маршлинс была рада помочь. Чем еще она могла отплатить Ницше за то незабываемое лето, которое они провели вместе в Зильс-Марии? Там, на озере Сильваплана, Мета всего лишь научила его управлять лодкой, тогда как он открыл ей, что и женщина может стать сверхчеловеком.

Мета отыскала недавно выстроенную виллу Зильберблик [16] — довольно уродливое квадратное кирпичное сооружение на южной окраине Веймара. Здание было меньше Ванфрида, но, поскольку в нем не требовалось размещать концертный зал, его размеры сочли достаточными. Главным достоинством виллы был открывающийся с нее «серебряный вид». Она располагалась в верхней части плавно поднимающейся Гумбольдтштрассе, открывая взору лучший вид на город и начинающийся за ним один из прекраснейших в Европе великих неоклассицистских ландшафтов, созданный Гёте после возвращения из Италии. Гёте, как и Ницше, любил окружающую Рим сельскую местность, а также ее изображения на полотнах Клода Лоррена. Вернувшись домой, Гёте затеял превращение холмов веймарской равнины в миниатюрную копию Аркадии. Лужайки превратились в Елисейские поля. Извилистые берега Ильма украсились башнями и гротами. Вид из окна виллы Зильберблик простирался по меньшей мере на десять миль, открывая сулящий отдохновение чудесный ландшафт, который вдохновил Ницше, снедаемого любовью к Лу, написать «Ночную песнь».

Двухэтажная веранда виллы Зильберблик станет тем местом, где Ницше проведет три последующих года до самой своей смерти. Если бы его глаза были способны что-то заметить (что сомнительно), он мог бы, глядя на пейзаж, раскинувшийся на тюрингской равнине и теряющийся в сумерках вздымающихся волн Эттерсбергского леса, вспомнить ту самую прогулку с Лу на Монте-Сакро и поля под Римом.

Это место показалось Мете самым подходящим для ее дорогого друга. Она выкупила виллу и прилежащие земли за тридцать девять тысяч франков. Элизабет немедленно начала довольно затратное строительство, даже не поставив Мету в известность (избавилась от ванной

здесь, от балкона там), при этом счета приходили последней. Мета пришла в ярость, что ее вынудили платить за ненужные косметические перестройки. Но помешательство Элизабет на славе зашло еще дальше. Мете попала на глаза статья, где описывалось, как Ницше продемонстрировали сначала во время сна, потом бодрствующим, затем скорчившимся в кресле и поедавшим пирожное. Это переполнило чашу терпения. Она прервала всякое общение с Элизабет [17].

В июле 1897 года, после завершения перестройки виллы, Элизабет организовала тайный ночной переезд, получивший, впрочем, широкую огласку. Ницше в кресле-коляске доставили на поезд, идущий из Наумбурга в Веймар. В Веймаре к их прибытию был специально открыт частный вход, который обычно открывали только для великого герцога Саксен-Веймарского. С момента своего приезда в Веймар Элизабет больше никогда не перемещалась пешком — только в экипаже, с кучером и лакеем на запятках [18]. Одним из первых посетителей архива был граф Гарри Кесслер. Он приехал в августе и был очень удивлен тем, что его встретил ливрейный лакей, щеголяющий блестящими пуговицами, на каждой из которых была выбита пятизвездочная дворянская корона [19].

Кесслер приехал обсудить издание «Так говорил Заратустра». В прошлом году вышла премьера одноименного музыкального произведения Рихарда Штрауса, вызвав сенсацию. Кесслер хотел выпустить элитное издание для библиофилов. Кроме того, он хотел ускорить публикацию поздних стихотворений, а также книги «Ессе Ното», которая до сих пор не была опубликована. Элизабет оставила без внимания эту просьбу. Помимо того что она выкинула из книги все неслестные для себя пассажи, она предпочитала дозированно выдавать фрагменты творчества брата в своих биографических статьях о нем. Ей нравилась роль необходимого посредника, единственного обладателя знания важных фактов из биографии Ницше. Это давало ей сильное оружие, позволяющее заткнуть рот любому, у кого возникнут вопросы (над ней витала тень дела Клингбайля) насчет достоверности архива. Она цеплялась за «Ессе Ното» еще одиннадцать лет, не позволяя его опубликовать. И даже после этого она дала Кесслеру разрешение только на публикацию роскошного лимитированного издания с оформлением ван де Вельде, напечатанного чернью с золотом, которое стало известно под названием «издания директора банка». Это издание принесло ей 29 500 марок.

Во время первого визита Гарри Кесслера на виллу Зильберблик Элизабет больше интересовало приготовление к достойным похоро-

нам Ницше, который в тот момент, обретаясь на верхнем этаже, был довольно далек от смерти. Элизабет решила, что брат должен быть похоронен на территории виллы, как Вагнер в Ванфриде, но городские власти воспротивились ее решению. Гарри Кесслер считал, что для этой цели лучше подойдет полуостров Шасте в Зильс-Марии, но Элизабет встретила это заявление без энтузиазма. Тем не менее она предложила ему стать редактором архива. Двадцатидевятилетний Кесслер не принял это предложение, несмотря на все попытки Элизабет, которой недавно исполнился пятьдесят один год, его очаровать.

Элизабет была свойственна страсть к флирту с молодыми людьми вдвое младше ее. Первый редактор архива, Фриц Кегель, получил отставку после того, как влюбился в ровесницу и посмел обручиться с ней. Следующим редактором был назначен Рудольф Штайнер. Позже он попал под влияние теософской религиозной секты мадам Блаватской, а затем основал свою собственную, весьма путаную «спиритическую науку» антропософию, руководствуясь видениями, которые мерещились ему в юности. Штайнер должен был не только разбирать труды Ницше, но и объяснять Элизабет основы его философии. И чудаковатый мистик не смог обучить упрямую ослицу. В конце концов Штайнер сдался со словами, что Элизабет не способна ни сделать, что ей говорят, ни разобраться в философии брата. Возможно, то и другое было правдой.

В связи с отказом Кесслера архиву требовался новый редактор. Из Зильс-Марии недавно прибыла лавина бумаг. В последний раз, когда Ницше уезжал оттуда, он оставил в своей комнате в доме Дуришей многочисленные записки и заметки. Ницше сказал хозяину дома, что этот мусор можно сжечь. обстоятельный Дуриш сложил все в шкаф и был готов вот-вот закинуть в камин, но тут появились паломники, желавшие прогуляться по горам Заратустры и коснуться его камня. Они умоляли о какой угодно святой реликвии — хоть о листке с рассуждениями о распятом Христе и разорванном Дионисе, хоть о записке «Я забыл зонтик» [20]. Когда это стало известно Элизабет, она потребовала, чтобы все было выслано в Веймар и присоединено к растущему как снежный ком литературному наследию — *Nachlass*.

В конце концов Элизабет пришлось смирить гордыню и принять обратно Петера Гаста. Он действительно был единственным человеком, способным разобрать почерк позднего Ницше, а для честолюбивых стремлений Элизабет было очень важно превратить хаотический *Nachlass* в книгу собственного сочинения и опубликовать под именем Ницше. Она планировала назвать книгу «Воля к власти» и выдать за фунда-

ментальный труд, итоговую переоценку всех более ранних ценностей. Элизабет не сомневалась, что из обрывков *Nachlass* ей удастся собрать книгу, о которой Ницше периодически упоминал в свои последние здравые годы, — что хотел бы ее написать, что уже пишет или что, наоборот, после окончания «Антихристианина» это уже не актуально.

Ницше никогда не был богат. У него была привычка бедного, бережливого человека писать в одном и том же блокноте, пока он не оказывался заполнен. До того как из-за болезни его почерк изменился к худшему, датировку записей понять было невозможно. Иногда он начинал писать от первой страницы к последней, иногда наоборот. Абзацы и даже целые страницы были перечеркнуты и снова написаны поверх. Глубокомысленные изречения соседствовали со списками покупок.

Пока Гаст работал над *Nachlass*, вилла Зильберблик стала местом паломничества, где книги, фотографии и рукописи Ницше соседствовали с кружевными вуалями в рамках, парагвайскими артефактами и бюстом первопроходца доктора Фёрстера, благородного героя арийской антисемитской колонизации. По субботам Элизабет устраивала салоны, в остальные дни принимала гостей. Посетители с волнением сознавали, что где-то наверху («отделенное от нас только балками перекрытий», как отмечал кто-то) находилось божество Ницше-Заратустра. Особым счастливицам разрешалось издали взглянуть на фигуру, облаченную в неизменную долгополую хламиду с длинными рукавами, сшитую из белого льна, наподобие одеяния святых.

Завороженные посетители с легкостью обожествляли Ницше, и в печати начали появляться благоговейные описания. Чаще всего описывали его глаза. Взгляд великого короля разума был таинственным образом устремлен в бездну человеческих сердец и поднимался выше ледяных пиков, прозревая нечто не доступное никому из простых смертных. Несчастные, полуслепые глаза Ницше сравнивали с двойными звездами, небесными телами и даже галактиками. «Те, кто видел его тогда, в белом складчатом халате, возлежавшего со взором брахмана широко и глубоко посаженных глаз под кустистыми бровями, с благородством загадочного, вопрошающего лица и по-львиному величавой посадкой головы мыслителя, — испытали чувство, что этот человек не может умереть, но что взор его будет вечно прикован к человечеству и всему видимому миру в этой непостижимой торжественности»¹, — писал Рудольф Штайнер [21]. Архитектор Фриц Шумахер, которому Элизабет

¹ Пер. А. В. Милосердовой.

заказала памятник Ницше, писал: «Никто из видевших его не поверил бы, что смотрит на тело, которое покинул разум. Каждый думал, что смотрит на человека, поднявшегося над ничтожностью обыденного» [22].

Элизабет любила демонстрировать брата после того, как гости вставали из-за стола. Чаще всего его силуэт проступал за прозрачной занавеской, словно дух на спиритическом сеансе [23]. Немногие обладали ясностью взгляда Гарри Кесслера, который, скорее всего, видел Ницше чаще прочих, так как оставался ночевать на вилле каждый раз, когда приезжал по делам к Элизабет. Лежа в кровати, он смотрел в потолок; раздавались «долгие, стенающие жуткие звуки, которые он из всей силы выкрикивал в ночь; наконец все стихало» [24].

Кесслер видел в Ницше не больного, не пророка, не лунатика, а скорее пустую оболочку, ходячий труп. Его руки, покрытые сеткой зеленых и фиолетовых вен, выглядели сморщенными и восковыми, как у мертвеца. Усам позволялось расти аж до самого подбородка, чтобы скрыть выражение рассеянного идиотизма, которое придавал ему безвольный полуоткрытый рот. В отличие от поклонников Кесслер ничего не видел в глазах Ницше. Ничего безумного, ничего пугающего, ничего духовного. «Я бы сказал, что его взгляд был покорным и в то же время ничего не понимающим. Он словно метался в бесплодном умственном поиске, как у большого благородного пса» [25].

Летом 1898 года Ницше пережил первый инсульт. Второй случился через год. В августе 1900 года, после перенесенной простуды, он стал с трудом дышать. Свидетель, пожелавший остаться неизвестным (возможно, опасаясь мести Элизабет), подробно описывал его смерть. Больше всего это было похоже на свидетельство сиделки, много лет ухаживавшей за пациентом.

Свидетель писал, что после переезда в Веймар Ницше больше не был способен читать, понимать речь и ясно отвечать, хотя несчастного продолжали терзать расспросами. Журналисты редко встречались с Ницше лицом к лицу. Элизабет была посредником в любых контактах, она же рецензировала все статьи, тогда как Ницше лежал на боку, обездвиженный, в своей «гробовой постели» (как ее называл свидетель), беспомощный, окруженный мебелью, которая не давала ему сбежать.

Физические функции исполнялись им с трудом, не в последнюю очередь потому, что он пытался засунуть в рот каждый блестящий предмет, который попадался ему на глаза. В остальном он был легким и послушным пациентом. Несмотря на безнадежность своего положения, он редко испытывал боль.

Гарри Кесслер подтверждал это описание. Но Элизабет рассказывала совершенно другую историю. До последних дней Ницше с удовольствием слушал своего любимого автора — по-видимому, Ги де Мопассана. По словам Элизабет, брат до самого конца сохранял способность разговаривать. «Часто он благодарил меня за то, что я для него сделала. Часто утешал, когда я была грустна. Его благодарность была очень трогательной. “Зачем ты плачешь, Лизбет? — говорил он. — Ведь мы вполне счастливы”» [26].

Существуют два различных описания смерти Ницше. Анонимный свидетель, у которого совершенно точно был опыт дежурства у смертного одра, писал: «Его (Ницше) предсмертные судороги были сильными, но недолгими». Также он отмечал впечатляющее сложение Ницше, «который выглядел внушительно даже в гробу». Возможно, если бы в его теле еще оставалась воля, он бы дольше боролся со смертью [27].

Элизабет вспоминала его смерть совершенно иначе. Однажды, когда она сидела рядом, за окном разразилась жуткая гроза. Лицо Ницше внезапно изменилось, и он упал, сраженный ударом (Элизабет любила удары). «Это выглядело так, будто его великий мозг был поражен молнией и громом, но он к вечеру оправился и попытался заговорить... Примерно в два часа ночи я принесла ему укрепляющее, и он отодвинул заслонку лампы, чтобы увидеть меня. Открыв свои чудесные глаза, он посмотрел на меня в последний раз и радостно воскликнул: “Элизабет!” Затем его голова опустилась, он закрыл глаза и умер... Так Заратустра ушел от нас» [28].

Ницше умер 25 августа 1900 года.

Элизабет вызвала Гарри Кесслера. Тот немедленно оставил Всемирную выставку в Париже, где благодаря новому чуду электричества светилась Эйфелева башня, приветствуя пришествие нового столетия. Он поспешил в Веймар, где в зале архива, среди множества цветов и растений в кадках, покоился в своем гробу Ницше.

Обычно посмертную маску снимали скульпторы. Элизабет обратилась к Макс Клингеру и Эрнсту Гейгеру, но оба были слишком заняты, так что Гарри Кесслеру пришлось заняться этим делом самому. Он справился при участии юного подмастерья, которого прислали помочь с украшением похорон. Голова Ницше склонилась набок, так что им пришлось приподнять ее, чтобы слепок был ровный. Завершив работу, они вздохнули с облегчением. Элизабет заказала копии с по-

смертной маски и раздаивала их как *memento mori*. Однако спустя недолгое время она решила, что посмертная маска не производит нужного впечатления. Была сделана вторая, улучшенная версия, которую дарили особо избранным. На ней лоб Ницше увеличился до размеров сократовского, а волосы пожилого философа стали напоминать кудри молодого Аполлона.

Ницше всегда утверждал, что хочет быть похоронен как честный язычник. Из музыки он признавал только посвященный им Лу «Гимн к жизни». Никаких христианских ритуалов. И тем более никаких священников.

Однако в зале архива отслужили долгую католическую мессу под музыку Брамса и Палестрины. Немецкий искусствовед Курт Брейзиг с педантичностью Полония произнес длинную речь. Поговаривали, что если бы сам Ницше это слышал, то выкинул бы в окно сначала Брейзига, а следом всех остальных [29].

На следующий день процессия переместилась в Рекен, где гроб, украшенный сияющим серебряным крестом, был предан земле среди семейных могил, в которых покоились мать и отец Ницше, а также умерший в младенчестве брат Йозеф. Позже, как и в случае с посмертной маской, Элизабет пришла в голову другая идея. Она перезахоронила гроб в конце ряда, а не в середине. Когда придет время, она сама желала провести вечность в центре.

После смерти Ницше Элизабет унаследовала тридцать шесть тысяч марок. Архив обрел официальный статус, с Гарри Кесслером в роли одного из членов правления. Став директором Веймарского великокняжеского музея декоративно-прикладного искусства, он открыл новую культурную эру Веймара, ключевой фигурой которой должен был выступать Ницше, — как Гёте в золотой век. Очередная попытка воплотить мечту, которую когда-то разделяли Ницше и Вагнер: создание новой, целостной немецкой культурной идентичности (*Gesamtkunstwerk*), единого направления в искусстве. На должность директора Художественного училища в Веймаре Кесслер пригласил Анри ван де Вельде. Кроме того, тому было поручено создать новый интерьер виллы Зильберблик, ныне известной как архив Ницше. Бельгиец ван де Вельде был горячим приверженцем новейшего стиля, который в Германии назывался югенд-стилем, а во Франции — ар-нуво. До приглашения Кесслера в Веймар ван де Вельде работал над интерьером «Особняка в стиле модерн», принадлежащего знаменитому парижскому галеристу Самюэлю Зигфриду Бингу, который вывел этот стиль на рынок.

Югендстиль, делавший упор на природу и ручную работу, идеально сочетался с ницшеанской идеей торжества антилогичных, иррациональных сил природы над механизированным миром. Кайзер говорил, что волнообразные изгибы интерьеров ван де Вельде вызывают у него морскую болезнь, но Элизабет была рада превратить архив в широко посещаемый образчик модного стиля. *N*, первая буква фамилии Ницше, выполненная в живых линиях югендстиля, украшала все, начиная с деревянных панелей и заканчивая дверными ручками.

Средоточием *Gesamtkunstwerk* должны были стать произведения Ницше. Кесслер поручил ван де Вельде разработать новый, ясный шрифт, который освободил бы парящие слова философа от архаичной тяжести традиционного немецкого готического письма.

Пока ван де Вельде занимался оформлением, Кесслер начал думать об иллюстрациях. Он был хорошо знаком с легендарными парижскими галеристами Амбруазом Волларом и Полем Дюран-Рюэлем. Веймарская галерея Кесслера стала аванпостом парижского авангарда. Здесь выставлялись импрессионисты, постимпрессионисты и экспрессионисты. Кесслер был лично знаком со многими художниками, включая Моне, Ренуара, Дега, Боннара, Редона и Вьюара. Кроме того, он знал скульптора Майоля, которому хотел заказать гигантскую обнаженную статую, олицетворяющую сверхчеловека. Эта статуя должна была стать частью еще более огромного монумента Ницше, чье открытие было запланировано на 1911 год. Состав комиссии, которую предполагалось создать для постройки монумента, демонстрировал постоянно расширяющийся интерес общественности к Ницше в начале XX века. В нее, наряду с Майолем, входили Джордж Бернард Шоу, Джордж Мур, Уильям Батлер Йейтс, Гилберт Марри, Уильям Ротенштейн, Харли Гренвилл-Баркер, Эрик Гилл, Огюст Роден, Морис Дени, Анатоль Франс, Анри Бергсон, Шарль Моррас и Морис Баррес. Планы пришлось оставить в связи с началом Первой мировой войны.

В 1906 году в Веймар вызвали Эдварда Мунка, чтобы он нарисовал посмертный «портретный образ» Ницше. Мнение Мунка о значимости предмета изображения часто отражал размер холста. Портрет Ницше — одно из самых больших его произведений. Так же как и фигура в «Крике», Ницше стоит рядом с перилами, уходящими по диагонали холста в бесконечность [30]. Однако в «Крике» перила идут из правого нижнего угла вверх налево, тогда как на портрете Ницше движение направлено по другой диагонали, — интересное представление о том, насколько по-разному Мунк видел мысленный путь каждой фигуры.

Белая церковь, стоящая внизу, выглядит крошечной по сравнению с гигантской фигурой Ницше. И Ницше, и Мунку семья прочила карьеру священника, но оба избрали совершенно противоположный путь.

Элизабет не особо поладила с Мунком. Тем не менее она хотела, чтобы он написал и ее портрет. Выбрав холст с весьма странными пропорциями, Мунк запечатлел Элизабет в беспорядочно клубящемся платье с оборками, которое занимает большую часть изображения, и придал ее лицу безжалостное выражение палача [31].

Воцарившись на вершине собственного зеленого холма, Элизабет наконец почувствовала, что сравнялась в статусе с Козимой Вагнер. Козима умерла в 1930 году. Элизабет прожила еще пять лет. К этому моменту она заведовала наследством Ницше вдвое дольше чем те шестнадцать лет, которые прошли с момента публикации первой книги «Рождение трагедии» до создания последней, «Ессе Номо». Все эти годы Элизабет, как паук, сидела в центре архива Ницше, вплетая слова брата в свою собственную паутину, раздувая свою репутацию и выдавая брата за тайного проповедника ее убеждений.

Элизабет никогда не понимала «идеетрясения», лежавшего в основе философии ее брата. Ей была недоступна мысль об отрицании любой системы или философии, которые низводили мир к чему-то одному. Принципиально новая идея противостояния всему несомненному, в соответствии с которой Ницше говорил о себе как о философе «может быть», была за пределами ее понимания. Она игнорировала его представление о себе как о шутнике, о философе, который скорее назовется шутком, чем святым. Она пренебрегала идеей о том, что правда не имеет однозначного определения, и наиболее плодотворно исследовать ее с различных перспектив. Она отмахивалась от того, что не существует единого смысла, захватившего все в свои сети, подобно пауку, — есть всего лишь случайности на танцевальной площадке жизни, но это не делает жизнь более бессмысленной. Обретя полный контроль над его работами, она даже не понимала цели его умственных исканий: как обрести значение и смысл в неопределенной вселенной, где не существует ни идеального, ни божественного.

В 1901 году, всего спустя год после смерти Ницше, Элизабет опубликовала «Волю к власти» в томе XV собрания сочинений. Труд состоял из 483 афоризмов, выбранных из *Nachlass*, черновиков и записок, которые Ницше никогда не планировал даже показывать кому-то, а уж тем более публиковать. Как можно понять из его переписки с Гастом и издателями, он всегда был невероятно скрупулезен в отношении того,

что следует выпустить в свет. То, что Элизабет опубликовала в «Воле к власти», никоим образом нельзя было считать его окончательным мировоззрением. К переизданию в 1906 году книга увеличилась втрое: 483 афоризма раздулись до 1067. Элизабет после смерти брата упивалась возможностью абсолютного контроля над редактурой.

Важной частью легенды о Ницше был его внешний вид, и Элизабет заказывала массивные скульптуры, помпезные картины и фотографии с эффектно поставленным светом. Ницше даже как-то изобразили в виде Христа, в терновом венце. Эффективно распоряжаясь литературным наследием, Элизабет выпускала книги, статьи и избранные отрывки произведений своего брата. Пользуясь тем, что никто не может оспорить ее версию событий, она написала второй том его вымышленной биографии «Одинокий Ницше», основанный на весьма сомнительной переписке между ним и Вагнером, а также книгу «Ницше и женщины», в которой выплеснула всю свою злобу на Лу. Расширенная версия «Воли к власти» была номинирована на Нобелевскую премию. В дальнейшем Элизабет выдвигали на Нобелевскую премию еще трижды, за ее книги о брате [32]. Йенский университет присудил ей звание почетного доктора, после чего подпись Элизабет наконец обрела окончательный вид: «Фрау д-р фил. Н. С. Элизабет Фёрстер-Ницше».

В годы перед Первой мировой войной, пока Гарри Кесслер еще в какой-то степени сохранял власть, интерес к архиву был культурным и международным. Он больше привлекал критиков, писателей и художников, чем философов. Известными последователями Ницше были Гуго фон Гофмансталь, Штефан Георге, Рихард Демель, Рихард Штраус, Томас Манн, Генрих Манн, Мартин Бубер, Карл Густав Юнг, Герман Гессе, Пауль Хейзе, Райнер Мария Рильке, Макс Брод, Альберт Швейцер, Андре Жид, танцоры Вацлав Нижинский и Айседора Дункан и авиаконструктор граф Цеппелин. Среди остальных в первых рядах находились Джордж Бернард Шоу, Уильям Батлер Йейтс, Герберт Джордж Уэллс, Джеймс Джойс, Уиндем Льюис и Герберт Рид и Т. С. Элиот. Г. Л. Менкен, скорее всего, был одним из наиболее ранних американских последователей, потом к нему присоединились Теодор Драйзер, Юджин О'Нил, Эзра Паунд и Джек Лондон. Во Франции это были Ипполит Тэн, Жан Бурдо, Поль Валери, Альфред Жарри и Евгений де Роберти. В Италии идеями Ницше увлекались Габриэле д'Аннунцио и Бенито Муссолини.

Ницше часто говорил, что боится иметь учеников, так что подобные новости его бы потрясли. А политический курс на продвижение его

идей и вовсе поверг бы его в шок. Надвигающаяся Первая мировая война породила воинствующую форму ницшеанства, где воля к власти использовалась как моральное оправдание насилия и жестокости, сверхчеловек представлялся величайшим завоевателем, а белокурая бестия символизировала расовое превосходство. Статьи в газетах за авторством Элизабет пропагандировали именно это искаженное толкование, с энтузиазмом выставляя Ницше горячим сторонником войны.

Было выпущено сто пятьдесят тысяч экземпляров «Заратустры» — специальное карманное издание, которое должно было отправиться на линию фронта Первой мировой немецким солдатам — вместе с «Фаустом» Гёте и Новым Заветом. Сложно представить, для чего они могли там понадобиться, — настолько же сложно, как вообразить, как бы на это отреагировал Ницше, всю жизнь протестовавший против пангерманского милитаризма. «Было бы здорово, если бы мы смогли разубедить себя в необходимости войн, — писал он в одном из своих поздних блокнотов. — Можно найти куда лучшее применение тем двенадцати миллиардам, что Европа готова тратить на поддержание вооруженного мира, и другие способы почтения к физиологии, чем заполнение армейских госпиталей... Выставлять отборный урожай юности, силы и энергии перед пушками — это безумие» [33].

Первой крупной фигурой в политике, которая поняла, как философию Ницше можно подогнать к своим собственным идеям национализма и насилия, стал Муссолини. Он был из того поколения, которое нашло в Ницше свою надежду, — еще в молодости, до того, как начал обретать власть [34]. В 1931 году, когда архив заполонили нацисты, а Муссолини стал фашистским диктатором в Италии и наладил теплые отношения с Гитлером, он послал Элизабет телеграмму, поздравляя ее с 85-летием. Элизабет обожала Муссолини и приложила усилия, чтобы убедить Веймарский национальный театр поставить пьесу под названием «Майское поле» (Campo di Maggio), соавтором которой он был [35]. На премьере, состоявшейся в феврале 1932 года, появился Гитлер в сопровождении штурмовиков и преподнес Элизабет большой букет красных роз. Год спустя они встретились снова — на постановке «Тристана» в честь пятидесятилетия со дня смерти Вагнера. К этому времени Гитлер уже стал канцлером Германии. «Выпьем с энтузиазмом за то, что во главе правительства стала такая прекрасная, воистину феноменальная личность, как наш великий канцлер Адольф Гитлер, — изливала по этому поводу свои чувства Элизабет. — Один народ, один рейх, один фюрер» [36].

Долгий путь архива Ницше в стан нацистов начался в межвоенный период Веймарской республики (1918–1933 годы), когда Германия бурлила негодованием из-за унижительного поражения в Первой мировой войне, переживая ужасающую Великую депрессию, страдая от гиперинфляции и шестимиллионной безработицы. В эти же годы начался рост коммунистических и национал-социалистических экстремистских политических течений.

В годы Веймарской республики архив оказался в центре политики, поскольку Элизабет активно привечала национал-социалистов, чей агрессивный национализм и антисемитизм был ей близок. Руководителем архива стал Макс Элер. Элер был кадровым офицером, который вернулся с Первой мировой войны, тяжело переживая поражение Германии, и вступил в Национал-социалистическую партию. Позицию руководителя архива он занимал до самого падения Гитлера.

Стараниями Элизабет и Элера архив заполнили национал-социалисты, которые были готовы переписать идеологию своей партии от имени Ницше. Вилла Зильберблик превратилась в гнездо ядовитых тарантулов, появление которых Ницше предвидел. Предостерегая от этого, он писал в «Так говорил Заратустра»:

«Друзья мои, я не хочу, чтобы меня смешивали или ставили наравне с ними. Есть такие, что проповедуют мое учение о жизни — и в то же время они... тарантулы. “По-нашему, справедливость будет именно в том, чтобы мир был полон грозами нашего мщения” — так говорят они между собою... На вдохновенных похожи они; но не сердце вдохновляет их — а месть. И если они становятся утонченными и холодными, это не ум, а зависть делает их утонченными и холодными. Их зависть приводит их даже на путь мыслителей; и в том отличительная черта их зависти... В каждой жалобе их звучит мщение, в каждой похвале их есть желание причинить страдание; и быть судьями кажется им блаженством. Но я советую вам, друзья мои: не доверяйте никому, в ком сильно стремление наказывать! Это — народ плохого сорта и происхождения; на их лицах виден палач и ищейка» [37].

Тарантулы, все как один занимавшие высокие посты, были назначены редакторами или членами комитета архива. Среди них был Карл Август Эмге, профессор философии права в Йенском университете, будущий нацистский министр Тюрингского правительства, чья подпись стояла под декларацией трех сотен университетских профессоров, поддержавших Гитлера в марте 1933 года. Другим редактором был философ

Освальд Шпенглер, искаживший идеи Ницше пагубным взглядом сквозь призму социал-дарвинизма: теория Дарвина об эволюционном отборе и выживании наиболее приспособленных выродилась в утверждение о превосходстве немецкой расы, оправдание евгеники и, наконец, «окончательное решение еврейского вопроса». Понятия «сверхчеловек» и «мораль господ» стали для Шпенглера настоящими подарками. Гарри Кесслер закипал от ярости при мысли, что такая посредственность стала членом архива, равно как и от бесконечно извергаемого Шпенглером потока пошлостей и трюизмов.

Альфред Боймлер, профессор философии Дрезденского и Берлинского университетов, занимался подготовкой к новому изданию текстов Ницше, включая очередную редакцию «Воли к власти», которая выглядела так, будто текст был написан самим философом. Боймлер возглавлял отдел точных и гуманитарных наук в департаменте идеологического надзора за образованием под началом Альфреда Розенберга [38], который издавал школьные учебники, содержавшие теории о расовой чистоте и чистоте крови. Существует мнение, что имя Ницше оказалось запятнанным связью с Гитлером в наибольшей степени стараниями Боймлера [39].

Именно Боймлер осуществлял надзор за печально известным сожжением книг в Берлине. За несколько дней до этого философ Мартин Хайдеггер вступил в нацистскую партию на публичной церемонии, где было полным-полно свастика. С трибуны он поддержал нацификацию университетов и призвал продолжать книгосожжение по всей стране [40]. Хайдеггер, как и Боймлер, стал редактором архива. Они вместе пришли к мнению, что ранее опубликованные работы Ницше можно не принимать во внимание, потому что его настоящая философия якобы содержится только в *Nachlass* — литературном наследии, которое Элизабет уже успела переделать по своему усмотрению. Возвышение *Nachlass* до статуса Священного Писания стало сигналом к тому, чтобы философы и редакторы архива начали вырезать и вставлять отдельные фрагменты в поддержку собственных идей.

Гарри Кесслер в смятении наблюдал за ними: «В архиве любой, начиная со швейцара и до руководителя, — нацист. От этого хочется рыдать... через открытую дверь можно разглядеть диван, на котором я последний раз видел Ницше сидящим, словно недужный орел... Таинственная, непостижимая Германия» [41].

Кесслер был вынужден отправиться в изгнание, покинув свою любимую Германию и своего любимого философа, чей жизнеутверждаю-

щий дионисийский танец жизни был превращен новыми правителями Германии в пляску смерти.

Гитлер увиделся с Элизабет еще раз — он нанес визит в архив 2 ноября 1933 года. Уже будучи канцлером Германии, он прибыл с полным эскортом, сжимая в руках свой неизменный хлыст. Он пробыл в архиве полтора часа. Вышел он без хлыста. Вместо него он сжимал в руках прогулочную трость Ницше, преподнесенную Элизабет [42]. Кроме того, она подарила ему копию антиеврейской петиции 1880 года, которую Бернхард Фёрстер подавал Бисмарку. Гитлер отправил в Парагвай посылку с родной немецкой землей, которую следовало развеять над могилой Фёрстера.

Гитлеру нравилось мнить себя вождем-философом. Он любил упоминать в разговоре великие имена. Однако сложно найти доказательства того, что он действительно изучал философию Ницше. Широко распространено мнение, что он этого не делал.

Среди уцелевших книг, которые составляли его библиотеку во время заключения в 1924 году, когда он написал «Майн кампф», не обнаружено каких-либо работ Ницше [43]. Возможно, те не сохранились, хотя и были в библиотеке, но даже позднее собрание книг Гитлера не содержало ни одного экземпляра, по которому было бы заметно, что его неоднократно читали. Печально известный фильм 1934 года о Нюрнбергском съезде НСДАП был назван демонстративно по-ницшеански «Триумфом воли», но, когда режиссер Лени Рифеншталь спросила Гитлера, нравится ли ему читать Ницше, тот ответил: «Нет, я его как-то не очень... Это не мой путь» [44].

Сложные идеи Ницше казались Гитлеру бесполезными, но простые лозунги и понятия вроде сверхчеловека, «воли к власти», «морали господ», «белокурой бестии» и «по ту сторону добра и зла» можно было использовать по своему усмотрению. Пианист Гитлера Эрнст Ганфштенгль, который как минимум однажды сопровождал его в архив, беспощадно, но метко описывал своего фюрера как бармена, который брал все, что годилось для смешивания отравленного коктейля геноцида [45]. Ницше был далеко не единственным философом, с которым обошлись подобным образом. Гитлер выдирает цитаты в поддержку антисемитизма, национализма и превосходства немецкой расы из Канта и других философов. Как отмечал Ганфштенгль, «как Робеспьер нашинковал гильотиной учение Жан-Жака Руссо, так и Гитлер с гестапо применили схожий трюк политического упрощения к противоречивым теориям Ницше» [46].

Но даже в то время, когда архив был полон пропагандистов и словоблудов, узурпировавших слова и смысл работ Ницше, и среди нацистов встречались те, кто понимал всю абсурдность продвижения партией его идей. Эрнст Крик, выдающийся идеолог партии, саркастически отмечал, что из Ницше вполне мог бы получиться ведущий идеолог национал-социализма, если бы тот был социалистом, националистом или хотя бы сторонником расовой чистоты [47].

В 1934 году Гитлер прибыл с визитом на виллу Зильберблик вместе с Альбертом Шпеером, главным архитектором и создателем помпезной архитектуры Третьего рейха. К радости Элизабет, Шпееру был поручен проект мемориала Ницше. Муссолини тоже внес свой вклад, прислав гигантскую греческую статую Диониса.

Элизабет скоро должно было исполниться 90 лет. Большую часть времени она проводила в постели, слушая, как ей читают «Майн кампф». За девять дней до смерти она написала про Гитлера: «Если бы кто-то знал этого великого, поразительного человека так же хорошо, как я, он бы не смог не полюбить его» [48].

Смерть была милосердной к Элизабет. Она заболела гриппом и умерла спустя несколько дней, 8 ноября 1935 года, мирно и безболезненно. Она умерла так же, как жила, без тревоги и сомнений в самой себе. Ей всегда удавалось убедить себя в том, что ее представления соответствуют реальности, и она умерла в счастливой уверенности, что брат любил ее больше всех. Кроме того, она искренне считала, что прославила его в веках. Это она, а не Ницше, создала архив. Это ее, а не брата выдвинули на Нобелевскую премию. Это ей, а не брату присудили почетную степень старейшего Йенского университета. Это она руководила широчайшими продажами книг. Это она, а не брат, была удостоена дружбы наиболее высокопоставленного человека страны — самого канцлера Германии.

Гитлер сидел в первом ряду в зале архива, где для прощания было выставлено тело Элизабет. Он возложил огромный помпезный венок и торжественно выслушал непомерные панегирики, восхвалявшие Элизабет как одну из жриц Вечной Германии — второй была Козима Вагнер. Элизабет бы очень польстило такое сравнение. Гитлер не так часто позволял фотографировать себя в грусти, но по этому поводу разрешил.

«Я напуган, — писал Ницше, — мыслью о том, что абсолютно непригодные люди и ничего не понимающие профаны однажды станут ссылаться на мой авторитет. Это мука для любого великого учителя

в истории человечества, — знать, что под влиянием обстоятельств он может стать как благословением, так и бедствием» [49].

У Ницше никогда не было желания стать во главе политического течения. Ирония ситуации с присвоением нацистами его идей заключалась в том, что в человеке Ницше интересовало сугубо индивидуальное, а не стадное, независимо от того, политика или религия пыталась пасти это стадо.

Ницше называл человека «больным животным», поскольку у него все есть, но он все равно исполнен ненасытной жажды метафизического, которую никак не может утолить. Многие современники Ницше для удовлетворения этой жажды обратились к науке и дарвинизму, но, как отмечал сам Ницше, смысл науки не в религии, а эволюция далека от морали. «Хорошо» и «плохо» для эволюции соответствуют всего лишь «полезному» и «менее полезному», что никак не соотносится с моралью и этикой. Утверждение Ницше «Бог мертв» говорит о том, что замалчивалось в век, не желающий признавать очевидное. Законы, существующие на протяжении последних двух тысяч лет цивилизации, без веры в божественное не имеют никакого морального авторитета.

Что случится, когда человек откажется от морального кодекса, на котором была выстроена вся его цивилизация? Что значит быть человеком, не прикованным к центральной метафизической цели? Может ли образоваться смысловой вакуум? Если да, то что может его заполнить? Если будущей жизни нет, окончательный смысл остается лишь здесь и сейчас. Давая власть жизни без религии, человек должен сам взять на себя ответственность за свои поступки. И все равно Ницше видел, как его современники продолжают лениво существовать в подобии компромисса, отказываясь изучать собственную безликость, не решаясь ударить молотом по идолам, чтобы понять, правдив ли их звук.

Этот вопрос по-прежнему остается актуальным. Та часть «может быть» Ницше, которая до сих пор привлекает нас, заключается в отказе предоставлять нам ответ. Наше предназначение состоит в том, чтобы искать смысл и ответы на вопросы, если они вообще существуют, самим. В этом настоящее достоинство сверхчеловека.

Мы должны отказаться и от веры в науку, и от религиозной веры, но все равно сохранить нравственные ценности. Во-первых, человек должен стать самим собой. Во-вторых, *amor fati*, человек должен принять то, что приносит жизнь, избегая тупиковых путей разочарования и ненависти к себе. Только после этого человек сможет превозмочь себя и реализоваться как сверхчеловек, то есть примириться с самим собой,

обрести радость в своей земной цели и веселиться во всем великолепии существования, согласившись с конечностью своего бытия.

К несчастью для Ницше, необходимость превозмочь самого себя столь беззастенчиво превратилась в противоположное по смыслу желание самоутверждаться за счет других, что полностью скрыла за собой его чудесно-провокационный стиль задавать вечные вопросы. Так же как и его стремление исследовать каждую грань правды, никогда не давая ответа на вопрос за пределами «может быть», предоставило бесконечные возможности для толкования.

Оказавшись на вилле Зильберблик в наши дни, можно заметить, что разросшиеся деревья скрывают великолепный вид, давший вилле свое название. Но если выйти в поле, начинающееся за садом, то можно насладиться пейзажем, который когда-то открывался с балкона Ницше. Окинув взглядом очаровательный гетевский ландшафт эпохи Просвещения, во всем совершенстве классицизма, можно испытать изумление перед человеческой способностью использовать самые простые материалы — землю, камень, воду и растения, — чтобы создать символический образ безупречной природы согласно своим возвышенным идеалам. Перед глазами на десять восхитительных миль простирается невероятный пейзаж, пока наконец прелестные ручейки и лужайки в белых горошинках овец не исчезают в чернильном прибое Эттерсбергского леса. Там, за деревьями на горизонте, вздымается новый ориентир: высокая, почерневшая от дыма печь концлагеря Бухенвальд.

Так же как ужасная печь омрачает пейзаж, призванный символизировать наивысшие культурные ценности, так и пророческие слова Ницше оказались скрыты за постигшим их бесчеловечным толкованием.

«Я знаю свой жребий, — писал он в “Ессе Номо”. — Когда-нибудь с моим именем будет связываться воспоминание о чем-то чудовищном — о кризисе, какого никогда не было на земле, о самой глубокой коллизии совести, о решении, предпринятом против всего, во что до сих пор верили, чего требовали, что считали священным. Я не человек, я динамит» [50].

Знание истории заставляет сердце замереть от этого пророчества. Но только в нашем воображении, омраченном длинной тенью прошлого, это звучит криком человека, желающего выпустить в мир зло. Скорее это триумфальный призыв первопроходца, пробившего туннель сквозь тяжкое равнодушие своего века к смерти бога и открывшего путь от важным аргонавтам духа к достижению новых миров.

Благодарности

За те четыре года, что писалась эта книга, мне помогали многие. Я благодарна тем, с кем встречалась, и тем, с кем не встретилась. Я благодарю специалистов по Ницше — живых и мертвых — за то, что они прояснили и перевели тексты, в некоторых случаях сумев прорваться через чью-то творческую редактуру и вернуться к оригиналу Ницше, отделить в его наследии истинное от ложного.

Спасибо моим издателям в Великобритании и США — Митци Ангель и Тиму Дуггану; Найджелу Уорбертону, который проявил невероятное великодушие и умело философствовал молотом.

В Швейцарии и Германии мне помогали Эрдманн фон Виламовиц-Меллендорф из Библиотеки герцогини Анны-Амалии в Веймаре, Таня Фелинг из Klassik-stiftung.de, профессор Петер Андре Блок и доктор Петер Фильвок из Ницше-хауса, Зильс-Мария, а также Катя Фляйшер из музея Рихарда Вагнера в Трибшене.

В Великобритании я хотела бы поблагодарить Фелисити Брайан, Мишель Топхэм и всю команду Felicity Bryan Associates. В издательстве Faber мне хотелось бы отдельно упомянуть Лору Хассан, Джона Гриндрода и Софи Портас. Спасибо Элинон Рис за издательскую подготовку рукописи и Рэйчел Торн за получение всех разрешений. Спасибо Луизе Даффетт (родственнице Гарри Кесслера) и классическому факультету школы Годольфин в Лондоне. Спасибо Роджеру Ломаксу за консультацию по вопросам курсов валют XIX века и Лоре Сандерсон за замечательный рассказ об афоризмах. Я благодарна команде агентства Andrew Nurnberg и, как обычно, всеведущему персоналу Лондонской библиотеки.

В США, помимо Тима Дуггана, я хочу поблагодарить Джорджа Лукаса, Уильяма Вольфслау и Хиллари Макклеллен за проверку информации. Отдельная благодарность Гиллиан Мэлпасс, Кристоферу Синклеру-Стивенсону и покойному Тому Розенталю — все они ободряли и поддерживали меня с самого начала; Энтони Бивору, Артемис Купер, Люси Хьюз-Хэллетт и Саре Бейквелл — за полезные разговоры; моей семье — за такт, критику, исследования и терпеливое отношение к призраку, болтавшемуся у них по дому.

Афоризмы

Люди узнают себя в афоризмах Ницше вот уже более сотни лет. Ниже я привожу те, которые, с моей точки зрения, особенно значимы для современного читателя. Часто они противоречат друг другу, напоминая нам о любви Ницше к провокациям и о том, что он называл себя философом «может быть». Их лаконичность в сочетании со способностью обозначать все, что пожелает увидеть в них читатель (примерно как поэзия Боба Дилана), привела к тому, что многие из них укоренились в массовой культуре. Поскольку его идеи вошли в культурный оборот во множестве переводов, для каждого изречения указывается источник, но выбор текста проведен эклектически — из наиболее популярных вариантов перевода.

БЕЗДНА

Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, — канат над пропастью.

*Так говорил Заратустра.
Предисловие Заратустры, 4*

Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя.

*По ту сторону добра и зла.
Афоризмы и интермедии, 146*

БОГ

Бог мертв: но такова природа людей, что еще тысячелетиями, возможно, будут существовать пещеры, в которых показывают его тень. — И мы — мы должны победить еще и его тень!

Веселая наука. Книга III, 108

Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц! Самое святое и могущественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами — кто смает с нас эту кровь? Какой водой можем мы очиститься? Какие искупительные празднества, какие священные игры нужно будет придумать? Разве величие этого дела не слишком велико для нас? Не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться достойными его?

Веселая наука. Книга III, 125

Разве человек только промах Бога? Или Бог только промах человека?

Сумерки идолов. Изречения и стрелы, 7

БРАК

Некоторые мужчины вздыхали о похищении своих жен, большинство же — о том, что никто не хотел их похитить у них.

Человеческое, слишком человеческое. Женщина и дитя, 388

ВЛАСТЬ

Мы постепенно пресыщаемся старым, надежно сподручным и жадно тянемся к новому.

Веселая наука. Книга I, 14

Власть человека над мнениями такова же, как и власть его над рыбами, если у него есть рыбный пруд. Надо пойти и наловить рыб, если посчастливится, и тогда добудешь своих рыб, свои мнения. Я говорю о живых мнениях и живых рыбах. Иные довольствуются тем, что имеют кабинет ископаемых и что в голове их склад мертвых «убеждений».

Странник и его тень, 317

ВОЙНА

Кто живет борьбою с врагом, тот заинтересован в том, чтобы враг сохранил жизнь.

Человеческое, слишком человеческое. Человек наедине с собой, 531

Воды религии отливают и оставляют за собой болото или топи; народы снова разделяются, враждуют между собой и хотят растерзать друг друга.

Несвоевременные размышления. Шопенгауэр как воспитатель, 4

ГОСУДАРСТВО

[Государство] хочет, чтобы люди идолопоклонствовали перед ним так же, как они это делали прежде в отношении церкви.

Несвоевременные размышления. Шопенгауэр как воспитатель, 4

Но государство лжет на всех языках о добре и зле: и что оно говорит, оно лжет — и что есть у него, оно украло.

Так говорил Заратустра. Часть I. О новом кумире

Государством называется самое холодное из всех холодных чудовищ. Холодно лжет оно; и эта ложь ползет из уст его: «Я, государство, есмь народ».

Так говорил Заратустра. Часть I. О новом кумире

ЖЕНЩИНЫ

Бог создал женщину. И действительно, со скукой было покончено, — но с другим еще нет! Женщина была *вторым* промахом Бога¹.

Антихристианин, 48

Двух вещей хочет настоящий мужчина: опасности и игры. Поэтому хочет он женщины как самой опасной игрушки.

Так говорил Заратустра. Часть I. О старых и молодых бабенках

¹ Здесь и далее «Антихристианин» цит. в пер. В. А. Флеровой.

Женщины знают это, самые лакомые; немного тучнее, немного худее — о, как часто судьба содержится в столь немногом!

*Так говорил Заратустра.
Часть III. О духе тяжести, 2*

Ты идешь к женщинам? Не забудь плетку!

*Так говорил Заратустра. Часть I.
О старых и молодых бабенках*

ЖИЗНЬ

Ты должен стать тем, кто ты есть.

Веселая наука. Книга III, 270

В человеке важно то, что он мост, а не цель.

Так говорил Заратустра. Предисловие Заратустры, 4

Никто не может построить тебе мост, по которому именно ты можешь перейти через жизненный поток, — никто, кроме тебя самого.

*Несвоевременные размышления.
Шопенгауэр как воспитатель, 1*

Сама жизнь есть воля к власти.

*По ту сторону добра и зла.
О предрассудках философов, 13*

Опасно жить! Стройте свои города у Везувия!

Веселая наука. Книга IV, 283

Я говорю вам: нужно носить в себе еще хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду.

*Так говорил Заратустра.
Предисловие Заратустры, 5*

Мы же хотим быть поэтами нашей жизни, и прежде всего в самом мелком и обыденном!

Веселая наука. Книга IV, 299

Что не убивает меня, то делает меня сильнее.

*Сумерки идолов.
Изречения и стрелы, 8*

Если имеешь свое *почему?* жизни, то миришься почти со всяким *как?*.

*Сумерки идолов.
Изречения и стрелы, 12*

Человек стремится *не* к счастью; только англичанин делает это.

*Сумерки идолов.
Изречения и стрелы, 12*

В отношении жизни нужно допустить некоторое дерзновение и риск, тем более что в худшем, как и в лучшем случае мы все равно ее потеряем.

*Несвоевременные размышления.
Шопенгауэр как воспитатель, 1*

Как может человек знать себя? Он есть существо темное и сокровенное; и если у зайца есть семь кож, то человек может семижды семьдесят раз сдирать самого себя, и все же не сможет сказать: «вот это — подлинно ты, это уже не оболочка».

*Несвоевременные размышления.
Шопенгауэр как воспитатель, 1*

Ни один победитель не верит в случайность.

*Веселая наука.
Книга III, 258*

Преимущество плохой памяти состоит в том, что одними и теми же хорошими вещами можно несколько раз наслаждаться *впервые*.

*Человеческое, слишком человеческое.
Человек наедине с собой, 580*

Добродетель больше не имеет никакого отношения к вере; ее привлекательность испарилась. Нужно придумать, как подать ее по-другому — например, в необычной форме приключений и крайностей.

Блокнот 9, осень 1887, 155

ИСКУССТВО

Мое убеждение и взгляд на искусство как на высшую задачу и собственно метафизическую деятельность в этой жизни...

Рождение трагедии из духа музыки.

Предисловие к Рихарду Вагнеру

МАТЕМАТИКА

Открытие законов чисел было сделано на почве первоначально уже господствовавшего заблуждения, что существует множество одинаковых вещей (тогда как в действительности нет ничего одинакового).

Человеческое, слишком человеческое.

О первых и последних вещах, 19

Так же обстоит дело с *математикой*, которая, наверно, не возникла бы, если бы с самого начала знали, что в природе нет точной прямой линии, нет действительного круга и нет абсолютного мерил величины.

Человеческое, слишком человеческое.

О первых и последних вещах, 11

МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ МИР

Если бы существование такого [метафизического] мира было доказано совершенно точно, то все же было бы несомненно, что самое безразличное из всех познаний есть именно его познание; еще более безразличное, чем моряку среди опасностей бури — познание химического анализа воды.

Человеческое, слишком человеческое.

О первых и последних вещах, 9

МУЗЫКА

Без музыки жизнь была бы заблуждением. Немец представляет себе даже Бога распеваящим песни.

Сумерки идолов. Изречения и стрелы, 33

Человек ли вообще Вагнер? Не болезнь ли он скорее? Он делает больным всё, к чему прикасается, *он сделал больною музыку.*

Казус Вагнер, 5

Если хочешь освободиться от невыносимого гнета, нужен гашиш. Ну что ж, мне был нужен Вагнер. Вагнер есть противоядие против всего немецкого *par excellence* — яда...

Ессе Ното.

Почему я так умен, 6

НАЦИОНАЛИЗМ

«Deutschland, Deutschland über Alles», я боюсь, что это было концом немецкой философии...

Сумерки идолов.

Чего недостает немцам, 1

Даже если я плохой немец, я во всяком случае хороший европеец.

Письмо матери, август 1886

ПИСАТЕЛИ

Забавное зрелище — смотреть на тех писателей, которые присборенными платьями периода напускают вокруг себя шуршание: таким путем они пытаются спрятать свои *ноги*.

Веселая наука. Книга IV, 282

Только люди с очень большими легкими имеют право писать длинными периодами.

Правила писательства для Лу Саломе

Поэт торжественно везет свои мысли на колеснице ритма — обыкновенно потому, что они не идут на своих ногах.

Человеческое, слишком человеческое.

О внутреннем мире художников и писателей, 189

И если говорят, что леса все редеют, то не может ли когда-нибудь настать пора обращаться с библиотеками как с дровами, соломой и хворостом? Ведь большинство книг родилось из головного дыма и пара; так пусть же они снова обратятся в дым и пар! И если в них не было огня, то пусть их огонь накажет за это!

Несвоевременные размышления.

Шопенгауэр как воспитатель, 4

Афоризм, сентенция, в которых я первый из немцев являюсь мастером, суть формы «вечности»; мое честолюбие заключается в том, чтобы сказать в десяти предложениях то, что всякий другой говорит в целой книге, — чего всякий другой не скажет в целой книге...

Сумерки идолов. Набеги Несвоевременного, 51

ПОЛИТИКА

Моральность есть стадный инстинкт в отдельном человеке.

Веселая наука. Книга III, 116

Каждый, кто хоть однажды воздвигал «новое небо», обретал надлежащие полномочия в собственном аду...

К генеалогии морали. Рассмотрение 3, 10

Кто много мыслит, тот непригоден в качестве члена партии: своей мыслью он легко пробивает границы партии.

Человеческое, слишком человеческое.

Человек наедине с собой, 579

Никто не говорит более страстно о своем праве, чем тот, кто в глубине души сомневается в нем.

Человеческое, слишком человеческое.

Человек наедине с собой, 597

ПОСТПРАВДА

Убеждения суть более опасные враги истины, чем ложь.

Человеческое, слишком человеческое.

Человек наедине с собой, 483

Коррумпированные люди остроумны и злоречивы, они знают, что есть еще другие способы убийства, чем кинжал и нападение, — они знают также, что во все *хорошо сказанное* верят.

Веселая наука. Книга I, 23

Наиковарнейший способ причинить вред какой-либо вещи — это намеренно защищать ее ложными доводами.

Веселая наука. Книга I, 191

ПРАВДА

Нет вовсе моральных феноменов, есть только моральное истолкование феноменов...

По ту сторону добра и зла. Афоризмы и интермедии, 108

Тот факт, что нечто происходит постоянно и предсказуемо, не означает, что это происходит обязательно.

Блокнот 9, осень 1887, 91

Неразумие какого-либо дела не есть аргумент против его существования, а есть, наоборот, условие последнего.

Человеческое, слишком человеческое. Человек наедине с собой, 515

Фактов не существует — есть лишь их истолкования.

Блокноты, лето 1886 — осень 1887, 91

ПУТЕШЕСТВИЯ

Философия, как я ее до сих пор понимал и переживал, есть добровольное пребывание среди льдов и горных высот.

Ессе Ното. Предисловие, 3

Даже прекраснейший ландшафт, среди которого мы проживаем три месяца, не уверен больше в нашей любви к нему, и какой-нибудь отдаленный берег дразнит уже нашу алчность.

Веселая наука. Книга I, 14

Не доверять ни одной мысли, которая не родилась на воздухе и в свободном движении...

*Ессе Ното.
Почему я так умен, 1*

РАБЫ ЗАРПЛАТЫ

Переработка, пытливость и сострадание — наши современные грехи.

Блокнот 9, осень 1887, 141

Несчастье деятельных состоит в том, что их деятельность почти всегда немного неразумна. Нельзя, например, спрашивать банкира, накапливающего деньги, о цели его неутомимой деятельности: она неразумна. Деятельные катятся, подобно камню, в силу глупости механики.

*Человеческое, слишком человеческое.
Признаки высшей и низшей культуры, 283*

Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот — раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.

*Человеческое, слишком человеческое.
Признаки высшей и низшей культуры, 283*

РЕАЛИТИ-ШОУ

Никакого празднества без жестокости — так учит древнейшая, продолжительнейшая история человека, — и даже в наказании так много праздничного!

*К генеалогии морали.
Рассмотрение второе, 6*

Видеть страдания — приятно, причинять страдания — еще приятнее.

*К генеалогии морали.
Рассмотрение второе, 6*

РОМАНТИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ

Отличие, которое свойственно несчастью (как если бы было признаком тупости, нетребовательности, привычки — чувствовать себя счастливым), так велико, что, когда кто-либо говорит нам: «как вы счастливы!» — мы обыкновенно протестуем.

Человеческое, слишком человеческое».

Человек наедине с собой, 534

Из всех средств утешения ни одно не действует так благотворно, как утверждение, что для данного случая нет утешения. В этом заключаются такие выгоды для печалющихся, что они снова поднимают голову.

Утренняя заря.

Книга четвертая, 310

СЕКС

Сладострастие: жало и кол для всех носящих власяницу и презрителей тела и «мир», проклятый всеми потусторонниками: ибо оно вышучивает и дурачит всех наставников плутней и блудней.

Сладострастие: для отребья медленный огонь, на котором сгорает оно...

Сладострастие: для свободных сердец нечто невинное и свободное...

Сладострастие: однако я хочу изгородить свои мысли и даже свои слова — чтобы не вторглись в сады мои свиньи и гуляки!

Так говорил Заратустра.

Часть III. О трояком зле, 2

СКУКА

Против скуки даже и боги борются тщетно.

Антихристианин, 48

Разве жизнь не слишком коротка, чтобы скучать!

По ту сторону добра и зла.

Наши добродетели, 227

Все людские порядки устроены так, чтобы постоянно рассеивать мысли и не ощущать жизни...

*Несвоевременные размышления.
Шопенгауэр как воспитатель, 4*

Все полны этой спешки, ибо каждый бежит от себя самого.

*Несвоевременные размышления.
Шопенгауэр как воспитатель, 5*

СЛАВА

Дорого искупается — быть бессмертным: за это умираешь не раз живьем.

Ессе Ното. Так говорил Заратустра, 5

Я не человек, я динамит.

Ессе Ното. Почему являюсь я роком, 1

УСЫ

Самый кроткий и самый справедливый человек, если только у него длинные усы, будет сочтен, на первый взгляд, обладателем длинного уса, т. е. за военного человека, имеющего бурный характер, а иногда способного и на насилие. Сообразно с этим взглядом и начинают относиться к нему.

Утренняя заря. Книга четвертая, 311

ФИЛОСОФИЯ

Чтобы жить в одиночестве, надо быть животным или богом, говорит Аристотель. Не хватает третьего случая: надо быть и тем и другим — *философом*.

Сумерки идолов. Изречения и стрелы, 3

Платон скучен.

Сумерки идолов. Чем я обязан древним, 2

Не было бы вовсе никакой платоновской философии, если бы в Афинах не было таких прекрасных юношей: их вид только и погружает душу философа в эротическое опьянение...

Сумерки идолов. Набег на Невоевременного, 23

Мистические объяснения считаются глубокими; истина в том, что они даже и не поверхностны.

Веселая наука. Книга III, 126

Находить все вещи глубокими — это неудобное свойство: оно вынуждает постоянно напрягать глаза и в конце концов всегда находит больше, чем того желали.

Веселая наука. Книга III, 158

Философия открывает человеку убежище, куда не может проникнуть никакая тирания, пещеру внутренней жизни, лабиринт сердца; и это досадно тиранам.

Несвоевременные размышления. Шопенгауэр как воспитатель, 3

Мысли суть тени наших ощущений — всегда более темные, более пустые, более простые, чем последние.

Веселая наука. Книга III, 179

... Сократическое уравнение: разум = добродетели = счастью — это причудливейшее из всех существующих уравнений, которому в особенностях противоречат все инстинкты более древних эллинов.

Сумерки идолов. Проблема Сократа, 4

ФИЛОСОФИЯ/УЧЕНИЕ

Плохо оплачивает тот учителю, кто навсегда остается только учеником.

Ессе Ното. Предисловие, 4

Самое верное средство погубить молодежь — это заставить ее ценить выше того, кто одинаково думает, чем того, кто думает иначе.

Утренняя заря. Книга IV, 229

ФОРМУЛА ВЕЛИЧИЯ

Моя формула для величия человека есть *amor fati*: не хотеть ничего другого ни впереди, ни позади, ни во веки вечные. Не только переносить необходимость, но и не скрывать ее — всякий идеализм есть ложь перед необходимостью, — *любить* ее...

Ессе Ното. Почему я так умен, 10

ФОТОГРАФИЯ

Фотографическая казнь посредством одноглазого циклопа... Каждый раз я пытаюсь уберечься от этого несчастья, но неизбежное всегда случается — и вот я навеки запечатлен, словно пират, известный тенор или какой-то боярин...

*Письмо Мальвиде фон Мейзенбург,
20 декабря 1872 года*

ХРИСТИАНСТВО

Христианство — романтическая ипохондрия для тех, кто нетвердо стоит на ногах.

Блокнот 10, осень 1887, 127

«Царство Небесное» есть состояние сердца, а не что-либо, что «выше земли» или приходит «после смерти».

Антихристианин, 34

Уже слово «христианство» есть недоразумение, — в сущности, был только один христианин, и он умер на кресте.

Антихристианин, 39

ЧУДОВИЩА

К величию прилагается дурной нрав; пусть никто не думает иначе.

Блокнот 9, осень 1887, 94

Хронология

- 1844 Фридрих Вильгельм Ницше родился 15 октября в Рекене, Саксония. Первый ребенок священника Карла Людвига Ницше и Франциски, урожденной Элер.
- 1846 Сестра, Элизабет Ницше, родилась 10 июля.
- 1848 Брат, Людвиг Йозеф Ницше, родился 27 февраля.
- 1849 Смерть Карла Людвига Ницше 30 июля от «размягчения мозга».
- 1850 Смерть Людвига Йозефа 4 января. Семья переезжает в Наумбург. Ницше идет в общественную начальную школу.
- 1851 Ницше посещает частный институт профессора Вебера.
- 1854 Ницше поступает в школу при Наумбургском соборе.
- 1858 Франциска, Фридрих и Элизабет переезжают в дом 18 на улице Вайнгартен в Наумбурге. Осенью Ницше начинает обучение в школе Пфорта.
- 1860 Основывает «Германию» — литературный и музыкальный клуб — вместе с друзьями Густавом Кругом и Вильгельмом Пиндером. Зарождается дружба на всю жизнь с Эрвином Роде.
- 1864 В сентябре заканчивает школу Пфорта. В октябре поступает в Боннский университет, где изучает теологию и классическую филологию. Вступает в братство «Франкония».
- 1865 Уезжает из Бонна в Лейпцигский университет. Бросает теологию. Изучает классическую филологию под руководством профессора Фридриха Ричля. Открывает для себя Шопенгауэра. Посещает бордель в Кельне.
- 1867 Военная служба. Начинает обучение во Втором кавалерийском батальоне Четвертого полка полевой армии.

- 1868 Получает травму во время езды верхом. Очарован увертюрами к «Тристану и Изольде» и «Нюрнбергским мейстерзингерам» Рихарда Вагнера. Все больше разочаровывается в филологии. В ноябре встречается с Вагнером.
- 1869 Назначен экстраординарным профессором классической филологии Базельского университета. Отказывается от прусского гражданства. Посещает Вагнера и его любовницу Козиму фон Бюлов на их вилле Трибшен под Люцерном. Первое восхождение на гору Пилатус. Делает заметки для «Рождения трагедии из духа музыки». Присутствует в Трибшене, когда Козима рождает сына Вагнера — Зигфрида. Проводит в Трибшене Рождество.
- 1870 Получает звание профессора. Публичные лекции — «Древняя музыкальная драма», «Сократ и трагедия», «Царь Эдип». В июле объявляется война между Германией и Францией. Поступает санитаром в немецкую армию. Ухаживая за ранеными, заражается дифтерией и дизентерией и сам попадает в больницу. Возвращается в Базель. Начинается дружба с Францем Овербеком — профессором теологии и критиком протестантизма. Вагнер вступает в брак с Козимой.
- 1871 Безуспешно пытается занять кафедру философии в Базельском университете. Пишет «Рождение трагедии из духа музыки». Конец Франко-прусской войны. Объявление Второго рейха. Вильгельм I становится императором.
- 1872 В одном экипаже с Вагнером приезжает на закладку первого камня Фестивального театра в Байрёйте. Опубликовано «Рождение трагедии». Оно подвергается резкой критике со стороны Ульриха фон Виламовиц-Мёллендорфа и горячо защищается Эрвином Роде. На его зимние лекции по греческой и латинской риторике не записывается ни один студент-классик. Рихард и Козима Вагнер уезжают из Трибшена в Байрёйт.
- 1873 Начинает писать «Философию в трагический век Греции», но оставляет книгу неоконченной. Знакомится с Паулем Рэ. В августе опубликовано первое из «Несвоевременных размышлений» — «Давид Штраус в роли исповедника и писателя». Пишет оскорбительное «Увещание немцам» для сбора средств на Байрёйт. Оно отвергнуто.
- 1874 Публикует два «Несвоевременных размышления» — «О пользе и вреде истории для жизни» и «Шопенгауэр как воспитатель».

- Вагнер заканчивает «Кольцо нибелунга» и приглашает Ницше провести лето в Байрёйте. Ницше лечится в Шварцвальде.
- 1875 Начинает писать четвертое «Несвоевременное размышление» — «Рихард Вагнер в Байрёйте». Несмотря на очень слабое здоровье, продолжает преподавать. Элизабет приезжает в Базель ему на помощь. Знакомится с Генрихом Кезелицем (позднее известным как Петер Гаст), ставшим ему опорой на всю жизнь. Всю зиму сильно болеет.
- 1876 Публикует «Рихарда Вагнера в Байрёйте» к открытию первого Байрёйтского фестиваля. Флиртует с Луизой Отт. Внезапно уезжает из Байрёйта. Начинает работу над «Человеческим, слишком человеческим». Делает предложение Матильде Трампедах, она отказывает. В октябре из-за болезни уезжает из Базеля. Едет в Геную, где впервые в жизни видит море; затем в Сорренто с Мальвидой фон Мейзенбург и Паулем Рэ. Читает Вольтера и Монтеня. Последняя встреча с Вагнером.
- 1877 В Сорренто до начала мая. Посещает Капри, Помпеи и Геркуланум. Проходит медицинский осмотр у доктора Отто Айзера. Зрение очень плохое. Осенью продолжает преподавание, сильно завися от Петера Гаста как секретаря и Элизабет как экономки.
- 1878 Публикует «Человеческое, слишком человеческое» и посылает Вагнеру. Вагнер в ответ посылает либретто «Парсифаля». Оба недовольны работой друг друга. Вагнер выступает против Ницше в *Bayreuther Blätter*. Элизабет возвращается в Наумбург. Близкая дружба с Францем Овербеком и его женой.
- 1879 Издает «Смешанные мнения и изречения» в дополнение к «Человеческому, слишком человеческому». В мае, сославшись на плохое здоровье, увольняется из Базельского университета. Получает пенсию в 3000 швейцарских франков на шесть лет (впоследствии срок увеличен). Пишет книгу «Странник и его тень». В течение года приступы мигрени мучают его 118 дней. Собирается стать огородником и жить в башне в городской стене Наумбурга.
- 1880 Едет в Южный Тироль, встречается с Петером Гастом в Риве на озере Гарда. Они едут в Венецию. Беспокойный год заканчивается Рождеством в Генуе. Пишет «Утреннюю зарю».
- 1881 Возобновляет путешествия в Рекоаро, на озеро Комо и в Санкт-Мориц. Открывает для себя Спинозу. Впервые посещает Зильс-Марию; первые идеи о вечном возвращении. Первые наброски «Заратустры». Публикует «Утреннюю зарю». Возвращается в Ге-

- ную; отождествляет себя с Колумбом. Впервые слушает оперу Бизе «Кармен».
- 1882 Эксперименты с печатной машинкой. Публикует «Веселую науку». Пишет цикл стихотворений «Мессинские идиллии». Едет в Мессину. В апреле приезжает в Рим, где встречается с Лу Саломе и Паулем Рэ; Лу предлагает жить вместе как «несвятая троица» свободных умов. На горе Орта Ницше делает Лу предложение; та отвечает отказом. В Базеле сделана знаменитая фотография, на которой Ницше и Рэ запряжены в повозку, а Лу занесла над ними кнут. Ницше привозит Лу в Трибшен, но отказывается сопровождать Элизабет и Лу в Байрёйт. Встречается с ними в Таутенбурге, где открывает Лу идею вечного возвращения. Разрыв с Элизабет и матерью. «Несвятая троица» планирует вместе жить и учиться в Париже, но Лу и Рэ сбегают вдвоем. Приглушает боль опиумом и пишет о самоубийстве.
- 1883 Сочиняет в январе первую часть «Так говорил Заратустра». В феврале в Венеции умирает Вагнер. Пишет в Зильс-Марии вторую часть «Заратустры», а в Ницце — третью. Элизабет объявляет о помолвке с антисемитским агитатором Бернхардом Фёрстером.
- 1884 Публикует третью часть «Заратустры». Проблемы с издателем: книги Ницше не продаются. Встречает Мету фон Залис-Маршлинс и Резу фон Ширнхофер. Присваивает себе польское происхождение. Мирится с Элизабет. Пишет четвертую часть «Заратустры».
- 1885 Частным образом издает небольшим тиражом четвертую часть «Заратустры». Элизабет выходит замуж за Фёрстера. Ницше оплачивает новый памятник на могилу отца. Пишет «По ту сторону добра и зла: Прелюдия к философии будущего».
- 1886 «По ту сторону добра и зла» издана частным образом — с этого времени все книги будут издаваться на средства автора. Издатель Эрнст Фришш покупает права на прежние работы Ницше и публикует новые издания «Рождения трагедии», «Человеческого, слишком человеческого» (теперь со вторым томом, составленным из «Смешанных мнений и изречений» и «Странника и его тени») и «Утренней зари». В Байрёйте умирает Франц Лист. Элизабет и Бернхард Фёрстер отправляются в Парагвай и основывают Новую Германию — «расово чистую» арийскую колонию.
- 1887 Находится в Ницце во время землетрясения. Читает Достоевского во французском переводе. Лу Саломе объявляет о помолвке

- с Фридрихом Карлом Андреасом. Ницше пишет музыку к ее стихотворению «Молитва к жизни» и заказывает напечатать его под названием «Гимн жизни». Тщетно пытается добиться исполнения песни. Слушает «Парсифаля», зачарован музыкой. Публикует «К генеалогии морали». Новые расширенные издания «Утренней зари» и «Веселой науки».
- 1888 Наконец-то получает публичное признание после того, как Георг Брандес выступает с лекциями по его трудам в Копенгагене. Переписывается со шведским драматургом Августом Стриндбергом, автором «ницшеанских» пьес. Ницше открывает для себя Турин, где пишет «Казус Вагнер: Проблема музыканта». Забрасывает написание «Воли к власти». Создает одно за другим несколько произведений: «Сумерки идолов, или Как философствуют молотом», «Антихристианин: Проклятие христианству», последнюю автобиографию «Ессе Номо»: Как становятся самим собой», «Ницше contra Вагнер: Из досье психолога». Собирает написанные в 1880-е годы стихотворения в сборник «Дионисовы дифирамбы». Начало конца, проявляющееся в письмах, которые содержат все более странные пассажи.
- 1889 Приступ в Турине 3 января. Верный друг Овербек сопровождает его в Швейцарию. Там у него диагностируют прогрессивный паралич, вызванный сифилисом. Заключается в лечебницу в Йене. «Сумерки идолов» опубликованы 24 января. В Парагвае Бернхард Фёрстер кончает с собой. Элизабет бьется за выживание колонии.
- 1890 Переведен под опеку матери в тот самый дом в Наумбурге, где он вырос. Все глубже погружается в безумие и паралич, теряет разум и речь.
- 1896 Передовые деятели искусства с энтузиазмом изучают его труды: Рихард Штраус пишет и исполняет музыку «Так говорил Заратустра».
- 1897 Франциска Ницше умирает 20 апреля. Элизабет перевозит Ницше и его бумаги в Веймар, где основывает архив Ницше.
- 1900 Ницше умирает 25 августа. Погребен в семейной могиле в Ренке.
- 1901 Элизабет публикует первый вариант «Воли к власти», составленный ею из фрагментов рукописей Ницше.
- 1904 Элизабет издает значительно расширенную «окончательную редакцию» «Воли к власти».

- 1908 Наконец-то опубликована автобиография Ницше «Ессе Номо». Все нелестные для Элизабет выражения из текста удалены.
- 1919 Двоюродный брат Элизабет Макс Элер, фанатичный национал-социалист, становится главой архива Ницше.
- 1932 Элизабет, ревностная почитательница Муссолини, убеждает Веймарский национальный театр поставить пьесу Муссолини *Campo di Maggio* («Сто дней»). Адольф Гитлер посещает Элизабет в ее ложе.
- 1933 Гитлер приезжает в архив Ницше. Элизабет дарит ему трость Ницше.
- 1934 Гитлер приезжает в архив с архитектором Альбертом Шпеером и фотографируется с бюстом Ницше.
- 1935 Элизабет умирает. Гитлер посещает ее похороны и возлагает венок. Элизабет, ранее велевшая переложить тело брата из середины ряда семейных могил, ныне занимает это почетное место сама.

Примечания

1. Музыкальный вечер

1. Оттилия Брокгауз (1811–1883), сестра Рихарда Вагнера и жена Германа Брокгауза, профессора-индолога.

2. Вильгельм Рошер (1845–1923), соученик Ницше.

3. Евдокия — поэт, дочь афинского философа Леонтия. Отказалась от язычества, чтобы выйти замуж за византийского императора Феодосия в 421 году.

4. Autobiographical fragment, 1868/9.

5. Rückblick auf meine zwei Leipziger Jahre (цит. по: *R. J. Hollingdale. Nietzsche, the Man and His Philosophy*. P. 36).

6. «Казус Вагнер», 10 (The Case of Wagner. Section 10).

7. «Ессе Номо». «Почему я так умен», 6 (Ессе Номо. Why I am so Clever. Section 6).

8. См.: *Michael Tanner. Nietzsche, a Very Short Introduction*. Oxford University Press, 2000. P. 23.

9. «Ессе Номо». «Почему я так умен», 6 (Ессе Номо. Why I am so Clever. Section 6).

10. Письмо Эрвину Роде, 20 ноября 1868 года.

11. Отец — Карл Людвиг Ницше (1813–1849), мать — Франциска Элер (1826–1897).

12. *Friedrich Nietzsche. Jugendschriften*. Hans Joachim Mette et al. (ed.), 5 vols. Walter de Gruyter and Deutscher Taschenbuch Verlag, 1994. Vol. I. P. 4–5.

13. *Jugendschriften*. Vol. I. P. 6–7. Два слегка отличающихся рассказа Ницше об этом пророческом сне (см.: *Krell and Bates. The Good European*. P. 16–17, footnote 2) дали повод для различных предположений. Ницше утверждает, что события происходили в конце 1850 года, но, вероятно, это был март 1850 года. Путаница усугубляется датой смерти Йозефа, выбитой на могиле: «Родился 27 февраля 1848 года, умер 4 января 1850 года», хотя,

согласно приходским книгам, Йозеф умер через несколько дней после своего второго дня рождения, то есть, очевидно, в марте. Это согласуется с временем сна Ницше.

14. Пауль Юлиус Мебиус (1853–1907) — невропатолог, практиковавший в Лейпциге и много публиковавшийся. Его имя носят синдром Мебиуса — редкий типа паралича лицевых нервов — и синдром Лейдена — Мебиуса — мышечная дистрофия области таза.

15. *Richard Schain*. The Legend of Nietzsche's Syphilis. Greenwood Press, 2001. P. 2–4.

16. *Jugendschriften*. Vol. I. P. 7.

17. Элизабет Ницше цит. по: *Elisabeth Förster-Nietzsche*. The Life of Nietzsche. 1912. Vol. I. P. 27.

18. *Förster-Nietzsche*. The Life of Nietzsche. Vol. I. P. 22–23.

19. *Ibid*. P. 24.

20. *Jugendschriften*. Vol. I. P. 8.

21. Aus meinem Leben (краткая автобиографическая заметка о 1844–1863 годах, цит. по: *Keith Ansell Pearson and Duncan Large*. The Nietzsche Reader. Blackwell, 2006. P. 18–21).

22. *Ibid*.

23. *Förster-Nietzsche*. The Life of Nietzsche. Vol. I. P. 40.

24. «Ессе Номо». «Почему я так мудр», 5 (Ессе Номо. Why I am so Wise. Section 5).

25. Aus meinem Leben.

26. *Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe*. Vol. XI. P. 253. Ницше снова упоминает эту работу в конце своей писательской карьеры — в 1887 году, в третьей части предисловия «К генеалогии морали».

2. Наши немецкие Афины

1. Письмо Вильгельму Пиндеру, середина февраля 1859 года.

2. Филипп Шварцерд (1497–1560), главный помощник Лютера в переводе Ветхого Завета на немецкий, более известный под эллинизированным псевдонимом Меланхтон.

3. Карл Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835).

4. *Karl Wilhelm von Humboldt*. Gesammelte Schriften: Ausgabe der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Vol. II. P. 117.

5. Автобиографический фрагмент, 1868–1869 (Autobiographical fragment, 1868/9).

6. *Anne Louise Germaine de Staël*. Germany, 1813. Vol. I. Saxony.

7. Письмо Вильгельму Пиндеру, апрель 1859 года.

8. Дневник, 18 августа 1859 года. Цит. по: *Krell and Bates*. The Good European. P. 23.

9. *Sander L. Gilman* (ed.). Conversations with Nietzsche. Oxford University Press, 1987. P. 15.

10. Этим учителем, вероятно, был профессор Коберштейн.

11. «Письмо другу...», 19 октября 1861 года (Letter to my friend... 19 October 1861).
12. *Friedrich Hölderlin*. Hyperion // The Peacock and The Buffalo. The Poetry of Nietzsche. Continuum Books, 2010. P. 34.
13. Empedocles. Fragment 38 and 62.
14. Письмо Раймунду Гранье, 28 июля 1862 года.
15. *Krell and Bates*. The Good European. P. 26.
16. Автобиографический фрагмент, 1868–1869 (Autobiographical fragment, 1868/9).
17. Древнеримский автор Тацит (ок. 55–116) оставил первое описание Германии в труде «Германия».
18. Автобиографический фрагмент, 1868–1869 (Autobiographical fragment, 1868/9).
19. *Elisabeth Förster-Nietzsche*. The Life of Nietzsche. Vol. I. P. 117.
20. Автобиографический фрагмент, 1868–1869 (Autobiographical fragment, 1868/9).

3. Будь, каков есть

1. *Förster-Nietzsche*. The Life of Nietzsche. Vol. I. P. 144.
2. Ibid. P. 143–144.
3. *Gilman* (ed.). Conversations with Nietzsche. P. 20.
4. Chambers' Encyclopedia, 1895. Vol. IV. P. 433.
5. Письмо Ницше к Элизабет, 11 июня 1865 года.
6. Письмо Карлу фон Герсдорфу, Наумбург, 7 апреля 1866 года.
7. Речь идет о Генрихе Штеренберге, соученике Ницше по Лейпцигскому университету. См.: *Gilman* (ed.). Conversations with Nietzsche. P. 29.
8. *Pythian Odes*, 2:73.
9. Письмо Эрвину Роде, Наумбург, 3 ноября 1867 года.
10. Письмо Якобу Буркхардту, 6 января 1889 года.
11. Карл Бернулли цит. по: *Hollingdale*. Nietzsche, the Man and His Philosophy. P. 48.
12. *Gilman* (ed.). Conversations with Nietzsche. P. 62.
13. Письмо Карлу фон Герсдорфу, август 1866 года.
14. Письмо Эрвину Роде, февраль 1870 года.
15. Письмо Рихарда Вагнера Францу Листу, 15 января 1854 года. Цит. по: *Barry Millington*. Richard Wagner, The Sorcerer of Bayreuth. Thames and Hudson, 2013. P. 144.
16. Цит. по: *Immanuel Kant*. Critique of Judgement, 1790. Oxford University Press, 1928. P. 28.
17. Весьма вероятно, что призраку Риги мы обязаны некоторым сверхъестественным элементам в вагнеровском «Кольце»: это радужный мост, ведущий в Вальхаллу — дом богов; пара угрожающих гигантов, которые видны сквозь туман в окнах Вальхаллы, а также сценическая ремарка из «Золота Рейна»: «Облако внезапно уходит вверх, становятся видны Доннер

и Фро. От их ног к замку через долину протянулся ослепительно сияющий радужный мост, блистающий в лучах закатного солнца».

18. *Judith Gautier*. Wagner at Home. John Lane, 1911. P. 97.

19. *Alan Walker*. Hans von Bülow, A Life and Times. Oxford University Press, 2010. P. 98.

20. Письмо Рихарда Вагнера Элизе Вилле, 9 сентября 1864 года.

21 Письмо Рихарда Вагнера Матильде Везендонк, 4 сентября 1858 года. Цит. по: *Walker*. Hans von Bülow. P. 110.

4. Наксос

1. *Cosima Wagner*. Diary, 17 May 1869.

2. Ганс фон Бюлов цит. по: *Joachim Köhler*. Nietzsche and Wagner, A Lesson in Subjugation. Yale University Press, 1998. P. 28.

3. *Lionel Gossman*. Basel in the Age of Burckhardt. University of Chicago Press, 2000. P. 15.

4. *Jacob Burckhardt*. The Civilisation of the Renaissance in Italy. Penguin, 1990. P. 4.

5. «Несвоевременные мысли». «Рихард Вагнер в Байрёйте», 3 (Untimely Meditations. Richard Wagner in Bayreuth. Section 3).

6. *Jacob Burckhardt*. The Civilisation of the Renaissance in Italy. Penguin, 1990. P. 5.

7. *Mendés*. Personal Recollections. Цит. по: *Grey* (ed.). Richard Wagner and His World. P. 233–234.

8. Письмо Вагнера Ницше, 7 февраля 1870 года.

9. *Zwei Nietzsche Anekdoten* // *Frankfurter Zeitung*, 9 March 1904, цит. по: *Millington*. Richard Wagner. P. 153.

10. Письмо от 29 сентября 1850 года приведено в кн.: *Millington*. Richard Wagner. P. 221.

11. Впервые опубликовано 1 апреля 1861 года в *Revue européenne*.

12. *Joanna Richardson*. Judith Gautier, a Biography // *Quartet*, 1986. P. 39.

13. *Mendés*. Personal Recollections, цит. по: *Grey* (ed.). Richard Wagner and His World. P. 231–234.

14. *Newell Sill Jenkins*. Reminiscences of Newell Sill Jenkins, цит. по: *Grey* (ed.). Richard Wagner and His World.

15. *Köhler*. Nietzsche and Wagner. P. 55–56.

16. *Förster-Nietzsche*. The Life of Nietzsche. Vol. I. P. 230–231.

17. Письмо Вильгельму Фишеру-Бильфингеру, Базель (вероятно, январь 1871 года).

18. Письмо Франциске Ницше, отправлено из Зульца под Вайссенбургом, рядом с Вёртом, 29 августа 1870 года.

19. Письмо Карлу фон Герсдорфу, Базель, 12 декабря 1870 года.

20. Письмо Карлу фон Герсдорфу, 21 июня 1871 года.

21. Козима Вагнер, дневник, 25 декабря 1870 года.

22. Вильгельм Фишер-Бильфингер (1808–1874), известный археолог, профессор, член совета Базельского университета.

23. *Makwida von Meysenbug*. Rebel in a Crinoline. George Allen & Unwin, 1937. P. 194–195.

24. *Förster-Nietzsche*. The Life of Nietzsche. Vol. I. P. 243–244.

25. Ibid. P. 246.

26. Большой отель на берегу озера, ныне носящий название Residenza Grand Palace и превращенный в апартаменты.

5. Рождение трагедии

1. «Рождение трагедии», 1 (The Birth of Tragedy, Section 1).

2. Там же, 7 (Ibid. Section 7).

3. Там же, 15 (Ibid. Section 15).

4. Там же (Ibid.).

5. Там же, 18 (Ibid. Section 18).

6. Там же, 20 (Ibid. Section 20).

7. Там же, 21 (Ibid. Section 21).

8. Козима Вагнер, дневник, 18 августа 1870 года.

9. Там же, 8 апреля 1871 года (Ibid. 8 April 1871).

10. Письмо Эрвину Роде, 1871.

11. Письмо Карлу фон Герсдорфу, 18 ноября 1871 года.

12. Письмо Эрвину Роде, 21 декабря 1871 года.

13. Письмо Франциске и Элизабет Ницше, Базель, 27 декабря 1871 года.

14. Письмо Густаву Кругу, Базель, 31 декабря 1871 года.

15. «О будущем наших образовательных учреждений» (On the Future of Our Educational Institutions), лекция I, 16 января 1872 года.

16. Козима Вагнер, дневник, 16 января 1872 года.

17. Письмо Эрвину Роде, Базель, 28 января 1872 года.

18. Козима Вагнер, дневник, 31 января 1872 года.

19. Письмо Карлу фон Герсдорфу, 1 мая 1872 года.

20. Письмо Фридриху Ричлю, Базель, 30 января 1872 года.

21. Письмо Эрвину Роде, 25 октября 1872 года.

22. Козима Вагнер, дневник, 22 мая 1872 года.

23. *Walker*. Hans von Bülow. P. 5.

24. Письмо Гансу фон Бюлову, черновик (вероятно, 29 октября 1872 года).

25. *William H. Schaberg*. The Nietzsche Canon, A Publication History and Bibliography. University of Chicago Press, 1995. P. 203–204.

6. Ядовитая хижина

1. Козима Вагнер, дневник, 11 апреля 1873 года.

2. Профессор Герман Карл Узенер, теолог и филолог-классик, сменивший Фридриха Ричля в Боннском университете.

3. Франц Овербек (1837–1905).

4. Письмо Карла фон Герсдорфа Эрвину Роде, 24 мая 1873 года.
5. «Ессе Номо». «Человеческое, слишком человеческое», 4 (Ессе Номо. Human, All Too Human. Section 4).
6. «Несвоевременные размышления». «Давид Штраус», 8 (Untimely Meditations. David Strauss. Section 8).
7. Письмо Карла фон Герсдорфа Эрвину Роде, 9 августа 1873 года.
8. Письмо Эрвину Роде, Базель, 18 октября 1873 года.
9. *Johann Karl Friedrich Zöllner*. Natur der Kometen, 1870; *Hermann Kopp*. Geschichte der Chemie, 1834–1837; *Johann Heinrich Mädler*. Der Wunderbau des Weltalls, 1861; *Afrikan Spir*. Denken und Wirklichkeit, 1873.
10. «Несвоевременные размышления». «О пользе и вреде истории для жизни», 10 (Untimely Meditations. On the Uses and Disadvantages of History for Life. Section 10).
11. Козима Вагнер, дневник, 9 апреля 1874 года.
12. Письмо фон Герсдорфу, 1 апреля 1874 года.
13. Козима Вагнер, дневник, 4 апреля 1874 года.
14. Письмо Рихарда Вагнера Ницше, 6 апреля 1874 года.

7. Идеетрясение

1. Письмо Мальвиде фон Мейзенбуг, 11 августа 1875 года.
2. Самуэль Рот (1893–1974), писатель и издатель, уличенный в распространении порнографии.
3. Свидетельство Вальтера Кауфмана см.: Nietzsche and the Seven Sirens // Partisan Review. May/June 1952.
4. *Herlossohn*. Damen-Conversations-Lexikon (1834–1838), цит. по: *Carol Diethe*. Nietzsche's Sister and the Will to Power. University of Illinois Press, 2003. P. 17.
5. *Count Harry Kessler*. Diary, 23 February 1919, цит. по: *Charles Kessler* (ed.). Berlin in Lights, The Diaries of Harry Kessler, 1918–1937. Grove Press, NY, 1971. P. 74.
6. *Diethe*. Nietzsche's Sister and the Will to Power. P. 20.
7. Письмо Элизабет Ницше брату, 26 мая 1865 года.
8. Ibid.
9. *Gilman* (ed). Conversations with Nietzsche. P. 69. Воспоминания Людвиг фон Шеффлера датированы летом 1876 года.
10. «Несвоевременные размышления», «Шопенгауэр как воспитатель», 4 (Untimely Meditations. Schopenhauer as Educator. Section 4).
11. Там же, 1 (Ibid. Section 1).
12. Там же (Ibid.).
13. Там же, 4 (Ibid. Section 4).
14. Там же, 7 (Ibid. Section 7).
15. Там же, 8 (Ibid. Section 8).
16. Там же, 4 (Ibid. Section 4).
17. Там же (Ibid.).

18. Козима Вагнер, дневник, 8–18 августа 1874 года.
19. Блокнот, 1874 год.
20. Телеграмма, 21 октября 1874 года.
21. Письмо Матильде Трампедях, 11 апреля 1876 года.

8. Последний ученик и первый ученик

1. «Несвоевременные размышления». «Шопенгауэр как воспитатель», 4 (Untimely Meditations. Schopenhauer as Educator. Section 4).
2. «Несвоевременные размышления». «Рихард Вагнер в Байрёйте», 7 (Untimely Meditations. Richard Wagner in Bayreuth. Section 7).
3. Там же, 8 (Ibid. Section 8).
4. Там же, 11 (Ibid. Section 11).
5. *Gilman* (ed.). *Conversations with Nietzsche*. P. 54–60.
6. Ibid. P. 56.
7. Письмо Мальвиде фон Мейзенбург, 20 декабря 1872 года.
8. Письмо Рихарда Вагнера Ницше, 13 июля 1876 года.
9. Другое название — «Вот идет странник» (Es geht ein Wanderer).
10. Козима Вагнер, дневник, 28 июля 1876 года.
11. Статья для «Русских ведомостей» «Байрёйтское музыкальное торжество» (Часть IV).
12. Мальвида фон Мейзенбург (1816–1903).
13. *Memoiren einer Idealistin*, 1869.
14. Александра Герцена (1812–1870) порой называют «отцом русского социализма»; он работал над освобождением крепостных и аграрной реформой.
15. *Von Meysenbug*. *Rebel in a Crinoline*. P. 194.
16. Ibid. P. 196.
17. Письмо Луизе Отт, 30 августа 1876 года.
18. Письмо Луизы Отт Ницше, 2 сентября 1876 года.
19. Письмо Луизы Отт Ницше, 1 сентября 1877 года, цит. по: *Carol Diethe*. *Nietzsche's Women: Beyond the Whip*. Walter de Gruyter, 1996. P. 39.

9. Ум свободный и не очень

1. Письмо Мальвиды фон Мейзенбург Ольге Герцен из Сорренто, 28 октября 1876 года.
2. Письмо Элизабет Ницше из Сорренто, 28 октября 1876 года.
3. «Человеческое, слишком человеческое». Часть 4. «Из души художников и писателей», 145 (Human, All Too Human. Section 4. From the Souls of Artists and Writers. Section 145).
4. *Paul Rée*. *Notio in Aristotelis Ethicis Quid Sibi Velit*. Halle, Pormetter, 1875, цит. по: *Robin Small*. *Nietzsche and Rée, A Star Friendship*. Clarendon Press, Oxford, 2007. P. xv.
5. В студенческие годы большую часть информации по этой теме Ницше почерпнул из книги Ланге «История материализма и критика его значения

в настоящее время»: *Friedrich Albert Lange*. Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart, 1879. В 1887 или 1888 году Ницше приобрел книгу Карла Негели «Механико-физиологическая теория эволюции»: *Karl Wilhelm von Nägeli*. Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre, 1884, — содержащую детальное исследование дарвинизма. См.: *Carol Diethe*. The A to Z of Nietzscheanism. Scarecrow Press, 2010. P. 53–54.

6. См.: *Mind*, 2 (1877). P. 291–292. Подробнее об этой теме см.: *Small*. Nietzsche and Rêe. P. 88–90.

7. *Small*. Nietzsche and Rêe. P. 72, 98.

8. «К генеалогии морали». Предисловие, 8 (On the Genealogy of Morality. Preface. Section 8).

9. Письмо Рихарду Вагнеру, 27 сентября 1876 года.

10. Блокнот за 1876 год, цит. по: *Small*. Nietzsche and Rêe. P. 58.

11. Письмо Рихарду Вагнеру из Базеля, 27 сентября 1876 года.

12. Козима Вагнер, дневник, 27 октября 1876 года.

13. Там же, 1 ноября 1876 года.

14. Письмо Элизабет Ницше, 25 апреля 1877 года.

15. Письмо Мальвиде фон Мейзенбург, 13 мая 1877 года.

16. Письмо Элизабет Ницше, 2 июля 1877 года.

17. *Förster-Nietzsche*. The Life of Nietzsche. Vol. II. P. 11–13.

18. Письмо Рихарда Вагнера д-ру Айзеру, 27 октября 1877 года, цит. по: *Martin Gregor-Dellin*. Richard Wagner, His Life, His Work, His Century. Collins, 1983. P. 452–453.

19. Отчет д-ра Айзера, 6 октября 1877 года, цит. по: *Gregor-Dellin*. Richard Wagner. P. 453–454.

10. Человеческое, слишком человеческое

1. Письмо Эрнсту Шмайцнеру, 2 февраля 1877 года.

2. «Человеческое, слишком человеческое». «О первых и последних вещах», 2 (Human, All Too Human. Of First and Last Things. Section 2).

3. Там же (Ibid.).

4. Там же, 4 (Ibid. Section 4).

5. Там же, 5 (Ibid. Section 5).

6. Там же, 9 (Ibid. Section 9).

7. Там же, 6 (Ibid. Section 6).

8. Там же, 11 (Ibid. Section 11).

9. Там же, 19 (Ibid. Section 19).

10. Там же. «К истории моральных чувств», 37 (Ibid. On the History of the Moral Sensations. Section 37).

11. Франсуа де Ларошфуко, начало «Максим», см.: «Человеческое, слишком человеческое». «К истории моральных чувств», 36 (Human, All Too Human. On the History of the Moral Sensations. Section 36).

12. Там же. «Взгляд на государство», 438 (Ibid. A Glance at the State. Section 438).

13. Там же, 452 (Ibid. Section 452).
14. Там же. «К истории моральных чувств», 87 (Ibid. On the History of the Moral Sensations. Section 87).
15. *Schaberg*. The Nietzsche Canon. P. 59. См. также: *Förster-Nietzsche*. The Life of Nietzsche. Vol. II. P. 32.
16. Письмо Эрнста Шмайцнера Ницше, цит. по: *Förster-Nietzsche*. The Life of Nietzsche. Vol. II. P. 32.
17. Письмо Матильде Майер, 15 июля 1878 года.
18. Ориг.: *L'âme de Voltaire fait ses compliments a Friedrich Nietzsche*.
19. Письмо Козимы Вагнер Марии фон Шляймиц, июнь 1878 года.
20. Вагнер опубликовал три статьи на тему «Публика и популярность» в *Bayreuther Blätter* в августе — сентябре 1878 года.
21. Письмо Иоганну Генриху Кезелицу (он же Петер Гаст), 5 октября 1879 года.
22. Письмо Мальвиде фон Мейзенбут, 1 июля 1877 года.

11. Странник и его тень

1. Предисловие ко второму изданию «Утренней зари» 1886 года, 1 (Daybreak, 1886. Preface. Section 1).
2. Об электричестве см. письма Петеру Гасту и Францу Овербеку в августе — сентябре 1881 года.
3. Письмо Францу Овербеку, 30 июля 1881 года.
4. Ида Овербек вспоминала, что Ницше приводил идеи Фейербаха в 1880–1883 годах, когда наездами жил у Овербеков; см.: *Gilman* (ed.). *Conversations with Nietzsche*. P. 111–115.
5. «Утренняя зоря». Книга I, 14 (Daybreak. Book I. Section 14).
6. Письмо Петеру Гасту, 5 октября 1879 года.
7. Matthew 16:18.
8. Письмо Францу Овербеку, 27 марта 1880 года.
9. На самом деле картина Беклина изображает кладбище во Флоренции, до которого тоже нужно было добираться по воде, но все полагали — именно из-за того, что изображен остров, — что запечатлено кладбище Сан-Микеле в Венеции.
10. «Странник и его тень», 295 (The Wanderer and His Shadow. Section 295).
11. Письмо Петеру Гасту, 14 августа 1881 года.
12. Согласно индексу швейцарских потребительских цен с 1501 по 2006 год, в то время средняя зарплата квалифицированного швейцарского строительного рабочего составляла 2,45 франка в день, или 12,25 франка в неделю. Таким образом, арендная плата была невысокой.
13. Письмо Францу Овербеку, 18 сентября 1881 года.
14. «Веселая наука». Книга IV, 341 (The Gay Science. Book IV. Section 341).
15. Блокнот, 1881 год.
16. Письмо Элизабет Ницше, 5 декабря 1880 года. Чердак находился на Салита делле Баттистине, 8, напротив парка Виллетта ди Негро, где всегда можно было найти покой и тень.

17. «Утренняя заря». Книга IV, 311 (Daybreak. Book IV. Section 311).
18. Лу Саломе (1861–1937) — дочь русского генерала; мать ее была немкой.
19. *Lou Andreas-Salomé. Looking Back: Memoirs.* Paragon House. New York, 1990. P. 45.
20. Письмо Пауля Рэ Ницше, 20 апреля 1882 года.
21. «Веселая наука». Книга II, 77 (The Gay Science. Book II. Section 77).
22. Письмо Мальвиды фон Мейзенбург Ницше, 27 марта 1882 года.

12. Философия и эрос

1. *Andreas-Salomé. Looking Back.* P. 45.
2. *Lou Andreas-Salomé. Nietzsche.* University of Illinois Press, 2001. P. 9, 10.
3. *Andreas-Salomé. Looking Back: Memoirs.* Paragon House, New York, 1990. P. 47.
4. «Несвоевременные размышления». «О пользе и вреде истории для жизни», 2 (Untimely Meditations. The Uses and Disadvantages of History for Life. Section 2).
5. «Веселая наука». Книга II, 71. «О женском целомудрии» (The Gay Science. Book II. Section 71. On female chastity).
6. *Andreas-Salomé. Nietzsche.* P. 11.
7. *Lou Salomé. Friedrich Nietzsche in seinen Werken.* 1894.
8. *Andreas-Salomé. Nietzsche.* P. 13.
9. *Julia Vickers. Lou von Salomé: A Biography of the Woman Who Inspired Freud, Nietzsche and Rilke.* McFarland, 2008. P. 41.
10. Письмо Петеру Гасту, 13 июля 1882 года.

13. Ученица философа

1. «Веселая наука». Книга III, 125. «Безумный человек» (The Gay Science. Book III. Section 125. The Madman).
2. Там же. Книга III, 108. «Новые схватки» (Ibid. Book III. Section 108. New Battles).
3. Письмо Рейнхарту фон Зайдлицу, 4 января 1878 года.
4. Письмо Элизабет Ницше Франциске Ницше, 26 июля 1882 года.
5. Впервые истину обнаружил Мартин Грегор-Деллин. Он рассказывает ее в своей книге: *Martin Gregor-Dellin. Richard Wagner, His Life, His Work, His Century.* P. 451–457.
6. Элизабет Ницше, «Кофейные сплетни о Норе» (Coffee-Party Gossip about Nora, вероятно, 1882 год). Полный английский перевод см.: *Diethe. Nietzsche's Sister and the Will to Power.* P. 161–193. Название новеллы тоже принадлежит Дите.
7. *Vickers. Lou von Salomé.* P. 48.
8. Письмо Лу Саломе, 4 августа 1882 года.
9. Мы знаем точку зрения Элизабет Ницше относительно раздоров из ее биографии брата и писем, по большей части к Кларе Гельцер, написанных

между 24 сентября и 2 октября 1882 года. Лу, следуя своим твердым принципам игнорирования неприятных истин, вообще не упоминает о ссоре с Элизабет ни в воспоминаниях, ни в книге о Ницше. Как и в вопросе о том, целовал ли ее Ницше на Монте-Сакро, она проявляет гениальность в своем молчании.

10. *Andreas-Salomé*. Nietzsche. P. 77–78.

11. Ibid. P. 71.

12. Ibid. P. 70.

13. Ibid. P. 71.

14. «Веселая наука». Книга IV. «На Новый год», 276 (The Gay Science. Book IV. Sanctus Januarius. Section 276).

15. Письмо Лу Саломе, конец августа 1882 года.

16. *Rudolph Binion*. Frau Lou: Nietzsche's Wayward Disciple. Princeton University Press, 1968. P. 91.

17. Ориг.: Freundin — sprach Kolumbus — traue / Keinem Genuesen mehr! / Immer starrt er in das Blaue / Fernstes zieht ihn allzusehr! / Wen er liebt, den lockt er gerne / Weit hinaus in Raum und Zeit — / Über uns glänzt Stern bei Sterne, / Um uns braust die Ewigkeit.

14. Мой отец Вагнер умер, мой сын Заратустра родился

1. Письмо Паулю Рэ и Лу Саломе, середина декабря 1882 года.

2. Письмо Францу Овербеку, 10 февраля 1883 года.

3. Более позднее описание Рапалло в письме к Петеру Гасту, 10 октября 1886 года.

4. Письмо Францу Овербеку, 25 декабря 1882 года.

5. «Ессе Номо». «Так говорил Заратустра», 5 (Ессе Номо. Thus Spoke Zarathustra. Section 5).

6. «Веселая наука». Книга IV. «Incipit tragoedia», 342 (The Gay Science. Section 342). На тот момент это был последний раздел «Веселой науки». Впоследствии он добавит к книге последнюю часть, которую озаглавит «Мы, бесстрашные».

7. Заратустрой интересовался далеко не только Ницше. За предыдущие полвека на немецком языке было опубликовано двадцать работ, посвященных «Авесте» или ее автору. См.: *Friedrich Nietzsche*. Thus Spoke Zarathustra. Oxford University Press, 2008. P. xi.

8. См.: *Mary Boyce*. Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices. London, 1979 [рус. пер.: *Бойс М.* Зороастрийцы. Верования и обычаи. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1988] и The Oxford Companion to Philosophy. Ted Honderich (ed.). Oxford University Press, 2005.

9. «Так говорил Заратустра». «Предисловие Заратустры», 3 (Thus Spoke Zarathustra. Zarathustra's Prologue. Section 3).

10. «Так говорил Заратустра». Часть III. «Перед восходом солнца» (Thus Spoke Zarathustra. Part III. Before Sunrise).

11. Там же. «Предисловие Заратустры», 4 (Ibid. Zarathustra's Prologue. Section 4).

12. «Так говорил Заратустра». Часть I. «О старых и молодых бабенках» (Thus Spoke Zarathustra. Part I. On Little Women Old and Young).
13. Письмо Францу Овербеку, 22 февраля 1883 года.
14. Письмо Францу Овербеку из Рапалло, получено 11 февраля 1883 года.
15. Письмо Карлу фон Герсдорфу, 28 июня 1883 года. Он имеет в виду полуостров Шасте.
16. Письмо Петеру Гасту, 19 февраля 1883 года.
17. Письмо Элизабет Ницше, апрель 1883 года, цит. по: *Binion*. Frau Lou. P. 104.
18. Письмо Францу Овербеку, 17 октября 1885 года.
19. Письмо Элизабет Ницше, конец лета 1883 года.

15. Только там, где есть могилы, возможно воскресение

1. Клод Желле (1604 (1605?)–1682), известный как Клод Лоррен, — французский художник, мастер пасторальных ландшафтов, содержащих отсылки к Библии, Вергилию и Овидию. Его картины, на которых нередко встречаются фрагменты классической архитектуры, люди и животные, вдохновили английское пейзажное движение XVIII века.
2. «Так говорил Заратустра». Часть 2. «О священниках», 4 (Thus Spoke Zarathustra. Part II. Section 4. On Priests).
3. Письмо Карлу фон Герсдорфу, 28 июня 1883 года.
4. «Ессе Номо». «Так говорил Заратустра», 3 (Ессе Номо. Thus Spoke Zarathustra. Section 3).
5. Письмо Георгу Брандесу, 10 апреля 1888 года.
6. «Так говорил Заратустра». Часть II. «О тарантулах» (Thus Spoke Zarathustra. Part II. Of the Tarantulas).
7. Письмо Петеру Гасту, конец августа 1883 года.
8. Письмо Францу Овербеку, 26 августа 1883 года.
9. Письмо Франциске и Элизабет Ницше, 31 марта 1885 года.
10. Письмо Элизабет Ницше Бернхарду Фёрстеру, январь 1884 года.
11. Доктор Юлиус Панет описывает свои визиты к Ницше в Ницце 26 декабря 1883 года и 3 января 1884 года.
12. Реза фон Ширнхофер (1855–1948) родилась в Кремсе, Австрия. Автор коротких неопубликованных воспоминаний о Ницше — *Vom Menschen Nietzsche*, — написанных в 1927 году.
13. Реза фон Ширнхофер, 3–13 апреля 1884 года, цит. по: *Gilman* (ed.). *Conversations with Nietzsche*. P. 146–158.
14. Остатки тех обоев можно увидеть на стене той же комнаты в доме, ныне ставшем домом-музеем Ницше в Зильс-Марии.

16. Он подстерег меня в засаде!

1. Письмо Эрнста Шмайцнера Ницше от 2 октября 1884 года цит. по: *Schaberg*. *The Nietzsche Canon*. P. 113.

2. Письмо Францу Овербеку, начало декабря 1885 года, цит. по: *Schaberg. The Nietzsche Canon*. P. 118.
3. Письмо Карлу фон Герсдорфу, 12 февраля 1885 года.
4. «Ессе Номо». «Почему я так мудр», 2 (Ессе Номо. Why I am so Wise. Section 2).
5. «Человеческое, слишком человеческое». Книга I, 638 (Human. All Too Human. Book I. Section 638).
6. Письмо Карлу фон Герсдорфу, 12 февраля 1885 года.
7. Письмо Элизабет Ницше, 20 мая 1885 года.
8. The Times, 1 February 1883.

17. Речи в пустоту

1. Письмо Францу Овербеку, 24 марта 1887 года.
2. «По ту сторону добра и зла». Предисловие (Beyond Good and Evil. Introduction).
3. «По ту сторону добра и зла». «О предрассудках философов», 14 (Beyond Good and Evil. On the prejudices of philosophers. Section 14).
4. «Ессе Номо». «Человеческое, слишком человеческое», 1 (Ессе Номо. Human, All Too Human. Section 1).
5. «По ту сторону добра и зла». «О предрассудках философов», 5 (Beyond Good and Evil. On the prejudices of philosophers. Section 5).
6. «По ту сторону добра и зла». «О предрассудках философов», 9 (Beyond Good and Evil. On the prejudices of philosophers. Section 9).
7. Там же, 14 (Ibid. Section 14).
8. Там же (Ibid.).
9. Там же, 9 (Ibid. Section 9).
10. Выражение «лягушачья перспектива» говорит само за себя, но происходит от термина из области изобразительного искусства, где обозначает точку зрения снизу.
11. «По ту сторону добра и зла». «Наши добродетели», 232 (Beyond Good and Evil. Our virtues. Section 232).
12. Письмо Мальвиде фон Мейзенбуг, 12 мая 1887 года.
13. «По ту сторону добра и зла». «Сущность религиозности», 54 (Beyond Good and Evil. The religious character. Section 54).
14. Там же. «О предрассудках философов», 16 (Ibid. On the prejudices of philosophers. Section 16).
15. Там же. «К естественной истории морали», 193 (Ibid. On the natural history of morals. Section 193).
16. Там же. «Сущность религиозности», 46 (Ibid. The religious character. Section 46).
17. «К генеалогии морали». Рассмотрение второе, 16 (On the Genealogy of Morality. Second Essay. Section 16).
18. «По ту сторону добра и зла». «О предрассудках философов», 19 (Beyond Good and Evil. On the prejudices of philosophers. Section 19).

19. «К генеалогии морали». Рассмотрение первое, 11 (On the Genealogy of Morality. First Essay. Section 11).
20. Там же (Ibid.).
21. Там же. Рассмотрение второе, 17 (Ibid. Second Essay. Section 17).
22. «Сумерки идолов». «Исправители» человечества», 2 (Twilight of the Idols. Improving Humanity. Section 2).
23. Йозеф Виктор Видманн (1842–1911), влиятельный швейцарский литературный критик. Как и Ницше, был сыном пастора.
24. Рецензия появилась в Der Bund 16–17 сентября 1886 года.

18. Ламаланд

1. Письмо Элизабет Ницше, 7 февраля 1886 года.
2. Блокнот 9, осень 1887 года, запись 102.
3. Блокнот 9, осень 1887 года, запись 94.
4. Письмо Франциске Ницше, 18 октября 1887 года.
5. Chambers' Encyclopedia, 1895. Vol. VIII. P. 750–751.
6. Ibid. P. 750–751.
7. Ibid. P. 750–751.
8. Клингбайль цит. по: *H. F. Peters. Zarathustra's Sister: The Case of Elisabeth and Friedrich Nietzsche*. Crown, 1977. P. 110.
9. *Julius Klingbeil. Enthüllungen über die Dr Bernhard Förstersche Ansiedlung Neu-Germanien in Paraguay* («Откровения о парагвайской колонии доктора Бернхарда Фёрстера Новая Германия»). Baldamus, Leipzig, 1889.
10. Письмо Францу Овербеку, Рождество 1888 года.
11. Там же.

19. Я — динамит!

1. «Гимн жизни для смешанного хора и оркестра» (Hymnus an das Leben für gemischten Chor und Orchester) опубликован 20 октября 1887 года. Подробнее о мучительной истории публикации см.: *Schaberg. The Nietzsche Canon*. P. 140–149.
2. Резе фон Ширнхофер говорил об этом сам Ницше, хотя впоследствии Элизабет утверждала, что такого письма не существовало.
3. Письмо Петеру Гасту, 10 ноября 1887 года.
4. Письмо Рейнхарту фон Зайдлицу, 12 февраля 1888 года.
5. Георг Брандес (1842–1927), датский литературный критик и биограф.
6. *Qvinnans underordnade ställning*, 1869.
7. Князь Петр Алексеевич Кропоткин (1842–1921).
8. Письмо Георгу Брандесу, 2 декабря 1887 года.
9. Густав Адольф — король Швеции, вождь немецких протестантов, который погиб, сражаясь за католическую имперскую армию в битве при Лютцене в 1632 году во время Тридцатилетней войны. В 1813 году там же одержал победу Наполеон.

10. Письмо Георгу Брандесу, 10 апреля 1888 года.
11. Ницше цитирует письмо своей сестры в письме к Францу Овербека из Турина на Рождество 1888 года.
12. Письмо Элизабет Ницше (черновик), декабрь 1888 года.
13. «Казус Вагнер». Прибавление (The Case of Wagner. First Postscript).
14. «Казус Вагнер». Второе прибавление (The Case of Wagner. Second Postscript).
15. Там же. Прибавление (Ibid. First Postscript).
16. Мета фон Залис-Маршлинс (1855–1929) — автор книги «Философ и джентльмен» (Philosoph und Edelmensch, 1897) о его дружбе с Ницше.
17. Письма Францу Овербеку 23 февраля 1887 года и Петеру Гасту 7 марта 1887 года.
18. «Антихристианин», 7 (The Anti-Christ. Section 7).
19. Карл Бернулли, 6 июня — 20 сентября 1888 года, цит. по: *Gilman* (ed.). *Conversations with Nietzsche*. P. 213.
20. «Сумерки идолов». «Чем я обязан древним», 5 (Twilight of the Idols. What I owe the Ancients. Section 5).

20. Сумерки в Турине

1. Заметки о различиях между античной ритмикой («ритм-время») и варварской («ритмика аффекта») изложены в письме Карлу Фуксу из Зильс-Марии в конце августа 1888 года.
2. Письмо Францу Овербеку, 18 октября 1888 года.
3. The Maitland Mercury and Hunter River General Advertiser. New South Wales, 30 October 1888. Газета указывает Boston Herald в качестве первоисточника статьи «Санитарный брак» (Sanitary Marriage).
4. Работа Альфреда Плётца «Ценность нашей расы и защита слабых. Опыт расовой гигиены и ее отношение к гуманным идеалам, особенно к социализму» — *Alfred Ploetz. Die Tüchtigkeit unserer Rasse und der Schutz der Schwachen. Ein Versuch über Rassenhygiene und ihr Verhältnis zu den humanen Idealen, besonders zum Sozialismus*, 1895.
5. «Антихристианин», 58 (The Anti-Christ. Section 58).
6. См.: *Herbert W. Reichert and Karl Schlechta* (eds.). *International Nietzsche Bibliography*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1960.
7. Письмо Мальвиде фон Мейзенбуг, 18 октября 1888 года.
8. Письмо Францу Овербеку об «Ессе Номо» 13 ноября 1888 года. Он окончил книгу за девять дней до этого.
9. John 19:5.
10. «Ессе Номо». Предисловие (Ессе Номо. Preface).
11. Письмо Фердинанду Авенариусу, 10 декабря 1888 года.
12. «Ессе Номо». «Почему я так умен», 10 (Ессе Номо. Why I am so Clever. Section 10).
13. Там же. «Почему я так мудр», 3 (Ibid. Why I am so Wise. Section 3). Текст сохранился в черновиках у Петера Гаста.

14. Там же. «Почему я так умен», 2. (Ibid. Why I am so Clever. Section 2).
15. «Сумерки идолов». «Чем я обязан древним», 4 (Twilight of the Idols. What I owe to the Ancients. Section 4).
16. Письмо Августу Стриндбергу, 7 декабря 1888 года.
17. Письмо Якобу Буркхардту, 6 января 1889 года.
18. Письмо Мете фон Залис-Маршлинс, 29 декабря 1888 года.
19. Письмо Францу Овербеку, Рождество 1888 года.
20. Письмо Францу Овербеку, 18 октября 1888 года.
21. Письмо Мете фон Залис-Маршлинс, 14 ноября 1888 года.
22. Письмо Франциске Ницше, 21 декабря 1888 года.
23. Письмо Элизабет Фёрстер-Ницше, декабрь 1888 года.
24. Письмо Петеру Гасту, 9 декабря 1888 года.
25. Письмо Петеру Гасту, 16 декабря 1888 года.
26. Письмо Карлу Фуксу, 18 декабря 1888 года.
27. Письма Францу Овербеку, Рождество 1888 года и 28 декабря 1888 года.
28. Письмо Мете фон Залис-Маршлинс, 29 декабря 1888 года.
29. Письма Петеру Гасту, штемпель Турина, 4 января 1889 года и 31 декабря 1888 года.
30. Письмо Августу Стриндбергу, без даты.
31. Письмо Августу Стриндбергу, без даты.
32. Письмо Петеру Гасту, штемпель Турина, 4 января 1889 года.
33. Письмо Георгу Брандесу, штемпель Турина, 4 января 1889 года.
34. Письмо Якобу Буркхардту, штемпель Турина, 4 января 1889 года.
35. Письмо Козиме Вагнер, начало января 1889 года.
36. Письмо Якобу Буркхардту, датировано 6 января 1889 года, но штемпель Турина 5 января 1889 года.

21. Пещерный минотавр

1. Schain. The Legend of Nietzsche's Syphilis. P. 44.
2. Отрывок из «Я стоял на мосту» (An der Brücke stand): *Meine seele, ein Saitenspiel, / Sang sich unsichtbar berührt, / Heimlich ein Gondellied dazu, / Zitternd vor bunter Seligkeit. / — Hörte jemand ihr zu?*
3. «Заявление матери», часть медицинского отчета из клиники, январь 1889 года.
4. Карл Бернулли, цит. по: E. F. Podach. The Madness of Nietzsche. Putnam, 1931. P. 177.
5. «Смешанные мнения и изречения». «Поездка в ад», 408 (Human, All Too Human. A Miscellany of Opinions and Maxims. Section 408. Descent into Hades).
6. Доктор Штутц, бывший в 1920-е годы директором Базельской клиники, выяснил, что во многих случаях, когда был поставлен диагноз «прогрессивный паралич», на самом деле больной страдал шизофренией.
7. Воспоминания студента-медика Саши Симховица, цит. по: Krell and Bates. The Good European. P. 50.

8. *Podach*. The Madness of Nietzsche. P. 195.

9. Письмо Лангбена епископу Кеплеру, осень 1900 года, после получения известия о смерти Ницше. Цит. по: *Podach*. The Madness of Nietzsche. P. 210–211.

10. *Timothy W. Ryback*. Hitler's Private Library, The Books that Shaped His Life. Vintage, 2010. P. 134.

22. Пустой жилец мебелированных комнат

1. *Klingbeil*. Enthüllungen über die Dr Bernhard Förstersche Ansiedlung Neu-Germanien in Paraguay.

2. Письмо Элизабет Фёрстер-Ницше Франциске Ницше, 9 апреля 1889 года.

3. Письмо Бернхарда Фёрстера Максу Шуберту, 2 июня 1889 года.

4. Письмо Элизабет Фёрстер-Ницше Франциске Ницше, 2 июля 1889 года.

5. *Förster-Nietzsche*. The Life of Nietzsche. Vol. II. P. 400–401.

6. Письмо Элизабет Фёрстер-Ницше Франциске Ницше, 2 июля 1889 года.

7. *Eli Förster*. Dr Bernhard Förster's Kolonie Neu-Germania in Paraguay. Berlin, Pioneer, 1891.

8. Гарри Кесслер, дневник, 23 июля 1891 года, цит. по: *Easton* (ed.). Journey into the Abyss. P. 30.

9. Цит. по: *Laird M. Easton*. The Red Count, The Life and Times of Harry Kessler. University of California Press, 2002. P. 41.

10. 20 августа 1891 года барон Цедлиц-Нойманн застрелил Марию Элизабет Майсснер и попытался застрелиться сам. Впоследствии он стал журналистом.

11. О сходном феномене в Норвегии см.: *Sue Prideaux*. Edvard Munch: Behind the Scream. Yale University Press, 2005. P. 72–74.

12. Гарри Кесслер, дневник, 22 июня 1896 года, цит. по: *Easton* (ed.). Journey into the Abyss. P. 160.

13. Гарри Кесслер, дневник, 28 июня 1895 года, цит. по: *Ibid*. P. 128.

14. Театр Die Freie Bühne был основан в 1889 году, журнал — в 1890 году. В 1893 году журнал был переименован в Neue Deutsche Rundschau.

15. Фриц Кугель (1860–1904), филолог, композитор и писатель.

16. Построена в 1889–1890 годах. Архитекторы — Теодор Райнхард и Г. Юнгганс.

17. Письмо Меты фон Залис-Маршлинс д-ру Элеру, 14 июля 1898 года, цит. по: *Peters*. Zarathustra's Sister. P. 164.

18. Письмо Петера Гаста Францу Овербеку, 4 августа 1900 года.

19. Гарри Кесслер, дневник, 7 августа 1897 года, цит. по: *Easton* (ed.). Journey into the Abyss. P. 186.

20. Ориг.: *Ich habe meinen Regenschirm vergessen*.

21. *Hollingdale*. Nietzsche, the Man and His Philosophy. P. 253.

22. Фриц Шумахер, воспоминания 1898 года, цит. по: *Gilman* (ed.). Conversations with Nietzsche. P. 246–7.

23. *Karl Böttcher*. Auf Studienpfaden: Gefangnisstudien, Landstreicherstudien, Trinkstudien, Irrenhausstudien. Leipzig, 1900; *Walter Benjamin*. Nietzsche und

das Archiv seiner Schwester, 1932, цит. по: *Paul Bishop* (ed.). *A Companion to Friedrich Nietzsche*. Camden House, NY, 2012. P. 402.

24. Гарри Кесслер, дневник, 2 октября 1897 года, цит. по: *Easton* (ed.). *Journey into the Abyss*. P. 190.

25. Гарри Кесслер, дневник, 3 октября 1897, цит. по: *Ibid*. P. 190–191.

26. *Förster-Nietzsche*. *The Life of Nietzsche*. Vol. II. P. 407.

27. Анонимно, цит. по: *Gilman* (ed.). *Conversations with Nietzsche*. P. 260–261.

28. *Förster-Nietzsche*. *The Life of Nietzsche*. Vol. II. P. 410.

29. С надгробной речью выступил историк искусства Курт Брейзиг (1866–1940). Комментарий к речи принадлежит архитектору Фрицу Шумахеру. В 1923 году Брейзиг выдвинул Элизабет на Нобелевскую премию по литературе.

30. Эдвард Мунк. «Фридрих Ницше», 1906, холст, масло, 201 × 160 см, галерея Тиль, Стокгольм.

31. Эдвард Мунк. «Элизабет Фёрстер-Ницше», 1906, холст, масло, 115 × 80 см, галерея Тиль, Стокгольм.

32. Элизабет Фёрстер-Ницше выдвигали на Нобелевскую премию по литературе несколько раз: в 1908 году — немецкий философ Ганс Файхингер; в 1916 — Ганс Файхингер и шведский историк Харальд Хьерне; в 1917 — филолог Георг Гетц; в 1923 — Курт Брейзиг, произнесший на похоронах Ницше бесконечную речь; в 1923 же — снова Ганс Файхингер.

33. Последний блокнот, W 13, 646, W 13, 645, цит. по: *Krell and Bates*. *The Good European*. P. 213.

34. Еще в 1912 году Муссолини написал биографическое эссе «Жизнь Фридриха Ницше», напечатанное в журнале *Avanti*.

35. Английское название пьесы *Campo di Maggio* — «Сто дней», хотя это и не прямой перевод.

36. Элизабет Фёрстер-Ницше, неопубликованное письмо, Веймар, 12 мая 1933 года. Цит. по: *Peters*. *Zarathustra's Sister*. P. 220.

37. «Так говорил Заратустра», 29. «О тарантулах» (*Thus Spoke Zarathustra*. Section 29. *Of the Tarantulas*).

38. Альфред Розенберг — комиссар по интеллектуальному и идеологическому воспитанию НСДАП в 1934–1945 годах.

39. *Yvonne Sherratt*. *Hitler's Philosophers*. Yale University Press, 2013. P. 70.

40. *Breisgauer Zeitung*, 18 May 1933. P. 3.

41. *Harry Kessler*. *Inside the Archive...* 7 August 1932, цит. по: *Count Harry Kessler*. *The Diaries of a Cosmopolitan, 1918–1937*. Phoenix Press, 2000. P. 426–427.

42. Личное свидетельство Эрнста Ганфштенгеля, пианиста Гитлера, приводится в его книге воспоминаний: *Ernst Hanfstaengl*. *The Unknown Hitler*. Gibson Square Books, 2005. P. 233.

43. См.: *Ryback*. *Hitler's Private Library*. P. 67–68.

44. *Ibid*. P. 129.

45. *Hanfstaengl*. *The Unknown Hitler*. P. 224.

46. *Ibid*. P. 224.

47. Эрнст Крик, профессор педагогики в университете Гейдельберга, цит. по: *Steven E. Aschheim. Nietzsche's Legacy in Germany. University of California Press, 1992. P. 253.*

48. Письмо Элизабет Фёрстер-Ницше Эрнсту Тиллю, 31 октября 1935 года.

49. Письмо к Элизабет Фёрстер-Ницше из Венеции, середина июня 1884 года.

50. «Ессе Номо», «Почему являюсь я роком», 1 (Ессе Номо. Why I am a Destiny. Section 1).

Библиография

Произведения Фридриха Ницше

Beyond Good and Evil. Prelude to a Philosophy of the Future. Rolf-Peter Horstmann (ed.), Judith Norman (ed., trans.). Cambridge University Press, 2002.

Daybreak. Thoughts on the Prejudices of Morality. Maudemarie Clark, Brian Leiter (eds.), R.J. Hollingdale (trans.). Cambridge University Press, 1997.

Human, All Too Human. A Book for Free Spirits. R.J. Hollingdale (ed., trans.). Cambridge University Press, 1996.

Kritische Gesamtausgabe: Werke. Giorgio Colli and Mazzino Montinari (ed.). Walter de Gruyter, 1967–.

On the Genealogy of Morality and Other Writings. Keith Ansell-Pearson (ed.), Carol Diethe (trans.). Cambridge University Press, 2006.

Selected Letters of Friedrich Nietzsche. Christopher Middleton (ed.). Hackett Publishing, Indianapolis, 1969 (1996).

The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols. And Other Writings. Aaron Ridley (ed.) Judith Norman (trans.). Cambridge University Press, 2011.

The Good European: Nietzsche's Work Sites in Word and Image. David Farrell Krell and Donald L. Bates (trans.). The University of Chicago Press, 2000.

Thus Spoke Zarathustra. Robert Pippin (ed.), Adrian Del Caro (ed., trans.). Cambridge University Press, 2010.

Untimely Meditations. Daniel Breazeale (ed.), R.J. Hollingdale (trans.). Cambridge University Press, 1997.

Избранная библиография

Andreas-Salomé Lou. Looking Back: Memoirs, trans. Breon Mitchell. Paragon House, 1990.

_____. Nietzsche, trans. Siegfried Mandel. University of Illinois Press, 2001.

Bach Steven. Leni, The Life and Work of Leni Riefenstahl. Abacus, 2007.

- Binion Rudolph*. Frau Lou, Nietzsche's Wayward Disciple. Princeton University Press, 1968.
- Bishop Paul* (ed.). A Companion to Friedrich Nietzsche, Life and Works. Camden House, 2012.
- Blanning Tim*. The Triumph of Music: Composers, Musicians and their Audiences, 1700 to the Present. Allen Lane, 2008.
- Blue Daniel*. The Making of Friedrich Nietzsche, The Quest for Identity 1844–1869. Cambridge University Press, 2016.
- Brandes Georg*. Friedrich Nietzsche. William Heinemann, 1909.
- Brandes Georg* (ed.). Selected Letters, trans. W. Glyn Jones. Norvik Press, 1990.
- Burckhardt Jacob*. The Civilisation of the Renaissance in Italy. Penguin, 1990.
- Cate Curtis*. Friedrich Nietzsche, A Biography. Pimlico, 2003.
- Chamberlain Lesley*. Nietzsche in Turin, The End of the Future. Quartet, 1996.
- Detweiler Bruce*. Nietzsche and the Politics of Aristocratic Radicalism. University of Chicago Press, 1990.
- Diethe Carol*. The A to Z of Nietzscheanism. Scarecrow Press, 2010.
- _____. Nietzsche's Sister and the Will to Power. University of Illinois Press, 2003.
- _____. Nietzsche's Women, Beyond the Whip. Walter de Gruyter, 1996.
- Dru Alexander*. The Letters of Jacob Burckhardt, Liberty Fund, Indianapolis, 1955.
- Easton Laird M.* (ed.). Journey into the Abyss, The Diaries of Count Harry Kessler, 1880–1918. Alfred A. Knopf, 2011.
- _____. The Red Count. The Life and Times of Harry Kessler. University of California Press, 2002.
- Feuchtwanger Edgar*. Imperial Germany, 1850–1918. Routledge, 2001.
- Förster-Nietzsche Elisabeth*. The Nietzsche–Wagner Correspondence, trans. Caroline V. Kerr. Duckworth, 1922.
- _____. The Life of Nietzsche. Vol. I. The Young Nietzsche, trans. Anthony M. Ludovici, Sturgis and Walton, 1912.
- _____. The Life of Nietzsche. Vol. II. The Lonely Nietzsche, trans. Paul V. Cohn, Sturgis and Walton, 1915.
- Gautier Judith*. Wagner at Home, trans. Effie Dunreith Massie. John Lane, 1911.
- Gilman Sander L.* (ed.), and *David J. Parent* (trans.). Conversations with Nietzsche, A Life in the Words of His Contemporaries. Oxford University Press, 1987.
- Gossmann Lionel*. Basel in the Age of Burckhardt, A Study in Unseasonable Ideas, University of Chicago Press, 2002.
- Gregor-Dellin Martin*. Richard Wagner, His Life, His Works, His Century, trans. J. Maxwell Brownjohn, Collins, 1983.
- _____, and *Mack Dietrich* (eds.). Cosima Wagner's Diaries, trans. Geoffrey Skelton. Vols I and II. Helen and Kurt Wolff Books, Harcourt Brace Jovanovich. Vol. I 1978. Vol. II 1980.
- Grey Thomas S.* (ed.). Richard Wagner and His World. Princeton University Press, 2009.

- Hanfstaengl Ernst*. The Unknown Hitler, Gibson Square, 2005.
- Hayman Ronald*. Nietzsche, A Critical Life. Weidenfeld and Nicolson, 1980.
- Heidegger Martin*. German Existentialism, trans. Dagobert D. Runes. Philosophical Library Inc., 1965.
- Hilmes Oliver*. Cosima Wagner, the Lady of Bayreuth. Yale University Press, 2010.
- Hollingdale R. J.* Dithyrambs of Dionysus. Anvil, 2001.
- _____. Nietzsche, The Man and His Philosophy. Cambridge University Press, 1999.
- Johnson Dirk R.* Nietzsche's Anti-Darwinism. Cambridge University Press, 2010.
- Kaufmann Walter* (ed.). Friedrich Nietzsche, The Will to Power, trans. Kaufmann and R. J. Hollingdale. Vintage, 1968.
- Kessler Charles* (ed. and trans.). The Diaries of a Cosmopolitan. Phoenix Press, London, 2000.
- Köhler Joachim*. Nietzsche and Wagner, A Lesson in Subjugation, trans. Ronald Taylor. Yale University Press, 1998.
- Krell David Farrell* and *Bates Donald L.* The Good European, Nietzsche's Work Sites in Word and Image. University of Chicago Press, 1997.
- Levi Oscar* (ed.). Selected Letters of Friedrich Nietzsche, trans. Anthony M. Ludovici. Heinemann, 1921.
- Love Frederick R.* Nietzsche's St Peter, Genesis and Cultivation of an Illusion. Walter de Gruyter, 1981.
- Luchte James*. The Peacock and the Buffalo, The Poetry of Nietzsche. Continuum Publishing, 2010.
- Macintyre Ben*. Forgotten Fatherland. The Search for Elisabeth Nietzsche. Macmillan, 1992.
- Mann Thomas*. Doctor Faustus, trans. H. T. Lowe-Porter. Penguin, 1974.
- Meysenbug Malwida von*. Rebel in a Crinoline, Memoirs of Malwida von Meysenbug, trans. Elsa von Meysenbug Lyons. George Allen & Unwin, 1937.
- Middleton Christopher* (ed.). Selected Letters of Friedrich Nietzsche. Hackett Publishing, Indianapolis, 1969.
- Millington Barry*. Richard Wagner, The Sorcerer of Bayreuth. Thames and Hudson, 2013.
- Moore Gregory*. Nietzsche, Biology and Metaphor, Cambridge University Press, 2002.
- Moritzen Julius*. Georg Brandes in Life and Letters. Colyer, 1922.
- Nehemas Alexander*. Nietzsche, Life as Literature. Harvard, 2002.
- Peters H. F.* Zarathustra's Sister: The Case of Elisabeth and Friedrich Nietzsche. Crown, 1977.
- Podach E. F.* The Madness of Nietzsche, trans. F. A. Voight. Putnam, 1931.
- Roth Samuel* (purportedly by Friedrich Nietzsche). My Sister and I, trans. Dr Oscar Levy. AMOK Books, 1990.
- Ryback Timothy W.* Hitler's Private Library, The Books that Shaped His Life. Vintage, 2010.

Safranski Rüdiger. Nietzsche, A Philosophical Biography, trans. Shelley Frisch. Norton, 2003.

Schaberg William H. The Nietzsche Canon, A Publication History and Bibliography. University of Chicago Press, 1995.

Schain Richard. The Legend of Nietzsche's Syphilis. Greenwood Press, 2001.

Sherratt Yvonne. Hitler's Philosophers. Yale University Press, 2013.

Small Robin. Nietzsche and Rée, A Star Friendship. Clarendon Press, Oxford, 2007.

Spencer Stewart and Millington Barry (eds.). Selected Letters of Richard Wagner. Dent, 1987.

Storer Colin. A Short History of the Weimar Republic. I. B. Tauris, 2013.

Tanner Michael. Nietzsche, A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2000.

Vickers Julia. Lou von Salomé, A Biography of the Woman Who Inspired Freud, Nietzsche and Rilke. McFarland, 2008.

Walker Alan. Hans von Bülow, A Life and Times. Oxford University Press, 2010.

Watson Peter. The German Genius, Europe's Third Renaissance, The Second Scientific Revolution and the Twentieth Century. Simon & Schuster, 2010.

Zweig Stefan. Nietzsche, trans. Will Stone. Hesperus Press, 2013.

Избранная дискография

Albany Records, USA. Friedrich Nietzsche. Vol. I. Compositions of His Youth, 1857–1863. Vol. II. Compositions of His Mature Years, 1864–1882.

Deutsche Grammophon. Lou Salomé (Opera in 2 Acts) by Giuseppe Sinopoli. Lucia Popp, José Carreras and the Stuttgart Symphony Orchestra.

Фотоматериалы

1. Отец Ницше — Карл Людвиг Ницше
© *Klassik Stiftung Weimar, Goethe- und Schiller-Archiv, Nietzsche-Ikonographie, GSA 101/323*
2. Мать Ницше — Франциска, урожденная Элер
© *Klassik Stiftung Weimar, Goethe- und Schiller-Archiv, Nietzsche-Ikonographie, GSA 101/315*
3. Фридрих Ницше в семнадцать лет
© *Klassik Stiftung Weimar, Goethe- und Schiller-Archiv, Nietzsche-Ikonographie, GSA 101/1*
4. Сестра Ницше, Элизабет, в семнадцать лет
© *Klassik Stiftung Weimar, Goethe- und Schiller-Archiv, Nietzsche-Ikonographie, GSA 101/158*
5. Рихард и Козима Вагнер, 1875 год
© *Fritz Luckhardt/Imagno/Getty Images*
6. Козима Вагнер, ок. 1870 года
© *Imagno/Getty Images*
7. Трибшен, дом Вагнера
Фото автора
8. Часовня на горе Пилатус
Фото автора
9. Любимая Фридрихом Ницше деревушка Зильс-Мария
Фото автора
10. Автор на той скале, где Ницше испытал откровение Заратустры
Фото автора
11. Дом Жана Дуриша в Зильс-Марии
Фото автора
12. Лу Саломе
© *Klassik Stiftung Weimar, Goethe- und Schiller-Archiv, Nietzsche-Ikonographie, GSA 101/92*

13. Лу Саломе замахивается кнутом на Ницше и Пауля Рэ
© AKG5714418 — *Heritage Images/Fine Art Images/AKG Images*
14. Фёрстерхоф, Парагвай
© *Klassik Stiftung Weimar, Goethe- und Schiller-Archiv, Nietzsche-Ikonographie, GSA 101/568*
15. Ницше в расцвете сил
© *Klassik Stiftung Weimar, Goethe- und Schiller-Archiv, Nietzsche-Ikonographie, GSA 101/18*
16. Печатная машинка Ницше
© *Klassik Stiftung Weimar, Goethe- und Schiller-Archiv, Nietzsche-Ikonographie, 100–2013–0842*
17. Ницше представляет свою книгу «Так говорил Заратустра», 1883 год
© AKG9666 — *AKG Images*
18. Психически нездоровый Ницше на попечении матери, 1890 год
© AKG144476 — *AKG Images*
19. Элизабет с любовью смотрит на брата
© *Klassik Stiftung Weimar, Goethe- und Schiller-Archiv, Nietzsche-Ikonographie, GSA 101/37*
20. Гитлер на похоронах Элизабет
© *Heinrich Hoffmann/Ullstein Bild via Getty Images*
21. Посмертные маски Ницше
© *Ute Schendel*



Отец Ницше — Карл Людвиг Ницше
(1813–1849), священник



Мать Ницше — Франциска, урожденная Элер
(1826–1897)



Фридрих Ницше в семнадцать лет. Портрет
в день конфирмации: начало сомнений



Сестра Ницше, Элизабет, в семнадцать лет.
Фотография в день конфирмации: никаких
сомнений



Рихард и Козима Вагнер, 1875 год — время, когда Ницше преклонялся перед обоими



Козима Вагнер, ок. 1870 года: время знакомства с Ницше



Трибшен, дом Вагнера. На заднем плане — гора Пилатус



Часовня на горе Пилатус



Деревушка Зильс-Мария, которую так любил Ницше: «Философия живет высоко в горах»



Зильс-Мария. Автор на той скале,
где Ницше испытал откровение Заратустры



Дом Жана Дюриша в Зильс-Марии.
Окно комнаты Ницше справа на втором этаже



Лу Саломе — *femme fatale*, очаровавшая
Ницше, Рильке и Фрейда



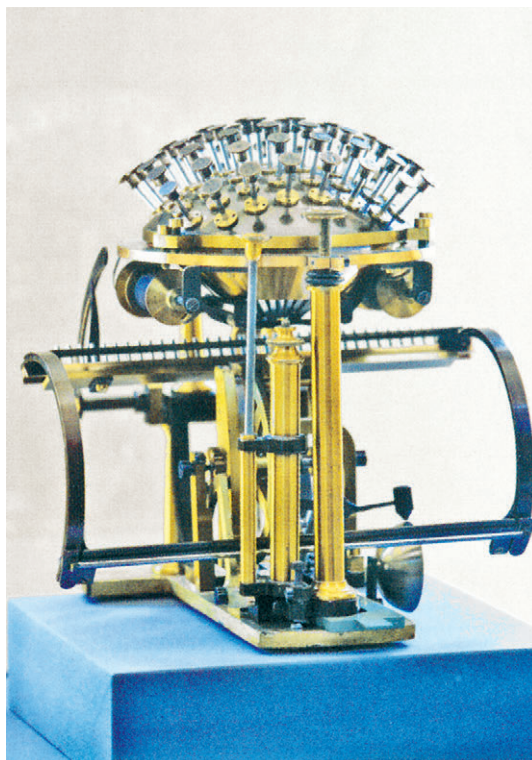
Лу Саломе замахивается кнутом
на Ницше и Пауля Рэ



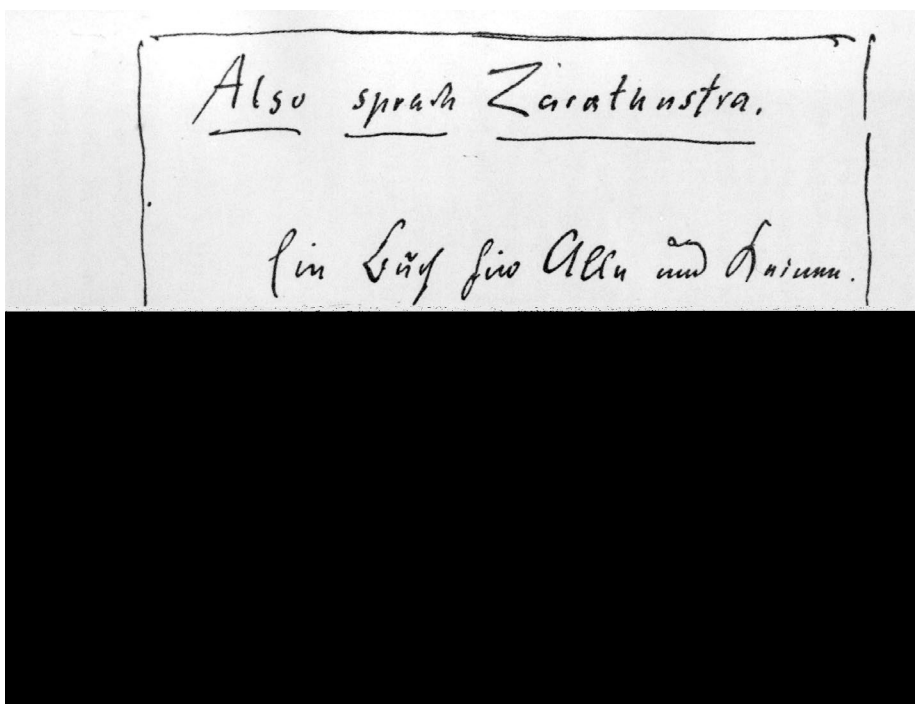
Фёрстерхоф, Парагвай. Отсюда Элизабет Ницше управляла своей антисемитской колонией



Ницше в 1882 году в расцвете сил



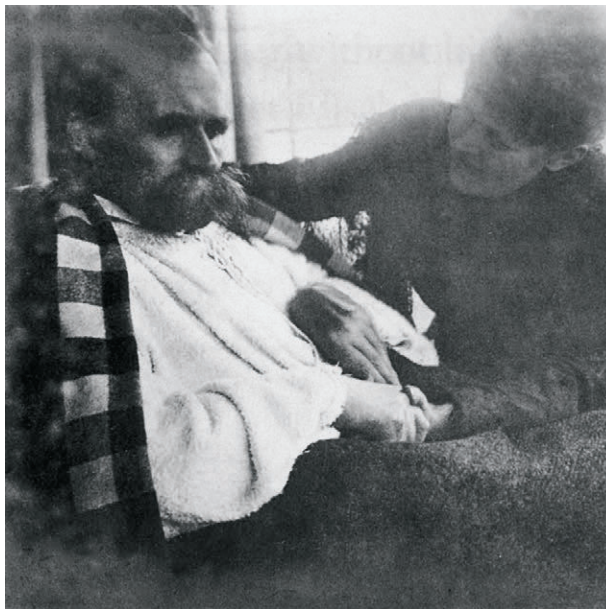
Печатная машинка, которую Ницше так и не заставил себе подчиниться



Ницше представляет свою книгу «Так говорил Заратустра», февраль 1883 года



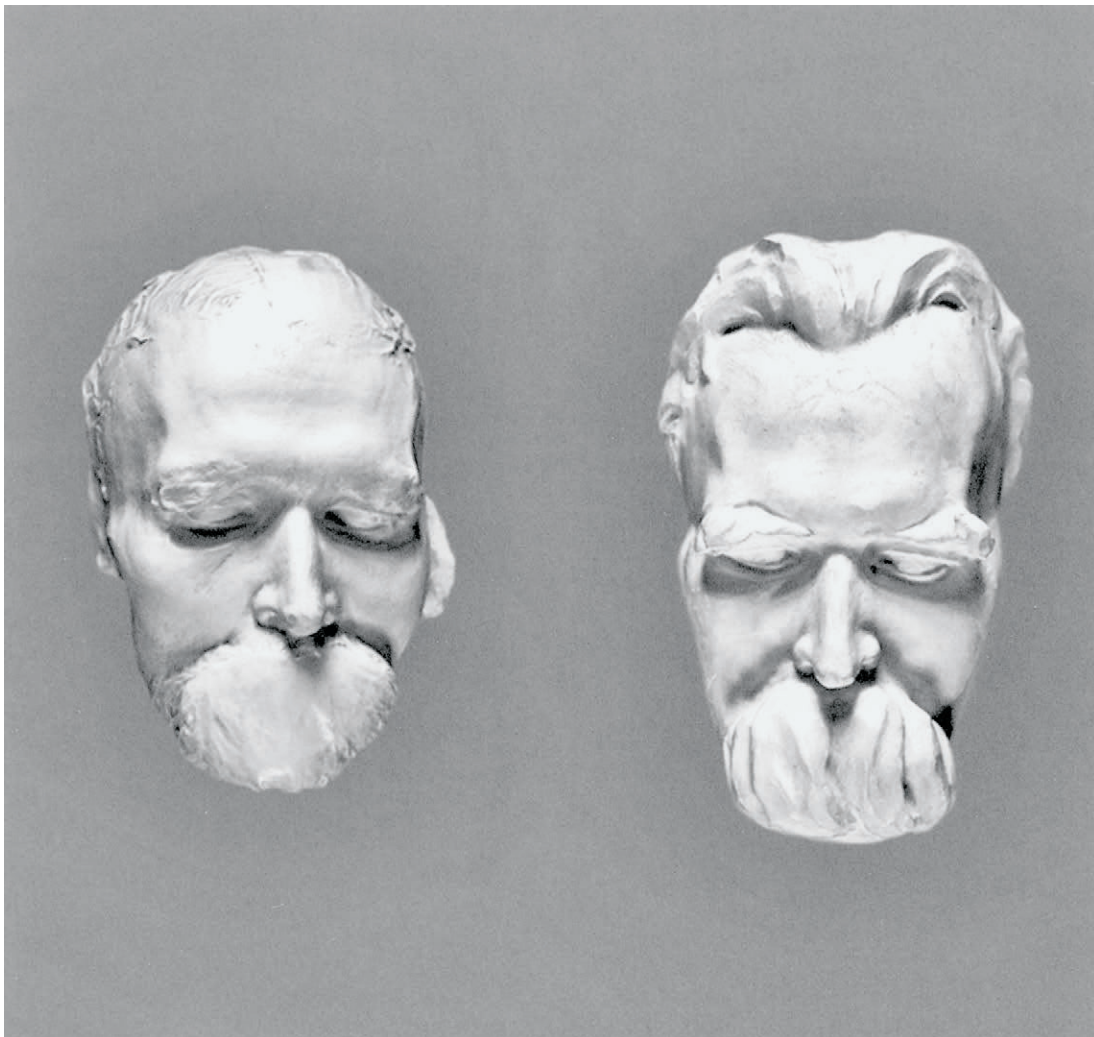
Психически нездоровый Ницше
на попечении матери, 1890 год



Элизабет смотрит на брата,
оставшегося на ее попечении



Опечаленный Гитлер на похоронах Элизабет



Посмертные маски Ницше. Слева — оригинал.
Справа — «улучшенный» по требованию Элизабет вариант

Научно-популярное издание

Сью Придо

ЖИЗНЬ ФРИДРИХА НИЦШЕ

Ответственный редактор А. Захарова

Редактор Е. Туинова

Художественный редактор М. Левыкин

Технический редактор Л. Синицына

Корректоры О. Левина, Т. Дмитриева, Т. Филиппова, Н. Соколова

Верстка Т. Коровенковой

В оформлении обложки и суперобложки использован
эскиз портрета Фридриха Ницше работы Эдварда Мунка

ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус» –
обладатель товарного знака «КоЛибри»
115093, Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. №1

Филиал ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус» в г. Санкт-Петербурге
191123, Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 12, лит. А

ЧП «Издательство «Махаон-Украина»

Тел./факс (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)



Подписано в печать 17.02.2020.

Формат издания 70 × 100 ¹/₁₆.

Бумага писчая. Гарнитура «OriginalGaramond».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 32,25.

Тираж 5000 экз. В-PRS-20379-01-R. Заказ № .

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт». 170546, Тверская область,
Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус»

Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус»

в г. Санкт-Петербурге

Тел. (812) 327-04-55

E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство «Махаон-Украина»

Тел./факс (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru